



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

S12V 43367 & 110

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER



48
КАТАЛОГ

Издание Скоропечатни „Надежда“.

894
С 60
~~891. 894~~
С-60

891 891 891
543 543 С60.

В. Г. БЪЛИНСКІЙ

ВЪ ЕГО ПИСЬМАХЪ И СОЧИНЕНІЯХЪ.

(1810 — 1848).

СОСТАВИЛЪ

Евг. Соловьевъ (Скериба).

ВЪЗВУЩЕНА
О-ва БЫРНХЪ И РЕСТАВРАЦІОНОВЪ
МОСКОВСК. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОММЕРЦ. КУРЪ.

19139
3798

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Скоропечатня „Надежда“, Фонтанка, 68.
1898.

угов. 36.

Проверено 1940 г.

Пр. 1959

Проверено 1945 г.

М 525

Slav 4336.2.1115

✓

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 6 марта 1898 г.



Valler

Вмѣсто предисловія.

Если бы я вѣрилъ въ „предчувствія, примѣты“, то, видя, съ какой настойчивостью начинается на страницахъ нашихъ журналовъ имя Бѣлинскаго, сказалъ-бы: „это хорошій знакъ“. Нѣкоторое—быть можетъ, совершенно несправедливое—недовѣріе ко всероссійскому прогрессу въ частности и къ всероссійскому климату *),—набрасываетъ тѣнь на мои радужныя надежды. А какъ, въ сущности, пріятно предаваться имъ, какъ пріятно дѣлать историческія сопоставленія и говорить о нихъ хотя-бы самому себѣ! „Сорокъ лѣтъ тому назадъ авторъ „Очерковъ гоголевскаго періода“ извлекъ мысли Бѣлинскаго изъ-подъ спуда, не смѣя назвать его, однако, по имени и тѣ вѣчно юныя, свѣжія, высказанныя съ такимъ задоромъ и убѣдительною мысли, вновь появившись на свѣтъ Божій, сыграли роль голубя, котораго праотець Ной привѣтствовалъ изъ своего скучнаго и тѣснаго ковчега послѣ долговременнаго странствованія по волнамъ морскимъ. Цѣлое поколѣніе за этимъ увидѣло, или, лучше сказать, подумало, что видитъ обѣтованную землю. Не предвѣщаетъ ли того же самаго и вторичное извлеченіе Бѣлинскаго изъ-подъ спуда дѣсятилѣтій.

„Не очень, не очень“—шепчетъ мнѣ недовѣрчивая тѣнь. Что собственно случилось? До пятидесятилѣтія „со дня смерти“ осталось очень немного. Русь проведетъ этотъ день, какъ всегда, въ своихъ мелкихъ, обыденныхъ заботахъ: вѣдь „почтила“ же она такъ годовщину смерти Лермонтова. Появятся нѣсколько новыхъ изданій „Полнаго собранія сочиненій В.

*) „Вѣст. Евр.“ № 4-й 1896, стр. 680.

Бѣлинскаго“ на сквернѣйшей бумагѣ, съ грубѣйшими опечатками; ихъ раскупятъ и поставятъ на полку, какъ раскупили и поставили на полку сочиненія Писарева. А затѣмъ?... затѣмъ?... франко-русскія симпатіи, русско-германскіе договоры, новая надоѣдливая повѣсть какой-нибудь г-жи, новый разсказъ съ тѣми же претензіями, тѣмъ же безсиліемъ творчества! Старья пѣсни!... Что на самомъ дѣлѣ случилось пока?

Я знаю, что Бѣлинскій былъ честнымъ, искреннимъ литературнымъ дѣятелемъ и я не только уважаю, но даже люблю его, но все же я знаю не одного, а двухъ Бѣлинскихъ. Одного—по его письмамъ, другого по его сочиненіямъ. И если бы меня спросили, кому я отдаю предпочтеніе, я сказалъ бы, не задумываясь: первому,—т. е. тому, съ кѣмъ познакомилъ г. Пыпинъ въ своей книгѣ „Бѣлинскій и его переписка“, съ кѣмъ продолжаютъ насъ знакомить любители-библіографы. Быть можетъ, такое мнѣніе—ересь, не знаю, но говорю то, что думаю. За связку писемъ Бѣлинскаго къ Боткину я-бы не взялъ половины напечатаннаго нашимъ критикомъ въ „Отеч. Зап.“ и „Современникѣ“ и не взялъ бы потому, что даже въ литературномъ отношеніи „Письма Бѣлинскаго“ безусловно выше его сочиненій. Когда онъ писалъ для журнала, онъ часто исполнялъ обязанность, которая тяготила его самого, и при этомъ постоянно оглядывался на прихожую, не стоитъ ли тамъ какой-нибудь „Эпифанъ Антиохійскій“. Когда онъ писалъ для себя—онъ говорилъ какъ свободный человѣкъ, у котораго что на умѣ, то и на языкѣ. Лучшаго по искренности и краснорѣчію, чѣмъ знаменитое его письмо къ Гоголю *), я и не знаю ничего во всей русской литературѣ, а лучше статей Бѣлинскаго изъ „От. Зап.“ и „Совр.“ я знаю очень многое. Читая сочиненія Бѣлинскаго, я рѣшительно недоумѣваю, почему отъ Шеллинга онъ перешелъ къ Гегелю, отъ Гегеля къ полному индивидуализму, отъ полнаго индивидуализма къ социализму и т. д. Перевернувъ послѣднюю страницу XII-го тома, я остаюсь при самомъ печальномъ интересѣ: человѣкъ не только переходилъ, а перескакивалъ отъ одного міросозерцанія къ другому: то ненавидѣлъ французовъ и восхвалялъ Шиллера, то ненавидѣлъ Шиллера и восторгался французами, то искалъ успокоенія въ мысли, что я „ничто“, то требовалъ для

*) Отрывки напечатаны въ соч. Пыпина „Бѣлинскій и его переписка“, почти полностью въ трудѣ г. Барсукова „Жизнь и труды М. Погодина“ т. IX-й.

этого „ничто“ чуть-ли не всего міра и всей полноты жизни и счастья и т. д. Только письма и даютъ ключъ къ пониманію всего этого, потому что въ нихъ-то нашъ критикъ и раскрывалъ свою душу, пребывавшую въ вѣчномъ томленіи, въ вѣчномъ исканіи недававшейся истины и пока недоступной человѣческому разуму.

Что собственно интересовало Бѣлинскаго? По моему мнѣнію, только одинъ и только единственный вопросъ: „на что же, наконецъ, я имѣю право“? Въ отвѣтахъ на него, въ зависимости отъ обстоятельствъ жизни, постоянно получались самые разнообразные отвѣты. Припомнимъ, что Бѣлинскій былъ пролетаріемъ, *слѣдовательно*, онъ не имѣлъ права ни на что; далѣе, онъ былъ недоучившимся студентомъ, за что, кстати сказать, его хотѣлъ осмѣять даже великій Гоголь, но, къ счастью, устыдился, — *слѣдовательно* — ни на что; наконецъ, онъ былъ литераторомъ, а не „служивымъ“, *слѣдовательно* — ни на что. Словомъ — куда ни кинь — все клинь. *Извинь* шли впечатлѣнія самыя неблагопріятныя. Жизнь ежеминутно твердила человѣку, что ты — нуль и какъ таковой можешь пропасть, не требуя даже, чтобы при этомъ, для тебя „такъ сказать“, трагическомъ обстоятельствѣ, закаркала первая пролетающая мимо ворона. Бѣлинскій, далѣе, сошелся съ кружкомъ интеллигентныхъ баричей Станкевичей и à la Станкевичъ. Что грѣхъ таить — къ нему тамъ относились покровительственно. Необразованный, дикій, хотя и гениальный, жадно искавшій истины и готовый признать за истину всякое самоувѣренно высказанное слово — онъ игралъ самую жалкую роль и не могъ ничего возразить, когда „друзья“, на одномъ изъ своихъ совѣщаній съ шампанскимъ и рейнвейномъ, постановили потребовать, чтобы Бѣлинскій больше ничего не писалъ, такъ какъ у него нѣтъ „эстетическаго вкуса“! Дѣло въ томъ, что „друзья“, обезпеченные наслѣдственнымъ, не понимали, какъ это возможно пускать въ толпу высокія мысли и получать за это гривенники. А Бѣлинскій, которому ѣсть было нечего и который самъ былъ сыномъ этой толпы — все это великолѣпно понималъ, только не могъ по робости ничего возразить противъ дикихъ репликъ гг. столбовыхъ и потомственныхъ. Да и гдѣ ему было, несчастному, отовсюду прогнанному человѣку возражать, когда онъ чувствовалъ себя ежеминутно идущимъ мимо пропасти. Онъ молчалъ или кланялся изъ уваженія къ той высокой премудрости, которая яко-бы таилась въ прочтенныхъ его пріятелями брошюркахъ о Шеллингѣ и Гегелѣ. Наконецъ-то, онъ взялся за умъ и, наконецъ-то прозрѣлъ, что

нечего было кланяться, нечего было хлопотать передь радикалами, жившими на счеть крѣпостного права. „Глупо и пошло—повторять цѣлую жизнь: я неучъ, я дуракъ, я жалокъ и смѣшонъ“,—замѣтилъ самъ Бѣлинскій.

Первыя впечатлѣнія жизни внушили ему, что рѣшительно никакого права на жизнь онъ не имѣеть. Онъ можетъ только слушать и слушаться. Онъ можетъ увлекаться философией Гегеля и восторгаться тѣмъ, что человѣческое „я“—ничто, а вся суть въ „развитіи всемірнаго духа, который каждымъ изъ насъ живущихъ пользуется какъ средствомъ въ цѣляхъ самопознанія“.

„Но, вѣдь, я—человѣкъ“ и этотъ титулъ принадлежитъ мнѣ наравнѣ съ титулами „недоучившагося студента“, „пролетарія“, „литератора“ и проч. Быть человѣкомъ, что же это значитъ, какія права это званіе обуславливаетъ? Бѣлинскій—правильно или неправильно—пришелъ къ тому выводу, что это опошленное званіе обезпечиваетъ за нимъ громаднѣйшія права. Онъ началъ съ вопроса—„Что мнѣ въ томъ,—говорить онъ,—что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно,—и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно?“ Ему и раньше было скверно, но недоставало смѣлости духа, чтобы сознаться въ этомъ. Онъ искалъ успокоенія то въ философіи Гегеля, то въ своей первой полумистической любви къ какой-то аристократической барышнѣ, ничего отъ этой любви не ожидая и не смѣя ожидать. Онъ просто утѣшался тѣмъ, что приноситъ себя въ жертву, что разъ онъ—жертва—идеи или чувства—все равно, не на что, слѣдовательно, и рассчитывать. Но стоило, повторяю, признать себя человѣкомъ, личностью, какъ всѣ эти хитросплетенія обиженнаго и подавленнаго чувства разлетѣлись на тысячу осколковъ. Онъ сталъ требовать и себѣ мѣста на жизненномъ пиру, сталъ ненавидѣть все то, что лишаетъ его этого мѣста. Никогда не умѣя останавливаться на полъ дорогѣ, онъ и это свое настроеніе доводилъ до крайнихъ его предѣловъ. Если раньше онъ мечталъ только о томъ, какъ-бы слиться съ „жизнью всемірнаго духа“ и забыть себя, то теперь это сліяніе представляется ему совершенно бессмысленнымъ. Человѣку нужно другое: „Что до личнаго безсмертія—пишетъ онъ Боткину—какія-бы ни были причины, удаляющія тебя отъ этого вопроса и дѣлающія тебя равнодушнымъ къ нему,—погоди, придетъ

время не то запоешь. Увидишь, что этот вопрос—альфа и омега истины и что въ его рѣшеніи наше искупленіе. Я плюю на философію, которая потому только прошла мимо этого вопроса, что не въ силахъ была рѣшить его“. Потребовать личнаго безсмертія, заинтересоваться этимъ вопросомъ, поставить его во главѣ всѣхъ остальныхъ—значило дѣйствительно проникнуться великимъ значеніемъ слова „я человекъ“. „Для меня—продолжаетъ Бѣлинскій,—теперь *человѣческая личность выше исторіи, выше общества, выше человечества*“... Онъ, разумѣется, разошелся съ Гегелемъ и поклонился его „философскому колпаку“. Ему захотѣлось свободы, самостоятельности, счастья.

Мы знаемъ, чѣмъ кончилъ Бѣлинскій. Въ послѣднихъ своихъ статьяхъ онъ отдаетъ себя въ жертву обществу и въ служеніи этому обществу видитъ единственное назначеніе человѣка. Его безконечно тяготитъ мысль, что такъ много голода и холода на землѣ, и онъ готовъ отказаться отъ самого себя, отдать послѣднюю рубашку, чтобы исправить жизнь и сдѣлать ее болѣе соотвѣтствующей достоинству человѣка. Его оскорбляютъ чужія страданія, ему не даютъ покоя чужія слезы, онъ думаетъ, что человѣкъ имѣетъ полное право на счастье здѣсь на землѣ и что если этого счастья нѣтъ, то виноваты въ этомъ совершенно постороннія обстоятельства, которыя можно и должно устранить. Наивный и страстный, не разъ вздыхаетъ онъ о томъ, что у него нѣтъ *какой-нибудь* сотни милліоновъ, которая дала-бы ему возможность гдѣ-нибудь въ Южной Америкѣ или Австраліи основать колонію и показать людямъ, какъ они могутъ жить почеловѣчески и какъ безмѣрно могутъ быть они счастливы здѣсь на землѣ. Здоровый, свѣжій воздухъ, работа сообразно съ призваніемъ и назначеніемъ, свободная обязательность, любовь безъ страха и опасенія, жизнь полная труда, но не заботъ, не страха передъ завтрашнимъ днемъ—все это мерещилось Бѣлинскому, все это вдохновляло его. Въ этомъ своемъ настроеніи онъ твердо вѣрилъ, что все зло жизни—ничто иное, какъ результатъ невѣжества и глупости, онъ отрицаетъ какіе-бы то ни было законы исторіи, которые будто-бы предопредѣлили страданія человѣка. Онъ ненавидитъ эти страданія, онъ думаетъ, что они не нужны, онъ готовъ схватиться съ самою судьбой во имя правъ человѣка, во имя достоинства личности и гордо, стоя одной ногой въ могилѣ, говорить, что чѣловѣкъ имѣетъ право на все, даже на безсмертіе: счастье на землѣ—его назначеніе...

Но, чтобы нищий, выгнанный студентъ Бѣлинскій дошелъ до такой точки зрѣнія, нужны были обстоятельства. Онъ началъ съ того, что отрекся отъ себя; онъ—по логическому закону отрицанія—пришелъ къ тому, что призналъ себя *всѣмъ* и потребовалъ для себя *всего*; онъ временно увлекся крайностями эгоизма, когда человѣку дѣйствительно море по колѣно и все въ жизни представляется ему какъ-бы подвластнымъ. Это была самозащита, желаніе сказать, что, вѣдь и „я тоже человѣкъ“, который можетъ *все* хотѣть и все имѣть. Это было поворотнымъ пунктомъ міросозерпанія Бѣлинскаго, но, вы ошибетесь, если захотите узнать это по „сочиненіямъ“. Только въ письмахъ вы найдете ясныя подробности этой страшной человѣческой драмы, когда человѣкъ отъ сознанія, что онъ „нуль“, переходитъ, наконецъ, къ сознанію того, что онъ безконечность, т. е. единственное, чѣмъ стоитъ интересоваться въ жизни, о чемъ стоитъ думать, что стоитъ выставлять на видъ.

Какъ все это случилось? Въ недавно вышедшемъ „Сборникѣ общ. любителей россійской словесности за 1896-ый годъ“ мы находимъ любопытныя письма Бѣлинскаго къ его невѣстѣ, и въ этихъ письмахъ мы видимъ изложеніе того душевнаго состоянія, которое довело нашего критика до сознанія, что онъ какъ человѣкъ—*все* и что окружающее, какое-бы оно ни было, должно склониться передъ нимъ и признать его своимъ господиномъ. Пусть тутъ будутъ ошибки, пусть тутъ будутъ преувеличенія, но вотъ вамъ примѣръ, какъ бѣдная, измученная душа, охваченная страстью, поднимается на высоту своего самосознанія и требуетъ, чтобы природа и люди подчинялись ей вѣлѣніямъ.

Эти письма Бѣлинскаго, какъ и всѣ, вообще, его письма—настоящее литературное произведеніе, лучшее, чѣмъ все, что было намъ извѣстно хотя-бы по 12-ти томамъ полного собранія. Въ нихъ передъ нами свободный человѣкъ, а не тотъ, который отъ первой до послѣдней печатной строчки долженъ былъ говорить „эзоповскимъ языкомъ“ въ надеждѣ, что цензура его не пойметъ, а читатель... быть можетъ, и пойметъ. Въ этихъ письмахъ цѣлая философія личности, несмотря ни на что рвущейся къ счастью и жаждущей этого счастья, чего-бы оно ни стоило, чего-бы оно ни обѣщало въ будущемъ*).

*) Подробнѣе объ этомъ см. гл. VIII.

Обстоятельства дѣла слѣдующія. Еще живя въ Москвѣ, Бѣлинскій влюбился въ дѣвушку, очень простую, очень скромную—М. В. Орлову, служившую классной дамой въ одномъ изъ безчисленныхъ французскихъ пансіоновъ того времени. Сначала мысль о женитьбѣ и не приходила ему въ голову: на это не хватало смѣлости. Жениться, „обзавестись своимъ домомъ“, устроить свой собственный уголокъ—все это казалось чуть-ли не преступленіемъ челоуѣку, который выросъ въ мысли, что онъ „обреченный“ и можетъ исполнить свое назначеніе, лишь отдавши себя въ жертву какому-нибудь высшему началу. Женитьба съ одной стороны представлялась чѣмъ-то пошлымъ, съ другой слишкомъ себялюбивымъ дѣломъ, а права на нее Бѣлинскій не находилъ въ собственной душѣ. Вѣдь онъ былъ безконечно совѣстливымъ челоуѣкомъ, который всего стыдился и всего стѣснялся.

Въ „Воспоминаніяхъ“ Головачевой есть трогательный рассказъ о томъ, какъ онъ однажды купилъ себѣ фіалокъ и потомъ извинялся передъ своими знакомыми, не сознавая въ себѣ права даже на такой ничтожный расходъ. Ему все мерещилось, какъ-бы не упрекнули его въ „роскоши“, ему самому было тяжело; такъ какъ онъ считалъ себя живущимъ по чьему-то позволенію и не смѣлъ даже думать о личномъ своемъ счастьѣ.

Жизнь въ Петербургѣ, близкія отношенія къ Герцену отрезвили его. Тонъ его статей мѣняется страшно и рѣзко. Вмѣсто того, что-бы говорить о высшихъ началахъ, которымъ всякій будто-бы обязанъ приносить себя въ жертву, онъ начинаетъ разсуждать съ точки зрѣнія личности, судить обстоятельства и людей по тому, насколько они удовлетворяютъ требованіямъ челоуѣческаго счастья. Гордо и смѣло заговорило въ немъ свое собственное „я“, до той поры пришибленное, забитое. Потребность любви проснулась и безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что это была *страстная* потребность.

„Бѣлинскій,—говоритъ П. Милюковъ,—не признавалъ въ себѣ самъ способности останавливаться на срединѣ; не мудрено, что, какъ всегда, онъ и на этотъ разъ оказался „въ экстремѣ“. То, съ чѣмъ онъ съ гордостью носился нѣсколько лѣтъ, какъ съ „терновымъ вѣнкомъ страданія“,—его нераздѣленная любовь,—теперь уже представлялось ему „просто шутовскимъ колпакомъ съ бубенчиками“, добровольно на себя надѣтымъ. Свою „абсолютность“ онъ готовъ былъ, „еще съ придачею послѣдняго сюртука“, отдать „за ту полноту, съ какой иной офицеръ спѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачетъ

штандартъ! Шиллеръ сдѣлался „лютымъ врагомъ“ Бѣлинскаго, и онъ мстилъ ему „за все то, отъ чего страдалъ во имя его“ прежде. Идеальныхъ женщинъ Шиллера, помимо которыхъ для него прежде „не было женщины“, онъ изъявилъ теперь готовность промѣнять на слесаршу Пошлепкину. „Что такое женщина“, онъ узналъ теперь изъ „Ромео и Юліи“; легкомысленныя лирики Гете и Гейне приводили его въ восторгъ.

„Напрасно влачишь ты въ печали томящей
 Часы драгоценныя жизни летящей
 Затѣмъ, что своею ты милой забыть.
 О, пусть возвратится пора золотая!
 Такъ нѣжно, такъ сладко цѣлуешь вторая,—
 О первой не будешь ты долго грустить!“

Въ Москвѣ онъ проповѣдовалъ, что надо относиться къ жизни просто, не заноситься, брать что подъ руками, и за неимѣніемъ лучшаго пировать, чѣмъ Богъ послалъ. Въ Петербургѣ онъ шелъ дальше и находилъ, что жизнь надо презирать, чтобы умѣть пользоваться ея благами. Все въ жизни относительно; страданія и наслажденія одинаково ступеньки ваютъ передъ великимъ таинствомъ уничтоженія и смерти. Жизнь—ловушка, а мы мыши: инымъ удастся сорвать приманку и выйти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ. Нынѣшній день нашъ... будемъ же пить и веселиться если можемъ“...

Конечно, Бѣлинскій не могъ „пить и веселиться“ послѣ такихъ разсужденій. На днѣ души его копился горькій осадокъ, и сердце шемило глухое ощущеніе внутренней пустоты. „Въ душѣ моей сухость, досада, злость, желчь, апатія, бѣшенство и пр. и пр.“.

„Вѣра въ жизнь, въ духъ, въ дѣйствительность—отложена на неопредѣленный срокъ—до лучшаго времени, а пока въ ней безвѣріе и отчаяніе“. „Душа совсѣмъ расклеилась и похожа на разбитую скрипку—однѣ щепки“. „Собери и клей—скрипка опять заиграетъ, и, можетъ быть, еще лучше,—но пока однѣ щепки“. „Плохо, братъ, такъ плохо, что незачѣмъ и жить. Въ душѣ—холодъ, апатія, лѣнь непобѣдимая... И не люблю, и не страдаю... Надежды на счастье нѣтъ... не для меня счастье. Отъ него отказалась ужъ и услужливая моя фантазія“. Эти и подобныя признанія постоянно вырываются у Бѣлинскаго въ письмахъ къ Боткину 1839—40 годовъ.

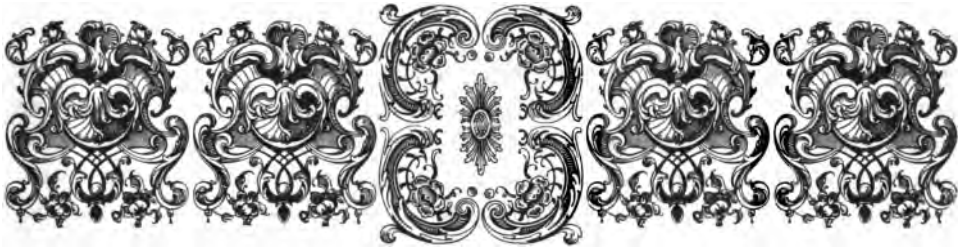
Но отрицаніе личности, самого себя, должно было чѣмъ-нибудь окончиться. Надо было признать себя, заявить соб-

ственные права на жизнь. Бѣлинскій полюбилъ, Бѣлинскій женился. Онъ самъ смотрѣлъ на это, какъ на вызовъ по отношеніи къ жизни, но ему хотѣлось заявить, что я, человекъ—имѣю право на все. „Не пугайте,—говоритъ онъ,—меня ни бѣдностью, ни лишеніями. Я боюсь ихъ, но не хочу ихъ бояться. Я знаю, что супружеская жизнь, въ обыкновенныхъ своихъ условіяхъ, грозитъ необезпеченному человѣку многочисленными бѣдствіями. Но,—что-бы тамъ ни было—я хочу испытать это, зная напередъ, что меня ожидаетъ, и допуская, что это „напередъ“ будетъ самое скверное,—я все-же пойду на испытаніе и пусть я погибну; все-же самъ себѣ скажу въ своей погибели, что я былъ человекъ. Что за бѣда, что я погибъ? Мало-ли погибаютъ? Погибаютъ милліоны. И быть можетъ, я долженъ погибнуть. Но „человѣческое“ не отнимается отъ меня. Красивъ я или безобразенъ, уменъ или глупъ, честенъ или подлъ, я, какъ человекъ, имѣю право на всю полноту бытія“. И вотъ, въ перепискѣ Бѣлинскаго съ его невѣстой, мы видимъ эту рвущуюся къ свѣту и счастью душу, побѣдившую сознаниемъ своего собственнаго достоинства всѣ препятствія жизни.

Онъ полюбилъ; онъ женился. Что собственно проявилось въ этомъ фактѣ? Отъ полноты самоуничтоженія онъ перешелъ къ полнотѣ самодовѣренности. Читатель можетъ спросить себя, почему все сіе важно. Важно-же это потому, что какъ-бы вы ни смотрѣли на исторію, кромѣ пробужденія личности, кромѣ того, что сознание своего собственнаго человѣческаго достоинства, которое на самомъ дѣлѣ имѣетъ право на все—нѣтъ ничего.

Выводъ изъ сказаннаго выше ясенъ. По моему личному мнѣнію, нѣтъ никакой возможности знать Бѣлинскаго, не зная его путемъ этихъ превосходныхъ и искреннихъ признаній взволнованной души,—писемъ. Въ письмахъ, именно, и заключается вся исторія его личной жизни, которая объясняетъ намъ переходъ его отъ одного состоянія къ другому. Въ этихъ письмахъ онъ является передъ нами совершенно свободной человѣческой личностью. А гдѣ вы найдете больше силъ, какъ не въ полномъ довѣрїи къ себѣ, какъ не въ возможности открыть свою душу, всю какъ она есть, передъ другимъ и сказать: „я хочу“?





Глава I.

Я начну съ лучшаго, что имѣется у меня подъ рукой—съ характеристики Бѣлинскаго, принадлежащей А. И. Герцену.

«Бѣлинскій, самая дѣятельная, порывистая, діалектическая—страстная натура бойца проповѣдывалъ тогда (1840 г.) индѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ нравственнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, чего такъ страшатся люди слабые и несамобытные.

— Знаете-ли,—сказалъ я ему однажды,—что съ вашей точки зрѣнія вы можете доказать, что и чудовищный произволъ разуменъ и долженъ существовать.

— Безъ всякаго сомнѣнія,—отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ мнѣ «Бородинскую годовщину» Пушкина.

«Этого,—разсказывалъ Герценъ,—я не могъ вынести и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала на другихъ и кругъ распадался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ примирить, объяснить, договорить, но настоящаго мира не было. Бѣлинскій раздраженный и недовольный уѣхалъ въ Петербургъ и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую такъ и назвалъ «Бородинской Годовщиной».

«Я прервалъ съ нимъ тогда всё отношенія. Бакунинъ хотя и спорилъ горячо, но сталъ призадумываться. Бѣлинскій упрекалъ его въ слабости, въ уступкахъ и доходилъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и почитателей. Хоръ былъ за Бѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысока, гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отсталыми».

... «Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда въ Петербургъ,—продолжаетъ Герценъ,—въ 1840 году пріѣхали и мы туда. Я не шелъ къ нему. Огареву моя ссора съ Бѣлинскимъ была очень прискорбна; онъ понималъ что воззрѣнія Бѣлинскаго были переходной болѣзнью, да и я понималъ, но, Огаревъ былъ добръе. Наконецъ онъ натянулъ своими письмами свиданіе. Наша

встрѣча была холодна, сначала непріятна, натянута, но ни Б., ни я мы не были большіе дипломаты; въ продолженіе ничтожнаго разговора я помянулъ статью о бородинской годовщинѣ. Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и, всныхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «Ну, слава Богу, договорились-же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ, какъ начать... ваша взяла; три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ доводы. Забудете этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на-дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочеть-ли онъ со мной познакомиться?— Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ?—спросилъ его на ухо офицеръ.— Да.— Нѣтъ, покорно благодарю, отвѣчалъ онъ. Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, пожалъ руку офицеру и сказалъ ему: «вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю»... Чего же вамъ больше? Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго мы шли съ нимъ рука объ руку».

... Бѣлинскій, какъ слѣдовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей рѣчи, со всей неистощимой энергіей на свое воззрѣніе. Положеніе многихъ изъ его пріятелей было не очень завидное, plus royalistes que le roi—они съ мужествомъ несчастія старались отстаивать свои теоріи, не отказываясь впрочемъ отъ почетнаго перемирія.

«Всѣ люди дѣльные и живые перешли на сторону Бѣлинскаго, только формалисты и педанты отделились; одни изъ нихъ дошли до того нѣмецкаго самоубійства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякій жизненный интересъ и сами потерялись безъ вѣсти.

«Другіе сдѣлались православными славянофилами. Какъ сочетаніе Гоголя съ Стефаномъ Яворскимъ не кажется страннымъ, но оно возможно, чѣмъ думаютъ.

«Бѣлинскій вовсе не оставилъ вмѣстѣ съ одностороннимъ пониманіемъ Гегеля его философію. Какъ разъ наоборотъ. Отсюда-то и начинается его живое, мѣткое оригинальное сочетаніе идей философскихъ съ передовыми. Я считаю Бѣлинскаго однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ Николаевского періода. Послѣ либерализма, кой какъ пережившаго 1825-ый годъ въ Полевомъ, послѣ мрачной статьи Чаадаева, является выстраданное жалкое отрицаніе и страстное вмѣшательство во всѣ вопросы Бѣлинскаго. Въ рядѣ критическихъ статей, онъ кстати и не кстати касается всего, вездѣ вѣрный своей ненависти къ авторитетамъ, часто поднимаясь до поэтическаго одушевленія. Разбираемая книга служила ему по большей части матеріальной точкой отправления, на подорогѣ онъ бросалъ ее и впадался въ какой нибудь вопросъ. Ему достаточно стихъ:

Родные люди вотъ какіе —

въ Онѣгинѣ чтобы вызвать къ суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношенія родства. Кто не помнитъ его статей о Тарантасѣ, о Парашѣ Тургенева, о Державинѣ, о Мочаловѣ, о Гамлетѣ? Какая вѣрность своимъ началамъ, какая неустрашимая послѣдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какая смѣлость въ нападкахъ на литературную ари-

стократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не антикритикой—такъ доносомъ.

«Бѣлинскій стегалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцевъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и нѣжности; онъ отдавалъ на посмѣяніе ихъ дорогія, *задушевныя* мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цвѣтушія подъ сѣдинами, ихъ наивность, прикрытую лентой!

«Какъ-же они за то его и ненавидѣли!

«Славянофилы съ своей стороны начали официально существовать съ войны противъ Бѣлинскаго; онъ ихъ додразнилъ до мурмолокъ и зипуновъ.

«Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались въ Москвѣ и Петербургѣ съ 25-го числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены-ли Отечественныя записки, тяжелый № рвали изъ рукъ въ руки—«есть Бѣлинскаго статья»? Есть,—и она поглащалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, *уважений* какъ не бывало.

Не даромъ Скобелевъ, комендантъ петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бѣлинскому, встрѣчаясь на Невскомъ проспектѣ: «Когда-же къ намъ, у меня совсѣмъ готовъ тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу».

Я въ другой книгѣ говорилъ о развитіи Бѣлинскаго и объ его литературной дѣятельности, здѣсь скажу нѣсколько словъ о немъ самомъ.

Бѣлинскій былъ очень застѣнчивъ и вообще терялся въ незнакомомъ обществѣ или въ очень многочисленномъ; онъ зналъ это, и желая скрыть, дѣлалъ пресмѣшныя вещи. К. уговорилъ его ѣхать къ одной дамѣ; по мѣрѣ приближенія къ ея дому, Бѣлинскій все становился мрачнѣе, спрашивалъ, нельзя-ли ѣхать въ другой день, говорилъ о головной боли. К., зная его, не принималъ никакихъ отговорокъ. Когда они приѣхали, Бѣлинскій, сходя съ саней, пустился было бѣжать, но К. поймалъ его за шинель и повелъ представлять дамѣ.

Онъ являлся иногда на литературно-дипломатическіе вечера князя Одоевскаго. Тамъ толпились люди, ничего не имѣвшіе общаго, кромѣ нѣкотораго страха и отвращенія другъ отъ друга; тамъ бывали посольскіе чиновники и археологъ Сахаровъ, живописцы и А. Мейендорфъ, статскіе совѣтники изъ образованныхъ, Іоакимъ Бичуринъ изъ Пекина, полу-жандармы и полу-литераторы, совсѣмъ жандармы и вовсе не литераторы. А. К. домолчался тамъ до того, что генералы принимали его за авторитетъ. Хозяйка дома съ внутренней горестью смотрѣла на подлые вкусы своего мужа и уступала имъ, такъ какъ Людовикъ Филиппъ въ началѣ своего царствованія, снисходя къ своимъ избирателямъ, приглашалъ на балы въ Тюльери цѣлые *rez des chaussées* подтяжныхъ мастеровъ, москательныхъ лавочниковъ, башмачниковъ и другихъ почтенныхъ гражданъ.

Бѣлинскій былъ совершенно потерянь на этихъ вечерахъ, между какимъ-нибудь саксонскимъ посланникомъ, не понимавшимъ ни слова по русски и какимъ-

нибудь чиновникомъ III отдѣленія, понимавшимъ даже тѣ слова, которыя умалчивались. Онъ обыкновенно занемогалъ потомъ на два, на три дня и проклиналъ того, кто уговаривалъ его ѣхать.

Разъ въ субботу, наканунѣ новаго года, хозяинъ вздумалъ варить жженку *en petit comité*, когда главные гости разѣхались. Бѣлинскій непремѣнно бы ушелъ, но баррикада мебели мѣшала ему, онъ какъ-то забился въ уголъ и передъ нимъ поставили небольшой столикъ съ виномъ и стаканами. Жуковскій въ бѣлыхъ форменныхъ штанахъ съ золотымъ «позументомъ» сѣлъ наискось противъ него. Долго терпѣлъ Бѣлинскій, но не видя улучшенія своей судьбы онъ сталъ нѣсколько подвигать столъ; столъ сначала уступалъ, потомъ качнулся и грохнулъ на земь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Онъ вскочилъ, красное вино струилось по его панталонамъ; сдѣлался гвалтъ, слуга бросился съ салфеткой домарать виномъ остальные части панталонъ, другой подбиралъ разбитыя рюмки.... Во время этой суматохи, Бѣлинскій исчезъ и, близкій къ кончинѣ, пѣшкомъ прибѣжалъ домой.

Милый Бѣлинскій! какъ его долго сердили и разстраивали подобныя происшествія, какъ онъ объ нихъ вспоминалъ съ ужасомъ, не улыбаясь, а похаживая по комнатѣ и покачивая головой.

Но въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная, гладиаторская натура! да, это былъ сильный боецъ! онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной позвѣй развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла; бѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!

Притѣсняемый денежно литературными подрядчиками, притѣсняемый нравственно цензурой, окруженный въ Петербургѣ людьми мало симпатичными, снѣдаемый болѣзнію, для которой балтійскій климатъ былъ убійствененъ, Бѣлинскій становился раздражительнѣе и раздражительнѣе. Онъ чуждался постороннихъ, былъ до дикости застѣнчивъ и иногда недѣли цѣлыя проводилъ въ мрачномъ бездѣйствіи. Тутъ редакція посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литераторъ со скрежетомъ зубовъ брался за перо и писалъ тѣ ядовитыя статьи, трепещущія отъ негодованія, тѣ обвинительные акты, которые такъ поражали читателей.

Часто выбившись изъ силъ, приходилъ онъ отдыхать къ намъ, лежа на полу съ двухлѣтнимъ ребенкомъ, онъ игралъ съ нимъ цѣлые часы. Пока мы были втроемъ, дѣло шло какъ нельзя лучше, но при звукѣ колокольчика,

судорожная гримаса пробѣгала по лицу его и онъ безпокойно оглядывался и искалъ шляпу; потомъ оставался, по славянской слабости. Тутъ, одно слово, замѣчаніе, сказанное не по немъ, приводило къ самымъ оригинальнымъ сценамъ и спорамъ...

Разъ приходитъ онъ обѣдать къ одному литератору на страстной недѣлѣ, подають постныя блюда. Давно-ли, спрашиваетъ онъ, вы сдѣлались такъ богомольны?—Мы ѣдимъ, отвѣчаетъ литераторъ, постное просто на просто для людей.—*Для людей?*—спросилъ Бѣлинскій и поблѣднѣлъ—для людей? повторилъ онъ и бросилъ свое мѣсто. Гдѣ ваши люди? я имъ скажу, что они обмануты, всякій открытый порокъ лучше и человѣчественнѣе этого презрѣнія къ слабому и необразованному, этого лицемѣрія, поддерживающаго невѣжество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну васъ доску со всѣми плантаторами. Прощайте, я не ѣмъ постнаго для поученія, у меня нѣтъ *людей!*

Въ числѣ закоснѣлѣйшихъ нѣмцевъ изъ русскихъ, былъ одинъ магистръ изъ нашего университета, недавно пріѣхавшій изъ Берлина; добрый человекъ въ синихъ очкахъ, чопорный и приличный, онъ остановился на всегда, разстроивъ, ослабивъ свои способности философіей и филологіей. Доктринеръ и нѣсколько педантъ, онъ любилъ поучительно наставлять. Разъ на литературной вечеринкѣ у романиста, наблюдавшаго для своихъ людей посты, магистръ проповѣдывалъ какую-то чушь *honnête et modérée*. Бѣлинскій лежалъ въ углу на кушеткѣ и когда я проходилъ мимо, онъ меня взялъ за руку и сказалъ:

«Слышалъ-ли ты, что этотъ извергъ вретъ? У меня давно языкъ чешется, да что-то грудь болитъ и народу много, будь отцомъ роднымъ, одурачь какъ-нибудь, прихлопни его, убей какъ-нибудь насмѣшкой, ты это лучше умѣешь—ну утѣшь».

Я расхохотался и отвѣтилъ Бѣлинскому, что онъ меня натравливаетъ какъ бульдога на крысъ. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышалъ, что онъ говорить.

Къ концу вечера магистръ въ синихъ очкахъ, побранивши Кольцова за то, что онъ оставилъ народный костюмъ, вдругъ сталъ говорить о знаменитомъ письмѣ Чаадаева и заключилъ пошлую рѣчь, сказанную тѣмъ докторальнымъ тономъ, который самъ по себѣ вызываетъ насмѣшку, слѣдующими словами: «Какъ бы то ни было, я считаю его поступокъ презрительнымъ, гнуснымъ, я не уважаю такого человекъ».

Въ комнатѣ былъ одинъ человекъ, близкій съ Чаадаевымъ, это я. О Чаадаевѣ я буду еще много говорить, я его всегда любилъ и уважалъ, и былъ любимъ имъ; мнѣ казалось неприличнымъ пропустить дикое замѣчаніе. Я сухо спросилъ его, полагаетъ ли онъ, что Чаадаевъ писалъ свою статью изъ видовъ или неоткровенно.

— Совсѣмъ нѣтъ—отвѣчалъ магистръ.

На этомъ завязался непріятный разговоръ, я ему доказывалъ, что эпитеты гнусный, презрительный—*гнусны и презрительны*, относясь къ человекъку смѣло высказавшему свое мнѣніе и пострадавшему за него. Онъ мнѣ толковалъ

о цѣлости народа, о единствѣ отечества, о преступленіи разрушать это единство, о святыняхъ, до которыхъ нельзя касаться.

Вдругъ мою рѣчь подкосилъ Бѣлинскій, онъ вскочилъ съ своего дивана, подошелъ ко мнѣ уже блѣдный какъ полотно и ударивъ меня по плечу сказалъ: Вотъ они высказались—инквизиторы, цензоры—на веревочкѣ мысль водить... и пошелъ, и пошелъ. Съ грознымъ вдохновеніемъ говорилъ онъ, приправляя серьезныя слова убійственными колкостями. «Что за обидчивость такая, палками бьютъ, не обижаемся, въ Сибирь посылаютъ, не обижаемся, а тутъ Чаадаевъ видите зацѣпилъ народную честь, не смѣй говорить; рѣчь—дерзость, лакей никогда не долженъ говорить! Отчего же въ странахъ больше образованныхъ, гдѣ кажется чувствительность тоже должна быть развитѣе чѣмъ въ Костромѣ, да Калугѣ — не обижаются словами?»

— Въ образованныхъ странахъ, сказалъ съ неподражаемымъ самодовольствомъ магистръ, есть тюрьмы, въ которыя запираютъ безумныхъ оскорбляющихъ то, что цѣлый народъ чтить... и прекрасно дѣлаютъ.

Бѣлинскій выросъ, онъ былъ страшенъ, великъ въ эту минуту, скрестивъ на больной груди руки и глядя прямо на магистра, онъ отвѣтилъ глухимъ голосомъ:

— А въ еще болѣе образованныхъ странахъ бываетъ гильотина, которой казнятъ тѣхъ, которые находятъ это прекраснымъ.

Сказавши это, онъ бросился на кресло изнеможенный и замолчалъ. При словѣ гильотина хозяинъ поблѣднѣлъ, гости обезпокоились, сдѣлалась пауза. Магистръ былъ уничтоженъ, но именно въ эти минуты самолюбіе людское и закусываетъ удила. И Тургеневъ совѣтуетъ человѣку, когда онъ такъ загѣшется въ спорѣ, что самому сдѣлается страшно, провести разъ десять языкомъ внутри рта, прежде чѣмъ вымолвить слово.

Магистръ, не зная этого домашняго средства, продолжалъ пороть вялые пустяки, обращаясь больше къ другимъ, чѣмъ къ Бѣлинскому. «Не смотря на вашу нетерпимость, сказалъ онъ наконецъ, я увѣренъ, что вы согласитесь съ однимъ...»

— Нѣтъ—отвѣчалъ Бѣлинскій,—что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни съ чѣмъ!

Всѣ разсмѣялись и пошли ужинать. Магистръ схватилъ шляпу и уѣхалъ.

... Лишенія и страданія скоро совсѣмъ подточили болѣзненный организмъ Бѣлинскаго. Лицо его, особенно мышцы около губъ его, печально остановившійся взоръ равно говорили о сильной работѣ духа и о быстромъ разложеніи тѣла.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ его въ Парижѣ осенью 1847 г.; онъ былъ очень плохъ, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергія и ярко свѣтилась своимъ догорающимъ огнемъ. Въ такую минуту написалъ онъ свое письмо къ Гоголю.

Вѣсть о февральской революціи еще застала его въ живыхъ, онъ умеръ, принимая зарево ея за занимающееся утро!

Къ этой блестящей и художественной характеристикѣ Бѣлинскаго мало что прибавили другіе, люди знавшіе его.

Тургеневъ оставилъ намъ небольшія и лишь мѣстами интересныя воспоминанія о личности и умственной физиономіи великаго критика. Передъ нами—въ этихъ воспоминаніяхъ Бѣлинскій, человѣкъ огромнаго непреодолимаго стремленія и порыва, часто наивнаго, исполненнаго даже нѣкоторой отчаянности. Есть что-то дѣтское въ его увлеченіяхъ и это разумѣется не могло нравиться Ив. Серг. Тургеневу — человѣку совершенно другого склада ума, склоннаго къ созерцанію и меланхоли. Справедливо замѣчено, что въ воспоминаніяхъ Тургенева «вы узнаете Бѣлинскаго, хотя видите при этомъ, что художникъ *не отдалъ* полной справедливости его душевной красотѣ, его проповѣдническому восторгу и слишкомъ легко отнесся къ тому, что составляло для Бѣлинскаго предметъ величайшихъ волненій,—къ тѣмъ самымъ вопросамъ философскаго и эстетическаго содержанія, которые въ его литературной дѣятельности имѣли такое огромное значеніе». Не отдалъ полной справедливости и не могъ отдать, потому что натуры были слишкомъ различныя. Одна утонченная; барская, самоувѣренная, уже имѣющая нѣчто готовое для себя и въ себѣ съ самой минуты вступленія въ свѣтъ Божій, другая—робкая, недовѣрчивая, живущая одними порывами и обреченная на вѣчное исканіе. Впрочемъ, и въ воспоминаніяхъ Тургенева попадаетъ не мало искреннихъ и прочувствованныхъ страницъ.

«Возвратившись въ Петербургъ изъ Спасскаго, пишетъ онъ напр., я направился къ Бѣлинскому и знакомство наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву — жениться и потомъ поселился на дачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Парголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Бѣлинскаго. Я полюбилъ его искренне и глубоко; онъ благоволилъ ко мнѣ...

«Когда я познакомился съ нимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ примѣнялъ ее не однажды, но дѣйствительно и вполнѣ она примѣнялась къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучали его, лишали его сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и ночью бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему,—онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ вставалъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно капляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную накануне бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два, три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ; сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было не легко.—

«Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога,—сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ,—а вы хотите ѣсть!»...

Сознаюсь, — продолжаетъ Тургеневъ, — что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло-бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой необязанн смѣшного улыбка можетъ придти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія.

«Лишь добившись удовлетворившаго его въ то время результата, Бѣлинскій успокоился и, отложивъ размышленія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратился къ ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мною онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ втеченіе двухъ семестровъ занимался гегелевскою философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы.»

Самые свѣжіе и послѣдніе выводы, но именно они-то больше всего интересовали Бѣлинскаго, потому что онъ цѣлыми годами ждалъ слова, которое наконецъ-то разрѣшитъ всѣ его сомнѣнія и выведетъ его на настоящую дорогу, такъ какъ самъ видѣлъ, что постоянно колеблется и то и дѣло принимаетъ призраки за дѣйствительность. Онъ сошелся съ Тургеневымъ прежде всего на почвѣ чисто умственныхъ интеллигентныхъ интересовъ и послѣдній, разумѣется, имѣлъ полную возможность опредѣлить его умственный кругозоръ. Этотъ кругозоръ можно опредѣлить такъ: «свѣдѣнія Бѣлинскаго были не обширны, онъ зналъ мало. Бѣдность, окружавшая его съ дѣтства, раннія болѣзни, плохое воспитаніе, а потомъ тяжелая необходимость спѣшно работать изъ-за куска хлѣба помѣшали ему приобрести широкое и правильное образованіе. Хорошо онъ зналъ только русскую литературу, ея современное положеніе, ходъ ея историческаго развитія». Но странно, всѣ эти недостатки послужили лишь на пользу его влиянію.

«Бѣлинскій былъ тѣмъ, что я позволяю себѣ назвать *центральною натурою*, — продолжаетъ Тургеневъ, — онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполне и съ хорошихъ и съ дурныхъ его сторонъ. Ученый человѣкъ не могъ бы быть въ сороковыхъ годахъ такой русской центральной натурой: онъ не вполне соответствовалъ бы той средѣ, на которую пришлось бы ему дѣйствовать, у него и у ней были различныя интересы, гармоніи бы не было и, вѣроятно, не было бы обоюднаго пониманія.»

Мысль Тургенева, высказанная въ этихъ строкахъ, вѣрна и глубока. Рядомъ съ Бѣлинскимъ на томъ же литературномъ поприщѣ дѣйствовали люди болѣе образованные, напр. Надеждинъ, Сенковскій, князь Вяземскій—но они не имѣли никакого историческаго значенія. Они стояли слишкомъ высоко надъ современниками, пожалуй презирали ихъ и какъ бы шутя поучали ихъ, шутя веселили. Во всякомъ случаѣ, того полнаго страсти порыва знать и понимать, которымъ былъ воодушевленъ Бѣлинскій, у нихъ не было, а этотъ

порывъ въ 40-хъ годахъ составлялъ сущность зарождавшейся интеллигентной жизни, и въ Бѣлинскомъ онъ нашель своего выразителя и не просто выразителя, а такого, который по плечу всякому, который самъ жадно стремится знать и понимать.

По научному своему развитію Сенковскій превосходилъ не только Бѣлинскаго, но и большую часть писателей того времени и, однако, положительнаго значенія онъ не могъ имѣть въ процессѣ нашего общественнаго самосознанія. Онъ былъ ученъ, блестящъ, остроумень, игривъ, но у него не было критическаго чутья, и вся его литературная дѣятельность, въ которой было столько брезгливаго презрѣнія къ людямъ, свелась на какое-то безцѣльное, никому ненужное шутовство бойкаго и хлесткаго фельетониста. «Мнѣ кажется, замѣчаютъ Тургеневъ, что самый его скептицизмъ, его вычурность и гадливость происходили отъ того, что у него, какъ у человѣка ученаго, специалиста, и цѣли и симпатіи были другія, чѣмъ у массы общества». Но Бѣлинскій, значеніе котораго въ русской литературѣ напоминаетъ собою значеніе Лессинга въ нѣмецкой, могъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ и безъ большого запаса научныхъ знаній. Онъ смѣшивалъ старшаго Питта съ его сыномъ, не хорошо разбирался въ вопросахъ философскихъ, невѣрно понялъ одинъ изъ важнѣйшихъ принциповъ гегелевской метафизики — что за бѣда: мы всѣ учились по немногу, чему нибудь и какъ нибудь! Для того дѣла, для котораго онъ былъ призванъ, для того, что ему предстояло исполнить, онъ зналъ достаточно. Испытавъ на самомъ себѣ всю горечь невѣжества, онъ тѣмъ страстнѣе и искреннѣе могъ бороться за просвѣщеніе русскаго общества. «Нѣмецъ старается исправить недостатки своего народа, убѣдившись размышленіемъ въ ихъ вредѣ, русскій еще долго самъ будетъ болѣть ими».

Читатель слышалъ стонъ боли въ статьяхъ Бѣлинскаго. Передъ нимъ былъ не ученый, разбирающій вопросъ о пользѣ просвѣщенія и вредѣ невѣжества, — не сатирикъ какъ Сенковскій, для котораго вся жизнь ничто иное какъ комедія человѣческой глупости, передъ нимъ человѣкъ самъ выстрадавшій не меньше всякаго другого отъ глупости, невѣжества и пошлости, выравшійся наконецъ къ свѣту и въ радостномъ восторгѣ говорившій ему: «свѣтъ лучше тьмы, иди за мной!» Какъ было не идти, когда звала вдохновенная рѣчь, когда за каждымъ словомъ слышалось біеніе сердца, когда рука умирающаго все-же звала къ жизни, правдѣ, общественности.

Мимоходомъ сдѣлаю однако маленькую оговорку. Мнѣ кажется, что Тургеневъ слишкомъ уже подчеркиваетъ малое образованіе Бѣлинскаго, считая его не только «характеристическимъ признакомъ, но даже необходимостью». Конечно, не велико было это образованіе, на мѣдные гроши купленное, приобрѣтенное главнымъ образомъ изъ случайныхъ книгъ и товарищескихъ разговоровъ. Но не надо забывать ни на минуту, что Бѣлинскій — натура избранная, такая т. е., которая обладаетъ особенной, безконечно цѣнной способностью — *угадыванья*. Тамъ гдѣ другому нужны были мѣсяца и недѣли, чтобы понять мысль и систему, Бѣлинскому было достаточно одной секунды. Онъ обладалъ удивительной способ-

ностью схватывать смысл стройнаго цѣлаго по однимъ намекамъ хотя-бы даже незначительнымъ. И эти намеки никогда не пропадали даромъ. Творческая голова Бѣлинскаго вращивала ихъ, распространяла, доводила до художественной полноты. Мысли, системы, міросозерцанія онъ ловилъ на лету и ничто не пропадало для него даромъ. Да и некогда было корпѣть ему надъ книгами и брошюрами. Какъ Петру Великому ему изъ ничего приходилось создать *литературу!*

И съ этой оговоркой я вполнѣ принимаю замѣчаніе Тургенева, что большое (тѣмъ болѣе специальное) образованіе, было-бы для Бѣлинскаго непосильнымъ бременемъ.

Еще одно мѣсто въ воспоминаніяхъ Тургенева заслуживаетъ нашего вниманія. Тургеневъ приводитъ отрывокъ собственной лекціи о Пушкинѣ прочтенной, въ 1859 году. Желая изобразить характеръ эпохи 30-хъ и 40-хъ годовъ, ораторъ долженъ былъ упомянуть, конечно, и о Бѣлинскомъ — и вотъ что было имъ между прочимъ сказано тогда объ основномъ принципѣ его дѣятельности. «Имя этому принципу, говоритъ Тургеневъ, идеализмъ. Бѣлинскій былъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ слова. Въ немъ жили преданія того московскаго кружка, который существовалъ въ началѣ 30-хъ годовъ и слѣды котораго такъ замѣтны еще донинѣ. Вотъ откуда Бѣлинскій вынесъ тѣ убѣжденія, которыя не покидали его до самой смерти, тотъ *идеаль*, которому онъ служилъ. Во имя этого идеала провозглашалъ Бѣлинскій художественное значеніе Пушкина и указывалъ на недостатки въ немъ гражданскимъ началамъ. Во имя этого идеала привѣтствовалъ онъ и Лермонтовскій протестъ и Гоголевскую сатиру. Во имя этого же идеала сокрушалъ онъ старые авторитеты, наши такъ называемыя славы, на которыя онъ не имѣлъ ни возможности, ни охоты взглянуть съ исторической точки зрѣнія».

Имя этому идеалу—*свобода* личности.

Достоевскій, по крайней своей нервозности, не оставилъ намъ цѣльнаго и сколько нибудь опредѣленнаго портрета Бѣлинскаго, котораго впрочемъ онъ и видѣлъ всего нѣсколько разъ. Иногда, въ зависимости отъ настроенія, Бѣлинскій представлялся ему чуть не святымъ, иногда онъ готовъ былъ проклинать его и призывать на его усталую голову всѣ грома небесные. Передамъ впрочемъ сначала фактическій матеріалъ изъ отношеній этихъ двухъ великихъ людей. Матеріалъ этотъ надъ многими заставляетъ задуматься и прежде всего надъ вопросомъ: «какъ *они* не сошлись?»

Прочтя «Бѣдные люди», Бѣлинскій сказалъ Некрасову: «Приведите мнѣ Достоевскаго, приведите его скорѣе», и когда тотъ привелъ, то встрѣтилъ его вначалѣ (минуты двѣ) важно и сдержанно, а потомъ вдругъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: «Да вы понимаете-ли сами-то, что вы это такое написали? Вы только непосредственнымъ чувствомъ, какъ художникъ, это могли

описать. Но осмыслили-ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали! Не можетъ быть, чтобы вы въ 20 лѣтъ ужъ это понимали... Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ, вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почестъ отъ приниженности, и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу... Вѣдь это ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали!.. Цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ ему, и будете великимъ писателемъ»... Бѣлинскій очевидно увидѣлъ въ «Бѣдныхъ людяхъ» подтвержденіе своей любимой мысли, что ненормальныя общественныя условія коверкають, ломають, обезчеловѣчивають челоуѣка, доводя его до такого ничтожества, когда онъ теряетъ образъ и подобіе!.. Талантомъ Достоевскаго, самимъ Достоевскимъ онъ увлекся до послѣдней степени. Достоевскій отвѣчалъ ему тѣмъ-же. Выйдя отъ Бѣлинскаго, онъ остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день и стыдливо думалъ про себя: «и неужели вправду я такъ великъ»? Имъ овладѣлъ какой-то робкій восторгъ: «О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ-же прекраснымъ, какъ они; пребуду вѣренъ! О, какъ я легкомысленъ, и если-бы Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы! Впрочемъ этихъ людей только и есть въ Россіи, они—одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ... Мы побѣдимъ, о, къ нимъ, съ ними»!!!

Достоевскій попалъ конечно въ избранный литературный кружокъ, кружокъ дѣйствительно лучшихъ людей того времени. Но—увы—не надолго: Почему?—это вопросъ трудный, но миновать его нельзя. Вотъ что рассказываетъ Панаева Головачева въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ объ этомъ періодѣ жизни Достоевскаго.

„Достоевскій пришелъ къ намъ въ первый разъ вечеромъ съ Некрасовымъ и Григоровичемъ, который только-что вступалъ на литературное поприще. Съ перваго взгляда на Достоевскаго видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой челоуѣкъ. Онъ былъ худенькій, маленькій, блѣлокурый, съ болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, небольшіе сѣрые глаза его какъ-то тревожно переходили съ предмета на предметъ, а блѣдныя губы нервно передергивались. Почти всѣ присутствовавшіе тогда у насъ уже были ему знакомы, но онъ, видимо, былъ сконфуженъ и не вмѣшивался въ общій разговоръ. Всѣ старались занять его, чтобы уничтожить его застѣнчивость и показать ему, что онъ членъ кружка. Достоевскій часто приходилъ вечеромъ къ намъ; застѣнчивость его прошла, онъ даже высказывалъ какую-то задорность, со всѣми заводилъ споры, очевидно, изъ одного упрямства, притиворѣчилъ другимъ. По молодости и нервности, онъ не умѣлъ владѣть собой и слишкомъ явно высказывалъ свое авторское самолюбіе и самомнѣніе о писательскомъ талантѣ. Ошеломленный неожиданнымъ, блистательнымъ первымъ своимъ шагомъ на литературномъ поприщѣ и засыпанный похвалами компетентныхъ людей

въ литературѣ, онъ какъ впечатлительный человѣкъ, не могъ скрыть своей гордости передъ другими молодыми литераторами, которые скромно выступали на это поприще съ своими произведениями. Съ появленіемъ молодыхъ литераторовъ въ кружкѣ, бѣда была понасть имъ на зубокъ, а Достоевскій, какъ нарочно, давалъ къ этому поводъ, показывая свою раздражительность и высокомернымъ тономъ, что онъ несравненно выше ихъ по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбіе уколами въ разговорахъ; особенно на это былъ мастеръ Тургеневъ,—онъ нарочно втягивалъ въ споръ Достоевскаго и доводилъ его до высшей степени раздраженія. Тотъ лѣзъ на стѣну и защищалъ съ азартомъ иногда нелѣпые взгляды на вещи, которые сболтнулъ въ горячности, а Тургеневъ ихъ подхватывалъ и потѣшался. У Достоевскаго явилась страшная подозрительность, вслѣдствіе того, что одинъ пріятель передавалъ ему все, что говорилось въ кружкѣ лично о немъ и о его «Бѣдныхъ людяхъ». Пріятель Достоевскаго, какъ говорятъ, изъ любви къ искусству, передавалъ всѣмъ, кто о комъ что сказалъ. Достоевскій заподозрилъ всѣхъ въ зависти къ его таланту и почти въ каждомъ словѣ, сказанномъ безъ всякаго умысла, находилъ, что желаютъ умалить его произведение, нанести ему обиду; онъ приходилъ уже къ намъ съ накопившей злобой, придирался къ словамъ, чтобы излить на завистниковъ всю желчь, душившую его. вмѣсто того, чтобы снисходительнѣе смотрѣть на больного нервнаго человѣка, его еще сильнѣе раздражали насмѣшками. Достоевскій претендовалъ и на Бѣлинскаго за то, что онъ играетъ въ преферансъ, а не говорить съ нимъ о его «Бѣдныхъ людяхъ».

— Какъ можно умному человѣку просидѣть даже десять минутъ за такимъ идиотскимъ занятіемъ, какъ карты, а онъ сидитъ по два и по три часа!—говорилъ Достоевскій съ какимъ-то озлобленіемъ.—Право, ничѣмъ не отличишь общества чиновниковъ отъ литераторовъ: то-же тупоумное препровожденіе времени.

Бѣлинскій избѣгалъ всякихъ серьезныхъ разговоровъ, что-бы не волноваться. Достоевскій приписывалъ это охлажденію къ нему Бѣлинскаго, который иногда, слыша разгорячившагося Достоевскаго въ спорѣ съ Тургеневымъ, потихоньку говорилъ Некрасову, игравшему съ нимъ въ карты:—«Что это съ Достоевскимъ, говорить какую-то бессмыслицу, да еще съ такимъ азартомъ». Когда Тургеневъ, по уходѣ Достоевскаго, рассказывалъ Бѣлинскому о рѣзкихъ и неправильныхъ сужденіяхъ Достоевскаго о какомъ нибудь русскомъ писателѣ, то Бѣлинскій ему замѣчалъ:

— Ну, да вы хороши, сдѣлились съ больнымъ человѣкомъ, подзадориваете его, точно не видите, что онъ въ раздраженіи, самъ не понимаетъ что говорить.

Когда Бѣлинскому передавали, что Достоевскій считаетъ себя уже гениемъ, то онъ пожималъ плечами и съ грустью говорилъ:

— Что за несчастье, вѣдь несомнѣнный у Достоевскаго талантъ, а если онъ, вмѣсто того, чтобы разаботать его, вообразить уже себя гениемъ, то

вѣдь не пойдетъ впередъ. Ему непремѣнно надо лечиться, все это происходитъ отъ страшнаго раздраженія нервовъ. Должно быть потрепала его, бѣднаго, жизнь! Тяжелое настало время, надо имѣть воловыи нервы, чтобы они выдержали всѣ условія нынѣшней жизни. Если не будетъ просвѣта, такъ чего добраго всѣ поголовно будутъ психически больны!..

Самъ Достоевскій объясняетъ дѣло иначе: свой разрывъ съ Бѣлинскимъ и его кружкомъ онъ приписывалъ исключительно различію въ убѣжденіяхъ. Вотъ что говоритъ онъ потомъ въ письмѣ къ Страхову, вспоминая объ этомъ разрывѣ: «я обругалъ Бѣлинскаго болѣе какъ явленіе русской жизни, нежели какъ лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни... Живи онъ теперь, съ пѣной у рта бросился бы вновь писать поганья статьи свои, позоря Россію, отрицая (?) великія ея явленія (Пушкина)... Но вотъ еще что: вы никогда его не знали, а я зналъ и видалъ и теперь осмыслилъ вполне. Этотъ человекъ ругалъ мнѣ... и между тѣмъ никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей міра сопоставить съ Христомъ для сравненія. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздраженія, подлости» и пр... все въ доказательство того, что Бѣлинскій былъ поганое явленіе и плохой критикъ.

Надо однако замѣтить, что это не единственный отзывъ Достоевскаго о Бѣлинскомъ; онъ мѣнялъ свое мнѣніе, смотря по настроенію. Да развѣ не видно, какъ много *личнаго*, мелкаго, самолюбиваго раздраженія въ приведенныхъ словахъ. Иногда Достоевскій отзывался о Бѣлинскомъ совершенно иначе*), и если взять его-же современное свидѣтельство о разрывѣ, то тамъ объ убѣжденіяхъ и ихъ различіи нѣтъ ни слова.

Я уже сказалъ выше, что характеристикамъ Достоевскаго довѣряться нельзя. Одна противорѣчитъ другой и вторая уничтожаетъ первую. Съ тѣмъ большей настойчивостью встаетъ передъ нами вопросъ: почему-же *они* не поняли другъ друга, а Достоевскій отошелъ даже съ чувствомъ злобы на душѣ? Казалось-бы въ ихъ судьбѣ, по крайней мѣрѣ съ внѣшней стороны, такъ много общаго! Оба нищія, оба выросли въ суровой и неприглядной обстановкѣ, оба дѣти города, съ юныхъ лѣтъ знакомые съ разочарованіями,—оба, наконецъ, если заглянуть поглубже, внутрь, горятъ проповѣдническимъ огнемъ и одинаково настойчиво ищутъ правды жизни, ежеминутно переходя отъ надежды къ отчаянью. Большая доля вины (если тутъ вообще есть вина) падаетъ разумѣется на Достоевскаго слишкомъ мнительнаго и самолюбиваго въ свои юные годы. Барича Тургенева, всегда спокойнаго, самоувѣреннаго, остроумнаго, онъ могъ просто даже возненавидѣть именно потому, что самъ онъ представлялъ нѣчто діаметрально противоположное. Но онъ могъ-бы преклониться передъ высокою нравственностью Бѣлинскаго.

Онъ не сдѣлалъ однако и этого, и разладъ, даже вражда быстро смѣнили

*) Въ письмѣ отъ 1846 г. онъ напр. называетъ его „благороднымъ“.

мимолегную дружбу и, съ нашей точки зрѣнія, чтобы ни говорилъ по этому поводу самъ Достоевскій, объ этомъ положительно нельзя не пожалѣть. Ужъ дурному-бы отъ Бѣлинскаго онъ во всякомъ случаѣ ничему не научился и отъ общенія съ нимъ, отъ близости къ нему могли-бы только окрѣпнуть и перейти въ дѣйствительность юношескія мечтанія о независимой литературной работѣ, о необходимости крѣпиться и не насиловать своего творчества, хотя-бы внѣшнія матеріальныя затрудненія и вынуждали къ тому. Правда и Бѣлинскій былъ литературнымъ поденщикомъ, до конца дней своихъ пребывавшимъ въ кабалѣ, но эта поденная работа никогда не могла измѣнить его взгляда на литературу, какъ на великое и святое дѣло. Принципъ литературной независимости и направленія впервые появился въ русской жизни вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, и эта независимость была нравственнымъ требованіемъ, на которое не должны были вліять ни нищета, ни внѣшній гнетъ. Странно, что Достоевскій, забывъ все это, обобщилъ дѣятельность Бѣлинскаго подъ именемъ «поганого явленія», но еще страннѣе, что такой эпитетъ не вызывалъ въ немъ никакого раскаянія. Это уже больше чѣмъ раздраженіе, это истеричная, ничѣмъ не сдержанная злоба, на которую, несомнѣнно, былъ способенъ Достоевскій. Какъ бы то ни было, онъ отшатнулся отъ Бѣлинскаго и потерялъ многое, прежде всего то руководство, въ которомъ такъ нуждалась его недисциплинированная натура.

Рѣшаюсь высказать и еще одно замѣчаніе. Несмотря на всю страстность своего темперамента, на нетерпѣливый характеръ и вѣчно тревожное состояніе духа, — Бѣлинскій былъ въ полномъ смыслѣ этого слова положительнымъ человѣкомъ, который и въ горячечномъ бреду мечтаній никогда не покидалъ почвы земли и земного человѣческаго счастья. Повидимому, даже вопросы о существованіи Бога, о безсмертіи души и т. д. интересовали его прежде всего съ ихъ теоретической или лучше — логической стороны. Онъ никогда не чувствовалъ того таинственнаго полного ужаса трепета, который овладѣваетъ людьми при мысли о могилѣ и о той странѣ откуда, пока никто еще не возвращался. Онъ, правда, разсуждаетъ на эту тему цѣлые часы, но эта діалектика не приводитъ его ни къ положительной вѣрѣ, ни къ положительному невѣрью. Онъ остается всегда вѣренъ основнымъ своимъ мечтамъ о всеобщемъ счастьѣ, о солидарности людей между собой. Съ этой точки зрѣнія онъ истинный предшественникъ шестидесятниковъ — этихъ идеалистовъ *земли*, какъ называлъ ихъ Н. И. Шелгуновъ. Достоевскій, напротивъ того, мистикъ, т. е. человѣкъ, въ представленіи котораго земная жизнь, являясь чѣмъ-то переходнымъ къ другой, лучшей — неразрывно и нераздѣльно связана съ безконечнымъ началомъ бытія. Кто знаетъ, не разсмотрѣли ли, хотя бы безсознательно только, оба *они* этой глубокой коренной разницы своихъ натуръ и не угадали ли они съ прозорливостью избранныхъ какъ мало имѣютъ между собою общаго предназначенные имъ пути?

Въ характеристикѣ *И. А. Гончарова* мы находимъ прежде всего горячую отповѣдь Тургеневу за его упреки Бѣлинскому въ малой образованности. Въ

относительной необразованности — говорить онъ—можно упрекать всякаго, не исключая самых образованныхъ. Къ чему-же нападать на Бѣлинскаго не въ примѣръ прочимъ? 12 томовъ его сочиненій — ничтожная часть написаннаго имъ втеченіи жизни—предъ нами, и гдѣ страницы отразившія на семь малость пониманія или невѣжество? Ихъ нѣтъ. Бѣлинскій дѣйствительно образовывался случайно. Онъ приобрѣгалъ знанія въ кругу товарищей, при совмѣстномъ чтеніи книгъ, и взаимнымъ объясненіемъ оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ. Но развѣ это не школа, не академія, въ которой гранились другъ отъ друга юные умы? «Какого-же еще надо афинскаго портика съ Платономъ въ вицъ-мундирѣ и очкахъ? Не такъ-ли мы всѣ приобрѣтали то, что есть въ насъ лучшаго и живого? Не такъ-ли въ юношескихъ университетскихъ кружкахъ и мы сортировали и осмысливали то, что уносили отъ кафедръ?» Теперь представьте себѣ въ этой школѣ, продолжаетъ Гончаровъ, *мальчика* съ свѣтлой головой, любознательнаго, талантливаго, съ необыкновенной силой пониманія, доходящаго до степени ясновидѣнія — и что-же вамъ еще нужно? Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей, за исключеніемъ одного только Герцена. Онъ читалъ массу русскихъ и французскихъ произведеній по обязанности критика въ теченіе двадцати лѣтъ. Онъ учился за перомъ, въ бесѣдахъ съ друзьями, роясь постоянно въ безднѣ книгъ, проходившихъ черезъ его руки — развѣ этого мало? Нѣтъ, онъ зналъ достаточно, и то, что онъ зналъ: прямо служило его цѣли. «Онъ не держалъ на ученой конюшнѣ готоваго осѣдланнаго коня, съ парадной сбруей, а ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и мчался, куда нужно, перескакивая ученыхъ коней. Этотъ способъ партизанскихъ наѣздовъ именно и нуженъ былъ ему для его цѣлей»...

Конечно, (и по мнѣнію Гончарова) большее образованіе не помѣшало-бы, но... Впрочемъ мы уже касались этого вопроса. Въ добавленіи къ сказанному могу только замѣтить, что если-бы Бѣлинскій кончилъ университетъ и имѣлъ отъ онаго дипломъ, то, вѣроятно, никто и никогда не сталъ бы упрекать его въ необразованности. А что такое дипломъ?

Гончаровъ былъ почти равесникомъ Бѣлинскому и потому, естественно, держалъ себя съ нимъ совершенно самостоятельно, даже подшучивалъ надъ его увлеченіемъ, напр., Жоржъ Зандъ и вообще мало чѣмъ обязанъ ему какъ личности. Вотъ что между прочимъ рассказываетъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

Когда Бѣлинскій, въ первыя съ нимъ свиданія, осыпалъ его добрыми, ласковыми словами, рисуя передъ нимъ свой критическій взглядъ на его литературный талантъ, Гончаровъ остановилъ его слѣдующими сдержанными словамъ и

— Я былъ-бы очень радъ,—сказалъ онъ,—если бы вы лѣтъ черезъ пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книгѣ теперь.

— Отчего? — спросилъ съ удивленіемъ Бѣлинскій.

— А оттого,—продолжалъ Гончаровъ,—что я помню, что вы прежде писали о С., какъ лестно отзывались о его талантѣ, а какъ вы теперь цѣните его!

Въ другомъ мѣстѣ Гончаровъ съ очень тонкою, едва замѣтною ироніею передаетъ намъ, какъ Бѣлинскій накидывался на него за то, что въ его художественной манерѣ нѣтъ ни злости, ни субъективности.

— Вамъ все равно, попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ или порядочная. добрая натура — всѣхъ одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни къ кому.

Говоря это однажды Гончарову, Бѣлинскій вдругъ ласково положилъ ему руки на плечи и прибавилъ почти шепотомъ:

— А это хорошо, это и нужно, это признакъ художника.

Бѣлинскій боялся, — шутливо замѣчаетъ Гончаровъ, — что его услышатъ и обвинять въ сочувствіи безтенденціозному писателю...

Въ общемъ далеко не глубокая и немного какъ-то равнодушная характеристика Гончарова сводится къ тому, что Бѣлинскій былъ не только страстно увлекающійся человѣкъ, но и *нужный* для своего времени человѣкъ, который не могъ не встать и дѣйствительно всталъ во главѣ просыпавшагося общества и повелъ его за собою не влія на него ни догмой, ни авторитетомъ, ни непреложными самоувѣренно изрекаемыми истинами, а огнемъ своего творческаго вдохновенія, своей беззавѣтной стремительностью, своей ненасытимой жаждой исканія правды. Онъ относился къ своимъ кумирамъ такъ, какъ Донъ-Жуанъ — къ женщинамъ: онъ то обольщался, то хладѣлъ, то возносилъ до небесъ, то мстилъ за прежнее поклоненіе съ яростью полнѣйшаго разочарованія. Онъ мчался всегда впередъ, неоглядываясь назадъ. Прошлое для него не существовало: онъ жилъ всегда настоящимъ и будущимъ, нетерпѣливый до ребячества, готовый на всякое самопожертвованіе, съ вѣчно приподнятыми нервами, вѣчно взволнованный и негодующій. Онъ быстро схватывалъ на лету всякую новую идею и, если въ ней искрился малѣйшій намекъ на истину, онъ немедленно же дѣлался ея фанатическимъ поклонникомъ. Да, это былъ дѣйствительно нужный человѣкъ и не только для того времени.

Панаевъ и другіе въ своихъ воспоминаніяхъ набрасываютъ такой портретъ Бѣлинскаго:

Это былъ человѣкъ средняго роста, худощавый, блѣдный, съ большими, сѣроголубыми глазами, съ густыми, бѣлокурыми волосами, падавшими на прекрасный, бѣлый, хотя и низкій лобъ. Выдающаяся лопатка, постоянный кашель, тембръ нервическаго, хрипящаго голоса обнаруживали въ немъ чахотку, которою онъ страдалъ съ раннихъ лѣтъ. Онъ говорилъ съ особенными удареніями и придыханіями — и когда говорилъ, вся его прямая, деликатная натура отражалась въ его чудныхъ глазахъ, въ обычное время полузакрытыхъ рѣсницами и только въ минуты интересной бесѣды расширявшихся и сверкавшихъ золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ. Затронутый чѣмъ-нибудь, взволнованный споромъ, Бѣлинскій вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала энергіей и силой. Онъ нападалъ на собесѣдника съ оже-

19139

сточи́емъ, рвалъ его на части, дѣлалъ смѣшнымъ, жалкимъ, играя имъ, какъ соломенкой и по дорогѣ развивая свою собственную мысль съ удивительнымъ талантомъ, съ необычайной поэзійей. Въ эти минуты отъ застѣнчиваго, робкаго и неловкаго Бѣлинскаго не оставалось ни слѣда: онъ былъ неузнаваемъ. Споръ очень часто оканчивался кровью, рассказываетъ Герценъ. Блѣдный, задыхающійся, онъ дрожащей рукой поднималъ ко рту платокъ и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своею физической слабостью... Такимъ же былъ онъ и тогда, когда писалъ какую-нибудь статью, которая уже успѣла захватить его. Глаза его горѣли, перо съ необыкновенной быстротою бѣгало по бумагѣ, и, постоянно отбрасывая въ сторону исписанный полулистъ, онъ могъ не отходить отъ стола въ теченіе многихъ часовъ, сохраняя при этомъ на лицѣ одно и то же напряженное выраженіе. На улицѣ онъ былъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Пробираясь вдоль стѣнъ торопливой и неровной походкой, въ старой енотовой шубенкѣ и стоптанныхъ галошахъ, онъ производилъ впечатлѣніе травленнаго волка—своею пугливою серьезностью тревожными взглядами, которые онъ бросалъ по сторонамъ. Человѣкъ своего маленькаго, тѣснаго кружка друзей, Бѣлинскій чувствовалъ себя плохо повсюду, гдѣ нельзя вести себя просто, на-распашку, гдѣ тѣ или другія условныя приличія и стѣсненія задерживали естественное выраженіе волновавшихъ его чувствъ — и онъ сторонился такъ называемаго большого свѣта съ нѣкоторымъ не произвольнымъ и, конечно, совершенно, невинныхъ демократическимъ кокетствомъ. Вѣрнымъ своей истинной природѣ, своимъ привычкамъ, своему темпераменту, онъ могъ быть только у себя дома, среди людей, сплоченныхъ въ дружескій союзъ силою его духа и убѣжденій. Здѣсь онъ не робѣлъ, не терялся. Здѣсь въ часы досуга онъ любилъ расхаживать въ сѣромъ сюртукѣ, застегнутомъ на-криво, постукивая пальцами по табакеркѣ съ русскимъ табакомъ и мысленно отдыхая на какомъ-нибудь предметѣ. Здѣсь онъ иногда предавался громкому, неудержимому смѣху, какъ ребенокъ, когда что-нибудь смѣшило его. Здѣсь чисто русская московская повадка легко и свободно выступала во всемъ, что онъ говорилъ или дѣлалъ, во всѣхъ его манерахъ, во всѣхъ его движеніяхъ.

Разсматривая всѣ эти характеристики вмѣстѣ, мы видимъ, что они мало отличаются другъ отъ друга и выдержаны, вообще говоря, въ томъ же тонѣ. Можно было бы, конечно, привести и характеристики отрицательныя—существованія которыхъ мы во всякомъ случаѣ не желаемъ скрывать отъ читателя—но предпочитаемъ этого не дѣлать по той простой причинѣ, что ихъ искренность и непристрастіе могутъ быть въ значительной степени заподозрѣны. Если вы возьмете, напр., воспоминанія Ксенофонта Полевого, брата знаменитаго издателя Московскаго Телеграфа, то васъ прежде всего поразитъ та ненависть, которую онъ питаетъ къ памяти Бѣлинскаго. Въ своемъ злобномъ увлеченіи Ксенофонтъ Полевой доходитъ даже до того, что склоненъ отрицать въ Бѣлинскомъ литературный талантъ. Онъ видитъ въ немъ болтуна и фразера,

считаетъ неблагодарнымъ ученикомъ брата, обратившимъ оружіе противъ своего учителя и—чуть ли не креатурой Краевского. Идти дальше, разумѣется, невозможно и оспаривать подобнаго рода мнѣнія было бы пустопорожнимъ дѣломъ. Воспоминанія свои Ксенофонтъ Полевой писалъ уже въ состояніи старческаго маразма, чѣмъ и объясняется въ нихъ все съ другой точки зрѣнія совершенно необъяснимое. Припомнились старику убійственные полемическіе удары, нанесенные когда-то, чуть ли не за 50 лѣтъ до того, «братьямъ Полевымъ», особенно же старшему—Николаю и онъ взялся за перо съ безумнымъ намѣреніемъ очернить чуть ли не единственную безусловно чистую и свѣтлую фигуру русской повременной литературы. Онъ забылъ въ то же время, что послѣ смерти Николая Полевого единственный человекъ, отдавшій полную справедливость его громадному публицистическому таланту, и боевому темпераменту, его неутомимой энергіи, благодаря которой Московскій Телеграфъ втеченіи цѣлыхъ десяти лѣтъ былъ передовымъ органомъ русской журналистики—былъ никто другой, какъ Бѣлинскій. Забылъ все это старикъ, и намъ нечего больше дѣлать съ его воспоминаніями, какъ только забыть ихъ.

Мнѣ кажется, что всѣ приведенныя выше характеристики Бѣлинскаго, не смотря на весь ихъ блескъ и, порою, поэтичность, недостаточно отгѣняютъ одну черту его характера, которая, однако, по моему, является господствующей. Какъ это ни странно, но Бѣлинскій, не смотря на всю свою порою даже болѣзненную застѣнчивость, былъ человекомъ въ высшей отепени общественнымъ. Я скажу даже больше—это общественная натура въ полномъ смыслѣ этого слова и значить удивительно рѣдкое исключеніе среди русскихъ людей. На самомъ дѣлѣ Бѣлинскій не выносилъ одиночества, оно претило ему; ему было невыносимо жить исключительно своимъ міромъ, не дѣлясь ни съ кѣмъ своими впечатлѣніями и мыслями. Когда рядомъ не было собесѣдника, онъ писалъ огромныя письма, открывая въ нихъ всю свою душу, съ откровенностью человека, который вѣритъ въ расположеніе и вниманіе другихъ. Мы всегда видимъ его въ какомъ нибудь кружкѣ: Станкевича, Бакуниныхъ, потомъ «Отечественныхъ Записокъ» и «Современника». Онъ любилъ горячіе споры, оживленныя пренія и только здѣсь чувствовалъ себя въ своей тарелкѣ. Его внутренній міръ всегда находился въ единеніи съ другимъ болѣе широкимъ міромъ европейской мысли, русской общественности, кружковаго товарищества. Сосредоточиться въ себѣ, впитывать въ себя свои мысли и ощущенія, доходить до пассивнаго созерцанія, — онъ не могъ и не умѣлъ. Онъ постоянно рвался наружу, онъ смотрѣлъ на зло и неправду жизни какъ на своего личнаго врага и хотѣлъ быть рыцаремъ ея добра и ея правды. Мысль, не оказывающая вліянія на жизнь, не претворяющаяся тѣмъ или другимъ путемъ въ дѣйствительность, не имѣла въ его глазахъ рѣшительно никакой цѣны. Оттого-то въ концѣ концовъ онъ послѣ долгихъ исканій и перешелъ къ поклоненію полезному и дѣйствительности. Достоевскій, между прочимъ, рассказываетъ о немъ трогательный

авекдоть. Однажды онъ встрѣтилъ его у Знаменской церкви. Бѣлинскій,— бывший уже въ послѣднемъ градусѣ чахотки, сказалъ ему:

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги). Хотѣть тѣмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль иногда облегчаетъ мнѣ сердце.

«Это было горячо и хорошо сказано», замѣчаетъ при этомъ Достоевскій. Хорошо сказано—это такъ. Но въ то же время, сколько общественнаго интереса надо имѣть въ душѣ, чтобы, въ послѣднемъ градусѣ чахотки интересоваться постройкой вокзала Николаевской желѣзной дороги!

Глава II.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій былъ родомъ изъ Пензенской губерніи. Фамилія его писалась собственно «Бѣлинскій»; такъ подписывались его родные въ письмахъ къ нему; самъ Бѣлинскій сталъ писать свою фамилію въ смягченной формѣ по выходѣ изъ гимназіи. Вѣроятно по складу этой фамиліи составилось предположеніе, что отецъ Бѣлинскаго былъ уроженецъ Польши или Западныхъ губерній.

Это не правда. Бѣлинскій былъ совершенно русскій человекъ, и въ жилахъ его, по словамъ Тургенева, текла непримѣтная кровь—принадлежность нашего великорусскаго духовенства, столько вѣковъ недоступнаго вліянія иностранной породы. Дѣдъ Вис. Гр. былъ священникомъ въ селѣ Бѣльни. Но отецъ его пошелъ уже по другой „интеллигентной“ дорогѣ. Закончивъ семинарскій курсъ, онъ поступилъ въ петербургскую медицинскую академію, вышелъ оттуда лекаремъ и послѣ разныхъ странствованій и послѣ разныхъ скитаній очутился уѣзднымъ врачомъ города Чембаръ, Пензенской губерніи. Это случилось въ 1816 году. Сынъ же его Виссаріонъ родился раньше—именно въ 1810 году, еще въ Свеаборгѣ. Какъ жило довольно большое семейство Бѣлинскихъ, спросимъ мы себя и по рассказамъ Д. П. Иванова получаемъ такую картину:

„Матеріальныя средства семейства были въ среднемъ уровнѣ уѣздной жизни. У Бѣлинскихъ былъ свой, довольно просторный, домикъ съ обычными хозяйственными принадлежностями; прислуга состояла изъ семи крѣпостныхъ дворовыхъ людей. Но жалованье уѣзднаго лекаря было очень небольшое; а практика въ уѣздѣ, кажется, довольно значительная, мало вознаграждалась деньгами, а всего чаще присылкой къ большимъ праздникамъ разной провизіи, причемъ особенной щедростью отличалась г-жа Владыкина, родная племянница Бѣлинскаго—отца, бывшая замужемъ за богатымъ помѣщикомъ. Подъ конецъ средства семьи стали еще уменьшаться, какъ вообще стали разстроиваться отношенія Бѣлинскаго—отца съ чембарскимъ обществомъ и самая домашняя жизнь. Это объясняютъ съ одной стороны его характеромъ, съ другой—несчаст-

ной слабостью, которой онъ сталъ больше и больше поддаваться. Это былъ, по своему, все-таки образованный человѣкъ и могъ стоять выше малограмотнаго уѣзднаго люда. Отъ многихъ предрасудковъ онъ былъ свободенъ, и, склонный къ насмѣшливости, онъ не стѣснялся высказывать свои мнѣнія, которыя иногда казались слишкомъ рѣзкими. Въ религиозныхъ предметахъ, Григ. Ник., какъ говорятъ, пользовался репутацией гоголевскаго Аммоса Федоровича, и все грамотное населеніе города и уѣзда обвиняло его въ безбожіи, нехожденіи въ церковь, въ чтеніи Вольтера, — съ которымъ онъ, впрочемъ, соединялъ Эккартегаузена и Юнга-Штиллинга. Недовѣрчивый, и подозрительный, а вмѣстѣ лѣнивый и безпечный, онъ разошелся съ уѣзднымъ обществомъ; не находя и дома разумнаго сочувствія, онъ окончательно предался пьянству, и мало заботился о семьѣ; съ этимъ стала уменьшаться практика и средства; онъ неохотно брался за леченіе, обнаруживалъ притворство, гдѣ оно было, и закончилось тѣмъ, что помѣщика публичка стала избѣгать его“.

Значить съ матеріальными затрудненіями самыми назойливыми и раздражающими Бѣлинскій познакомился очень рано и приговорительный классъ его суровой школы жизни оказался для него далеко не самымъ легкимъ. Хорошо, быть можетъ, было только то, что мальчикъ, бѣгая въ мѣстную школу, пользовался сравнительной свободой и постоянно находился на людяхъ, среди взрослыхъ. Отецъ какъ «протестантъ» собиралъ, конечно, вокругъ себя такихъ же обиженныхъ судьбою и неощенныхъ жизнью захоластныхъ протестантовъ, какъ онъ самъ и какихъ только рассказовъ о продѣлкахъ полиціи и мучительствахъ помѣщиковъ надъ крестьянами не наслушался впечатлительный Вис. Гр. въ этой полупьяной, негодующей, озлобленной и откровенной компаніи. Крѣпостныя мучительства, впрочемъ, онъ и самъ видѣлъ у сосѣднихъ помѣщиковъ. Все это ложилось на душу, какъ ложилось оно на душу Герцена, Тургенева и другихъ его современниковъ, все это готовило тотъ бурный интеллигентный протестъ противъ крѣпостничества, который составляетъ такую красоту сороковыхъ годовъ. Но пока все это подготовлялось и подготовлялось въ тяжелой обстановкѣ.

Отношенія между родителями съ самой ихъ женитьбы были далеко не мирныя. Различіе характеровъ и понятій, хозяйственныя нужды, на которыя у отца не доставало денегъ, подавали поводъ къ раздорамъ, которые вовсе не были назидательны для дѣтей, мать не умѣла сдерживать своей раздражительности, отецъ или молчалъ на ея брань или отвѣчалъ шутками, которыхъ она не могла ни понять, ни вынести, или раздражался самъ, и тогда начинались настоящія бури, отъ которыхъ домашніе буквально бѣжали изъ дому. «У жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссаріонъ Григ. принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачихою», — рассказываетъ очевидецъ, изображая домашній бытъ этого семейства. «Не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ, и дѣтство его, эта веселая, беззаботная пора, было исполнено тревогъ и огорченій столько же, сколько позднѣйшіе возрасты,

и надобно было имѣть ему много воли, много любви, чтобы выдти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями».

Первое свое образованіе Бѣлинскій получилъ въ Чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, гдѣ между прочимъ въ 1823 г. видалъ его нашъ знаменитый историческій романистъ Лажечниковъ. Вотъ что онъ рассказываетъ по этому поводу:

«Въ 1823 году,—рассказываетъ Лажечниковъ,—ревизовалъ я чембарское училище. Новый домъ былъ только-что для него отстроены. (Въ этомъ ли домѣ, или во вновь построенномъ послѣ бывшаго пожара, не знаю хорошо, жилъ нѣсколько времени блаженный памяти императоръ Николай Павловичъ, по случаю болѣзни своей отъ паденія изъ экипажа на пути близъ Чембара). Во время дѣлаемаго мною экзамена, выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтлѣлся разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленькій, онъ, между тѣмъ, на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно... На всѣ дѣлаемые ему вопросы, онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностію, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ, болѣею частію, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говорить не слово въ слово по учебной книжкѣ (какъ я привыкъ видѣть и съ чѣмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. «Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ здѣшняго уѣзднаго штабъ-лекаря», сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевною теплотою привѣтствовалъ его, тутъ же потребовалъ изъ продажной бібліотеки какую-то книжонку, на заглавномъ листѣ которой подписалъ «Виссаріону Бѣлинскому за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то». Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себѣ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учать бѣдняковъ съ самаго дѣтства.

Изъ уѣзднаго училища В. Г. перешелъ въ пензенскую гимназію (августъ 1825 г.) и, прилежно проучившись три-четыре года, сталъ получать все больше и больше замѣчаній за нехождение въ классъ. Очевидно, что гимназія и гимназическое преподаваніе претила ему чѣмъ дальше,—тѣмъ больше. И, правда, что это была за гимназія и что это было за преподаваніе! Устраивались такія сцены, какъ «погребеніе кота»—когда ученики съ пѣніемъ, приличествующихъ случаю пѣсенъ выносили на рукахъ изъ класса замертво пьянаго учителя;

БИБЛИОТЕКА
О-ва БЕРШХЕВЪ ВОСПИТАНИКОВЪ
УБРАНЪ ВЪ 1914. АКАДЕМИИ КОММУНАЛЬН. НАУКЪ

самое преподаваніе велось спустя рукава «отъ сихъ до сихъ», въ зубрежку. Бѣлинскій больше всего интересовался русской словесностью и вотъ какого руководителя нашелъ онъ себѣ:

«Онъ (т. е. руководитель-педагогъ) твердо зазубрилъ всевозможныя реторики, русскія и латинскія и даже вздумалъ было преподавать одну изъ нихъ по іезуитскому руководству Леженя. Большею частью забивалъ онъ учениковъ хитрыми упражненіями на фигуры и тропы, какъ будто училъ выдѣлывать изъ словъ разные фокусы. Разумѣется «по тогдашнему, онъ училъ и изобрѣтать по извѣстнымъ вопросамъ: кто, что, почему, зачѣмъ, откуда, куда и т. д.». Бѣлинскій былъ долго подъ ферулой его, какъ учителя русской словесности, исправлявшаго, нѣкоторое время по старшинству, должность директора училищъ, но, съ врожденной ему энергіей не поддавался ей. Вѣроятно съ того времени реторика ему и опротивила!»

Было среди гг. преподавателей пензенской гимназіи и «свѣтлое явленіе», въ лицѣ учителя естественной исторіи М. М. Попова. Бѣлинскій былъ съ нимъ близокъ, но къ сожалѣнію ихъ взаимныя отношенія такъ мало намъ извѣстны, что дѣлать изъ нихъ какой нибудь выводъ невозможно. Знаемъ мы дѣйствительно очень мало: „Онъ бралъ у меня книги и журналы, — рассказываетъ Поповъ, — пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неровный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ».

Дѣло въ томъ, что и учитель, и ученикъ, оба были страстные любители литературы. Одинъ забывалъ о предметѣ своего преподаванія, другой забывалъ обо всѣхъ, и они толковали только о литературѣ. «Домашнія бесѣды наши, — продолжаетъ Поповъ, — продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гимназіи. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университетѣ я шелъ по филологическому факультету и русская словесность всегда была моею исключительной страстью. Можете представить себѣ, что иногда происходило въ классѣ естественной исторіи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сидѣлъ такой же страстный къ словесности ученикъ. Разумѣется, начиналъ я съ зоологіи, ботаники или ориктогнозіи и старался держаться этого берега, но съ середины, а случалось и съ начала лекціи, отъ меня ли, отъ Бѣлинскаго ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона натуралиста я переходилъ къ Бюффону писателю, отъ Гумбольдтовой географіи растений къ его «Картинамъ природы», отъ нихъ къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру въ сочиненіяхъ Тацита и Шекспира, къ поэзіи въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго... А гербаризація? Бывало, когда отпрапляюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засѣки, что позади городского гулянья, или до рощей, что за

рѣкой Пензой, Бѣлинскій пристаеъ ко мнѣ съ вопросами о Гете, Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодые сердца».

Впрочемъ, зачѣмъ перечислять учителей? Нѣкоторые изъ нихъ были ученые люди, съ познаніями, да умъ Бѣлинскаго-то мало выносилъ познаній изъ школьнаго ученія. Къ математикѣ онъ не чувствовалъ никакой склонности; иностранные языки, географія, грамматика и все, что передавалось по системѣ заучиванья, не шли ему въ голову: онъ не былъ отличнымъ ученикомъ, и въ одномъ, котормъ-то, классѣ просидѣлъ два года.

Надобно, однако-жъ, сказать, что Бѣлинскій, не смотря на малые успѣхи въ наукахъ и языкахъ, не считался плохимъ мальчикомъ. Многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память; многое онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще больше въ немъ набиралось свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи. Бывало, позкзаменууйте его, какъ *обыкновенно* экзаменуютъ дѣтей,—онъ изъ послѣднихъ; а поговорите съ нимъ дома, по дружески, даже о точныхъ наукахъ—онъ первый ученикъ. Учители словесности были не совсѣмъ довольны его успѣхами (но мы видѣли сейчасъ, каковы и бывали эти учителя), но сказывали, что онъ лучше всѣхъ товарищей своихъ писалъ сочиненія на заданныя темы.

О гимназическомъ преподаваніи болѣе чѣмъ достаточно. Для развитія Бѣлинскаго, оно пршло безслѣдно или—лучше сказать—оставило въ немъ лишь тяжелыя воспоминанія о даромъ потраченныхъ годахъ. Интереснѣе и важнѣе другой вопросъ: какъ жилъ Бѣлинскій въ свои гимназическіе годы?

«Въ гимназіи,—говоритъ Поповъ—по возрасту и возмужалости, Бѣлинскій во всѣхъ классахъ былъ старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измѣнилась вполсѣдствіи; онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его между хорошенькими личиками другихъ дѣтей казались суровыми и старыми. На вакаціи онъ ѣздилъ въ Чембарь; но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ-бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ-бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу.

Онъ жилъ на квартирѣ—разумѣется нищенски обставленной и находившейся въ самой отдаленной части города вмѣстѣ съ компаніей семинаристовъ—этимъ суровымъ нагодомъ, привыкшимъ ко всякаго рода потасовкамъ судьбы, этими желѣзными характерами, которыхъ въ жизни могла сломить лишь одна проклятая великорусская водка.

«Совмѣстное житье съ семинаристами—разсказываетъ г. Ивановъ—было благодѣтельно для насъ (т. е. для Иванова и Бѣлинскаго) во многихъ отношеніяхъ. Видя передъ своими глазами суровую, полную патріархальной простоты жизнь этихъ закаленныхъ въ нуждѣ труженниковъ школьнаго ученія, умѣвшихъ довольствоваться самыми незначительными средствами... мы сами невольно учились безропотному перенесенію житейскихъ невзгодъ, мужали и крѣпли духомъ, запасались тою силою, безъ которой невозможна никакая борьба ни съ самимъ собою, ни съ жизнью. Не малую пользу приносили Бѣлинскому оживленные споры и бесѣды семинаристовъ о предметахъ, касавшихся философіи, богословія, общественной и частной жизни. При этихъ спорахъ онъ не всегда былъ только простымъ внимательнымъ слушателемъ, но принималъ въ нихъ и самъ дѣятельное участіе. Уже здѣсь изощрилась его діалектическая сила». «Сколько припомню, — прибавляетъ г. Ивановъ, — семинаристы, жившіе съ нами, считали себя въ литературныхъ познаніяхъ ниже Бѣлинскаго, и настолько довѣряли его вкусу, что нерѣдко просили его выслушать школьныя произведенія пера своего. Бѣлинскій, бывало, читалъ имъ вслухъ статьи изъ добытыхъ имъ журналовъ, сообщалъ свои мнѣнія, дѣлился впечатлѣніями, — особенными участниками этихъ бесѣдъ были двое изъ семинаристовъ, очень даровитые люди». Съ своей стороны семинаристы помогали ему въ занятіяхъ древними языками, — съ ихъ помощью Бѣлинскій подготовился и изъ греческаго языка (которому въ гимназіи не учили), насколько было нужно для предполагаемаго имъ поступленія на словесный факультетъ, — нужно было по тогдашнему немного. Наконецъ, семинаристы помогали и своей практической опытностью въ хозяйственныхъ дѣлахъ.

Были у нихъ и общія удовольствія. «Самое лучшее, соединявшее всѣ вкусы, удовольствіе доставлялъ театръ; страсть къ нему не была исключительной принадлежностью одного Бѣлинскаго; она въ равной степени овладѣвала всей учащейся молодежью». Юношество употребляло всѣ средства, чтобы попасть въ театръ; Бѣлинскій приберегалъ на это деньги, дѣлалъ займы. когда ихъ не было.

Какъ хотите, рѣшительно нельзя сказать, чтобы жизнь была уже совершенно скверной. Правда въ ней чувствовались большіе недочеты. Нехватало женскаго присмотра, порядочности, было разумѣется много безалабернаго. Порою недоставало средствъ, но крайности нищеты не давали себя чувствовать. Было много развлеченій, начиная отъ горячихъ споровъ (самое драгоцѣнное развлеченіе въ юности), театра и кончая сознаніемъ своей свободы и независимости. Опека не чувствовалась ни въ чемъ, время можно было проводить какъ угодно, а вѣдь это что нибудь да значить. Природная самостоятельность характера Бѣлинскаго могла только развиваться и окрѣпнуть въ этой обстановкѣ. Его едва-ли даже тяготило «совмѣстное сожительство» съ суровыми семинаристами, такъ какъ, повторяю, онъ обладалъ въ высшей степени общительной натурой и говорить, спорить было для него прямо потребностью. Мнѣ кажется, что тѣ, которые на основаніи кое какихъ свидѣтельскихъ

одностороннихъ показаній хотять выставить его «пригнетеннымъ» въ эту эпоху жизни—спльно заблуждаются. Онъ навѣрно чувствовалъ себя прекрасно и смѣло—настолько смѣло, что начавши съ повторнаго все учащавшагося непосѣщенія классовъ, кончилъ тѣмъ, что бросилъ совершенно гимназію, благополучно не закончивъ ее. Его въ это время интересуютъ только двѣ вещи: театръ и русская журналистика—въ тѣ дни боевая и осмысленная. «Онъ — рассказываютъ намъ—читалъ съ жадностью тогдашніе журналы и всасывалъ въ себя духъ Полевого, Надеждина, — этотъ духъ отрицанья авторитетовъ сомнѣнья въ ихъ незабвенной прочности и чисто романтической свободы чувства и мысли.

На Рождество, Пасху и лѣто онъ уѣзжалъ обыкновенно домой въ родной городъ. Но и здѣсь домашняя обстановка не давила его.

«Отъ невзгодъ семьи — рассказываетъ г-жа Ш., — Бѣлинскій находилъ убѣжище въ домѣ родной племянницы своего отца, жены чембарскаго секретаря уѣзднаго суда, Иванова. Ивановы, мужъ и жена, были люди тихіе, патриархально-гостепримные и честные. Сыновья ихъ были школьными товарищами Виссаріона Бѣлинскаго въ чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, а одинъ изъ нихъ и въ гимназіи, и университетѣ. Въ домѣ Ивановыхъ, пріѣзжая изъ гимназіи, Бѣлинскій отдыхалъ душой, повѣрялъ свои думы и впечатлѣнія молодой, симпатичной и нѣжно-кроткой Катинькѣ Ивановой, получившей достаточное образованіе въ домѣ уѣзднаго аристократа-помѣщика. Въ домѣ Ивановыхъ разыгрывались, по предложеніямъ Бѣлинскаго, комедіи и даже трагедіи на домашнихъ спектакляхъ. И тутъ-же высказывался его либерально-замѣчательный умъ и гордый характеръ: Виссаріонъ свободно шутилъ надъ дѣтски-религіозною вѣрою стариковъ Ивановыхъ, и... осмѣивалъ свѣтскія приличія, которыя старалась ему внушить кроткая кузина... Чуждавшійся своей кровной семьей, онъ питалъ почти сыновнее чувство къ старикамъ Ивановымъ; въ женѣ онъ уважалъ широкую любящую натуру, въ мужѣ безкорыстіе и гостепримную общительность. Къ родному отцу онъ былъ холоденъ, почти враждебенъ; съ матерью, помимо привычныхъ дѣтству инстинктовъ, у него не было никакой разумной связи. Впрочемъ, на послѣдующія ея жалобы на свою судьбу, онъ отвѣчалъ изъ Москвы письмами съ жестокими упреками отцу. Въ гимназіи онъ уважалъ одного только преподавателя, М. М. Попова (служившаго потомъ гдѣ-то въ Петербургѣ) и благоговѣлъ предъ талантомъ Пушкина...

«Мои личныя воспоминанія о Бѣлинскомъ дѣлаются опредѣленными съ того времени, когда проѣздомъ въ пензенскую гимназію онъ забѣжалъ къ намъ на перепутьяхъ. Но я слышала отъ него о дѣтскихъ его посѣщеніяхъ, вмѣстѣ съ матерью, сестрою и братьями его, нашего имѣнія, гдѣ они встрѣчали жизнь и гостепримство «обломовскихъ размѣровъ», въ самомъ обширномъ значеніи слова, и гдѣ, послѣ дѣтскихъ игръ и объяденій, они на антресоляхъ высокихъ барскихъ хоромъ, въ сумерки, жадно слушали сказки и воспоминанія о походахъ 100-лѣтняго солдата суворовскихъ временъ. О при-

вольномъ деревенскомъ воздухѣ, съѣдобныхъ произведенійхъ разнаго свойства и дешевиизнѣ саратовской и пензенской губерній, и широкой площади нашего села Бладыкина, какъ о предметахъ напоминающихъ его дѣтство, онъ вспоминалъ въ 1848 году въ Петербургѣ, за нѣсколько дней до своей смерти, мечтая поѣхать въ нашу губернію для поправленія здоровья. Въ нѣкоторыхъ эпизодахъ изъ рассказовъ въ его критикахъ я узнавала описаніе родного мнѣ помѣщичьяго быта, родныхъ мнѣ лицъ.

Съ полной увѣренностью можно сказать, что литературная дѣятельность Бѣлинскаго началась уже на гимназической скамейкѣ. Разумѣется началась она со стиховъ — обстоятельство, въ которомъ нѣтъ рѣшительно ничего страннаго. Потому, во первыхъ, что именно со стиховъ начинаютъ чуть да не всѣ писатели, одаренные художественнымъ талантомъ (даже Щедринъ грѣшилъ по части рифмъ) и потому, во вторыхъ, что въ то время стихи особенно въ провинціи были въ исключительной модѣ. Ими зачигывались, ихъ учили наизусть, ихъ перекладывали на музыку. Несомнѣнно, что эти дни завѣщали намъ пониманіе слова «проза» какъ синонима скуки. Оттуда же происходятъ «люди прозаическіе», которымъ и на свѣтѣ не надо существовать, и люди поэтическіе. Самое же главное то, что корифеи литературы — Пушкинъ и Жуковский писали преимущественно въ стихахъ. Какъ можно было не увлечься.

Бѣлинскій писалъ стихи, но какіе — не извѣстно: несохранилось ни одной строчки и только à priori можно заключить, что они были прескверные. Онъ и самъ это прекрасно понималъ, хотя мысль, что онъ не рожденъ поэтомъ и не заключала для него въ то время ничего веселаго.

Впослѣдствіи онъ въ шутиломъ тонѣ вспоминалъ о томъ времени, когда «еще будучи мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, я, въ огромныя кипы тетрадей, неутомимо, денно и ноцно, и безъ всякаго разбору, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитриева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станкевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ... Я плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину Рошу», и вмѣнялъ себѣ въ священнѣйшую обязанность бродить по полямъ при томномъ свѣтѣ луны, съ понурнымъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Воспоминанія дѣтства такъ обольстительны, къ тому же природа мнѣ дала самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковского, не хуже «Раисы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума». Стихи онъ тогда писалъ «въ чистоклассическомъ и совершенно чувствительномъ родѣ»: «съ романтическимъ я познакомился уже тогда, какъ во мнѣ совѣмъ прошло стихотворное неистовство». Но шутилое отношеніе къ стихотворному неистовству явилось только въ послѣдствіи. Вначалѣ сознаніе своей полной и плачевной непригодности для одъ и балладъ было куплено дешевой цѣной юношескаго разочарованія.

Узнавши отъ своего родственника о порученіи М. М. Попова—просить его стиховъ, Бѣлинскій пишетъ къ Попову письмо такого рода:

«Въ чрезвычайное затрудненіе привело меня письмо моего родственника. Мысль, что вы еще меня не забыли, что вы еще также ко мнѣ благосклонны, какъ и прежде; ваше желаніе, котораго я, несмотря на пламенное усердіе, не могу исполнить, — все это привело меня въ необыкновенное состояніе радости, горести и замѣшательства. Бывши во второмъ классѣ гимназіи, я писалъ стихи и *почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковскаго*; но времена перемѣнились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій часъ важенъ: чему онъ вѣрилъ вчера, надъ тѣмъ смѣется завтра. Я увидѣлъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и не хотя идти наперекоръ природѣ, давно уже оставилъ писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ *движенія необыкновенныя*, душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя — хочу ихъ выразить стихами — и не могу! Тщетно трудясь, съ досадою бросаю перо. Имѣю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имѣю таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риѐма мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не улаживаются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу...»

Бѣлинскій, конечно, и не предчувствовалъ въ это время (1830 г.), во что обратится въ его рукахъ «смирная проза».

Я уже сказалъ выше, что отъ всего продолжительнаго стихотворнаго неистовства Бѣлинскаго не осталось и слѣда. Право это жаль. Первые стихи были прескверные и возмутительные по части риѐма и стопъ, но вѣдь несомнѣнно, что они писались подъ высокими душевными давленіемъ. Что это за высшія впечатлѣнія, что это за благородныя мысли, которыя тревожатъ юношу и не даютъ ему покоя, заставляя браться за перо? Были-ли то пѣсни дѣтской влюбленности или проклятія по адресу крѣпостного права, или негодованіе на свою судьбу или мечты о будущемъ — или, наконецъ, — просто задумчивый восторгъ передъ жизнью, природой, облаками и солнцемъ. Мы не знаемъ этого. Но самаго факта нельзя не отмѣтить. Онъ интересенъ потому, что говорить и слѣпому о важности природнаго призванія, ни выдумать ни привить котораго нельзя. Бѣлинскаго чуть не съ дѣтства тянуло къ перу и бумагѣ, какъ тянетъ къ нимъ всякаго настоящаго писателя, для котораго невысказанная мысль — пол-мысли, не выраженное словомъ настроеніе — пол-настроенія. Онъ не могъ не писать — все равно въ какой обстановкѣ онъ ни находился. Онъ брался за перо, какъ беретъ музыкантъ за свой инструментъ, когда душа полна и во что-бы то ни стало хочетъ высказаться. Много горя и тревогъ даетъ эта работа, но все же и въ самыя тяжелыя минуты Бѣлинскій счелъ возможнымъ воскликнуть: «умру и закажу положить себѣ въ гробъ подъ голову книгу Отечественныхъ Записокъ».

Глава III.

Только съ выходомъ изъ гимназіи начинается дѣйствительно самостоятельная жизнь Бѣлинскаго, полная невзгодъ и тяжелыхъ испытаній и тутъ же завязывается узелъ его жизненной драмы—опредѣлить смыслъ и значеніе которой—задача біографической части моего труда. Мы сейчасъ увидимъ, какъ Бѣлинскій, полагаясь исключительно на свои силы и едва ли опредѣленные ожиданія чего-то лучшаго, переѣзжаетъ въ Москву, бросивъ почти навсегда родныя палестины, гдѣ во всякомъ случаѣ ему (съ матеріальной стороны) живется легче, благодаря родственнымъ и инымъ связямъ. Онъ оказывается въ огромномъ городѣ одинъ, безъ друзей, безъ знакомыхъ, съ запасомъ нѣсколькихъ несчастныхъ грошей въ карманѣ—настоящій Робинзонъ Крузо на необитаемомъ островѣ. Все надо сдѣлать самому, все надо добыть своими руками, начиная съ пищи и кончая положеніемъ въ обществѣ. А у него нѣтъ ничего—даже необходимыхъ свѣдѣній, даже ничтожной практической опытности. Впрочемъ, надо думать, что онъ не особенно боится матеріальныхъ лишеній: онъ уже привыкъ къ нимъ и его потребности доведены до minimum'a. Желудокъ рѣдко беспокоитъ его и быстро умолкаетъ при малѣйшемъ къ нему вниманіи. По части одежды Бѣлинскій совсѣмъ уже не стѣсняется, такъ-же и по части помѣщенія. Но ему нуженъ театръ, книги, наука... да мало ли что вообще нужно живому человѣку, съ горячимъ, нѣсколько фантастическимъ даже воображеніемъ. И предстоитъ борьба, тяжелая, огромная, полная невзгоды и разочарованія, предстоятъ безконечные сѣрые дни бесплодныхъ ожиданій, злобныхъ проклятій и скрежета зубоваго. Только духъ крѣпнетъ въ этой борьбѣ, тѣло и самая жизнь рушатся...

Собраться въ университетъ Бѣлинскому было не легко: отецъ, по ограниченности своихъ средствъ не могъ содержать его въ университетѣ; приходилось надѣяться исключительно на себя. Добравшись кое-какъ до Москвы, онъ прежде всего отправился къ ректору Двигубскому, но тотъ даже отказался принять отъ него прошеніе, за отсутствіемъ метрическаго свидѣтельства. Однако, послѣ многихъ хлопотъ и тревоженій, свидѣтельство отыскалось, и Бѣлинскій былъ принятъ сначала на свой счетъ, а потомъ даже и на казенный. Последнее обстоятельство было для него великимъ благополучіемъ, такъ какъ отецъ высылалъ очень мало денегъ, прибавляя къ нимъ въ то же время очень много нравоченій, упрековъ и даже брани. Казенное житье понравилось ему сначала какъ нельзя больше. Онъ пишетъ по этому поводу домой:

«Всѣхъ казенныхъ студентовъ 150 человѣкъ. Въ каждомъ номерѣ (комнатѣ) находится отъ 8-ми до 12-ти студентовъ... Нумера наши, можно сказать, *отлично хороши*... полы крашеные, окна большія, чистота и опрятность *необыкновенныя*... Столы (въ столовой) всегда покрываются скатертями, и

для всякаго студента особенный приборъ... *Порядокъ* въ столовой *чрезвычайно хорошъ*.

«Нашъ инспекторъ, Д. М. Перовщиковъ,—человѣкъ весьма извѣстный въ ученomъ свѣтѣ; онъ строгъ, любитъ порядокъ, и мы спокойствиемъ, порядкомъ и устройствомъ нашего казеннаго быта большею частію *одолжены ему*. (Потомъ Бѣлинскій относится къ нему иначе). Помощники его въ должности называются субъ-инспекторами... надъ студентами они не имѣютъ ни малѣйшей власти, дѣйствуя во всемъ чрезъ инспектора. *Въ отношеніи свободы у насъ очень хорошо...* Покуда все хорошо... Впрочемъ, эти постановленія, а особенно въ разсужденіи свободы нашей, зависятъ отъ воли инспектора, и потому, если инспекторъ хорошъ, то и казенное житье хорошо».

Серьезнаго значенія этому письму придавать, конечно, нельзя: просто человѣку послѣ семинарской берлоги и угловъ Замоскворѣчья понравились и крашеные полы и чистота и свѣжій воздухъ помѣщенія. Тѣмъ болѣе, что и на душѣ было хорошо по случаю поступленія въ университетъ, да еще на казенный счетъ.

Бѣлинскій жилъ въ 11-омъ номерѣ, гдѣ подобралась довольно интеллигентная и живая компанія молодежи. Театрально-литературные интересы стояли на первомъ планѣ и пока заслоняли собою всѣ другіе. Умственная дѣятельность (въ студенческомъ кругу), особенно въ 11-мъ номерѣ, шла бойко,—разсказываетъ Прозоровъ;—споръ о классицизмѣ и романтизмѣ еще не прекращался тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее рѣшеніе этого вопроса Надеждинымъ, въ его докторскомъ разсужденіи о происхожденіи и судьбахъ поэзіи романтической... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ студентовъ, слушавшіе теорію краснорѣчія и поэзіи Мерзлякова и напитанные его переводами изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторгѣ отъ его перевода Тассова «Иерусалима» и очень неблагоклонно отзывались о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина, только что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливые о немъ отзывы въ «Вѣстникѣ Европы». Первогодичные студенты, воспитанные въ школѣ Жуковского и Пушкина и не заставшіе уже въ живыхъ Мерзлякова, мало сочувствовали его переводамъ и взаимно этого знали наизусть прекрасныя пѣсни его и безпрестанно декламировали цѣлыя сцены изъ комедіи Грибоедова, которая тогда еще не была напечатана: Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ Бѣлинскій, который отличался необыкновенной горячностью въ спорахъ, и, казалось, готовъ былъ вызвать на битву всѣхъ, кто противорѣчилъ его убѣжденіямъ. Увлекаясь пылкостью, онъ ѣдко и безпощадно преслѣдовалъ все пошлое и фальшивое, былъ жестокимъ гонителемъ всего, что отзывалось риторикою и литературнымъ старовѣрствомъ. Доставалось отъ него иногда не только Ломоносову, но и Державину за риторическіе стихи и пустозвонныя фразы».

Между прочимъ студенты устраивали театральныя представленія, литературные вечера, на которыхъ читали другъ другу свои произведенія. Рѣшился на этомъ поприщѣ испытать свои силы и Бѣлинскій и еще разъ согрѣшить по части стихотворнаго неистовства. Онъ, пользуясь свободнымъ временемъ, когда университетъ былъ закрытъ по случаю холеры, написалъ не больше и не меньше, какъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ, разумѣется въ самомъ романтическомъ жанрѣ и, отчасти, въ стихахъ. Содержаніе трагедіи довольно интересно, хотя оно извѣстно намъ и не въ полномъ видѣ. Г. Пыпинъ довольно подробно передаетъ его:

У богатаго помѣщика Лѣсинскаго было два сына (одинъ назывался Андреемъ) и дочь Софья; кромѣ того, былъ у него приемышъ, по имени Владиміръ, котораго онъ воспитывалъ наравнѣ съ своими дѣтьми и даже ставилъ выше родныхъ сыновей. Этотъ приемышъ былъ его незаконнорожденный сынъ; онъ отличался умомъ, характеромъ, талантомъ и пылкими страстями. Владиміръ съ своей стороны былъ очень привязанъ къ Лѣсинскому; но жена послѣдняго не влюбила Владиміра и души не чаяла въ своихъ сыновьяхъ, особенно въ Андреѣ, который отличался глупостью, барской спѣсью и т. п. Софья воспитывалась подъ руководствомъ ученой и образованной русской «мамзели», на которой нѣкогда хотѣлъ жениться ничтожный и низкій князь Кизяевъ; теперь онъ ухаживалъ за Софьей. Но Владиміръ, ничего не подозревающій о своемъ происхожденіи, влюбленъ въ Софью, которая отвѣчала ему пламенной страстью. Между тѣмъ, на одномъ балѣ у Лѣсинскихъ произошла ссора у Владиміра съ Андреемъ, поводомъ къ которой послужили прежнія отношенія князя къ «мамзели». Владиміръ убилъ Андрея, его арестовали, заковали въ цѣпи и заключили въ тюрьму.

Съ этого пункта идетъ сохранившійся отрывокъ трагедіи. Исчезновеніе Владиміра поразило Софью до того, что она почти потеряла рассудокъ. «Мамзель» успокоиваетъ ее, хочетъ увѣрить ее, что Владиміръ свободенъ, что онъ скрытъ друзьями и возвратится къ ней. Является князь свататься за Софью; Софья встрѣчаетъ его съ презрѣніемъ; ея мать, напротивъ, въ восторгѣ отъ сватовства и общается ему, что Софья будетъ его женой, и что «мамзель», которой приписывается упрямство Софьи, будетъ завтра же выгнана изъ дому. Между тѣмъ, является Владиміръ («на лѣвой рукѣ его виситъ разорванная цѣпь»): онъ бѣжалъ изъ тюрьмы, обманувши стражу — онъ хотѣлъ еще разъ видѣть Софью. Между ними происходитъ длинная раздирающая сцена объясненій и отчаянія; Софья непремѣнно желаетъ умереть отъ руки Владиміра, у него недостаетъ духу умертвить ее, — она грозитъ, что дастъ тогда согласіе князю. Владиміръ рѣшился и поразилъ ее кинжаломъ. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ сдѣлать то-же и съ собой, входитъ старый вѣрный слуга покойнаго Лѣсинскаго, бывший при немъ въ его послѣднія минуты. Онъ рассказываетъ Владиміру о страшномъ угнетеніи, которое крестьяне терпѣли по смерти Лѣсинскаго отъ его жены и особенно отъ сына (именно, убитаго

Владиміромъ), и наконецъ передаетъ письмо, которое Лѣсинскій на смертномъ одрѣ со слезами умоляя его отдать Владиміру. Оставшись одинъ, Владиміръ, послѣ приличнаго монолога, развертываетъ письмо и къ послѣднему своему ужасу узнаетъ, что Лѣсинскій былъ его отецъ, а Софья—сестра... Наконецъ входитъ мамзель, видитъ Владиміра и трупъ Софьи; на ея крикъ сбѣгаются люди и между прочимъ двое друзей Владиміра: новая раздирательная сцена, гдѣ Владиміръ рассказываетъ имъ о своемъ открытіи...

Что слѣдуетъ дальше—неизвѣстно. Но можно предположить, что Владиміръ тутъ-же послѣ приличнаго случаю монолога закалывается, а Софья или идетъ въ монастырь или бросается въ прудъ.

По мнѣнію многихъ объ этой трагедіи не стоитъ даже и говорить. Почему не стоитъ? Конечно она—явленіе подражательное, въ ней слишкомъ много раздирательныхъ и жестокихъ сценъ и т. д. Но—честное слово—она не только не хуже, а пожалуй что и лучше массы драматическихъ произведеній того времени. Если дѣйствующія лица говорятъ слишкомъ много, если они не могутъ безъ монолога страницъ въ 15 не только убить себя, а даже выпить чашку чаю—то вѣдь это ошибка всей романтической школы. Относительно высокаго штиля разговоровъ можно сдѣлать то-же замѣчаніе. Но сюжетъ самъ по себѣ не представляетъ ничего неестественнаго: въ помѣщичьи времена подобнаго рода исторіи могли случаться очень и очень часто. Идейная-же подкладка пьесы, вдохновленная ненавистью къ крѣпостничеству, не оставляетъ желать ничего лучшаго. Довольно двухъ отрывковъ, чтобы убѣдиться въ этомъ:

Старый слуга рассказываетъ о положеніи крестьянъ по смерти барина:

«Какъ только онъ скончался, то барыня такъ начала тиранствовать надъ нами, что не дай Господи такого житья лихому татарину ни здѣсь, ни на томъ свѣтѣ. И была какъ собакъ, и отдавала въ солдаты, и пускала по міру, отнимала хлѣбъ, скоть, осматривала клѣти, ломала коробки, обирала деньги, холеть; кто малость въ чемъ-нибудь провинится, такъ ушлетъ въ дальнія вотчины. Да всего и пересказать нельзя. На каторгѣ колодникамъ лучше житье-то, чѣмъ намъ грѣшнымъ у барыни».

Владиміръ, оставшись одинъ, начинаетъ свой монологъ слѣдующимъ разсужденіемъ:

«Неужели эти люди для того только рождаются на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ-же людей, какъ и они сами?... Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ поработать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться (надъ) правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для развѣянія, содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!... Милосердый Боже! Отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: твоя-ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ змѣевъ,

этих крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?».

Какъ хотите, а тутъ кромѣ высокыхъ фразъ есть еще и высокое чувство: съ вопросовъ Владиміра съ его «неужели?» и «о, ужасъ!»—и началось наше освободительное движеніе. Какъ разъ эти вопросы задавалъ себѣ Радищевъ, потомъ декабристы. Сквозь реторику вы слышите живой человѣческой голосъ.

Этотъ-то живой человѣческой голосъ и дѣлалъ совершенно невозможной постановку пьесы на сценѣ. Но Бѣлинскій несмотря на предостереженія многихъ лицъ, между прочимъ и Лажечникова рѣшился испытать счастье и отдалъ свою трагедію въ цензурный комитетъ состоявшій изъ профессоровъ. Результатъ такой продерзости оказался какъ нельзя болѣе естественнымъ:

«Сообразивши всѣ обстоятельства моей жизни,—писалъ Бѣлинскій домой,—я вправѣ назвать себя несчастнѣйшимъ человѣкомъ. Въ моей груди сильно пылаетъ пламя тѣхъ чувствъ, высокыхъ и благородныхъ, которыя бывають удѣломъ немногихъ избранныхъ—и при всемъ томъ меня очень рѣдкіе могутъ цѣнить и понимать... Всѣ мои желанія, намѣренія и предпріятія самыя благородныя, какъ въ разсужденіи самого себя, такъ и другихъ, оканчивались или неудачами, или ко вреду мнѣ же и, что всего хуже, навлекали на меня нареканіе и подозрѣніе въ дурныхъ умыслахъ. Доказательства передъ глазами. Вы сами знаете, какъ сладки были лѣта моего младенчества... Учась въ гимназіи, я жилъ въ бѣдности... Поѣхалъ въ Москву съ пламеннымъ желаніемъ опредѣлиться въ университетъ; мое желаніе сбылось. По вѣтренности, а болѣе по неопытности, истратилъ данную мнѣ сумму денегъ, которая въ моихъ глазахъ казалась огромною, неистощимою. Потомъ поступилъ на *казенный коштъ*... о, да будетъ проклятъ этотъ несчастный день!.. Осужденный страдать на казенномъ коштѣ, я вознамѣрился избавиться отъ него и для этого написалъ книгу (т.-е. трагедію), которая могла скоро разойтись и доставить мнѣ не малыя выгоды. Въ этомъ сочиненіи, со всѣмъ жаромъ сердца, пламеннѣющаго любовію къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинѣ, довольно живой и вѣрной, представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ. Герой моей драмы есть человѣкъ пылкій, съ страстями дикими и необузданными: его мысли вольны, поступки бѣшены,—и слѣдствіемъ ихъ была его гибель. Вообще скажу, что мое сочиненіе не можетъ оскорбить чувства чистѣйшей нравственности и что цѣль его есть самая нравственная. Подаю его въ цензуру—и что же вышло?.. Прихожу черезъ недѣлю въ цензурный комитетъ и узнаю, что мое сочиненіе ценсоровалъ Л. А. Цвѣтаевъ (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ ректору, сидѣвшему на другомъ концѣ стола, и вскричалъ: «Иванъ Алексѣевичъ! Вотъ онъ, вотъ г. Бѣлинскій!» Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой ценсоръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочиненіе и мои таланты какъ нельзя лучше, оно

признано было безирравственнымъ, безчестящимъ университетъ, и о немъ составили журналъ!.. Но послѣ — это дѣло уничтожено, и ректоръ сказалъ мнѣ, что обо мнѣ ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія.

«Каково это?.. Я надѣялся на вырученную сумму откупиться отъ казны, жить на квартирѣ и хорошенько экипироваться—и всѣ мои блестящія мечты обратились въ противную дѣйствительность, горькую и бѣдственную. Я могъ бы найти кондицію, завести хорошія и полезныя для меня знакомства, во въ форменной одеждѣ, кромѣ аудиторіи, нигдѣ нельзя показаться, ибо она въ крайнемъ пренебреженіи...

«Лестная, сладостная мечта о приобрѣтеніи извѣстности, объ освобожденіи отъ казеннаго кошта для того только ласкала и тѣшила меня, довѣрчиваго къ ея дѣтскому, легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести... Теперь, лишившись всѣхъ надеждъ моихъ, я совершенно *опустился: все разное, вотъ девизъ мой*»...

Надо думать, что гг. профессора и серьезно увидѣли въ Бѣлинскомъ чуть-ли не государственнаго преступника и разрушителя основъ, за каждымъ шагомъ котораго надо внимательно слѣдить, заноса его въ рапортчики. Въ сущности-же передъ ними былъ довѣрчивый, нѣсколько наивный даже юноша, который хотѣлъ только высказаться о томъ, что наболѣло на душѣ и своимъ трудомъ откупиться отъ «проклятой бурсы»—какъ онъ называлъ уже теперь казенный коштъ при университетѣ.

Да, и съ этой стороны далеко не все обстояло благополучно. Паркетъ, чистота и порядокъ скоро пріѣлись. Свобода подъ надзоромъ инспектора и субъ-инспекторовъ оказалась разумѣется призрачной и Бѣлинскаго опять потянуло на волю... хотя-бы впроголодь. Такая ужъ натура была у человѣка—казацкая въ полномъ смыслѣ этого слова. Неудача съ трагедіей была лишь послѣдней каплей, переполнившей чашу. Бѣлинскій, какъ и въ гимназіи, заскучалъ. затосковалъ, сталъ угрюмымъ и безъ мѣры раздраженнымъ. Никогда особенно не интересовавшая его наука утеряла всякую притягательность. Онъ началъ пропускать лекціи, что было очень дурнымъ предзнаменованіемъ для будущаго.

У нашихъ біографовъ есть странная привычка все приводить къ одному знаменателю и все окрашивать въ одну и ту же краску. Если Бѣлинскій — хорошъ, то для нихъ это означаетъ, что онъ хорошъ рѣшительно во всѣхъ отношеніяхъ и что одинаково великолѣпенъ каждый шагъ, совершенный имъ на многотрудномъ пути жизни. Поэтому, если онъ не окончилъ гимназіи—виновата гимназія и плохое ея состояніе; не окончилъ университета — виноватъ университетъ. Подобрать факты, свидѣтельствующіе о виновности университета или гимназіи — не трудно. Но развѣ все это оправдываетъ Бѣлинскаго? или — развѣ *надо* его оправдывать? Неужели-же современная публика такъ глупа, что званіе и заслуги великаго критика требуется подтверждать и подкрѣплять въ ея глазахъ гимназическими или университетскими аттестатами. Я этого рѣшительно не допускаю и прямо говорю: въ неокончаніи курса гимназіи и

университета прежде всего виновать самъ Бѣлинскій: онъ могъ же кончить то и другое заведеніе, но не хотѣлъ. Однако бѣды въ этомъ я рѣшительно не вижу никакой и сто дипломовъ даже съ прибавкою магистерскихъ, докторскихъ и академическихъ значковъ ни на іоту не увеличили-бы въ моихъ глазахъ цѣнности статей, вышедшихъ изъ-подъ пера Бѣлинскаго. Дѣло, кажется, мнѣ объясняется очень просто. Бѣлинскій былъ натура мягкая, покладистая, но неизмѣнно упорная въ одномъ: въ защитѣ своей независимости и самостоятельности. Къ нимъ онъ привыкъ съ самаго дѣтства еще въ родительскомъ домѣ, затѣмъ во время вольнаго житья съ суровыми семинаристами и разставаться съ ними ни за что въ свѣтѣ согласенъ не былъ. Университетъ давалъ ему несомнѣнно очень много, и прежде всего—нѣкоторую дозу систематическаго образованія, затѣмъ онъ кормилъ, одѣвалъ и грѣлъ его, снабжалъ его книгами и т. д. Все это было прекрасно, но требовалось и вознагражденіе, въ видѣ подчиненія для всѣхъ обязательной университетской ферулѣ. Этому Бѣлинскій не могъ и не хотѣлъ вынести. Какъ только онъ почувствовалъ, что чья-то чужая и сильная рука начинаетъ давить его, дисциплинировать и стѣснять, онъ немедленно возмутился духомъ своимъ. А отсюда до полного разрыва былъ лишь одинъ шагъ.

Въ сентябрѣ 1832 г. (годъ впрочемъ въ точности не извѣстенъ), Бѣлинскій былъ исключенъ изъ университета. Ни причины ни повода мы не знаемъ. Поднимаются догадки. Вѣроятно за трагедію, заключающую въ себѣ столько ужасовъ съ точки зрѣнія цензуры того времени? Очень можетъ быть, что за трагедію, а очень можетъ быть и за то, что Бѣлинскій постоянно собиралъ сходки, ораторствовалъ на нихъ, громко называлъ казеннокоштное существованіе—проклятой бурсой, не посѣщалъ лекцій и вообще нисколько не интересовался наукой. Грѣховъ было достаточно или лучше сказать грѣховъ совсѣмъ не было, была одна ошибка. Конечно, въ то время Бѣлинскій не зналъ еще себя и не могъ понять той простой вещи, что официальные, узаконенные пути не для него и что не ему идти торными тропинками сначала гимназій, потомъ университета, потомъ службы. Для этого нуженъ другой характеръ и выя должна быть выносливѣе. А что систематическое возможно при этой постоянной нервности, раздражительности и болѣзненно ревнивомъ отношеніи къ своей свободѣ? Бѣлинскаго ждетъ другая дорога—болѣе трудная и тернистая и дипломъ не университета, а всей Россіи. Это лучше.

Теперь я прошу читателя обратить вниманіе на одно обстоятельство, которое въ моихъ глазахъ имѣетъ особенное, а для предстоящаго періода жизни Бѣлинскаго и первенствующее значеніе. Обстоятельство, впрочемъ, на словахъ самое простое: суть въ томъ, что съ этой минуты (со дня исключенія изъ университета) мы имѣемъ дѣло съ совершенно *нищимъ* человѣкомъ. Этотъ нищій человѣкъ только не протягиваетъ руки, только не надоѣдаетъ вамъ своимъ усталымъ изможеннымъ видомъ, а глубоко таятъ въ душѣ свои муки

и свой ропотъ на судьбу. Онъ теперь робокъ, застѣнчивъ, самолюбивъ, онъ старается спрятаться куда нибудь въ уголъ отъ всѣхъ, когда кто нибудь случайно заглядываетъ въ его коморку — онъ встрѣчаетъ вошедшаго недо-вѣрчивымъ воспаленнымъ взглядомъ. Онъ почти не выходитъ на улицу. Впрочемъ и выйти нельзя — не въ чѣмъ: нѣтъ даже носильнаго платья!

Начальство, какъ говорятъ, было такъ враждебно къ Бѣлинскому, что ему не оставили даже казеннаго платья, которое обыкновенно предоставляли выходящимъ студентамъ.

Какъ онъ самъ относится къ своему исключенію изъ университета? Онъ страшно подавленъ этимъ обстоятельствомъ. Онъ долго скрывалъ его отъ своихъ домашнихъ и только черезъ девять мѣсяцевъ сообщилъ о немъ своей матери:

«Давно уже не писалъ я къ вамъ, не знаю, въ хорошую или дурную сторону толкуете вы мое молчаніе. Какъ бы то ни было, но на этотъ разъ я желалъ-бы не умѣть ни читать ни писать, ни даже чувствовать, понимать и жить... Не радостны были мои письма съ самаго проклятаго холернаго года, но теперь я не могу безъ ужаса подумать о томъ ударѣ, которымъ готовлюсь поразить васъ, мою мать.

«Девять мѣсяцевъ таилъ я отъ васъ свое несчастіе, обманывалъ всѣхъ чембарскихъ бывшихъ въ Москвѣ, лгалъ и лицемерилъ, скрѣпя сердце, но теперь не могу болѣе. Вѣдь когда нибудь надобно-же узнать вамъ. Можетъ даже быть, что вы уже знаете, можетъ быть вамъ сообщено это съ преувеличеніями, а вы — женщина, мать. Чего не надумаетесь вы? При одной мысли объ этомъ сердце мое и обливается кровью. Я потому такъ долго молчалъ, что еще надѣялся хоть сколько нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать объ этомъ хладнокровнѣе. Я не щадилъ себя, употреблялъ всѣ усилія къ достиженію своей цѣли, ничего не упускалъ, хватался за каждую соломенку и, притерпѣвая неудачи, не унывалъ и не приходилъ въ отчаяніе — для васъ, только для васъ. Я всегда живо помнилъ и хорошо понималъ мои къ вамъ отношенія и обязанности, терпѣлъ все, боролся съ обстоятельствами, сколько доставало силъ, трудился и, кажется, не безъ успѣха. Вотъ въ чемъ дѣло. Вы знаете, что проходить уже четвертый годъ, какъ я поступилъ въ университетъ; вы, можетъ быть, считаете по пальцамъ мѣсяцы, недѣли, дни, часы и минуты, насъ раздѣляющіе; думаете съ восхищеніемъ о томъ времени, о той блаженной минутѣ, когда, неожиданный и незванный, я, какъ снѣгъ на голову, упаду въ объятія семейства кандидатомъ или, по крайней мѣрѣ, дѣйствительнымъ студентомъ?.. Мечта очаровательная! И меня обольщала она нѣкогда! Но, увя! въ сентябрѣ исполнится годъ, какъ я *выключенъ изъ университета!!!*... Предчувствую, что это будетъ вамъ стоить большихъ слезъ, тоски и даже отчаянія. — и это-то самое меня и сокрушаетъ... Но, маменька, все-таки умоляю васъ не отчаяваться и не убивать себя бесплодною горестію. Есть счастье въ несчастіи, есть утѣшеніе и въ горести,

есть благо и въ самомъ злѣ. Я видѣлъ людей въ тысячу тысячъ разъ несчастнѣе себя и потому смѣюсь надъ своимъ несчастіемъ...

«Теперь въ короткихъ словахъ расскажу вамъ мою печальную исторію. Вышедши изъ больницы, я просилъ Голохвастова, чтобы онъ, изъ уваженія къ моей долговременной болѣзни, позволилъ мнѣ въ концѣ августа или въ началѣ сентября... держать особый экзамень. Онъ, хотя и не обѣщаль исполнить моей просьбы, но и не отказаль, а сказалъ: «хорошо, посмотримъ». Я остался въ надеждѣ, и съ половины мая до самаго сентября, несмотря на чрезвычайно худое состояніе моего здоровья, работалъ и трудился какъ чортъ, готовясь къ экзамену. Но экзамена не дали, а вмѣсто его увѣдомили меня о всемилостивѣйшемъ увольненіи отъ университета...

Я не буду говорить вамъ о причинахъ моего исключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерадѣніе, а болѣе всего долговременная болѣзнь и подлость одного толстаго превосходительства. Ницѣ времена мудренныя и тяжелыя: подобныя происшествія очень не рѣдки»...

Вы хотите знать какъ онъ жилъ эти ужасные 9 мѣсяцевъ, больной, брошенный, переходившій то и дѣло отъ надежды къ полному отчаянію? Скрѣпя сердце ему приходилось обращаться къ роднымъ и получать отъ нихъ крохотныя деньги вмѣстѣ съ крупными упреками. Въ то-же время онъ искалъ уроковъ и литературной работы, брался (и кажется выполнилъ) за переводъ одного изъ романовъ Поль-де-Кока, задумываль отправиться куда нибудь на кондациіи. Но дѣло долго не налаживалось. Въ одномъ изъ его писемъ къ брату есть шутивное сквозь горечь и слезы описаніи «эпизода», прекрасно рисующее его положеніе въ это время.

Родители послали ему денегъ, и между прочимъ извѣщали, что послали ему еще 4 руб. асс. (цѣлковый) съ ихъ знакомой г-жей Горнъ. Бѣлинскій отвѣчалъ, что радъ бы былъ посѣтить г-жу Горнъ, но этому мѣшаетъ «одно небольшое обстоятельство, а именно *неимѣніе* платья, не только *приличнаго*, но и *никакого*. Я не знаю, что мнѣ дѣлать,— говорилъ онъ. Деньги нужны, а идти за ними страхъ какъ не хочется»... Наконецъ нужда заставила его отправиться за «цѣлковымъ». Эти поиски кончились траги-комической исторіей, рассказанной въ письмѣ Бѣлинскаго къ брату Константину, отъ 27 января 1832. Прежде всего ему надо было «со всего міра собирать одежду»: онъ собралъ ее у пріятелей и отправился на второй день Рождества, день холодный до крайности.

«Я хотѣлъ занять денегъ на извозчика, ибо идти мнѣ нужно было, по крайней мѣрѣ, версты три. Къ счастью, что ни у кого не было ихъ и мнѣ никто не далъ. Являюсь къ Горнъ, а хотя чужое платье было и не совсѣмъ по мнѣ, однако-же я не уронилъ себя. Сынъ ея расцѣловался со мною, какъ со стариннымъ знакомцемъ, и повелъ меня въ гостиную къ своей матери, которая сначала меня не узнала. Я говорилъ съ нею и о томъ, и о семь, а объ деньгахъ не рѣшался упомянуть, ибо ждалъ, чтобы она сама мнѣ ихъ вручила. Наконецъ, я увидѣлъ, что уже пора убираться во свояси, вручилъ

ей письмо, простился и ушел. Она оставляла меня обѣдать, но я не остался, ибо мнѣ нужны были деньги, а не обѣдъ ея. Вышедши, позабылъ калоши. На другой день я пишу записку къ ея сыну, въ которой прошу его напомнить своей маменькѣ о моихъ деньгахъ и чтобы онъ велѣлъ отдать калоши, и записку сію послалъ съ сапожникомъ, который стоитъ на квартирѣ у Алексѣя Петровича. Какой же я отвѣтъ получилъ? Сына ея не было дома, и потому записку прочла она сама и сказала, что цѣлковый она возвратила моей маменькѣ и что если бы деньги были у ней, то она бы и безъ записки сама отдала бы мнѣ. Потомъ стали искать калоши, но онѣ сплыли и слѣдъ пропалъ. Не прикажете-ли теперь еще сходить къ г-жѣ Горнъ за цѣлковымъ?»

Нѣтъ—незачѣмъ.

Приблизительно съ половины 1833 года внѣшнія обстоятельства Бѣлинскаго стали принимать болѣе приличный и человѣческій оборотъ. Онъ прискалъ себѣ почти постоянную переводную работу въ журналъ Надеждина «Телескопъ» и «Молвъ». Но главнымъ источникомъ его существованія все-же оставались пока уроки, которыми, какъ это часто бываетъ, онъ сразу раздобылся, послѣ голодовки, въ изобиліи. Уроки давали ему около 60-ти рублей въ мѣсяцъ и разумѣется въ это время онъ смотрѣлъ на себя не иначе какъ на Ротшильда.

«Я внѣ себя отъ восхищенія,—пишетъ онъ по этому случаю, натерпѣвшись отъ своей прежней бѣдности,— что панялъ квартиру, гдѣ тишина и уединеніе даютъ мнѣ совершенную возможность заниматься науками... Теперь я начинаю дышать посвободнѣе, начинаю отдыхать отъ тяжелой ноши горестей и непрерывныхъ бѣдъ, подъ тяжестію которыхъ чуть было не утратилъ совершенно и душевнаго, и тѣлеснаго здоровья». «Вообще, — говоритъ онъ въ другомъ письмѣ,— мои дѣла идутъ съ каждымъ днемъ лучше: будущность представляется мнѣ въ самой пріятной перспективѣ»...

Къ брату онъ пишетъ отъ 17 августа 1834:

«Я перебрался къ Надеждину и живу у него уже двѣ недѣли. Жить мнѣ очень недурно; у меня собственная комната... и такъ я совершенно обезпеченъ со стороны содержанія. 9-го числа нынѣшняго мѣсяца (въ четвертокъ) подавъ я просьбу о поступленіи въ службу на корректорское мѣсто. Ректоръ ее принялъ, и по всему видно, что дѣло недѣли черезъ три-четыре кончится въ мою пользу, и я буду пользоваться казенною квартирою, 1.000 руб. жалованья (о чинахъ не хлопочу: это въ моихъ глазахъ сущій вздоръ; деньги лучше). Вотъ видишь-ли и на моей улицѣ настаетъ праздникъ, терпѣлъ, терпѣлъ, да и вытерпѣлъ. Теперь Надеждинъ уѣхалъ (14-го числа) ревизовать Тульскую и Рязанскую губернію, и поручилъ мнѣ журналъ и домъ, гдѣ я теперь полный хозяинъ... пользуюсь его бібліотекою, и живу припѣваючи»...

Но вздохнуть полной грудью жизнь все-же не позволяла. Тяжелымъ гнетомъ на душу Бѣлинскаго ложились письма изъ дому. Тамъ, въ Чамба-

рахъ все шло «естественнымъ» образомъ, съ той суровой и безопадной логикой, которой отличается жизнь неудачниковъ. У нихъ — ни просвѣта, ни признака удачи: узелъ затянуть крѣпко. Отецъ пилъ все больше и больше пока водка не стала наконецъ для него безусловной необходимостью, его жена — растерявшаяся несчастная женщина, металась по квартирѣ съ проклятіями, не зная, за что взяться и видя, что все рушится кругомъ. Бѣлинскій выходилъ изъ себя и съ обычной прямою высказывалъ, что онъ думаетъ. А думалъ онъ, что родители своей безалаберной и даже безобразной жизнью должны загубить въ концѣ концовъ своихъ дѣтей.

«Съ каждымъ письмомъ твоимъ, ты вливаешь въ мою душу по капелькѣ яду. Маменька безпрестанно плачетъ, сама не зная отъ чего. Хотя о папенькѣ ты ничего не пишешь, но я слышалъ о немъ ужасную исторію... Я давно предвидѣлъ, что рано или поздно, а ужъ должно было случиться съ папенькой что нибудь подобное. При всей откровенности и благородствѣ характера, при добромъ сердцѣ, онъ страдаетъ ужаснымъ порокомъ — подозрительностью», разумѣется пустою и неосновательною. Ему кажется, что его жена, дѣти, родные все стоятъ около него съ поднятыми ножами, готовы пронзить его вдругъ и только ждущіе благоприятнаго мгновенія... Ему мнится, что весь міръ противъ него въ заговорѣ, тогда какъ міръ и не думаетъ дѣлать ему зло, ибо все люди заняты сами собою и дѣлаютъ зло другимъ изъ выгодъ, а что за выгоды и за пользы дѣлать зло папенькѣ?... Отчего происходитъ такая ужасная недовѣрчивость къ людямъ? Оттого, что онъ имѣетъ самое дурное мнѣніе о людяхъ: они ему кажутся или подлецами, или дураками. Онъ не вѣритъ не честности женщинъ, ни добросовѣстности мужчинъ. а между тѣмъ, о себѣ, вѣрно, самага лучшаго понятія, какъ будто — бы на цѣломъ земномъ шарѣ онъ одинъ истинно благородный человекъ. Подозрительными людей дѣлаютъ обыкновенно великія несчастія, а какія несчастія претерпѣлъ отъ людей папенька? Если онъ страдалъ и теперь страдаетъ,—это отъ самого себя; онъ есть лютейшій врагъ, мучитель и тиранъ самого себя: не люди, а самъ онъ виноватъ въ своихъ несчастіяхъ... конечно, онъ имѣлъ и имѣетъ враговъ, но какихъ враговъ! Да и кто ихъ не имѣетъ?.. Я предвижу ужасныя слѣдствія, ужасныя несчастія, угрожающія и безъ того несчастному нашему семейству, если папенька, внявъ голосу разсудка, не перемѣнитъ своего несчастнаго характера! Сохрани Господи, ежели... что будетъ съ вами!.. О себѣ я не беспокоюсь; я живу, живу, сношу терпѣливо мою судьбу, берегу себя. удаляюсь отъ всего, что можетъ сдѣлать меня несчастнымъ, не для себя, а для своего семейства; для него только желаю себѣ и долготѣія, и счастья, и здоровья, и богатства; для него единственно я сохраняю бодрость, стараюсь не упасть духомъ и выпутаться изъ оковъ, меня обременяющихъ! Для чего вы все того же не дѣлаете? Сколько разъ просилъ я маменьку, чтобы она старалась укрощать пылкій до дикости и неистовства характеръ, сносила бы съ терпѣніемъ и кротостію, приличными всякой истинно благородной женщиной и доброй женѣ и матери семейства, все несправедливости папеньки,

старалась-бы избѣгать съ нимъ всякихъ бесполезныхъ ссоръ и тушить пламя въ самомъ его началѣ, старалась-бы сохранить спокойствіе духа и твердость характера, отъ которыхъ зависитъ и тѣлесное и душевное здоровье, а слѣдовательно и счастье; берегла-бы себя для своихъ дѣтей, для своего семейства, исполняла-бы всѣ обязанности, предписываемыя женамъ божественными и человѣческими законами! И все тщетно! Мое усердіе и мои благіе совѣты она назвала грубостію и непочтеніемъ къ матери. Сколько разъ, также тщетно, я просилъ и говорилъ папенькѣ... Такъ, люби и почитай родителей,—я это всегда тебѣ совѣтую; но, несмотря на то, я имѣю право сказать, что наши несчастія зависятъ отъ нихъ, что они и себя, и насъ губяты. Они не знаютъ своихъ обязанностей, они не знаютъ, что они принадлежать не самимъ себѣ, а отечеству и дѣтямъ, что они должны дышать для дѣтей своихъ, стараться образовать изъ нихъ добрыхъ гражданъ для отечества,—это законъ природы законъ Бога и самихъ людей. Они нимало не щадяты самихъ себя, гоняты другъ друга къ гробу, разстраивають свое здоровье и душевное спокойствіе».

Слова Бѣлинскаго оправдались. Его мать и отецъ дѣйствительно вогнали другъ друга въ гробъ и умерли одинъ вскорѣ послѣ другого въ 1834 году.

Глава IV.

Описывая интеллигентную жизнь первой половины тридцатыхъ годовъ, А. Герценъ говоритъ между прочимъ:

«Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между нѣсколькими мальчиками, только что вышедшими изъ дѣтства. Въ нихъ было наслѣдіе общеловѣческой науки.

«Это были зародыши исторіи, незамѣтные, какъ зародыши вообще, слабые, ничтожные, ничѣмъ не поддерживаемые. Они легко могли-бы погибнуть безъ слѣда, но они остаются, а если и умирають на полдорогѣ, то не все умираеть съ ними.

«Мало-по-малу зародыши развиваются, растутъ; изъ нихъ составляются группы. Болѣе родственныя группы собираются около своихъ средоточій, другія отталкиваютъ другъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и возможность многосторонняго развитія; распустившіяся вѣтви соединяются—какъ-бы онѣ ни назывались,—кружкомъ Станкевича, славянофиловъ, западниковъ,—главная черта ихъ глубокое чувство отчужденія отъ среды ихъ окружающей, стремленіе выйти изъ нея.

«Возраженіе, что эти кружки представляютъ явленіе исключительное, постороннее, безсвязное, что воспитаніе большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорѣе выражаютъ переводъ на русское французскихъ и нѣмецкихъ идей, чѣмъ что нибудь свое,—неосновательно.

«Люди вообще трудно отрѣшаются отъ своего наследственнаго склада,— физиологическій предѣлъ нельзя перейти, для этого надо исключить слѣды колыбельныхъ пѣсенъ, родныхъ полей, горъ, обычаевъ и всего окружающаго строя.

«Если аристократы прошлаго вѣка, пренебрегая всеѣмъ русскимъ, въ самомъ дѣлѣ оставались русскими, то тѣмъ больше русскаго характера не могло утратиться у молодыхъ людей оттого, что они занимались науками по французскимъ и цѣмекскимъ книгамъ.

«Нравственный уровень общества палъ, развитіе было прервано, александровское поколѣніе заняло первое мѣсто. Мало-по-малу оно утратило дикую поэзію кутежей, барства, храбрости; они служили, и выслуживались, но это были не сановники.

«Время ихъ прошло.

«Подъ этимъ большимъ свѣтомъ безучастно молчалъ большой міръ народа. для него ничто не перемѣнилось—ему было не хуже и не лучше прежняго. Его время не пришло.

«Между этой основой юноши, почти дѣти, первые приподняли голову, можетъ быть не подозрѣвая, какъ это опасно; этими дѣтьми Россія частью начала приходить въ себя.

«Ихъ вниманіе остановило противорѣчіе ученія съ жизнью. Учителя, книги, университетъ говорили одно—это было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда—другое, съ чѣмъ согласны власти и денежные выгоды. Противорѣчіе воспитанія съ правами доходило до громаднхъ размѣровъ.

«Число воспитывавшихся было мало; но и тѣ получали не то чтобы обемистое воспитаніе, а довольно общее и гуманное, оно очеловѣчивало учениковъ всякій разъ, когда принималось. А челоѣвка-то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеловѣчиваться—такъ толпа и дѣлала,—или приостановиться и спросить себя: «Да надобно-ли непременно служить?». Для большинства наставало праздное существованіе въ отставкѣ, деревенской лѣни, халатѣ, странностяхъ, картахъ, винѣ. Для другихъ время внутренней работы. Жить въ нравственномъ разладѣ съ собой они не могли. Возбужденная мысль требовала выхода. Разрѣшеніе разныхъ вопросовъ мучило молодое поколѣніе и обусловливало распаденіе его на разные круги!»

На первыхъ порахъ Бѣлинскій, благодаря своему участию въ изданіяхъ Надеждина, сошелся съ кружкомъ Станкевича—одного изъ самыхъ удивительныхъ по нравственной чистотѣ и возвышенности мысли людей. Кружокъ Станкевича былъ его дѣтищемъ и отражалъ на себѣ его личность. Здѣсь, по словамъ Анненкова—жизнь шла трезво и бодро и благодаря своему главѣ носила рѣдкій отпечатокъ скромности. Не смотря на природную веселость Станкевича, было что-то умѣренное и деликатное даже въ его шуткахъ, подобно тому какъ мысль его отличалась истиннымъ цѣломудріемъ, несмотря на страсти и увле-

ченія молодости. Все это, конечно, держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ его кругъ, въ одномъ общемъ настроеніи и на одинаковой нравственной высотѣ.

Ахъ, что такое жизнь? Какая череда
Создать меня съ сознаниемъ могла?—

таковъ былъ основной вопросъ кружка высоко-нравственныхъ юношей. Болѣзненный, тихій поэтъ и мечтатель, Станкевичъ естественно долженъ былъ болѣе любить отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шель: это былъ предсмертный вѣнокъ, выступавшій на бѣдномъ челѣ умирающаго юноши.

Справедливо замѣчено, что слабая, хрупкая, хотя и чрезвычайно стройная, нервная организація не дала широко развиться творческимъ силамъ души Станкевича. Обладая всѣми данными, которыя необходимы для литературной дѣятельности, тонкимъ пониманіемъ произведеній искусства, разностороннимъ образованіемъ, граціознымъ стилемъ съ разнообразными лирическими оттѣнками, превосходно рисующими всѣ настроенія автора, Станкевичъ не обладалъ тѣми внѣшними средствами, которыя необходимы для упорной работы въ прозаическихъ условіяхъ повседневной русской жизни. Его нервы не выдерживали никакихъ продолжительныхъ впечатлѣній и быстро, схвативъ на лету самую отвлеченную идею какой нибудь возвышенный поэтическій образъ, онъ тотчасъ истощался, не будучи въ силахъ продолжать свое настроеніе, переносить въ теченіи долгаго времени душевное волненіе, учащенное біеніе сердца, приливы горячей крови къ мозгу. «Все, что требуетъ твердой рѣшимости, что можетъ быть исполнено энергической волею, идущею войною на всякое зло, не пренебрегающею никакими средствами къ пропагандѣ тѣхъ или другихъ принциповъ, — не подходило къ темпераменту Станкевича. Онъ былъ созданъ только для мечты». Въ области-же философіи — только для самыхъ отвлеченныхъ представленій.

Въ одномъ изъ своихъ многочисленныхъ писемъ къ Грановскому, Станкевичъ въ немногихъ словахъ рассказываетъ исторію своей душевной жизни, и письмо это, по ясности настроенія, по сердечности общаго колорита, должно быть признано однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ образцовъ утонченнаго краснорѣчія. Станкевичъ говоритъ о себѣ съ оттѣнкомъ присущаго ему легкаго юмора, придающаго такую прелесть всѣмъ его лирическимъ изліяніямъ. Когда ему было четырнадцать лѣтъ, онъ грѣшилъ стихами. Но вытягивая изъ себя метафоры и пышныя фразы, онъ чувствовалъ всегда, что поэтическая дѣятельность не его призваніе. Это сознаніе росло въ немъ по мѣрѣ того, какъ развивался и изощрялся его вкусъ, какъ онъ все лучше и глубже постигалъ сущность искусства, по мѣрѣ того, какъ *чувство красоты становилось его единственною въ жизни отрадою*. Вышедши изъ университета, онъ не зналъ, за что приняться — и выбралъ исторію. Онъ ничего не видѣлъ въ ней особенно интереснаго для себя, но остановился на ней изъ подражанія всѣмъ,

подъ влияніемъ людей, не вѣрившихъ въ теоріи, по унаслѣдованной привычкѣ, «которая дѣлала страннымъ занятіе философій» и обдавала всѣ отвлеченныя стремленія холодомъ невѣрія къ достоинствамъ человѣческаго ума. Но знакомство съ Шеллингомъ обратило его къ интересамъ эстетическимъ, къ вопросамъ искусства, и тогда онъ ясно понялъ, къ чему влечется его умъ. «Грановскій, вѣришь-ли? Оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что внѣ одной всеобъемлющей идеи нѣтъ знанія, что жизнь есть самонаслажденіе любви и что все другое—призракъ. Да, это мое твердое убѣжденіе. Теперь есть цѣль передо мною: я хочу полного единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнью цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи этой идеи. Пусть другіе больше моего знали: можетъ быть, я буду знать лучше... Пришло время. Лучше—я разумѣю отчетливѣе, въ связи съ одной идеею, внѣ которой нѣтъ жизни». Больше простора! Исторію можно любить только какъ поэтическую картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, рѣшеніе которой не въ ней самой, а въ человѣкѣ, въ его мысленіи, приведенномъ въ научную систему. Поэзія и философія—сущность всего. Въ нихъ жизнь, въ нихъ любовь. Внѣ поэзіи и философіи—все мертво. Въ нихъ наслажденіе, въ нихъ спасеніе...

Я не знаю, почему такъ долго задумываться надъ словомъ? Станкевичъ былъ по своему духовному складу романтикомъ чистой воды, очень рѣдкимъ у насъ и совершенно обычнымъ въ то время на западѣ, особенно въ Германіи. Онъ мнѣ напоминаетъ Гельдердинга—знаменитаго друга Гегеля. Практическая дѣйствительность скучна, уныла, пустынна; себялюбивые люди, ищущіе наслажденія и наслажденія наполняютъ жизнь своимъ нескончаемымъ шумомъ и гамомъ. Но есть избранныя натуры, которымъ претягиваютъ торные пути. Они должны уходить отъ обычныхъ тревоженій бытія и предаваться созерцанію чистой и вѣчной красоты въ образахъ искусства, главнымъ образомъ поэзіи и музыки. Ничто грязное, пошло житейское не должно касаться ихъ. Ихъ бѣлая одежда жрецовъ прекраснаго пусть остаются незапятнанными втеченіи всей жизни. Все плотское, не духовное также отвратительно какъ и сама дѣйствительность—это грязное болото, засасывающее людей. Посмотрите, какъ представляетъ себѣ Станкевичъ любовь... Онъ бродитъ съ *нею* по пустынному полю и передъ ними необозримая даль. Тучи сгущаются на небѣ, удары грома раздаются одинъ за другимъ. Неужели ихъ можетъ что-нибудь разъединить? Неужели они не связаны навѣки? «Боже мой, какъ ужасна была-бы разлука! Опять сойти въ ничтожный міръ, опять бороться, разрушаться!» А удары все ближе, сильнѣе, гроза разражается съ безумной яростью...

— Ты вѣришь, неправда-ли, ты вѣришь, другъ мой, говорила она, что новая жизнь зарождается въ этомъ пламени, жизнь вѣчная, всемогущая, которая ощутитъ себя въ каждомъ атомѣ природы, которая прославитъ Бога въ каждомъ созданіи?

— Вѣрю-ли я, ангелъ моей души? Вѣрю-ли я? *Знаю* съ тѣхъ поръ, какъ

знаю тебя. Мы будемъ въ немъ, какъ онъ во всемъ. Мы ступили первый шагъ къ блаженству: уже я живу твоею жизнью и молюсь твоею молитвою...

Глаза ихъ сияли блаженствомъ.

И вотъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Онъ умеръ у самаго входа въ болѣе свѣтлую, радостную жизнь. «Дымятся кадила передъ престоломъ Неисповѣдимаго, стройный хоръ воспѣваетъ Бога правды, Бога любви». Отдернута таинственная завѣса алтаря, и сквозь дымъ куреній, съ престола Распятый простираетъ объятія къ людямъ. Въ храмъ толпа молящихся и въ ней — та, которая очаровала всю его душу; блѣдная, безмолвная, она сидитъ у стѣны, съ закрытыми глазами, склонивъ голову на плечо матери... А природа торжествуетъ свое возрожденіе: дуга зацвѣли, сады заблагоухали, огонь любви пробѣжалъ по всѣмъ звеньямъ созданья.

Это уже не любовь—это лишь греза о любви.

Въ своемъ кружкѣ Станкевичъ пользовался безусловнымъ вліяніемъ. Его любили, обожали даже, у него учились, старались походить на него. Для нѣкоторыхъ напримѣръ, для Грановскаго онъ остался «святымъ воспоминаніемъ на всю жизнь. И послѣ смерти (онъ умеръ въ 1840 г. 26 лѣтъ отъ роду), имя его никогда не произносилось иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ. Теперь оно окружено ореоломъ чистоты и величія.

Трудно опредѣлить размѣръ вліянія Станкевича на Бѣлинскаго, но что оно было — это несомнѣнно. Никто изъ говорившихъ о нашемъ героѣ и не думалъ отрицать его. Не думаю и я, хотя для меня лично оно представляется не иначе, какъ «психологической загадкой» или проще однимъ изъ психологическихъ парадоксовъ, на которые былъ такъ способенъ Бѣлинскій во время своей бурной карьеры. На самомъ дѣлѣ во всемъ этомъ есть что-то странное. на чемъ бы слѣдовало остановиться посерьезнѣе, чѣмъ то дѣлаютъ наши уважаемые критики и биографы. Эту «странность» увлеченія Бѣлинскаго особенно рѣзко отмѣтилъ г. Скабичевскій. По его словамъ выходитъ, что положеніе Бѣлинскаго въ кружкѣ и согласіе съ нимъ было «временнымъ переходящимъ заблужденіемъ». Назначеніе Бѣлинскаго—борьба противъ рутины и общественной несправедливости, борьба не на животь, а на смерть, до послѣдняго предсмертнаго вздоха, а онъ вмѣсто того, чтобы идти своей дорогой, сидитъ цѣлые годы и слушаетъ сладкія рѣчи о созерцаніи красоты и прелестяхъ платонической любви. Станкевичъ и его пріятели были «пропріетерами» т. е. людьми превосходно обезпеченными въ матеріальномъ отношеніи, никогда не знавшими, что значить стѣснять себя въ расходахъ не только на самое необходимое, но и на прихоти. Имъ и книги въ руки. Имъ ничего не стоило мириться со всѣмъ существующимъ и проводя жизнь свою въ *dolcefar niente* погружаться въ эстетическую Нирвану поэтическихъ образовъ и музы-

кальныхъ звуковъ. Но при всѣхъ этихъ барскихъ затѣяхъ — какое мѣсто Бѣлинскому, «угловому жильцу, не имѣющему даже носильнаго платья». Очевидно, что связь съ Станкевичемъ лишь временное и преходящее заблужденіе.

Таковъ взглядъ Скабичевского. Онъ не лишенъ нѣкотораго остроумія, но въ то же время онъ не все объясняетъ. Дѣло, очевидно, не въ заблужденіи, а въ томъ, откуда оно, какія причины его вызвали?

Чтобы хотя отчасти разрѣшить ихъ — не надо, кажется, забывать опредѣленія Бѣлинскаго, даннаго имъ самому себѣ. Онъ назвалъ какъ-то себя художественнымъ недоноскомъ. И это правда. Уже съ дѣтскихъ лѣтъ, мы видимъ его постоянныя попытки писать стихи и излагать въ «размѣренныхъ строкахъ» свои высокія мысли. Потомъ онъ сочиняетъ трагедію. Все это вышло у него блѣдно, не ярко, слабо, но важно для насъ отмѣтить не результаты, а постоянныя поползновенія. Онъ мечталъ быть поэтомъ и съ грустью созналъ свою непригодность. Не знаю, съ какимъ чувствомъ на душѣ шутилъ и подсмѣивался онъ надъ своей трагедіей, но полагаю, что далеко не съ весельемъ. Это была натура столько-же боевая, сколько артистическая, страстно любившая музыку, поэзію, театръ. И въ этомъ отношеніи кружокъ Станкевича вполне могъ удовлетворить Бѣлинскаго.

Здѣсь: Шекспиръ, Гете, Шиллеръ были постоянно на языкѣ этихъ восторженныхъ почитателей искусства; первый стоялъ превыше всего, какъ предметъ безусловнаго поклоненія; Гете, но особенно Шиллеръ, подвергались различнымъ истолкованіямъ, и Бѣлинскій — въ періодъ своихъ абстрактныхъ увлеченій — нѣсколько разъ перемѣнялъ свои мнѣнія о послѣднемъ, отъ пламеннаго восторга до настоящей вражды!

Не мудрено, что рядомъ съ этимъ, въ кружкѣ издавна пользовался великимъ уваженіемъ Гофманъ, который не мало способствовалъ этому увлеченію эстетическими интересами. Сочиненія Гофмана съ этихъ поръ и до половины сороковыхъ годовъ усердно переводились друзьями кружка — въ «Телескопѣ», «Наблюдателѣ» и «Отеч. Запискахъ». Можно сказать, что сочиненія Гофмана, который въ своихъ фантастическихъ повѣстяхъ такъ часто обращался къ вопросамъ искусства, съ такимъ энтузіазмомъ и глубокимъ пониманіемъ говорилъ о немъ. — что сочиненія Гофмана были для кружка настоящимъ курсомъ эстетики. Гофманъ и надолго послѣ остался въ числѣ писателей, возбуждавшихъ любовь и удивленіе Бѣлинскаго. Любопытно, что на Гофманъ (какъ дальше увидимъ) въ первый разъ сошлись вкусы обоихъ тогдашнихъ кружковъ въ области идеализма.

Такой же общей была у друзей страсть къ театру. «Театръ становится для меня атмосферою», — пишетъ Станкевичъ въ одномъ письмѣ (въ маѣ 1833) и его театральные восторги невольно напоминаютъ извѣстныя страницы о театрѣ, которыя были написаны Бѣлинскимъ въ первой же его статьѣ: — «Театръ! любите ли вы театръ, какъ я люблю его, то-есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только

способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ не сосредоточиваются ли въ немъ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ?.. Театръ,—о, это истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгновенно отдѣляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ житейскихъ отношеній!.. Ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!»

Развѣ литературы, театра, поэзіи и музыки недостаточно для 20-ти лѣтней артистической натуры? Развѣ нужно непременно заблуждаться, чтобы находить полное и высокое удовольствіе въ обществѣ горячихъ и умныхъ сверстниковъ, готовыхъ проводить ночи за безконечными спорами, возбуждать которые приказывалъ страстный интересъ къ искусству? А Бѣлинскій любилъ спорить, любилъ чувствовать себя среди живыхъ людей.

Необходимо принять, далѣе, во вниманіе, какъ обаятельно и неотразимо дѣйствовала на людей самая личность Станкевича, его умъ, его деликатность, его увлеченіе всѣмъ высокимъ и прекраснымъ. Самъ поэтъ въ душѣ Станкевичъ превосходно понималъ поэзію и любилъ говорить о ней какъ высшемъ проявленіи человѣческаго духа. И восторги передъ поэзіей и красотой далеко не исчерпывались одними словами. Это было бы слишкомъ печальнымъ явленіемъ въ жизни только что зародившейся русской интеллигенціи. Нѣтъ, этотъ восторгъ, это пониманіе, эта любовь отражалась прежде всего какъ *требованіе суроваго нравственнаго долга*, преобразалась въ дѣйствительный *подвигъ* собственнаго очищенія, цѣломудрія, духовной возвышенности. Надо быть самому прекраснымъ и чистымъ, чтобы пониманіе красоты не исчезло въ душѣ, а напротивъ того, ширилось и росло въ ней. И друзья невольно выработали для взаимныхъ своихъ отношеній строгій, немного даже монастырскій уставъ. Здѣсь на первомъ планѣ стояли безусловная искренность и откровенность.

«Строгое пониманіе человѣческаго призванія» сближало друзей и въ ихъ личной жизни: между ними не было тайнъ; характеръ, житейскія отношенія, поступокъ, опредѣлялись и подводились подъ свою категорію, вырабатывался свой кодексъ морали. «Я передъ вами открытъ», говорилъ Станкевичъ ближайшимъ друзьямъ, а въ томъ числѣ Бѣлинскому, и дѣйствительно переписка друзей свидѣтельствуетъ о полной искренности и чрезвычайномъ довѣрїи другъ къ другу. Нѣсколько позднѣе, тотъ же характеръ отношеній возникъ у Бѣлинскаго съ Боткинскимъ. Они были совершенно открыты другъ передъ другомъ. взаимно повѣряли себя, дѣлились самыми интимными мыслями и ощущеніями... Бѣлинскій съ ревностью и сурово примѣнялъ моральный кодексъ прежде всего къ самому себѣ — его переписка представляетъ цѣлый рядъ безпощадныхъ самообличеній; противъ нѣкоторыхъ біографу приходится защищать его самого.

Искренность, откровенность, строгое отношеніе къ себѣ—это какъ разъ то, что требовалось для суроваго, ригористически прямолинейнаго характера Бѣлинскаго. И, честное слово, я рѣшительно не понимаю, при чемъ тутъ заблужденіе? Развѣ въ томъ, что не говорили объ обществѣ, общественныхъ

задачахъ и всеобщемъ счастьѣ? Ахъ, Боже, какъ это невыносимо глупо и пошло требовать, чтобы всякій начиналъ тащовать непремѣнно отъ печки.

Дѣло, разумѣется не обходилось, безъ крайностей и увлеченій въ сторону слишкомъ исключительнаго поклоненія искусству, но еще страннѣе, если-бы не было увлеченій въ кружкѣ двадцатилѣтнихъ юношей.

Такимъ образомъ кое что начинаетъ выясняться для насъ въ указанномъ мною психологическомъ парадоксѣ. Но это еще не все, далеко не все. Странность все-же въ значительной степени остается странностью. Кружокъ Станкевича къ концу тридцатыхъ годовъ дошелъ до полного преклоненія передъ дѣйствительностью, какъ она есть, до равнодушія и презрѣнія къ общественнымъ вопросамъ, до какого-то мистическаго консерватизма, когда все существующее представляется не только разумнымъ, должнымъ, необходимымъ, но и чѣмъ-то святымъ, на самую ничтожную подробность чего лишь преступникъ можетъ поднять свою дерзновенную руку. Это примирительное направленіе становилось замѣтнѣе изо-дня на день, по мѣрѣ того какъ изучалась философія Гегеля, а... здоровье Станкевича становилось все хуже. Ему, больному и приговоренному къ скорой смерти юношѣ, на самомъ дѣлѣ были доступны лишь чисто-эстетическія и философскія утѣшенія. Но любопытно, что и другіе шли за нимъ, а впередъ всѣхъ другихъ—Бѣлинскій. И онъ нищій, оброшенный человѣкъ, гордо говорилъ: «все существующее разумно; человѣкъ, въ какомъ-бы положеніи онъ ни находился, не имѣетъ права протестовать противъ чего-бы то ни было; онъ можетъ страдать, кусать себѣ руки отъ боли въ сердцѣ, но все-же... существующее— разумно. Дѣйствительно странно! И Бѣлинскій не останавливался передъ самыми крайними выводами изъ этого фантастическаго ученія, онъ презираетъ всѣхъ тѣхъ, кто не раздѣляетъ его, онъ готовъ былъ не только спорить, но и ссориться со всѣми, возстававшими противъ его оригинальнаго гегелианства. Разъ дѣло касалось ученія, догмы, истины—для него переставали существовать друзья и знакомые.

«Все существующее разумно». Я замѣчу прежде всего, что Бѣлинскій далеко не сразу увлекся этой формулой, что онъ подошелъ къ ней тихими шагами, быть можетъ даже незамѣтно для самого себя. И путь, который велъ его къ ней, не представлялъ ни угрозъ, ни ужасовъ. Формула подкупала незамѣтно, она проникала въ душу среди страстныхъ разговоровъ объ искусствѣ, въ обстановкѣ суровой борьбы человѣка съ самимъ собою во имя нравственнаго долга и красоты, она выросла изъ обстоятельныхъ рѣчей Станкевича о германской философіи и германской эстетики, она оправдывалась восторженнымъ настроеніемъ духа.

Но—самое главное—знаетъ ли ктонибудь, почему Бѣлинскій сталъ такимъ горячимъ ея приверженцемъ? Нѣтъ, не знаетъ никто, потому что еще нѣтъ возможности проникнуть въ тайники этой страстной, увлекающейся, почти безумной души нищаго поэта! Кто знаетъ, не искалъ ли онъ въ ней, въ этой всепримирающей формулѣ утѣшенія отъ бурь и невзгодъ жизни,

которыя еще долго не давали ему ни минуты покоя,—искалъ бессознательно, подчиняясь лишь инстинктивному чувству самосохраненія? Не давала ли она ему бодрости и силы? Не оправдывала ли она того ничтожнаго мѣста, которое онъ занималъ во вселенной? Если разумно все существующее, то, значить, разумна и моя нищета, и мои муки, и мои неудачи, и мои горести. Ницъ-же передъ этой всемогущей, всепроникающей разумностью, потому что иначе мнѣ остается лишь прицѣпить веревку къ первому торчащему изъ стѣны гвоздю.

Вы не вѣрите въ возможность такого рода психологіи, но надо замѣтить, что мы имѣемъ дѣло не съ обыкновеннымъ смертнымъ, а человѣкомъ огромной фантастичности, огромной способности самозабвеннаго увлеченія.

Какъ бы то ни было вліяніе кружка Станкевича на Бѣлинскомъ очень замѣтно. И это вліяніе было, продолжительно и во всякомъ случаѣ—хорошо. Здѣсь Бѣлинскій не только узналъ многое, но и изоцрилъ свой вкусъ и выработалъ приемы своей прекрасной эстетической критики. А что онъ вдавался въ крайности, доходилъ до идолопоклонства передъ разумною дѣйствительностью—это право не бѣда.

Глава V.

Первыя статьи.

Близкая связь съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинскаго продолжалась 7 или 8 лѣтъ (1831—1839) до самаго его переѣзда въ Петербургъ. За этотъ періодъ началась и его самостоятельная литературная дѣятельность—знаменитой статьей Литературныя Мечтанія, помѣщенныхъ въ прибавленіяхъ къ Телескопу. Эта статья сразу указала Бѣлинскому истинное его призваніе и дала ему не только нѣкоторую самоувѣренность, но и извѣстность. И въ томъ и другомъ онъ очень нуждался. По своему значенію эта статья историческая, сдѣлавшая въ области критики то же, что раньше сдѣлали первыя стихотворенія Пушкина (напр. Русланъ и Людмила) въ области поэзіи. Повременная пресса была какъ нельзя болѣе права, вспоминая и отпраздновавъ статьями ея пятидесятилѣтіе.

При появленіи статьи, первое впечатлѣніе многихъ товарищей Бѣлинскаго было, что она написана самимъ Надеждинымъ: они встрѣтили въ ней мысли, уже знакомыя имъ по статьямъ этого талантливаго профессора-журналиста.

Прозоровъ рассказываетъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, что, посѣщая Бѣлинскаго по его выходѣ изъ университета, когда тотъ жилъ съ своими родственниками Ивановыми, однажды онъ началъ читать Бѣлинскому свою статью, въ которой излагались понятія о природѣ, какъ откровеніи творческихъ идей, извлеченныя изъ Шеллинговой философіи и выслушанныя Прозоровымъ отъ

Надеждина, — Бѣлинскій поспѣшно остановилъ его. «Не читай, пожалуйста, — сказалъ онъ, — у меня самого носятся въ душѣ подобныя мысли о творествѣ природы, которымъ я не успѣлъ еще дать формы, и не хочу, чтобы кто-нибудь подумалъ, что я занялъ ихъ у другихъ и выдаю за свои». Разказчикъ замѣчаетъ, что эти мысли и были потомъ высказаны Бѣлинскимъ въ его первой статьѣ.

Этотъ анекдотъ, которому нѣтъ основанія не довѣрять, показываетъ, что понятія Бѣлинскаго были дѣйствительно еще близки къ тому содержанію, какое давалъ Надеждинъ.

Но было одно существенное различіе, передъ значеніемъ котораго отступаетъ на задній планъ все остальное. Дѣло въ томъ, что важность «Литературныхъ Мечтаній» заключается не въ мысляхъ, высказанныхъ въ нихъ, а въ небываломъ до той поры и совершенно неслыханномъ отношеніи къ литературѣ.

Вась поражаютъ въ статьѣ двѣ вещи. То, во первыхъ, что здѣсь литература разсматривается не по кусочкамъ, а въ своемъ цѣломъ, — разсматривается словомъ вся изящная литература въ процессѣ своего историческаго развитія. Юноша-авторъ не пошелъ, значить, по торной дорогѣ, не ограничился уголкомъ темы, а взглянулъ на свою задачу широко и смѣло, какъ истинный гений. Въ этомъ приѣхѣ не было пожалуй сознательной философіи — критической точки зрѣнія, быть можетъ онъ явился невольно, подсказанный инстинктомъ, но вѣдь важность его нисколько съ этого не уменьшается. Во-вторыхъ, Бѣлинскій отнесся къ литературѣ не только съ любовью, но и съ полной серьезностью. Литература для него, очевидно, огромное и важное дѣло, которое можетъ наполнить всю жизнь человѣка, пробудить въ немъ лучшія его чувства, расширить до безконечности свой умственный горизонтъ. Здѣсь, въ своей первой статьѣ, Бѣлинскій не позволяетъ себѣ ни одной шутки. Онъ — весь восторгъ, весь — увлеченіе и весь — серьезность. А это и было нужно, чтобы положить начало истинной критикѣ и литературному самознанію. Шутниковъ было всегда достаточно, а скоро они появились въ обидномъ изобиліи.

На послѣднее, по крайней мѣрѣ, Надеждинъ не былъ способенъ, хотя, разумѣется, не мало его мыслей попало въ «Лит. Меч.». Если Бѣлинскій рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ трескучій романтизмъ и шарлатанскую пустоту тогдашней ходячей литературы и проч., то въ этомъ онъ имѣлъ уже предшественника въ Надеждинѣ. Надеждину наша литература также казалась бесплоднымъ пустыремъ, на которомъ только изрѣдка возникаютъ прекрасныя цвѣты, почти приводящіе въ недоумѣніе своимъ появленіемъ. Надеждинъ видѣлъ мало отраднаго въ старыхъ преданіяхъ русской литературы и въ самой исторіи: древняя русская жизнь представлялась ему «дремучимъ лѣсомъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса», и онъ даже спрашиваетъ: «имѣемъ ли мы прошедшее, — жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе?» Возникновеніе умственной жизни онъ начинаеть только съ Петра, и литература, или вся образованность русская съ тѣхъ

поръ казалась ему только слабой копией европейскаго просвѣщенія, гдѣ «все европейское забрасывается (къ намъ) рикшетами, черезъ тысячи скачковъ и переломовъ, и потому долетаетъ въ слабыхъ издыхающихъ отголоскахъ». Въ «Телескопѣ» онъ съ язвительностью прежняго Надоумки говоритъ о новѣйшемъ романтизмѣ и проч.

Всѣ эти мысли повторяетъ Бѣлинскій въ своихъ Литературныхъ Мечтаніяхъ, даже и не замѣчая, къ какому странному парадоксу приводятъ они его. Шутливо говоря, его статья не что иное, какъ превосходная диссертация на тему: нѣтъ денегъ, — передъ деньгами. Серьезно такъ. Онъ по крайней мѣрѣ не разъ повторяетъ: «у насъ нѣтъ литературы и слава, Богу»... передъ литературой. И онъ восторгается отсутствіемъ литературы, видя въ немъ предзнаменованіе великаго грядущаго.

Но ничего общаго не имѣютъ статьи Надеждина и Бѣлинскаго въ отношеніи тона. Тонъ Надеждина — высокоумнень, презрительнень, тонъ Бѣлинскаго — исполненъ любви и уваженія; стиль Надеждина тяжелъ, стиль Бѣлинскаго — превосходная, хотя подчасъ слишкомъ уже нервная музыка.

«Надеждинъ отличался большимъ знаніемъ языка, смѣло владѣлъ имъ, выражался образно, но его изложеніе было тѣмъ не менѣе сухо и книжно, и напоминало о школѣ. Бѣлинскій, къ которому онъ относился тогда съ высоты величія, былъ человѣкъ совсѣмъ иного характера: для него невысказано было равнодушное и двойственное отношеніе къ дѣлу; онъ взялся за критику, потому что его художественные, поэтическіе интересы были потребностью его природы, и такой же потребностью была пропаганда того, что онъ считалъ вѣрнымъ пониманіемъ искусства; онъ не могъ довольствоваться, какъ Надеждинъ, отрывочными экскурсіями въ область литературы, а весь жилъ въ ней, весь былъ занятъ защитой ея достоинства, истолкованіемъ ея лучшихъ произведеній, борьбой противъ рутины и непониманія. Его «элегія» была вмѣстѣ и диэирамбомъ. Во внѣшней формѣ его критики не было ничего схоластическаго и книжнаго; это была теперь, какъ всегда, живая, одушевленная рѣчь, положенная на бумагу. Воспользовавшись тѣмъ, что сдѣлано было Надеждинымъ, Бѣлинскій повелъ дѣло по-своему».

Первой же своей статьей Бѣлинскій обратилъ на себя вниманіе и читателей и литературныхъ кружковъ; это вниманіе продолжало расти по мѣрѣ появленія его литературныхъ работъ. Уже вскорѣ Бѣлинскій приобрѣлъ самое теплое сочувствіе людей, умѣвшихъ понимать успѣхъ литературы и дорожить ими, особенно же среди молодежи. Но «Литературныя Мечтанія», какъ статья боевая, въ которой затрогивались или опровергались многіе признанные авторитеты, не могли не вызвать противъ себя вражды и озлобленія, которымъ вскорѣ суждено было выродиться въ настоящую ненависть. Гречъ, Булгаринъ, отчасти даже Сенковскій сразу почувствовали въ Бѣлинскомъ своего будущаго непримиримаго противника, съ которымъ на самомъ дѣлѣ имъ пришлось

впослѣдствіи очень и очень считаться. Кружокъ Пушкина одинаково былъ пораженъ смѣлостью юнаго автора Мечтаній. Какъ онъ смѣетъ! и кто онъ такой?—воскликали уважаемыя петербургскія знаменитости, которыя никогда не видѣли ничего подобнаго. За десять лѣтъ существованія «Московского Телеграфа» они никакъ не могли привыкнуть къ критикѣ Полевого и вдругъ является Бѣлинскій, который говоритъ гораздо рѣзче и опредѣленнѣй и подъ чьей лирикой, восторженными, порою напыщенными даже фразами свѣтитя твердое убѣжденіе и готовность отстаивать его, не смотря ни на что.

«Литературныя петербургскія знаменитости (т. е. писатели Пушкинскаго кружка),—разсказываетъ Панаевъ,—смотрѣли на Бѣлинскаго съ высоты своего величія. Онѣ не достаивали замѣчать его, или отзывались о немъ, какъ о нагомъ, недоучившемся студентѣ, который осмѣливается посягать на вѣковья славы. Одинъ Пушкинъ, кажется, въ тайнѣ сознавалъ, что этотъ недоучившійся студентъ долженъ будетъ занять нѣкогда почетное мѣсто въ исторіи русской литературы». Свое вниманіе къ Бѣлинскому Пушкинъ показалъ тѣмъ, что послалъ ему первыя книжки «Современника», а по запрещеніи «Телескопа», кажется, имѣлъ даже мысль воспользоваться сотрудничествомъ Бѣлинскаго для своего журнала».

Въ этомъ послѣднемъ, говорить А. Пыпинъ, обстоятельствѣ въ значительной степени повинно, кажется, и то, что Бѣлинскій былъ всегда энтузіастическимъ поклонникомъ поэзіи Пушкина (что не мѣшало ему, однако, очень независимо указывать и встрѣчавшіеся недостатки,—указывать еще при жизни Пушкина); приведенные факты намекають на нравственную связь между представителемъ предыдущаго періода и критикомъ новаго поколѣнія. Пушкинъ былъ и для Бѣлинскаго господствующее явленіе, высшій пунктъ, которымъ исторически завершилось предшествующее развитіе. Съ точки зрѣнія искусства, чистой художественности, Бѣлинскій не задумывался ставить Пушкина на такую высоту, гдѣ сравненіе съ Шиллеромъ, даже Гете, дѣлалось въ выгоду для русскаго поэта; силой свободнаго поэтическаго творчества Пушкинъ, въ глазахъ Бѣлинскаго, уподоблялся Шекспиру... Нѣсколько позднѣе (въ августѣ 1839) Бѣлинскій говорить, въ письмѣ къ одному пріятелю:— «У меня теперь три бога искусства, отъ которыхъ я почти каждый день неистовствую и свирѣпствую: Гомеръ, Шекспиръ и Пушкинъ»... Черезъ Пушкина старое литературное развитіе становилось для Бѣлинскаго привлекательнымъ предметомъ изученія; этотъ результатъ, принимаемый съ пламеннымъ восторгомъ, давалъ смыслъ прошедшему.

Въ парадоксальной мысли Литературныхъ Мечтаній—«у насъ нѣтъ литературы, а есть лишь великія художественныя произведенія»—скрывается однако почти несомнѣнная истина. Что такое литература? Можно отвѣтить на этотъ вопросъ очень просто и коротко: *литература—это проявленное въ написанномъ*

словъ самосознаніе общества. Самосознаніе бываетъ разное: историческое, политическое, художественное и какъ разное воплощается и въ разныхъ формахъ. Поэтому и отдѣловъ литературы очень много, но когда мы употребляемъ слово литература,—мы понимаемъ ихъ всѣ сразу. Нечего и говорить, что всякому самосознанію присущи и критика окружающаго и исходящій изъ нея практическій идеализмъ, т. е., желаніе чего-то лучшаго и болѣе совершеннаго. Такой литературы у насъ дѣйствительно не было, были лишь намеки на нее, преимущественно въ журналистикѣ и именно въ Московскомъ Телеграфѣ Полевого. Но Московскій Телеграфъ, плачевно закончивъ свое существованіе какъ разъ въ этомъ 1834 году, за рецензію на драму Кукольника «Рука Всевышняго», Полевой какъ-то сразу сдѣлался другимъ человѣкомъ, и, странно, вся тяжесть литературы, какъ общественнаго и художественнаго самосознанія упала на 24-хъ лѣтняго юношу, котораго презрительно третировали недоучившимся студентомъ! Страшная тяжесть, но вѣдь и силы были огромныя!

Прежде всего надо было выбрать изъ всей массы печатной бумаги то, что можно было-бы назвать «литературой будущаго», о которой, такъ восторженно говорилось въ Мечтаніяхъ. Бѣлинскій на первыхъ-же порахъ сдѣлалъ это, поставилъ Пушкина рядомъ съ Шекспиромъ и Гете, принявшись въ слѣдующей своей статьѣ толковать Гоголя. Да, онъ сразу оцѣнилъ этотъ великій талантъ, прозрѣлъ его славное будущее, это большая заслуга, хотя отчасти мы обязаны ею и кружку Станкевича.

Въ тѣ годы, — рассказываетъ К. С. Аксаковъ, — только-что появлялись творенія Гоголя, дышавшія новою, небывалою художественностью, какъ дѣйствовали они тогда на все юношество, и въ особенности на кружокъ Станкевича! Во время нашего студентства вышло *Новоселье*, альманахъ; тамъ была повѣсть Гоголя: «О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Помню я то впечатлѣніе, какое она произвела. Что можетъ равняться радостному сильному чувству художественнаго откровенія? Какъ освѣжало, ободряло оно души всѣхъ! Какъ само постепенное появленіе изданій гениальнаго художника оживляло, двигало общество! Радъ я, что испыталъ и видѣлъ все это... Вскорѣ послѣ выхода Станкевича и моего изъ университета, Станкевичъ досталъ какъ-то въ рукописи *Коляску* Гоголя, вскорѣ потомъ напечатанную въ «Современникѣ». У Станкевича были я и Бѣлинскій; мы приготовились слушать, заранѣе уже полные удовольствія. Станкевичъ прочелъ первыя строки: «Городокъ Б. очень повеселѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ въ немъ стоять кавалерійскій полкъ»... и вдругъ нами овладѣлъ смѣхъ, смѣхъ несказанный; всѣ мы трое смѣялись, и долго смѣхъ не унимался. Мы смѣялись не отъ чего-нибудь забавнаго или смѣшнаго, но отъ того внутренняго веселія и радостнаго чувства, которымъ преисполнились мы, держа въ рукахъ и готовясь читать Гоголя. Наконецъ смѣхъ нашъ прекратился, и мы прочли съ величайшимъ удовольствіемъ этотъ маленькій отрывокъ... Станкевичъ читалъ очень хорошо»...

Гоголь былъ постоянно на глазахъ, устахъ Бѣлинскаго; фразы и отдѣльныя

слова изъ его произведеній вошли у друзей, и у Бѣлинскаго особенно, въ привычное употребленіе... Съ какимъ восторгомъ говорилъ Бѣлинскій о Гоголѣ еще въ 1835, въ первомъ разборѣ (томъ I-й новаго изд.) его «Повѣстей», это извѣстно.

Имѣя передъ глазами Пушкина и Гоголя, Бѣлинскій дѣйствительно могъ смѣло смотрѣть на будущее русской литературы и самъ, какъ представитель этого будущаго, смѣло относиться къ признаннымъ авторитетамъ. Не мало ихъ онъ развѣнчалъ, не мало и похоронилъ ихъ, но поступать иначе онъ не могъ, какъ призванный реформаторъ.

Конечно, въ то время (1834 г.) Бѣлинскій, главные свои надежды возлагалъ на крупныхъ талантовъ и гениевъ. Но онъ прекрасно понималъ, что не они создаютъ литературу и что могутъ быть они, но литература при этомъ можетъ и не существовать. Возьмите, для параллели наши дни.

«У насъ нѣтъ литературы, такъ какъ нѣтъ истинныхъ талантовъ». Эта фраза представляется мнѣ парадоксомъ. Попробую опровергнуть его другимъ парадоксомъ-же: «Литература можетъ существовать и безъ крупныхъ талантовъ». Къ чему, спросимъ себя, сводится роль таланта и генія въ литературѣ? Такъ-ли она велика, настолько-ли она всезахватывающа, какъ мы полагаемъ? Не хватаемъ-ли мы черезъ край, не перецѣниваемъ-ли мы? Точка зрѣнія, сводящая исторію литературы къ великимъ писателямъ и великимъ произведеніямъ, представляется мнѣ предразсудкомъ, который особенно возмущаетъ меня, хотя и находятся «смягчающія вину обстоятельства»... Вѣдь, вмѣстѣ съ молокомъ матери, вмѣстѣ съ первой прочитанной книгой всосали мы въ себя уваженіе къ великимъ именамъ, какъ къ творцамъ и создателямъ въ литературѣ. И было-бы въ высшей степени тяжело для насъ разставаться съ такого рода красивыми иллюзіями. Но что дѣлать — надо, въ извѣстной степени.

Уже со временъ Тэна стало совершенно немыслимымъ и даже противонаучнымъ разсматривать художественное произведеніе, какъ нѣчто самодовлѣющее, какъ продуктъ индивидуальнаго духа. Вмѣсто этой точки зрѣнія Тэнъ съ особенной силой выдвинулъ другую, болѣе широкую точку зрѣнія—среды.

«Чтобы понять данное художественное произведеніе,—говоритъ Тэнъ,—даннаго артиста, данную группу артистовъ, надо съ точностью представить себѣ общее состояніе умовъ и нравовъ ихъ времени. Тамъ лежитъ послѣднее объясненіе, тамъ находится первая причина... Если мы прослѣдимъ главныя эпохи исторіи, то найдемъ, что искусства появляются и исчезаютъ вмѣстѣ съ извѣстными состояніями умовъ и нравовъ... Великая греческая трагедія является вмѣстѣ съ побѣдой грековъ надъ персами, въ моментъ героическаго напряженія народнаго духа, и исчезаетъ вмѣстѣ съ независимостью республикъ, когда измелчаніе характеровъ и македонское завоеваніе отдають Грецію во власть иностранцевъ».

То-же повторяется вездѣ и повсюду. Великое художественное произведеніе суммируетъ, закрѣпляетъ въ образѣ извѣстную общественную энергію,

общественное настроеніе. Возьмите, напр., «Потерянный Рай», Мильтона,— кстати сказать, недавно появившійся въ новомъ русскомъ, хотя и прозаическомъ, но недурномъ переводѣ. Въ этой поэмѣ — все религіозное вдохновеніе, всѣ народовольческіе восторги англійскихъ пуританъ XVII вѣка. Ни Кромвель, ни Пимъ, ни Гампденъ, ни сами пуритане ни разу не названы въ ней, нигдѣ нѣтъ даже прямыхъ указаній на волненія и революцію, и все-же вы чувствуете, что весь интересъ «Потеряннаго Рая» въ нихъ-то и заключается, что неназванные они присутствуютъ на каждой страницѣ, что вездѣ ихъ чувства, ихъ мысли, ихъ настроеніе. Пусть даже это не та пуританская Англія, которую мы знаемъ изъ исторіи. Мы не видимъ ея мелочности, ханжества, практическихъ стремленій; она является передъ нами очищенной отъ земной грязи. Мильтонъ взялъ свое время въ высшемъ его проявленіи—въ проявленіи *героизма*, радостно идущаго на смерть за свою вѣру, героизма гордаго и непреклоннаго.

Нашъ Пушкинъ суммировалъ, закрѣпилъ общественную энергію, вызванную реформаторскими вождѣльнїями первой половины царствованія Александра Павловича, борьбой съ Наполеономъ и тѣмъ движеніемъ мысли, которое такъ грустно закончилось среди тяжелыхъ «недоразумѣній». Некрасовъ захватилъ огромную полосу нашего нравственнаго развитія: въ лучшихъ его вещахъ мы постоянно слышимъ кающагося дворянина; главная тема Достоевскаго—встрѣча дворянина съ разночинцемъ, т. е. тема историческая, очень рельефная въ теченіе цѣлыхъ дѣсятлѣтій, пока, какъ теперь, все не свалилось въ общую кучу.

Не будемъ, однако, останавливаться на этомъ. Къ индивидуальному творчеству мы прибавили среду. Сдѣлаемъ еще шагъ впередъ. Исторія литературы постоянно подтверждаетъ глубокую справедливость формулы Гегеля, который говорилъ (положимъ, на счетъ философіи),—что «сова Минервы вылетаетъ только по ночамъ»—это значитъ, что задача философа только претворить въ мысль уже существующее въ жизни, а это бываетъ возможнымъ лишь тогда, когда существующее изжило само себя, раскрыло все свое содержаніе, износило свои жизненные силы и все свое тайное превратило въ явное. Сова Минервы вылетаетъ по ночамъ также и въ области литературы. Великія философскія системы и великія созданія художественнаго творчества появляются послѣ того, какъ содержаніе ихъ, какъ жизненные факты, послужившіе ихъ матеріаломъ, сдѣлались уже достояніемъ прошлаго и отступили на задній планъ подъ напоромъ новыхъ вѣяній.

«Рисовать трудно и, по моему, просто нельзя,—говоритъ Гончаровъ,— съ жизни еще не сложившейся, гдѣ формы еще не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодыя силы, юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно лишь въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ. Но писать самый процессъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются каждый день и будутъ неуловимы для пера»...

Это удивительно глубокое и важное замѣчаніе и, чтобы оцѣнить его, стоитъ перелистать любую исторію литературы, хотя-бы нашей. «Писать самый процессъ броженія нельзя». Даже такіе гиганты слова, какъ Гончаровъ и Тургеневъ, въ своихъ Волховыхъ, Тушиныхъ, Неждановыхъ, Миличъ потерпѣли неудачу и лишь въ общихъ блѣдныхъ чертахъ намѣтили новыхъ людей. Вся современная литература относится къ періоду броженія — чего-же особеннаго хотите вы отъ нея?

Крѣпостная, дореформенная Россія въ годы своей агоніи выдвинула цѣлую плеяду первоклассныхъ талантовъ. Корни творческаго вдохновенія Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островскаго, Достоевскаго, Толстого — въ той эпохѣ, когда крѣпостное право стояло, «какъ скала». Крѣпостному праву можно было воспѣвать панегирики, воплотивъ его сущность въ мистическія и привлекательныя формы кротости, смиренія, всепрощенія. какъ-то сдѣлалъ Гоголь въ «Перепискѣ», — можно было безстрастно анализировать его, какъ Гончаровъ, относиться къ нему съ горячей ненавистью, какъ Тургеневъ, — это безразлично: образы великихъ художниковъ выросли на почвѣ, уже выслушавшей свой смертный приговоръ отъ исторіи, на почвѣ, ухидившей изъ-подъ ногъ, но выразившейся въ рѣзкихъ, какъ-бы изъ мрамора высѣченныхъ формахъ.

Истинно художественный образъ — цѣльный образъ, какъ Ричардъ III, Лиръ, Донъ-Кихоть или наши Маниловы, Коробочки. Но, чтобы изобразить цѣльный образъ, художникъ долженъ имѣть его передъ глазами. Это возможно лишь въ эпоху, когда общественныя отношенія совершенно сложились и какъ-бы застыли въ своей неподвижности, т. е. эпоху умирающую. Скажу прямо: «Расцвѣтъ искусства совпадаетъ съ періодомъ, когда извѣстная, опредѣленно и рѣзко сложившаяся историческая эпоха умираетъ, но уже занимается заря новой жизни и человѣкъ особенно страстно и нетерпѣливо хочетъ жить и безпокойно мечется, выискивая того неяснаго и таинственнаго, что сулитъ ему будущее»...

Такимъ переходомъ въ нашей исторіи были 40-е годы. Крѣпостное право заканчивало свое существованіе и на рубежѣ двухъ эпохъ возникла великолѣпная художественная и критическая литература. На сцену сразу выступила цѣлая плеяда талантовъ.

Мы уже достаточно ограничили роль талантовъ и геніевъ, однако, ничто не мѣшаетъ намъ еще немного продолжить нашъ анализъ. Давно уже замѣтили наслѣдственное сродство и преемственность между творческими типами художниковъ, начиная съ гомеровскихъ, эзоповскихъ, потомъ сервантесовскаго героя, героевъ Шекспира, Мольера, Гете и т. д. вплоть до настоящаго времени. Стали искать корни типовъ въ народной литературѣ и находили ихъ тамъ. Эволюціонная точка зрѣнія, точка зрѣнія постепеннаго происхожденія характеровъ, драматическихъ коллизій, завязокъ, развязокъ, эпилоговъ оказалась въ высшей степени плодотворной. Она показала безчисленныя метаморфозы творческихъ приемовъ и задачъ, ихъ постепенное наслоеніе, обработку, — трудъ, въ которомъ принимали участіе вѣка и поколѣнія.

«Этотъ міръ творческихъ типовъ имѣетъ какъ будто свою особую жизнь, свою исторію, свою географію и этнографію и когда нибудь, вѣроятно, сдѣлается предметомъ самаго подробнаго изслѣдованія. Донъ-Кихоть, Лирь, Гамлетъ, Фальстафъ, Донъ-Жуанъ, Тартюфъ и др. уже породили въ созданіяхъ позднѣйшихъ талантовъ цѣлыя родственныя поколѣнія подобій, раздробились на множество брызгъ и капель. Чего стоитъ въ этомъ отношеніи литературная исторія донъ-жуановскаго типа... И въ новое время обнаружится, напр., что множество современныхъ типовъ вродѣ Чичикова, Хлестакова, Собакевича и т. д. окажутся разнородностями развѣтвившагося генеалогическаго дерева Митрофановъ, Скотининныхъ и, въ свою очередь, расплодятся на множество другихъ» (Гончаровъ).

Все это говоритъ намъ о громадномъ значеніи безконечно малыхъ наростаній и наслоеній, той роли, которую играетъ общественная работа, работа вѣковъ и поколѣній въ индивидуальномъ трудѣ, безразлично — каковъ этотъ трудъ, механическій или творческій.

Итакъ? Итакъ, формула «у насъ нѣтъ литературы, такъ какъ нѣтъ талантовъ и геніевъ», кажется мнѣ философски несправедливой. Дѣло не въ талантахъ и геніяхъ, не въ нихъ однихъ, по крайней мѣрѣ. Дѣло въ *средѣ*, въ исторической эпохѣ, въ литературной эволюціи. А наша среда? Вотъ теперь, какъ извѣстно, мы стали ужасно глубокомысленны. Посмотрите, какіе крупнѣйше вопросы разбираемъ мы: «Слѣдуетъ ли драть мужика, т. е. взрослога человѣка, семьянина, общественнаго дѣятеля? Слѣдуетъ ли сдѣлать Россію грамотной или не лучше-ли оставить ее еще лѣтъ на сто въ прежнемъ «подломѣ», безграмотномъ состояніи, при которомъ даже человѣческое жертвоприношеніе не представляется экстраординарнымъ?». Удивительно глубокіе вопросы! Профессора объ нихъ пишутъ, мухи дохнутъ... Ахъ, господа, извольте-ка вы этой буки-азъ-ба вдохновиться!... Достаточно одного слова «стыдно», и это отвѣтъ на всѣ пункты... А наша историческая эпоха? Да кто-же теперь знаетъ и понимаетъ ее, кто можетъ ее знать и понимать, когда она сама не знаетъ, куда идетъ, чего хочетъ, куда придетъ. Пусть теперя явится новый Тургеневъ или новый Гончаровъ — и думаю, что не увидимъ мы отъ нихъ ничего подобнаго «Дворянскому гнѣзду» или «Обломову».

Вообще мнѣ кажется, можно сказать, что литература зависитъ не только отъ обилія и качества талантовъ — (хоть и это очень важный и существенный фактъ) сколько отъ идеи. Когда эта послѣдняя властная, бодрая, призывающая къ работѣ существуетъ — литературы не можетъ не быть, когда ея нѣтъ — литература замираетъ и гаснетъ.

Выяснить эту идею, подчинить ей отдѣльныя разрозненныя явленія, вдохновить ею лучшихъ людей цѣлаго поколѣнія — къ этому былъ призванъ Бѣлинскій и онъ это совершилъ. И оттого-то онъ въ началѣ карьеры имѣлъ, между прочимъ, полное право сказать, что у насъ нѣтъ литературы, а лишь геніи. Въ *тридцатыхъ* годахъ все вокругъ него спало мертвымъ сномъ. Какая же литература возможна при этомъ?

Но моя характеристика «Литературных Мечтаній» была - бы не полна. если-бы я забылъ о проникающей де суровой нравственной проповѣди. «Гордись, гордись человекъ своимъ высокимъ назначеніемъ; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что отдала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе, борьба!

«Шеллингъ, туманный Шеллингъ, вдохновлявшій своими отвлеченностями юные умы, исчезаетъ вдругъ: изъ космическаго тумана, изъ міра слѣпыхъ, неизвѣданныхъ силъ, мы вдругъ переносимся прямо въ нашъ скорбный міръ. съ его «сильными земли», съ его «змѣями, ползущими между тиграми» и «тиграми между овцами»»

Вмѣсто противоположностей, выведенныхъ изъ теоріи магнетизма, мы видимъ полярную противоположность между добромъ и зломъ, подвигомъ и подлостью. «Дыши для счастья другихъ, жертвуй всею для блага ближняго... люби истину и благо не для награды, но для истины и блага». Такихъ словъ еще не слышала до того русская молодежь ни отъ нѣмецкихъ философовъ, ни отъ ихъ русскихъ учениковъ. «Твори безкорыстно... избочай порокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, родного тебѣ неба». А если это трудно, тяжело... «Ну такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ... Умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело». Такова «полярная противоположность», выставленная Бѣлинскимъ. Пусть великіе Шеллинги и маленькіе Велланскіе рассуждаютъ о «физическомъ противоборствѣ силы сжимательной и расширительной». Для Бѣлинскаго это противоборство не болѣе, какъ красивый поэтический образъ. Нравственная жизнь вѣчной идеи, борьба между любовью и эгоизмомъ — вотъ содержаніе его первыхъ литературныхъ, или, если угодно, философскихъ мечтаній. Изъ этой жизни идеи сама собою вытекаетъ цѣль искусства. Если искусство есть «отблескъ творящей силы природы», а въ жизни природы проявляется не одна физическая сторона, но и идейная, требующая нравственной борьбы, то отсюда прямо слѣдуетъ, что поэтъ долженъ не просто живописать природу. Онъ долженъ понимать и ея «высшую связь», а потому для него мало быть художникомъ: онъ долженъ быть «чистъ и дѣвствененъ душою». Но требуется не голубиная невинность младенца, а подвигъ мужа. Шиллеръ, идеальнѣйшій изъ поэтовъ, не удовлетворяетъ Бѣлинскаго: понимая лишь прекрасное, Шиллеръ искажаетъ или преувеличиваетъ злое: Байронъ, наоборотъ, вполне постигъ только «муки сердца». Величайшимъ поэтомъ оказывается, поэтому, Шекспиръ, одинако постигшій добро и зло. Въ этомъ и скрывается тайна объективности Шекспира, его безпристрастія, представляющагося на первый взглядъ «безчеловѣчностью».

Такой проповѣди русская молодежь до той поры на самомъ дѣлѣ не слышала. Обыкновенно ей преподносили сентенціи то стихомъ александрійскимъ, то ямбами и хорейми. Она слушала ихъ съ такимъ-же вниманіемъ, съ какимъ слушаютъ въ церкви торопливое и спотыкающееся чтеніе дьячка. Надо быть

почтительнымъ, умѣреннымъ, благоразумнымъ и пр. Бѣлинскій предъявлялъ высшія требованія и не въ сухой формулировкѣ обстрѣленной жизнью птицы, а съ горячностію юности, рвущагося на борьбу и побѣду. Огонь вдохновенія чистаго и безкорыстнаго освѣщаль его слова, будилъ совѣсть, сознание собственнаго достоинства. Указывая на высшую цѣль жизни, Бѣлинскій хотѣлъ, чтобы человѣкъ дѣятельно стремился къ ней. Тутъ, не смотря на Шеллинга и кружокъ Станкевича, онъ стоитъ передъ нами во весь свой ростъ.

Глава VI.

Абстрактный героизмъ.

Послѣ Станкевича самое важное вліяніе на развитіе мнѣній Бѣлинскаго принадлежитъ двумъ лицамъ, которые вошли въ кружокъ около 1835 года. Съ ними обоими Бѣлинскій сошелся особенно близко по отъѣздѣ Станкевича за границу. Одинъ изъ нихъ былъ Михаилъ Бакунинъ, другой—Василій Боткинъ.

«Въ 1835 году Михаилъ Бакунинъ былъ молодымъ офицеромъ, ровесникомъ Станкевича по лѣтамъ. Онъ только что вышелъ въ отставку и сидя у себя въ деревнѣ скуки ради занимался чтеніемъ французскихъ сенсуалистовъ. Станкевичъ указалъ ему на Гегеля и Гегель скоро сталъ откровеніемъ для Бакунина. «Молодой офицеръ оказался человѣкомъ необычайнаго логическаго ума, — говоритъ біографъ Станкевича, — ума, отличавшагося строгою, сжатою діалектикою, и съ врожденными способностями къ философскимъ занятіямъ, способностями, которыя помогали ему легко открывать живой смыслъ въ самыхъ сухихъ отвлеченностяхъ». Съ этихъ поръ философскія занятія кружка стали еще болѣе ревностны. Новый адептъ философіи скоро приобрѣлъ въ кружкѣ извѣстный авторитетъ. Станкевичъ въ первое время съ нимъ очень сблизился, между прочимъ и по отношеніямъ къ его семейству. Впослѣдствіи они разошлись,—по разнымъ личнымъ причинамъ,—которыя намъ не вполне ясны, — но въ это время Станкевичъ цѣнилъ и личный характеръ М. Б. По отъѣздѣ Станкевича за границу, Бакунинъ сохранилъ свое мѣсто въ кругу его друзей, и одно время имѣлъ въ немъ большое значеніе, какъ специальный толкователь отвлеченной гегеліанской мудрости».

Отвлеченной гегеліанской мудрости! И удивительное дѣло, чѣмъ отвлеченнѣе была эта мудрость, тѣмъ больше она нравилась подвижникамъ добра и искусства въ кружкѣ Станкевича. Какъ нарочно выбирали они изъ философіи Гегеля самые общіе начала и принципы, оставляя въ сторонѣ, по крайней мѣрѣ въ тѣни, все, заключавшее въ себѣ конкретные элементы современной дѣйствительности. Ихъ неотразимо тянула къ себѣ головокружительная высота философскихъ началъ Гегеля, и, забравшись туда, они съ замираніемъ

сердца и восторгом смотрѣли на разстилавшуюся подъ ихъ ногами жизнь, которая, казалось, открыла имъ всё свои тайны въ книгахъ нѣмецкаго мудреца.

Бѣлинскій сошелся не только съ Михаиломъ, но и съ его семействомъ— однимъ изъ самыхъ удивительныхъ семействъ, жившихъ въ старыхъ помѣщичьихъ гнѣздахъ, котораго теперь, разумѣется, не найти. Превосходно рассказываетъ о немъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

«Въ одномъ изъ уѣздовъ Тверской губерніи есть уголокъ, на которомъ природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсивъ его всѣми лучшими дарами своими, какое могла только собрать въ странѣ семи-мѣсячныхъ снѣговъ. Кажется, на этой живописной мѣстности рѣка течетъ серебрянная, цвѣты и деревья растутъ роскошные и больше тепла, чѣмъ въ другихъ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Да и семейство, жившее въ этомъ уголкѣ, было какъ-то особенно награждено душевными дарами. За то, какъ было тепло въ немъ сердцу, какъ умъ и талантъ въ немъ разыгрывались, какъ было въ немъ привольно всему доброму и благородному! Художникъ, музыкантъ, писатель, учитель, студентъ или просто добрый и честный человѣкъ, были въ немъ обласканы равно, не смотря на состояніе и рожденіе. Казалось мнѣ, бѣдности-то и отдавали въ немъ первое мѣсто. Посѣтители его, всегда многочисленные, считали себя въ немъ не гостями, а принадлежащими къ семейству. Душою дома былъ глава его, патриархъ округа. Какъ хорошъ былъ этотъ величавый, слишкомъ семидесятилѣтній старецъ, съ непокидающею его улыбкой, съ бѣлыми, падающими на плечи волосами, съ голубыми глазами, ничего не видящими, какъ у Гомера, но съ душою, глубоко зрящею, среди молодыхъ людей, въ кругу которыхъ онъ особенно любилъ находиться и которыхъ не тревожилъ своимъ присутствіемъ. Ни одна свободная рѣчь не останавливалась отъ его прихода. Въ немъ забывали лѣта, свыкнувшись только съ его добротой и умомъ.

«Онъ учился въ одномъ изъ знаменитыхъ въ свое время итальянскихъ университетовъ, служилъ не долго, не гонялся за почестями, доступными ему по рожденію и связямъ его, дослужился до неважнаго чина, и съ молодыхъ лѣтъ поселился въ своей деревнѣ, подъ сѣнъ посаженныхъ его собственною рукою кедровъ. Только два раза вырвали его изъ сельскаго убѣжища обязанности по званію губернскаго предводителя дворянства и почетнаго попечителя гимназіи. Онъ любилъ все прекрасное, природу, особенно цвѣты, литературу, музыку, и лепетъ младенца въ колыбели, и пожатіе нѣжной руки женщины, и краснорѣчивую тишину могилы. Что любилъ онъ, то любила его жена, умная и пріятная женщина, любили дѣти, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнѣе.

«Откуда, съ какихъ концовъ Россіи, ни стекались къ нему посѣтители! Сюда, вмѣстѣ съ Станкевичемъ, Боткинымъ и многими другими даровитыми молодыми людьми (имена ихъ смѣшались въ моей памяти), не могъ не попасть и Бѣлинскій»...

Кромѣ гегеліанской проповѣди Бѣлинскій въ семействѣ Бакуниныхъ нашелъ для себя и еще много другаго интереснаго. Не трудно понять —

чего. Ему было въ это время (1836 г.) 26 лѣтъ, онъ занимался литературной поденщиной, по-прежнему терпѣлъ неудачи, раздражаясь отъ нихъ, проклиная ихъ. Онъ продолжалъ жить бѣднымъ студентомъ среди беспорядочно разбросанныхъ книгъ, вещей, рукописей, часто безъ гроша денегъ и большую часть своего времени въ полномъ одиночествѣ. Не малымъ поэтому для него утѣшеніемъ было хотя бы то только обстоятельство, что онъ лѣтомъ 36-го года очутился въ уютной обстановкѣ, гдѣ все говорило о довольствѣ, гдѣ представители разныхъ поколѣній жили въ завидной дружбѣ, гдѣ «старость, прислушиваясь къ вдохновеннымъ рѣчамъ юности, сама молодѣла душой!» Бѣлинскій любилъ природу, онъ чувствовалъ къ цвѣтамъ какую-то наивную, нѣжную привязанность; онъ любилъ общество, увлекался спорами. Онъ цѣнилъ и «уютъ», какъ цѣнить его каждый не опустившійся бѣднякъ и все это онъ нашель въ домѣ Бакуниныхъ. Здѣсь онъ на самомъ дѣлѣ могъ отдохнуть, а отдыхъ — великая вещь для утомленнаго труженика, для этой нетерпѣливой и страстной натуры, полной внутреннимъ огнемъ своихъ желаній и смутныхъ пока замысловъ! Москва съ ея душевною комнатою, заваленной книгами, съ ея кривыми раскаленными лѣтнимъ зноемъ улицами, по которымъ приходилось шагать столько разъ въ поискахъ за работой, въ гнетущемъ сознаниі своей оброшенности и ужь конечно въ стоптанныхъ сапогахъ, — осталась позади. На глазахъ — природѣ, старинный барскій садъ, милые ласковые люди, не замѣчающіе ни плохой одежды, ни краснѣющей застѣнчивости «умственнаго пролетарія». Было—надо прибавить—и еще *нѣчто*, о чемъ такъ деликатно говорить г. Пыпинъ въ своей биографіи:

«Важную сторону новыхъ отношеній Бѣлинскаго составляло то, что въ нихъ явилось съ извѣстнымъ авторитетомъ женское общество. И въ этомъ деревенскомъ молодомъ кругу установился особый тонъ мысли, идеализмъ, стремленіе возвыситься до принципа личную нравственную жизнь; здѣсь также, насколько было возможно, желали раздѣлять интересы, наполнявшіе кружокъ Станкевича, но естественно было, что къ отвлеченнымъ симпатіямъ не замедлило присоединиться и болѣе теплое чувство, которое согрѣвало отвлеченную идеалистику ожиданіемъ «полной жизни сердца». По тогдашнему обычаю кружка, самое чувство получало теоретическую подкладку и иногда почти придумывалось по теоретическимъ соображеніямъ, и эти отношенія вообще кончились только ожиданіемъ, которое никогда не осуществилось; но они успѣли оказать свое особое вліяніе, — которое было тѣмъ сильнѣе, что этому очарованію женскаго участія поддавали, въ разное время и въ различной степени, не только Станкевичъ, но и Бѣлинскій и позднѣе Боткинъ. Станкевичъ, при первомъ знакомствѣ Бѣлинскаго съ семействомъ, угадывалъ вліяніе, которое оно должно было оказывать на его моральное состояніе: въ самомъ дѣлѣ, его идеалистическія наклонности развились изъ этого источника еще сильнѣе.

«Для Бѣлинскаго отношенія къ этому семейству надолго, даже навсегда, остались пріятнымъ воспоминаніемъ. Было бы трудно рассказать теперь подроб-

ности этихъ отношеній; они не всегда были ровны; чувство его къ нѣкоторымъ лицамъ семейства принимало весьма различныя комбинаціи, иногда очень сложныя: отношенія съ М. Бакунинымъ были въ особенности неровныя,—то дружныя, то полемическія, даже совершенно враждебныя, и кончились разрывомъ, послѣ котораго остался лишь теоретическій интересъ. Но женскія лица семейства надолго остались для него предметомъ идеальнаго поклоненія, и впослѣдствіи—самаго дружескаго расположенія и вниманія. Женственный элементъ этихъ отношеній производилъ на него настоящее обаяніе.

Г-нъ Пыпинъ высказываетъ даже смѣлую для своей осторожности гипотезу, что пребываніе Бѣлинскаго въ женскомъ обществѣ содѣйствовало его «примирительному направленію». Быть можетъ—это такъ, но самое важное то, что усталый челоѣкъ вздохнулъ хоть немного въ это хорошее лѣто 1836 года.

Любопытны письма Бѣлинскаго, относящіяся къ тому періоду жизни. Въ нихъ онъ высказывается съ обычной своей откровенностью, ничего не скрывая, ни о чемъ не умалчивая. Въ нихъ вы видите прежде всего взволнованную, измученную внутренними противорѣчіями душу,—тоску по нераздѣленной любви, горкій осадокъ матеріальныхъ затрудненій и, самое главное, настойчивый ветерпѣливый порывъ къ внутренней свободѣ. Бѣлинскій по-прежнему увлекается своимъ подвижничествомъ, онъ казнить себя за надоѣдливые приливы взволнованной чувственности, за невозможность всецѣло отдаться жизни духа, которая для него теперь единственно цѣнная. Онъ подозрительно слѣдитъ за каждой своей мыслью и ощущеніемъ, разбирая ихъ, насколько они соотвѣтствуютъ поставленному имъ себѣ идеалу. На душѣ все смутно, неопредѣленно. Здѣсь борятся неудовлетворенныя страсти, порывы, неясныя стремленія, здѣсь порою все окутывается мрачною тѣнью матеріальныхъ затрудненій. Томить и невѣріе въ себя, внушенное постоянными неудачами—невѣріе въ свой талантъ, свое призваніе. А это самое мучительное чувство, которое только приходится испытывать писателю.

Но есть какая то таинственная живучесть натуры, есть приливы вдохновенія, когда мрачныя нависшія надъ душой тучи расходятся сразу, точно по мановенію волшебнаго жезла и все вокругъ заливається яркимъ свѣтомъ надежды и вѣры. Замолкаютъ грустныя ноты, легкимъ и радостнымъ кажется бремя жизни, пустяжными—матеріальныя затрудненія. Челоѣкъ какъ-бы сознаетъ себя гигантомъ и боится вздохнуть, чтобы не нарушить очарованія такого ошущенія! Изъ-за чего онъ мучился, изъ-за чего страдалъ только на канунѣ? Онъ не знаетъ, онъ самъ смѣется своимъ страхамъ. Развѣ жизнь исчерпывается заботами о хлѣбѣ, развѣ нѣтъ другой жизни, возможной въ любой обстановкѣ—жизни радостной и напряженной, озаряемой свѣтомъ истины. безкорыстнаго исканія правды, восторженнымъ состояніемъ духа, возвышающагося надъ пошлой и скучной дѣйствительностью? Это-то и есть настоящее челоѣческое существованіе, полное прелести... Какъ жаль, что непродолжи-

тельно такое состояніе и снова смѣняется тусклою, мгlistою тоской, снова надвигаются страхи жизни. О, нѣтъ, только бы не поддаваться имъ; пусть—нищета, голодъ и холодъ, но человѣческое достоинство—святыня. Лишь-бы не утратить его, лишь-бы не загрязнить въ себѣ лика Божьяго.

Бѣлинскій все еще не *смѣетъ* протестовать, не смѣетъ чувствовать чьей-то тяжелой и гнусной обиды въ неудачахъ и уродливостяхъ своей жизни. Онъ, какъ загнанный страусъ, старается зарыть въ песокъ свою усталую, измученную голову, онъ прячется въ философію и смиреніе, онъ старается впитать въ себя всѣ неудачи, все зло окружающаго, примириться съ ними, чтобы не пасть ниже—въ злобу и отчаяніе. Въ ту минуту онъ не вынесъ бы ни того ни другаго: искусство, философія даютъ ему другой идеаль—гордой, даже въ своемъ ничтожествѣ, личности. Только одно мучительно больше всего: способенъ ли онъ на это, не состоитъ ли онъ самъ изъ однѣхъ отрицательныхъ сторонъ, которыя, не обращая на его усилія ни малѣйшаго вниманія, все-же потянутъ его внизъ, въ тинистое болото? И онъ кается, онъ плачетъ, онъ исповѣдуются въ каждомъ словѣ своемъ, онъ ищетъ поддержки и утѣшенія. Самое страшное—опуститься, проклясть жизнь, утратить въ нее вѣру, разстаться съ надеждами, махнуть на все рукой, перестать понимать красоту бытія. Пока все это есть,—есть еще и жизнь. Пока нѣтъ злобы и отчаянія въ душѣ, значитъ есть еще сила для борьбы, есть возможность стать выше дразгъ и заботъ. И Бѣлинскій старается достигнуть этого, потому что бесконечно нужно ему хоть иногда сознавать себя полнымъ человѣкомъ.

Но—къ письмамъ.

Вспоминая о лѣтѣ 1836 года Бѣлинскій пишетъ: «Душа моя (въ деревнѣ Бакуниныхъ) смягчилась, ея ожесточеніе миновало, и она стала способною къ воспріятію благихъ истинъ».

«Я ощутилъ себя въ новой сферѣ, увидѣлъ себя въ новомъ мірѣ: окрестъ меня все дышало гармоніей и блаженствомъ, и эта гармонія и блаженство частію проникли и въ мою душу. Я увидѣлъ осуществленіе моихъ понятій о женщинѣ; опытъ утвердилъ мою вѣру. Но несмотря на все это, я уѣхалъ изъ ...на *) далеко не тѣмъ, чѣмъ почиталъ тогда себя; я былъ только взволнованъ, но еще не перерожденъ; благодать Божія стала только доступна мнѣ, но еще не сдѣлалась полнымъ моимъ достояніемъ. И потому мое пребываніе въ ...нѣ, не будучи совершенно безплоднымъ, все-таки не принесло тѣхъ плодовъ, которые я думалъ, что оно уже принесло. И этому та-же причина: разстройство внѣшней жизни. Я хотѣлъ въ ...нѣ успокоиться, забыться — и до нѣкоторой степени успѣлъ въ этомъ; но грозный призракъ внѣшней жизни (т.-е. крайне разстроенныхъ матеріальныхъ обстоятельствъ) отравлялъ мои лучшія минуты. Я не хотѣлъ думать о будущемъ; отѣздъ мой представлялся мнѣ въ какомъ-то туманѣ, какъ будто бы въ ...нѣ я долженъ былъ провести всю жизнь мою. Всѣ житейскія подеченія, всѣ тревоги внѣшней

*) Названіе деревни Б-хъ.

жизни я старался давить въ моей душѣ, и хотя повидимому успѣвалъ въ этомъ, но мое спокойствіе было обманчиво; въ душѣ моей была страшная борьба. Во первыхъ, мысль о братѣ и племянникѣ, о томъ, что я для нихъ ничего не сдѣлалъ...; потомъ мысль о томъ, что ожидаетъ меня по возвращеніи въ Москву, гдѣ всѣ мои способы были уже истощены и гдѣ якоремъ спасенія оставался одинъ Телескопъ, и тотъ ненадежный. Мои недостатки нравственные терзали меня: сравнивая свои мгновенные порывы восторга съ этою жизнію ровною, гармоническою, безъ пробѣловъ, безъ пустотъ, безъ паденія и возстанія, съ этимъ прогрессивнымъ ходомъ впередъ къ безконечному совершенству — я ужасался своего ничтожества. Иногда было истиннымъ бальзамомъ большой душѣ моей то уваженіе, которое доставили мнѣ мои мгновенные, но энергическіе порывы въ любви къ истинѣ, эти мои рѣдкія и сильныя вспышки чувства; но иногда я видѣлъ во всемъ этомъ какую-то одежду блестящую, но безъ подкладки, какое-то зданіе великолѣпное, но безъ фундамента, какое-то дерево вѣтвистое и пышное, но безъ корня — и я становился гадокъ самому себѣ. Не видя NN, я чувствовалъ внутри себя пожирающую лихорадку, и думалъ, что ихъ присутствіе успокоитъ мою душу, но когда снова видѣлъ ихъ, то снова увѣрялся, что видъ ангеловъ возбуждаетъ въ чертахъ только сознаніе ихъ паденія. И такимъ образомъ случались цѣлые дни, когда я... искалъ общества, и, находя его, бѣгалъ отъ него. Полною жизнію я жилъ только въ тѣ минуты, когда увлекался сильнымъ жаромъ въ спорахъ и, забывая себя, видѣлъ одну истину, которая меня занимала, еще тогда, когда всѣ собирались въ гостиной, толпились около рояля и пѣли хоромъ. Въ этихъ хорахъ я думалъ слышать гимнъ восторга и блаженства усовершенствованнаго челоуѣчества, и душа моя замирала, можно сказать, въ мукахъ блаженства, потому что въ моемъ блаженствѣ, отъ непривычки ли къ нему, отъ недостатка ли гармоніи въ душѣ, было что-то тяжкое, невыносимое, такъ что я боялся моими дикими движеніями обратитъ на себя общее вниманіе»...

«Внутреннее кипѣніе» не находило однако того исхода, котораго искало. Любовь Бѣлинскаго осталась нераздѣльной. *Lasciate la donna e studia la matematica* — приходилось съ тоскою сказать себѣ. И что на самомъ дѣлѣ было интереснаго въ Бѣлинскомъ того времени для родовитой помѣщичьей барышни NN? Маленькая литературная извѣстность? Болѣзненный, измученный видъ? Пылкія рѣчи на отвлеченнѣйшія темы? Ни то, ни другое, ни третье и въ сущности ровно ничего. Ему представлялся исходъ — философія, но и этотъ исходъ достался не безъ мучительной борьбы. «Художественный недостатокъ», любившій красоту и истину, когда онѣ являлись передъ нимъ въ яркихъ и опредѣленныхъ образахъ, съ трудомъ проникался сухими логическими формами. Но онъ напрягался до изнеможенія, боролся съ собой и въ скучные дни и въ безсонныя ночи.

«Результатомъ этой борьбы должно было быть отчаяніе, оскуднѣніе жизни, судорожное проявленіе жизни, въ проблескахъ, восторгахъ мгновенныхъ и дняхъ, недѣляхъ апатии смертельной... Я лицомъ къ лицу, въ первый

разъ, столкнулся съ мыслию и ужаснулся своей пустоты. Это былъ ужасный періодъ моей жизни, но я теперь понимаю его необходимость... Я страдалъ, потому что... принесъ въ жертву моимъ конечнымъ опредѣленіямъ все мои чувства, вѣрованія, надежды, свое самолюбіе, свою личность. Это было нужно: тотъ не любитъ истины, кто не хочетъ для нея заблуждаться и приносить ей въ жертву, какъ Молоху, все, чѣмъ живешь и радуешься»... (письмо 20 іюня 1838).

«Судорожное» проявленіе жизни—это все, что оставалось. Онъ не нашелъ еще *идеи* своего существованія, не объединилъ своихъ ощущеній, онъ только ищетъ истины и вдохновенія, какъ ищутъ воды въ пустынь.

Но у этихъ исканій нѣтъ твердой опоры, вліяніе которой равномерно распредѣляло-бы ихъ напряженность, нѣтъ, словомъ, одухотворенной счастья личной жизни. При этомъ условіи всякое исканіе становится подвижничествомъ, всякое философское усиліе—побѣдой надъ собой. Душа проситъ любви, но любовь не удовлетворена, и эту мучительную неудовлетворенную любовь, всю ея огромную силу обращаетъ на мысль, на исканія.

Толстая книги, отвлеченныя формулы наваливаются на обиженное сердце, чтобы заглушить его голосъ... Что-же,—порой удается и это, хотя «дни, недѣли апатіи смертельной» слишкомъ хорошо говорятъ, въ чемъ дѣло.

Личная жизнь—не для меня. Я рожденъ неудачникомъ. Я грѣховенъ въ самомъ существѣ моемъ. Пусть-же гибнетъ эта личная жизнь, пусть перестанетъ она звать меня къ себѣ. Я заглушу въ себѣ голосъ чувственности, потребность любви, мечты о счастья—лишь бы быть человѣкомъ. Такъ разсуждаетъ Бѣлинскій въ своихъ письмахъ. Тутъ боль, тутъ искренность, тутъ подвижничество.

Настроивши себя на извѣстный ладъ, только въ немъ одномъ видя свое спасеніе и все-же постепенно проникаясь философскими формулами, которыя внушаютъ ему со всѣхъ сторонъ друзья,—Бѣлинскій понемногу успокаивается духомъ и минутами доходитъ до умиленнаго состоянія.

«Богъ,—пишетъ онъ, напр.,—не есть нѣчто отдѣльное отъ міра, но Богъ въ мірѣ, потому что онъ вездѣ. Да, его,—какъ говоритъ великій Іоаннъ, любимѣйшій ученикъ Христа,—его никто не видалъ; но онъ во всякомъ благородномъ порывѣ человѣка, во всякой свѣтлой его мысли, во всякомъ святомъ движеніи его сердца. Міръ или вселенная есть его храмъ, а душа и сердце человѣка, или, лучше сказать, внутреннее я человѣка есть его алтарь, престолъ, его *святая святыхъ*. Итакъ, ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи его въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и искусство, возлюби ихъ какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ,—и ты будешь блаженъ; а кто достигъ блаженства, тотъ носитъ въ себѣ Бога... Богъ есть истина, слѣдовательно, кто сдѣлался сосудомъ истины, тотъ есть и сосудъ Божій; кто *знаетъ*, тотъ уже и *любитъ*, потому что не любя невозможно познавать, а познавая, невозможно не любить; Богъ есть виѣстѣ

и истина, и любовь, и разумъ, и чувство, такъ какъ солнце есть вмѣстѣ и свѣтъ и теплота»...

Бѣлинскій совѣтуетъ своему пріятелю, которому пишетъ письмо, бросить тотъ спеціальнѣй предметъ, которымъ онъ занимался, и обратиться къ философіи, потому что главнѣйшимъ предметомъ изученія человѣка должна быть мысль, идея въ ея безразличномъ всемірномъ значеніи.

«Внѣ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгниетъ, но твое я останется; слѣдовательно тѣло твое есть призракъ, мечта, но я твое существенно и вѣчно. Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь, спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи. Если такъ, то можешь ли ты понять результатъ, не зная его причины? Можешь ли для тебя быть понятна исторія человѣчества, если ты не знаешь, что такое человѣкъ, что такое человѣчество? Вотъ почему философія есть начало и источникъ всякаго званія, вотъ почему безъ философіи всякая наука мертва, непонятна и нелѣпа.

«Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтлѣнію черезъ причастіе христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ долженъ ты очистить свою душу отъ проказы земной суеты, холоднаго себялюбія, отъ оболъщенной внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины. Искусство укрѣпить и развить въ тебѣ любовь; оно дастъ тебѣ религію или истину въ созерцаніи, потому что религія есть истина въ созерцаніи, тогда какъ философія есть истина въ сознаніи. Кто увѣренъ въ истинѣ по чувству и не можетъ вывести ее изъ разума собственною свободною самостоятельностью, для того истина существуетъ только въ созерцаніи. Но, не имѣя истины въ созерцаніи, невозможно имѣть ее и въ сознаніи. Ты былъ еще ребенкомъ, а уже умѣлъ отличать добро отъ зла, истину отъ лжи, — значить, что истина въ созерцаніи всегда предшествуетъ истинѣ въ сознаніи. Но въ дѣтствѣ ты могъ чувствовать только житейскую, практическую истину; теперь ты долженъ приобрѣсти созерцаніе истины отвлеченной, чистой, и это созерцаніе дается тебѣ искусствомъ».

Бѣлинскій объясняетъ далѣе, какъ необходимо заниматься искусствомъ, и что заниматься имъ должно *набожно, благоговѣжно*—не для удовлетворенія самолюбія, не для того, чтобы умѣть сказать что-нибудь о томъ или другомъ писателѣ, а для высшаго наслажденія, свойственнаго одному духу... Но однимъ искусствомъ нельзя заниматься безпрестанно, потому что оно требуетъ занятія свободнаго, а душа утомляется подъ тяжестью впечатлѣній... Для начала философскихъ занятій, къ которымъ хотѣлъ приступить его пріятель. — Бѣлинскій не совѣтуетъ читать самого Гегеля — «ты тутъ ничего не

поймешь»,—а указываетъ болѣе доступныя, популярныя книги. Онъ хвалить своего пріятеля за желаніе заняться философіей, и снова изображаетъ ея великое значеніе, и «пуще всего» остерегаетъ пріятеля отъ «политики».

«Доброе дѣло! *Только въ ней (философiи) ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей*, только она дастъ миръ и гармонію душъ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозреваетъ и какой внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилицѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка твоей убогой и тѣсной кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,—тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею странною въ мірѣ. Просвѣщеніе — вотъ путь ея къ счастью»...

Усилия генія выработали довольно стройное, во всякомъ случаѣ красивое миросозерцаніе. Просмотрите внимательнѣе эти письма, какъ они того несомнѣнно заслуживаютъ и вы увидите, откуда явилось это странное спокойствіе измученной души. Конечно изъ самоотреченія. На самомъ дѣлѣ: о личной жизни нѣтъ ни слова. Бѣлинскій какъ бы забылъ о ней или рѣшился не обращать болѣе вниманія на ея уколы и укусы. Самый слогъ временно утерялъ свою несдержанную бурность, самое сердце раскрылось для совершенно новыхъ настроеній. Кто-бы могъ подумать, что слѣдующія вотъ строки писаны рукою Бѣлинскаго:

«Благодать Божія не дается намъ свыше, но лежитъ, какъ зародышъ, въ насъ самихъ; но не въ нашей волѣ вызывать ея дѣйствіе, и въ этомъ отношеніи она намъ дается. Человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать для своего совершенства, дѣйствуя своею волею *положительно*, но много можетъ для него сдѣлать, дѣйствуя ею *отрицательно*. Я не могу возбудить въ себѣ чувства, когда оно замерло во мнѣ, не могу наполнить блаженствомъ мою душу, убитую и истощенную порокомъ, словомъ, я не могу взять себѣ добродѣтель, но могу бросить порокъ. Тогда во мнѣ не останется ничего, потому что не быть порочнымъ еще не значить—быть добродѣтельнымъ; я буду пусть совершенно. Но для человѣка съ потребностію жизни нельзя долго оставаться въ состояніи пустоты: сильнѣйшее начало его природы скоро должно взять верхъ, если только онъ не вздумаетъ удовольствоваться отрицательнымъ совершенствомъ; но такъ какъ для послѣдняго случая надо родиться подлецомъ, пошлякомъ, квакеромъ, сектантомъ и не имѣть никакого зародыща человѣче-

ской жизни, то, повторяю, добро должно въ немъ восторжествовать. Противъ этого нельзя «спорить».

Бѣлинскій не только написалъ эти строки, онъ выстрадалъ ихъ. Онъ жилъ ими и ихъ умиленнымъ настроеніемъ цѣлые годы въ перемежку, впрочемъ, съ другими тревожными и мучительными ощущеніями.

Но въ эту минуту, по крайней мѣрѣ, ему казалось, что онъ борется съ собой и съ своей низшей природой съ полной надеждой на побѣду, что онъ очистилъ себя искусствомъ, что онъ постигъ абсолютныя философскія принципы, что, отрекшись отъ личной жизни, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ отрекся и отъ всѣхъ ея заботъ, тревогъ и опасеній.

Ему казалось далѣе, что онъ нашелъ, наконецъ, принципъ, основное начало, которое все можетъ уяснить, улучшить. Стоитъ только искренно, отъ всей души прилѣпиться къ нему.

Это начало — любовь.

Онъ возстаётъ противъ «долга», видитъ въ немъ вещь чисто принудительную и узкую. Любовь — непосредственнѣе, свободнѣе, шире.

«Я понимаю *долгъ*,—говоритъ онъ,—какъ необходимый переходъ, какъ неизбежную ступень сознанія, но не какъ абсолютную истину, и знаю, что конкретная жизнь — только въ блаженствѣ абсолютнаго знанія и что человекъ — самъ себѣ цѣль... Только благодать есть условіе и основа истинной жизни. Безъ любви жизнь можетъ быть только благоразумна, но не разумна, а благоразумная жизнь для меня тождественна съ подлою жизнью».

Безъ любви, т. е. безъ непосредственнаго свободаго влеченія, онъ не понимаетъ и добродѣтели.

«Я презираю и ненавижу добродѣтель безъ любви, и скорѣе рѣшусь стремглавъ броситься въ бездну порока и разврата, съ ножомъ въ рукахъ на большихъ дорогахъ добывать свой насущный кусокъ хлѣба, нежели, затоптавъ свое чувство и разумъ ногами въ грязь, быть добрымъ квакеромъ. пошлымъ резонеромъ, пуританигомъ, раскольникомъ, добрымъ по разсчету, честнымъ по эгоизму, не воювать у другихъ, чтобы другимъ не дать права воровать у себя, не рѣзать ближняго, чтобы ближвій не рѣзалъ меня. Ты знаешь, что, въ моихъ глазахъ, женщина, принадлежавшая многимъ по побужденію чувственности, есть женщина развратная... но гораздо менѣе развратная... нежели женщина, которая одному отдала себя на всю жизнь по разсчету или по чувству долга, или женщина, которая, любивъ одного, вышла за другого изъ уваженія къ родительской волѣ и общественному мнѣнію, боролась съ своимъ чувствомъ, какъ съ преступленіемъ, и, побѣдивъ его... убила въ себѣ всѣ человѣческія искры»...

Разсчетъ, сухость жизни, отсутствіе горьковъ и высшихъ нравственныхъ и умственныхъ запросовъ — вотъ что болѣе всего возбуждаетъ его отвращеніе. Онъ ненавидитъ «все пошлое и всѣхъ пошляковъ», ему тяжело жить съ ними въ одной комнатѣ, дышать однимъ воздухомъ. Онъ признается, что «очень и очень чувствителенъ на этотъ счетъ». Но въ то-же время и самъ

онъ не безусловно доволенъ собою. Правда, ему многое выяснилось, онъ постигъ много философскихъ откровеній, онъ рѣшается уже давать совѣты другимъ и учить ихъ истинной жизни, но его томить, что эти чудныя, превосходныя вещи остаются въ его головѣ, что онъ не «прекрасенъ», а только прекраснодушенъ, что всѣ его завоеванія въ области мысли, исчерпываются лишь превосходными настроеніями, зарождаются тамъ, тамъ же и умираютъ. Онъ задумываетъ поэтому большое сочиненіе. гдѣ «хочетъ оплевать себя» за такое слишкомъ барское отношеніе къ жизни.

«Теперь я началъ «Переписку двухъ друзей» — говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, — большое сочиненіе, гдѣ въ формѣ переписки, какого-то полуромана будутъ высказаны всѣ тѣ идеи о жизни, которыя даютъ жизнь и которыя безъ полемики должны разоблачить Шевыревыхъ и подобныхъ ему. Это будетъ собственно переписка прекрасной души съ духомъ; первое лицо, какъ разумеется, будетъ моимъ субъективнымъ произведеніемъ, а второе — чисто объективнымъ. Въ лицѣ перваго я поражаю прекраснодушіе, такъ что оно устыдится самого себя; впрочемъ, — въ представителѣ прекраснотуши я выведу лицо не пошлое, но полное жизни истинной, кипучей; придамъ ему не фразы и возгласы, но слово живое, увлекательное, картинное и поэтическое; словомъ, я изображу въ немъ одного изъ тѣхъ людей, доступныхъ всему истинному, но лишенныхъ силы воли для полнаго достиженія высшей истины, одного изъ тѣхъ людей, которые понимаютъ истину, но хотятъ, чтобы она досталась имъ безъ труда, безъ жертвоуаній, безъ борьбы и страданія; какъ цыгане, которые лучше хотятъ сносить всѣ неудобства непогоды, всѣ невыгоды бродяжнической жизни, нежели пожертвовать частію своей дикой свободы гражданскому порядку, такъ и эти люди хотятъ лучше всю жизнь свою жить рѣдкими и немногими минутами восторга, а остальную часть жизни валяться въ грязи, нежели путемъ труда и усилій перейти на полную жизнь. Короче сказать, въ этой прекрасной душѣ я изображу себя и, надѣюсь, очень вѣрно; и въ этомъ портретѣ я наплюю на самого себя и оплачу самого себя. Я изображу себя въ двухъ эпохахъ жизни: въ той, въ которую я жилъ въ одномъ чувствѣ и пряталъ свое чувство отъ разума, какъ цвѣтокъ отъ мороза; и въ той, въ которую я созналъ тождество чувства съ разумомъ, любви съ сознаниемъ, но приобрѣлъ черезъ это не полное блаженство жизни, а только объективное сознаніе его. Что же касается до представителя жизни духа, то это не будетъ ни чей портретъ: это будутъ мои... статьи, но только глубже перечувствованныя и лучше понятыя, потому что съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ написалъ, я немного подросъ въ моихъ понятіяхъ. Первое письмо почти уже написано: въ немъ «прекрасная душа» описываетъ свой отъѣздъ изъ Москвы, свои путевыя впечатлѣнія, жалуется на людей и жизнь, въ которыхъ она разочаровалась; доказываетъ, что истинная жизнь въ чувствѣ, что разумѣніе есть смерть чувства; упрекаетъ своего друга за любовь къ философіи, за холодность сужденій и предрекаетъ ему конечную гибель за довѣренность къ *холодному уму* и пр. и пр. Отвѣтъ на это письмо будетъ содержать

изложеніе понятія о разумѣ и чувствѣ, ихъ взаимныхъ отношеніяхъ; объ истинѣ въ созерцаніи, какъ основѣ нашего сознанія; объ ошибочномъ понятіи, вслѣдствіе котораго чувство смѣшиваются съ истиною въ созерцаніи, почему и думаютъ несправедливо, что чувствомъ можно узнать какую бы то ни было истину, тогда какъ оно, по существу своему, не можетъ давать намъ никакихъ идей, но, такъ сказать, подкрѣпляетъ всякую истинную, или почитаемую нами за истинную, идею, пробуждая въ насъ стремленіе къ безконечному, или какъ любовь, что одно и то же, потому что высшая степень любви есть ощущеніе безконечнаго; о достоинствѣ разума, живущаго въ природѣ, какъ явленіе, и въ человѣкѣ, какъ сознаніе; о достоинствѣ способа изслѣдованія истины à priori. Однимъ словомъ, это должно быть чѣмъ-то порядочнымъ, потому что я ни мало не сомнѣваюсь выразить эти идеи языкомъ увлекательнымъ, живописнымъ, пламеннымъ. Несмотря на мою апатическую жизнь, я еще ощущаю въ себѣ столько внутренняго жара, сколько нужно его для десяти такихъ сочиненій. Скоро примусь за статью о Пушкинѣ: это должно быть лучшею моею критическою статьею».

Статья (вѣрнѣе — статьи) о Пушкинѣ были написаны гораздо позже, переписка двухъ друзей совсѣмъ не была написана, такъ какъ здѣсь огромные творческіе замыслы уступали постоянно мѣсто случайнымъ поденнымъ работамъ—этой казни египетской всякаго истиннаго дарованія. Но важно отмѣтить въ этомъ письмѣ тотъ суровый идеализмъ, который его отличаетъ. Бѣлинскій хочеть поразить въ задуманномъ имъ произведеніи самого себя, хочеть казнить свою слабую волю. Не задумываясь причисляетъ онъ себя къ разряду людей, которые понимаютъ истину, но хотять, чтобы она досталась имъ безъ труда, безъ пожертвованій, «безъ борьбы и страданія»,—которые, какъ цыгане, предпочитаютъ сносить всѣ неудобства непогоды, всѣ невгоды бродяжнической жизни, нежели пожертвовать частью своей дикой свободы гражданскому порядку...

Да, страшно строгъ къ себѣ Бѣлинскій.

«...Я самъ,—говорить онъ далѣе въ томъ же направленіи,—начинаю увѣряться, что нѣтъ ничего мизернѣе и скучнѣе, какъ человѣкъ, который, утопая въ грязи, понимаетъ всю гадость своего положенія, а не имѣетъ силы вырваться изъ него, который имѣетъ прямыя и свѣтлыя идеи о цѣли жизни и не можетъ перенести ихъ въ свою жизнь, который безпрестанно раскаивается, жалуется на себя друзьямъ своимъ, обвиняетъ себя въ животности, слабодушіи, пошлости и ограничивается только однимъ раскаяніемъ, самообвиненіемъ и жалобами. Да,—я чувствую, что долженъ казаться слишкомъ пошлымъ всякому, кто знаетъ меня вблизи, а не издали»...

Онъ упоминаетъ далѣе, что въ это время онъ писалъ письмо къ Станкевичу, гдѣ «обвинялъ себя въ такихъ грѣхахъ, что лучше бы не родиться на свѣтъ, какъ говорить Гамлетъ», и продолжаетъ:

«Во мнѣ два главныхъ недостатка: самолюбіе и чувственность. Остановимся на первомъ, потому что второй совершенно ничтоженъ, какъ покажутъ...

результаты моихъ доводовъ. Ты знаешь, что я имѣю похвальную привычку краснѣть безъ всякой причины, какъ думаютъ все, но въ самомъ-то дѣлѣ очень не безъ причины. Эта похвальная привычка составляетъ несчастіе моей жизни... Самолюбіе—вотъ причина этого явленія. Конечно, здѣсь принимаетъ большое участіе какая-то природная робость характера и еще одно обстоятельство въ моемъ воспитаніи, о чемъ теперь мнѣ некогда распространяться, но главная причина все-таки самолюбіе. Я краснѣю оттого, что мнѣ отдали справедливость, слѣдовательно отъ удовлетвореннаго самолюбія; къ чести своей скажу, что еще чаще краснѣю я вслѣдствіе сознанія своего недостойнства, отъ того вниманія, которое оказываютъ мнѣ хорошіе люди, знающіе меня издалека. Я понимаю самое малѣйшее движеніе моего самолюбія—и все-таки не могу убить въ себѣ этого пошлаго чувства. Оно овладѣло мною совершенно, сдѣлало меня своимъ рабомъ»...

И если онъ не рѣшается произнести надъ собой безповоротнаго приговора и поставить крестъ надъ своей жаждой перерожденія, то въ этомъ повинно лишь то, что (говоря его словами) «въ самомъ глубочайшемъ моемъ паденіи я всегда сохранялъ уваженіе къ истинѣ и теперь мнѣ особенно чуждо всякое сомнѣніе въ ней»—и то также, что «какъ скоро дѣло касается до моихъ душевныхъ убѣжденій, я тотчасъ забываю себя, выхожу изъ себя и тутъ давай мнѣ кафедру и толпу народа: я ощущаю въ себѣ присутствіе Божіе, мое маленькое я исчезаетъ и слова, полныя жара и силы, рѣкою льются съ языка моего»...

Когда вы читаете эти письма Бѣлинскаго, прислушиваетесь къ его разсужденіямъ и возвышеннымъ совѣтамъ, которыми онъ такъ охотно дѣлится съ своими друзьями—вы невольно забываете, съ кѣмъ имѣете дѣло. Между этими письмами и дѣйствительностью, въ которой они создавались—цѣлая пропасть. Ихъ пишетъ одинокій человѣкъ, которому ежеминутно грозятъ болѣзнь и нищета, а между тѣмъ въ словахъ вы чувствуете внутреннюю силу и бессознательную рѣшимость не поддаваться злой судьбѣ. Наивная идея завершенія личной жизни философией превращается въ героизмъ и стремленія къ святости.

Внѣшнее же положеніе Бѣлинскаго за весь этотъ періодъ времени было изъ рукъ вонъ плохо. Сначала, правда, онъ усиленно работалъ въ «Телескопѣ» и «Молвѣ» Надеждина, заполняя значительную ихъ часть переводами, замѣтками, критическими статьями, давалъ въ то же время уроки и кое-какъ сводилъ концы съ концами. Надеждинъ цѣнилъ его и, уѣзжая какъ-то изъ Москвы, оставилъ его своимъ замѣстителемъ. Литературное дѣло несомнѣнно налаживалось, статьи одна за другой возникали въ головѣ, и вдругъ совершенно неожиданное обстоятельство: въ 1836 году «Телескопъ» былъ закрытъ, а редакторъ его, проф. Надеждинъ, признанъ неблагонадежнымъ. Сыръ боръ загорѣлся изъ-за знаменитаго «философическаго письма» Чаадаева, гдѣ про-

износится такой строгій приговоръ надъ Россіей того времени. Надо впрочемъ замѣтить, что Надеждинъ прекрасно понималъ, что можетъ выйти изъ-за напечатанія письма. Но журналъ шелъ цѣло, и редактору хотѣлось или возродить его, или похоронить съ честью. Пришлось хоронить: Бѣлинскій внезапно очутился опять на улицѣ безъ опредѣленныхъ занятій.

Всѣмъ, чѣмъ занимался Бѣлинскій, онъ занимался всегда съ увлеченіемъ, нисколько не жалѣя себя. Этой нервной натурѣ—настоящему комку нервовъ—нужно было кипѣть, бороться, «неистовствовать» (въ кружкѣ Станкевича его такъ и звали—неистовый Виссаріонъ),—нужно было постоянное возбужденіе, чтобы чувствовать себя здоровымъ. Безъ этого онъ чувствовалъ себя рыбой, выброшенной на берегъ. Много силы положилъ онъ и на «Телескопъ». Но мы видѣли, что журналъ не пользовался успѣхомъ, хотя по мнѣнію г-на Пыпина критическія статьи Бѣлинскаго вносили въ него несомнѣнное оживленіе. Отчасти я съ этимъ несогласенъ. Что статьи Бѣлинскаго за разсматриваемое время во многихъ отношеніяхъ прекрасны—это несомнѣнно. Въ нихъ много провицательности. Все, что относится къ Пушкину и Гоголю,—какъ нельзя болѣе справедливо. Фразеры и фразерство получили смертельный ударъ въ лицѣ Бенедиктова и его неискреннихъ напыщенныхъ стихотвореній. Предсказывая неуспѣхъ пушкинскаго журнала «Современникъ», Бѣлинскій былъ какъ нельзя болѣе правъ; онъ понималъ, что академическою сдержанностью и почтительнымъ отношеніемъ къ авторитетамъ изъ архива русской письменности и словесности—нельзя сдѣлать ничего. Но все-же *эти* статьи Бѣлинскаго не таковы, чтобы они могли обезпечить успѣхъ журнала. Письма за этотъ періодъ безконечно интереснѣе; въ нихъ живой человѣкъ, живая душа. Въ статьяхъ много теоретическаго. Новыя идеи, воспріятыя и воспринимаемыя Бѣлинскимъ, недостаточно продуманныя, излагались на бумагу безъ той личной субъективной окраски, которая придаетъ такую неотразимую прелесть и такой безспорный интересъ письмамъ. Бѣлинскій какъ-то не давалъ себѣ простора и часто впадалъ въ совершенно несвойственный ему жанръ резонерства, смущая въ то-же время читателя отвлеченностью своихъ разсужденій и тяжелой терминологіей. Въ это время ему на самомъ дѣлѣ трудно было писать. Настроеніе мѣнялось, а вмѣстѣ съ нимъ и отношеніе Бѣлинскаго къ тому или другому писателю. Онъ, напр., никакъ не могъ остановиться на чемънибудь опредѣленномъ во взглядѣ на Шиллера, котораго онъ то любилъ, то какъ-то даже истерически ненавидѣлъ. Онъ, словомъ, далеко еще не былъ самимъ собой; эти годы—годы его умственныхъ и духовныхъ странствованій

Но—какъ бы то ни было—надо было искать работы, а пока приходилось пробавляться займами, что раздражало и выводило изъ себя Бѣлинскаго. О поступленіи на службу «куда нибудь», какъ было это нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ уже не думаетъ: для него очевидно, что безъ литературы и внѣ ея ему рѣшительно нечего дѣлать. Онъ завязываетъ сношенія съ Краевскимъ—новымъ редакторомъ литературныхъ прибавленій къ «Московскому Инва-

лиду», съ Плюшаромъ,—приступавшимъ тогда къ изданію своего энциклопедическаго словаря,—съ Николаемъ Полевымъ, уѣзжавшимъ въ то время въ Петербургъ съ различными литературными планами въ головѣ. Но, въ сущности, не удастся ничего. Несмотря на явныя угрозы жизни, Бѣлинскій не хочетъ сдаваться. Въ предварительныхъ переговорахъ съ издателями онъ прежде всего настаиваетъ на томъ, чтобы ему была предоставлена полная самостоятельность. Онъ пишетъ, напр., Краевскому:

«Благодарю васъ за лестное ваше ко мнѣ вниманіе, которое вы оказали мнѣ приглашеніемъ меня участвовать въ вашемъ журналѣ. Со всею охотою готовъ вамъ помогать въ изданіи и принять на свою отвѣтственность разборы всѣхъ литературныхъ произведеній; только почитаю долгомъ объяснить съ вами на счетъ одного пункта, очень для меня важнаго, чтобы послѣ между мною и вами не могло быть никакихъ недоразумѣній, а слѣдовательно и неудовольствій. Я отъ души готовъ принять участіе во всякомъ благородномъ предпріятіи, содѣйствовать, сколько позволяютъ мнѣ мои слабыя силы, успѣхамъ отечественной литературы; но я желаю сохранить вполнѣ свободу моихъ мнѣній и ни за что на свѣтѣ не рѣшусь стѣснять себя какими бы то ни было личными, или житейскими отношеніями. Поэтому, я готовъ, по вашему совѣту, дѣлать всевозможныя измѣненія въ моихъ статьяхъ, когда дѣло будетъ касаться до безопасности вашего изданія со стороны цензуры; но что касается до авторитетовъ и разныхъ личныхъ отношеній къ литераторамъ, участвующимъ дѣломъ или желаніемъ въ вашемъ журналѣ,—то я думаю и увѣренъ, что я въ этомъ отношеніи останусь совершенно свободенъ. Но такъ какъ у васъ участвуютъ нѣкоторые литераторы, какъ-то: кн. Вяземскій, баронъ Розень и Викторъ Тепляковъ, о которыхъ я по совѣсти не могу напечатать добраго слова и вообще не могу говорить умѣренно и хладнокровно, то буду стараться совѣмъ не говорить о нихъ, а если бы вышло какое-нибудь сочиненіе или собраніе сочиненій кого-нибудь изъ нихъ, то также почту себя вправѣ или говорить, что думаю, или совѣмъ ничего не говорить. Если же случится такая статья, гдѣ мнѣ нельзя будетъ упомянуть о комъ-нибудь изъ нихъ, а вамъ нельзя будетъ напечатать моего упоминовенія, то я беру ее назадъ и имѣю право помѣстить въ какомъ-нибудь другомъ журналѣ, хотя бы то было (чего избави Боже!) въ «С. Пчелѣ». Это главное»...

Онъ хочетъ также, чтобы его статьи появлялись съ подписью:

«Я никакъ не могу согласиться не подписывать своего имени, или не означать моихъ статей какою бы то ни было фирмою—нолемъ, зетомъ или чѣмъ вамъ угодно, потому что, не любя присвоивать себѣ ничего чужого,—ни худого, ни хорошаго,—я не уступаю никому и моихъ мнѣній, справедливы, или ложны онѣ, хорошо или дурно изложены. Другое дѣло, если бы я исключительно завѣдывалъ у васъ литературною критикою такъ, какъ Н. И. Надеждинъ — философическою; но это невозможно при значительной разности нашихъ мнѣній касательно достоинства многихъ русскихъ литераторовъ».

На что онъ, собственно, положительнаго разсчитываетъ,—сказать трудно.

Изъ того, какъ тянутся переговоры, онъ видитъ, что проку изъ нихъ не выйдетъ. Издатели зовутъ его въ Петербургъ,—онъ не ѣдетъ, недостаточно, и совершенно основательно не довѣряя ихъ обѣщаніямъ и комплиентамъ. Окончательно падать духомъ онъ не падалъ, просто—тяжело было. Облегчало горкіе дни между прочимъ и то обстоятельство, что, какъ замѣчено выше, Бѣлинскій былъ фантастическій человѣкъ. Проекты и упованія утѣшали его порою не меньше дѣйствительности. Между прочимъ, неизвѣстно, для чего, онъ написалъ свою «Грамматику русскаго языка»—книгу едва ли удобную для взрослыхъ и совершенно неудобную для цѣлей педагогическихъ. Абсолютно этого не замѣчая, онъ возлагаетъ на нее большія надежды, хотя въ концѣ концовъ она, кажется, не принесла ему ни гроша.

«Грамматика моя начинается трогаться...—пишетъ онъ какъ то,—но и безъ нея у меня надеждъ бездна. Николай Полевой издаетъ «Пчелу», и я уже, разумѣется, приглашенъ къ участию. Ксенофонтъ Полевой думаетъ купить у Андросова право на изданіе «Наблюдателя», и въ такомъ случаѣ намѣренъ поручить *одному мнѣ* библиографію и критику, для того, говоритъ онъ, чтобы въ его журналѣ былъ одинъ тонъ и одинъ голосъ. Не говоря уже о томъ, что это дастъ мнѣ тысячъ пять, или шесть въ годъ денегъ,—это дастъ мнѣ мою настоящую жизнь, при одной мысли о которой я уже оживаю и чувствую въ себѣ новую силу. Дѣло это зависитъ отъ согласія Уварова и сговорчивости Андросова, и скоро должно рѣшиться, потому что Уваровъ на дняхъ долженъ быть въ Москвѣ. О, если бы это сбылось... Тогда бы уже меня не стала мучить мысль о необходимости переѣхать въ Петербургъ».

Дѣла однако не только не улучшаются, а, напротивъ того, идутъ все хуже. Къ неудачамъ исканія работы присоединяется болѣзнь, которая заставляетъ Бѣлинскаго уѣхать на нѣсколько мѣсяцевъ на Кавказъ, влѣзши, разумѣется, въ новые долги.

На Кавказѣ онъ усердно лечился, здоровье его укрѣпилось, но возвращеніе въ Москву пугало его.

«Я бы выздоровѣлъ и душевно и тѣлесно,—пишетъ онъ,—еслибы будущее не стояло передо мною въ грозномъ видѣ, еслибы приѣздъ мой въ Москву былъ обезпеченъ. Вотъ что меня убиваетъ и иссушаетъ во мнѣ источникъ жизни. Едва родится во мнѣ сознаніе силы, едва почувствую я теплоту вѣры, какъ картина: *авошная* лавочка, сюртуки, штаны, долги и вся эта мерзость жизни тотчасъ убиваютъ силу и вѣру, и тогда я могу только играть въ свои козыри или въ шашки. Эти пошлыя удовольствія доставляютъ мнѣ много пользы: они заставляютъ меня забываться въ какой-то пустотѣ, которая все-таки лучше отчаянія»...

«Я былъ бы погибшій человѣкъ,—пишетъ Бѣлинскій тамъ же,—еслибы всѣ эти займы не убили меня. Да, они должны убивать меня... Мучимый каждую минуту мыслию о долгахъ, о нищенствѣ, о попрошайствѣ, о моихъ лѣтахъ, въ которыхъ уже пора приобрести какую-нибудь нравственную самостоятельность, о погибшей бесплодно юности, о бѣдности моихъ познаній, могъ

ли я забыться въ чистой идеѣ? Прикованный желѣзными цѣпями къ внѣшней жизни, могъ ли я возвыситься до абсолютной? Я увидѣлъ себя безчестнымъ, подлымъ, лѣнивымъ, ни къ чему неспособнымъ, какимъ-то жалкимъ недоноскомъ и только въ моей внѣшней жизни видѣлъ причину всего этого. Эта мысль обрадовала меня: я нашелъ причину болѣзни — лекарство было не трудно найти»...

Къ сожалѣнію только въ планахъ и предположеніяхъ, никакъ не въ дѣйствительности, которая знать не хочетъ Бѣлинскаго. Тотъ, какъ за послѣднюю соломенку хватается за Николая Полевого, но отвѣтъ послѣдняго на отчаянное письмо долженъ былъ возбудить лишь новое грустное недоумѣніе. Полевой былъ уже не тѣмъ, чѣмъ раньше, и раздумывалъ, какой *тонъ* принять ему въ петербургской литературѣ. Любопытно, что именно пишетъ Полевой Бѣлинскому уже по возвращеніи послѣдняго въ Москву зимой 1837 г. Извиняясь за долгое молчаніе, онъ говоритъ:

«Словно напущеніе: смерти, болѣзни, скорби, мерзкая погода и затрудненія по дѣламъ! Говорить не хотѣлось, писать не хотѣлось. Только усиленная работа спасаетъ меня, но зато отнимаетъ всю возможность думать о чемънибудь другомъ и обрѣзываетъ время такъ, что свободной минуты не остается. Потому я теперь приступлю прямо къ отвѣту на ваше дружеское предложеніе. Какъ я былъ бы радъ такому сотруднику, какъ вы, но я просилъ брата откровенно рассказать вамъ мое *нынешнее* положеніе, и вы сами увидите, что оно такъ скользко, безотчетно, связано отношеніями, что завлекать васъ надеждами, заставить переселиться сюда, — значило бы взять на совѣсть, можетъ быть, и невольный обманъ. Необходимо слѣдуетъ нѣсколько погодить. Дайте мнѣ немного поустроиться, оглядѣться, утвердиться, и тогда будетъ все отчетливо и видно. Мысль моя теперь такая: еслибы вы могли послѣ Святой, весной, сюда пріѣхать, поглядѣть все сами, видѣть здѣшній людъ, — это было бы всего лучше. Переѣздъ можно вознаграждать тремя днями работы. Хата у меня есть, и я приму васъ съ распростертыми объятіями... Къ тому времени и мои обстоятельства будутъ уже утверждены. Да и надобно вамъ посмотрѣть на пресловутый Петербургъ, особливо если вы имѣете уже тайную мысль сюда переселиться. Вѣрьте, что все, что только въ силахъ я буду сдѣлать, — сдѣлаю, и къ сердцу готовъ прижать васъ». Между тѣмъ надо было подумать, что Бѣлинскій могъ дѣлать *пока* въ Москвѣ; Полевой предлагаетъ Бѣлинскому посоветоваться съ его братомъ (жившимъ тогда въ Москвѣ)... «Главная трудность — писать въ Москвѣ, не зная *здѣшнихъ отношеній*. По крайней мѣрѣ пусть все это докажетъ вамъ, что я истинно васъ люблю и уважаю. Я и самъ еще теперь не знаю, какой *принять тонъ*, какое выраженіе»: Полевой въ эти дни думалъ только одно «положить въ основу» — не измѣнять правдѣ (онъ употребляетъ болѣе ясное и рѣзкое выраженіе) — елико можно, а все остальное предоставить рѣшить времени. «Смотрю, наблюдаю, кланяюсь скромно; что дѣлать, если хотѣтъ трудомъ принести какую нибудь пользу ближнимъ, и не думать только о своемъ карманѣ! Петербургъ — ужасный городъ въ этомъ

отношеніи! Мнѣ, право, думается, что здѣсь, вмѣсто сердець, Богъ вложилъ въ тѣло каждаго карманъ. Въ Москвѣ есть еще какой-то безкорыстный идиотизмъ, но здѣсь умъ звенить расчеюмъ, и расчеюмъ замѣняетъ умъ. Вотъ что хотѣлось и должно было вамъ сказать. Дайте руку и вѣрьте моему сердцу даже болѣе моей головы»...

«Я еще и самъ теперъ не знаю, какой попринять *тонъ*, какое *выраженіе*» — пишетъ Полевой. Но разъ человѣкъ заговорилъ о выборѣ тона и выраженія, что было дѣлать съ нимъ Бѣлинскому?

Бѣлинскій не сдавался. Какъ то намеками ему предложили сотрудничество въ предполагавшемся журналѣ Погодина и Шевырева—«Москвитянинъ». Онъ находить въ себѣ достаточно силы, чтобы написать одному изъ своихъ друзей: «Можешь представить, что это такое? Мнѣ стороною предлагали сотрудничество, но, чортъ ихъ возьми... не надо мнѣ ихъ и денегъ, хоть осыпъ они меня золотомъ съ головы до ногъ».

Въ 1838 году судьба, какъ будто,—очень, впрочемъ, не на долго,—улыбнулась Бѣлинскому. Новый издатель «Московского Наблюдателя», нѣкто Степановъ, довольно состоятельный типографщикъ, поручилъ ему редакцію журнала. Это генеральское мѣсто въ литературѣ оплачивалось довольно скверно, но все-же Бѣлинскій съ радостью ухватился за дѣло, не предчувствуя, сколькихъ разочарованій будетъ оно ему стоить. Нѣсколько мѣсяцевъ прошло, впрочемъ, совершенно благополучно и вмѣстѣ съ волненіями принесло не мало и радостей.

Я писалъ какъ-то о роли редактора въ жизни журнала:

Трудъ редактора—совсѣмъ не механическій трудъ. Съ громаднымъ запасомъ свѣдѣній, съ чутьемъ къ интересному и разнообразному, можно издавать хорошіе альманахъ, прекрасный энциклопедическій словарь, но никакъ не журналъ, или газету. Въ глазахъ своихъ сотрудниковъ редакторъ долженъ быть настоящимъ героемъ, и чѣмъ высшей пробы этотъ героизмъ—тѣмъ лучше. Никакихъ силъ одного человѣка, никакого его трудолюбія не хватитъ для ежемѣсячнаго изданія. Только окруживъ себя лучшими литературными силами, только сумѣвъ воспитать ихъ и вдохновить въ нужномъ направленіи, — онъ можетъ рассчитывать на дѣйствительный успѣхъ. Что такое одинъ онъ? Пускай онъ работаетъ 24 часа въ сутки, перечитываетъ всѣ журналы и газеты, самъ переводить, самъ корректируетъ—этого недостаточно; при подобныхъ условіяхъ его дѣло умретъ, какъ бы успѣшно ни пошло оно вначалѣ. Редакторскій трудъ гораздо сложнѣе, онъ сводится къ умѣнью одушевлять и вдохновлять. Быть настоящимъ, а не мнимымъ центромъ литературнаго кружка, быть лучшимъ выразителемъ принятаго направленія, первымъ преданнѣйшимъ слугою поставленнаго знамени, быть объединителемъ въ широкомъ смыслѣ слова—вотъ что, по-нашему, значить быть редакторомъ.

Я рѣшительно не могу отказаться отъ подобной точки зрѣнія, хотя вижу, что она страдаетъ излишнею требовательностью особенно для нашихъ дней.

Что бы там ни говорилось, а *такіе* редакторы у насъ дѣйствительно были— Николай Полевой, Чернышевскій и Добролюбовъ, Щедринъ. Нельзя не согласиться, что и Бѣлинскій старался въ этотъ злосчастный 38-й годъ подойти къ поставленному идеалу, и если это далеко не вполне удалось ему— его вина только «отчасти». Онъ хотѣлъ сдѣлать изъ «Московскаго Наблюдателя» кружковой органъ, гдѣ-бы работали всѣ его друзья—единомышленники, начиная Станкевичемъ и Бакунинымъ. Сначала дѣло пошло было на ладъ, но кажется Бѣлинскому въ то время, по крайней мѣрѣ, недоставало авторитета. «Нѣкоторая литературная извѣстность» значить очень мало, и къ тому-же самъ Бѣлинскій находился все еще въ томительно переходномъ настроеніи. На свои задачи онъ смотритъ, впрочемъ, довольно опредѣленно, хотя «*не по своему*». Когда впервые явилась мысль о «Наблюдателѣ», онъ писалъ одному изъ своихъ друзей:

«Если это состоится (т.-е. изданіе «Наблюдателя» Кс. Полевымъ), то ты не узнаешь меня въ моихъ статьяхъ, именно потому, что я разувѣрился въ достоинствѣ отрицательной любви къ добру и чувствую въ себѣ больше снисходительности къ подлостямъ и глупостямъ литературной братіи, но зато и больше ревности противоположнымъ образомъ дѣйствованія доказывать истину. Не велика польза доказать, что Сенковскій—..., а «Библиотека»—гадкій журналъ: публика это давно знаетъ и подписывается на «Библиотеку» не за то, что она гадкій журналъ, а за то, что нѣтъ лучшаго журнала; такъ гораздо лучше дать ей хорошій журналъ, нежели бранить «Библиотеку». Поэтому *полемика рѣзко и изгоняется изъ нашего журнала*. Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы и правда изгонялась изъ него, но дѣло въ манерѣ и тонѣ: помнишь ли ты, какъ мило уничтожаетъ Гегель противниковъ истинной философіи, Круга и ему подобныхъ?—Онъ не сердится, не выходитъ изъ себя, не старается прибирать выразительнѣйшихъ браней, энергическихъ выраженій; онъ поступаетъ съ ними, какъ съ мухами—махнетъ рукой и этимъ движеніемъ убиваетъ ихъ гуртомъ, сотнями, ни мало не гордясь своею побѣдою и ни мало не жалѣя о неудачѣ. Но вотъ другой примѣръ, хотя гадкій, но идущій къ дѣлу—это Сенковскій; онъ не помѣщаетъ статей о другихъ журналахъ и разборовъ чужихъ мнѣній, но при случаѣ, къ слову, бьетъ ихъ славно. Это и мы возьмемъ за правило. Выходитъ книга, которая несправедливо разругана въ «Библиотецѣ»: мы ее похвалимъ, не браня «Библиотеки»; которая ее разбранила. Я имѣлъ несчастіе обратить на себя вниманіе правительства не тѣмъ, чтобы въ моихъ статьяхъ было что-нибудь противное его видамъ, но единственно рѣзкимъ тономъ, и это очень глупо; впередъ буду умнѣе»...

Не правда-ли—странная программа? Сравнительно незадолго передъ этимъ Бѣлинскій предсказывалъ неуспѣхъ пушкинскому «Современнику» за его академическое отношеніе къ литературѣ, а теперь самъ впадаетъ въ ту же ошибку. Но самое главное то, что онъ отказывается отъ самого себя. Его сила въ полемикѣ, полемическое раздраженіе прямо для него необходимо. Во всѣхъ лучшихъ своихъ статьяхъ онъ всегда прямо, или косвенно полемизируетъ.

«Люблю статьи Бѣлинскаго,—сказалъ какъ-то Герценъ,—за то, что послѣ каждой изъ нихъ или нѣтъ болѣе предразсудка, или являются обломки авторитета». Догматическое изложеніе рѣдко безусловно удавалось ему. Въ Московскомъ же Наблюдателѣ онъ поставилъ себѣ прежде всего догматическія цѣли. Можно такъ охарактеризовать программу журнала: «Искусство, какъ необходимая принадлежность абсолютной жизни, было такимъ же откровеніемъ, какъ и философская мысль. Истинная поэзія, какъ и истинная философія, не враждуетъ съ жизнью, не вооружаетъ человѣка противъ дѣйствительности, но миритъ съ нею; дѣйствительность разумна, и человѣку нужно только понять ее, чтобы сохранить равновѣсіе нравственныхъ стремленій; истинная поэзія объективна, и «нравственная точка зрѣнія», вносящая въ искусство преднамѣренную идею, есть величайшее заблужденіе. Величайшіе художники — Шекспиръ, Гёте,—именно потому, что они въ величайшей степени объективны».

Все это прекрасно, все это превосходно, но слишкомъ отвлеченно для русской публики тридцатыхъ годовъ. Къ этому прибавлялось еще: ненависть и презрѣніе ко всему французскому и полное равнодушіе ко всему общественному, гражданскому, политическому.

На какой успѣхъ тутъ можно было рассчитывать? На слишкомъ большой не рассчитываетъ, впрочемъ, и самъ Бѣлинскій. Отвѣчая въ августѣ 1838 г. на письма Панаева, онъ говоритъ:

«Вы пишете,—говоритъ Бѣлинскій,—что желали бы видѣть меня издателемъ журнала съ 3.000 подписчиковъ, а я бы охотно помирился и на половинѣ: «Телеграфъ» никогда не имѣлъ больше, а между тѣмъ его вліяніе было велико. «Библи. для Чит.» издается человѣкомъ умнымъ и способнымъ и издается имъ для большинства, и потому очень понятенъ ея успѣхъ. Журналъ съ такимъ направленіемъ, которое я могу дать, всегда будетъ для аристократіи читающей публики, а не для толпы, и никогда не можетъ имѣть подобнаго успѣха».

Бѣлинскій хотѣлъ сказать, что для большинства мало интересны отвлеченные вопросы искусства, и мало доступны высокія требованія критики, часто слишкомъ несогласной со вкусами этого большинства.

«Но я не знаю,—продолжаетъ Бѣлинскій,—почему бы мнѣ не имѣть 1.500, или около 2.000 подписчиковъ. Но видите-ли: для этого нужно объявить программу передъ новымъ годомъ, а не въ мартѣ или маѣ, и программу *новаго* журнала съ *новымъ* направленіемъ, потому что воскресить репутацію стараго, и еще такого, какъ «Наблюдатель», такъ же трудно, какъ возстановить потерянную репутацію женщины. Сверхъ того, въ Москвѣ издавать журналъ не то, что въ Петербургѣ: вымарываютъ болѣею частію *либеральныя* мысли, подобныя слѣдующимъ: $2 \times 2 = 4$, зимою холодно, а лѣтомъ жарко, въ недѣли 7 дней, а въ году 12 мѣсяцевъ. Но это бы еще ничего—лишь бы не задерживали. VI № могъ бы выдти назадъ тому двѣ недѣли, но 5 листовъ пролежали болѣе недѣли въ кабинетѣ цензора. Снѣгиревъ и самъ могъ бы вычеркнуть все, что ему угодно, но онъ хочетъ казаться предъ издателями добросовѣстнымъ, а передъ начальствомъ исправнымъ, а мы должны терпѣть. Въ

IV № я помѣстилъ переводную статью: «Языческая и христіанская литература IV вѣка. Авзоній и св. Паулинъ»: *языческой и христіанской*, и *святого* цензоръ нашъ не пропускаетъ. Каково вамъ покажется?

«Вы знаете, что владѣлецъ «Наблюдателя»—Н. С. Степановъ; у него есть всѣ средства, сверхъ того—хорошая своя типографія. Еслибъ ему позволили объявить себя издателемъ, какъ Смирдину, начать журналъ съ новаго года и въ 12 книжкахъ, какъ «Библ. для Чт.» и «Сынъ Отечества»,—то дѣло бы пошло на ладъ. Эти три обстоятельства: объявленіе имени издателя, который по своимъ средствамъ можетъ имѣть право на кредитъ публики, новый планъ журнала и настоящее время для его начала—могли бы дать содержаніе для программы и изъ стараго журнала сдѣлать *новый*. Конечно, если бы къ этому еще позволили переименовать его названіе,—это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мнѣ* позволили выставить свое имя, какъ редактора, потому что В. П. Андросовъ охотно бы отказался отъ журнала и всѣхъ правъ на него. Но зачѣмъ говорить о невозможномъ. По крайней мѣрѣ мы хотимъ попробовать на счетъ первыхъ трехъ переименъ—имени Степанова, 12 книжекъ и начала съ новаго года. Надо сперва прибѣгнуть къ графу С*. Пока объ этомъ не говорите рѣшительно никому. Я увѣренъ, когда придетъ время, и если вы что можете тутъ сдѣлать черезъ свои связи и знакомства,—то сдѣлаете все».

Все, о чемъ мечтаетъ Бѣлинскій въ этомъ письмѣ, устроилось, но дѣло отъ этого не пошло на ладъ. Мнѣ кажется, что не грѣхъ совершенно откровенно указать на одну изъ причинъ неудачъ,—слишкомъ большую зависимость отъ кружка, откуда онъ получилъ статьи, теоретическіе взгляды и что хуже всего—нескончаемые совѣты. Кружковщина хороша для разговоровъ, но всегда вести съ нею какое нибудь дѣло—очень трудно, хотя бы уже по одному тому, что ежеминутно приходится имѣть дѣло съ товарищескими самолюбіями—самыми раздражительными въ свѣтѣ. Благодаря кружку у Наблюдателя оказался не одинъ редакторъ, какъ бы оно слѣдовало, а 6—7 редакторовъ, изъ которыхъ едва-ли кто нибудь согласился-бы безпрекословно подчиняться авторитету Бѣлинскаго.

Журналъ шель очень плохо. Скоро въ кружкѣ начались разногласія, потомъ раздоры.

«Право, не до писемъ было. Въ письмѣ къ вамъ мнѣ хотѣлось бы означить опредѣлительно мое журнальное состояніе,—пишетъ онъ къ Панаеву отъ 18 февраля 1839,—но это было невозможно, чѣмъ означить погоду. И теперь пишу къ вамъ коротко, но зато опредѣленно. Вотъ въ чемъ дѣло: *я не могу издавать «Наблюдателя»*. Далеко бы завело меня объясненіе причинъ, и потому вмѣсто всѣхъ этихъ объясненій снова повторяю вамъ— *я не могу издавать «Наблюдателя» и нахожу себя принужденнымъ нынѣ отказаться отъ него*. Но между тѣмъ,—мнѣ надо чѣмъ-нибудь жить, чтобъ не умереть съ голоду,—въ Москвѣ нечѣмъ мнѣ жить: въ ней, кромѣ любви, дружбы, добросовѣстности, нищеты и подобныхъ тому непитательныхъ блюдъ,

ничего не готовится. Мнѣ надо ѣхать въ Питеръ, и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Прибѣгаю къ вашему ко мнѣ расположенію, къ вашей ко мнѣ дружбѣ,—похлопочите объ устройствѣ моей судьбы»...

На сценѣ опять хлопоты объ устройбѣ, опять отчаянный крикъ голоднаго человѣка.

«Но главное вотъ въ чемъ, — продолжаетъ Бѣлинскій.—Безъ 2.000 мнѣ нельзя даже и пѣшкомъ пройти заставу: около этой суммы на мнѣ самага важнаго долгу, а сверхъ того,—я хожу какъ нищій, въ рубищѣ. Кромѣ г-на Краевского, поговорите и съ другими, сами отъ себя или черезъ кого-нибудь: я продаю себя всѣмъ и каждому отъ Сеньковского до (тьфу, гадость какая!) Булгарина,—кто больше дастъ, не стѣсня притомъ моего образа мыслей, выраженія, словомъ — моей литературной совѣсти, которая для меня такъ дорога, что во всемъ Петербургѣ нѣтъ и приблизительной суммы для ея купли. Если дѣло дойдетъ до того, что мнѣ скажутъ: независимость и самобытность убѣжденій, или голодная смерть, — у меня достанетъ силы скорѣе издохнуть какъ собакѣ, нежели живому отдаться на позорное сѣденье псамъ...

«...Я готовъ взять на себя даже и черную работу, корректуру и тому подобное, если только за все это будетъ платиться соразмѣрно трудамъ. Денегъ! денегъ! А работать я могу, если только мнѣ дадутъ мою работу. Итакъ, скорѣй отвѣтъ. Главное,—чтобы при вашемъ письмѣ получилъ (если кто пожелаетъ взять меня въ работники) *подробныя условія*».

Когда Бѣлинскому приходится писать подобнаго рода письма, то не поднимается ли у васъ въ душѣ чувство глухого недовольства и негодованія противъ жизни? А вѣдь такихъ писемъ и моментовъ, вызвавшихъ ихъ — десятки. Сколько же энергіи, самообладанія и жизненнаго мужества надо, чтобы все-же удержаться на подобающей для писателя, какъ общественнаго дѣятеля, высотѣ духовныхъ стремленій и собственнаго достоинства? Не въ худшихъ обстоятельствахъ были Полевой и Надеждинъ и уступили сразу. Полевой впрочемъ помнилъ, «чѣмъ онъ былъ,—когда былъ человѣкъ». Надеждинъ въ значительной степени забылъ и объ этомъ. Бѣлинскій продолжалъ крѣпиться.

На время онъ опять сошелся съ «Наблюдателемъ», чтобы вскорѣ уже окончательно бросить изданіе. Панаевъ въ это время усиленно хлопоталъ въ Петербургѣ объ «устройствѣ его судьбы». Онъ даже посѣтилъ Бѣлинскаго въ Москвѣ, и вотъ что сохранилось въ его памяти отъ этого посѣщенія:

«Дверь отворилась, — рассказываетъ Панаевъ, — и передо мною въ дверяхъ стоялъ человѣкъ средняго роста, лѣтъ около 30-ти на видъ, худощавый, блѣдный, съ неправильными, но строгими и умными чертами лица, съ тупымъ носомъ, съ большими, сѣрыми, выразительными глазами, съ густыми, бѣлокурыми, но не очень свѣтлыми волосами, падающими на лобъ, въ длинномъ сюртукѣ, застегнутомъ накриво.

«Въ выраженіи лица и во всѣхъ его движеніяхъ было что-то нервическое и безпокойное.

«Я сейчасъ догадался, что передо мною —самъ Бѣлинскій».

«— Кого вамъ угодно? — спросилъ онъ немного *сердитымъ* голосомъ, робко взглянувъ на меня.—Вассаріона Григорьяча. Я такой-то (я назвалъ свою фамилію). Голосъ мой дрожалъ.—Пожалуйте сюда... Я очень радъ... — произнесъ Бѣлинскій довольно сухо и съ замѣшательствомъ, и изъ темной маленькой передней повелъ въ небольшую комнату, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнатки состояла изъ небольшого дивана съ износившимся чехломъ, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной подъ красное дерево и двухъ рѣшетчатыхъ такихъ же стульевъ...

«Послѣдовало нѣсколько минутъ неловкаго молчанія. Бѣлинскій какъ-то жался на своею стулѣ. Я преодолѣлъ свою робость и заговорилъ съ нимъ о нашемъ общемъ знакомомъ, поэтѣ Кольцовѣ. Бѣлинскій очень любилъ Кольцова»...

«Къ Бѣлинскому я заходилъ каждое утро, — продолжаетъ Панаевъ.— Онъ очень хандрилъ и жаловался на боль въ груди... Обстоятельства его были въ это время печальныя. Степановъ, издатель «Московского Наблюдателя», платилъ ему помѣсячно (да и то неаккуратно) какія-то ничтожныя деньги за редакцію. Бѣлинскій сначала былъ увлеченъ мыслию стать во главѣ журнала, сотрудниками котораго должны были сдѣлаться всѣ его молодые и талантливыя друзья... Онъ твердо былъ убѣжденъ, что при ихъ содѣйствіи, соединенномъ съ его кипучей, энергической дѣятельностью, — успѣхъ журнала будетъ несомнѣненъ... Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходѣ пятой книжки всѣ средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о томъ, что журналъ переходитъ подъ редакцію Бѣлинскаго; непрактичность и издателя, и редактора, пустившихъ очень небольшое число объявленій о преобразованіи журнала, въ которыхъ притомъ глухо и неопредѣленно сказано было о переходѣ «Наблюдателя» отъ г. Андросова (бывшаго редактора) подъ новую редакцію, и, наконецъ, то примирительное направленіе первыхъ книжекъ возобновленнаго «Наблюдателя», — направленіе, которому публика не могла симпатизировать».

Большинство публики, быть можетъ, въ то время и не было особенно требовательно въ этомъ отношеніи. «Отеч. Записки» въ первое время также были примирительны, — но «Наблюдатель» не былъ достаточно занимателенъ для большинства публики, тогда особенно привыкшей къ разнообразію и увеселительному тону «Библиотеки». Бѣлинскій самъ думалъ, что его журналъ долженъ назначаться для «аристократіи читающей публики»; она оказалась слишкомъ малочисленна. Книжки были слишкомъ однообразны; Бѣлинскій и его друзья хотѣли говорить только о томъ, что имъ нравилось и казалось важнымъ: философія, искусство, Шекспиръ, Гете, Гофманъ почти исчерпывали ихъ литературныя интересы. Въ журналѣ почти не было русскихъ повѣстей, — кромѣ Кудрявцева. Имена сотрудниковъ, впоследствии очень извѣстныхъ, въ то время никому не были извѣстны. Наконецъ журналъ не имѣлъ средствъ, чтобы выдержать соперничество съ другими изданіями; напр. «Библиотека» платила авторамъ большой гонорарій, а сотрудники «Наблюдателя» работали

изъ любви къ искусству; для привлеченія постороннихъ силъ редакція не имѣла средствъ. Но для извѣстной доли образованныхъ людей могла быть и та причина холодности, которую указываетъ Панаевъ. Люди того же поколѣнія, слоя и образованія, не связанные предубѣжденіями кружка, какъ Грановскій, Герценъ и проч., самымъ рѣшительнымъ образомъ не раздѣляли направленія «Наблюдателя»...

«Сотрудники видѣли,—продолжаетъ Панаевъ,—что дѣло не ладится, и охладѣли къ журналу. Бѣлинскій... совершенно упалъ духомъ. Между нимъ и нѣкоторыми изъ его друзей произошло недоразумѣніе: съ однимъ изъ нихъ, Боткинъ, Бѣлинскій въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ не видался; Константинъ Аксаковъ начиналъ съ нимъ внутренне расходиться, уже слишкомъ склоняясь къ славянофильству»... Катковъ началъ работать въ «Отеч. Запискахъ».

Къ этому присоединилось совершенное отсутствіе средствъ къ существованію у самого Бѣлинскаго... «Конечно, Бѣлинскій не могъ умереть съ голоду,—замѣчаетъ тотъ же рассказчикъ,—близкіе люди не допустили бы его до этого; но жить благодареніями,—и еще при сознаніи своей силы и таланта, при увѣренности, что онъ могъ бы приобретать достаточно своими трудами.—не легко. Всякій дрянной фельетонистъ, съ нѣкоторымъ практическимъ тактомъ, былъ гораздо обезпеченнѣе Бѣлинскаго, живя только однимъ своимъ ремесломъ...

«Черезъ нѣсколько времени послѣ пріѣзда моего въ Москву, Бѣлинскій уже объявилъ мнѣ, что «Наблюдатель» продолжаться не можетъ. Неуспѣхъ его онъ приписывалъ разнымъ причинамъ,—но онъ въ это время еще не подозревалъ, что въ самомъ направленіи, которое онъ хотѣлъ придать журналу, заключалась невозможность его успѣха».

«Увлекаясь толкованіями Бакунина Гегелевой философіи и знаменитою формулою, извлеченною изъ философіи, что «все дѣйствительное разумно».—Бѣлинскій проповѣдывалъ о примиреніи въ жизни и искусствѣ... Онъ дошелъ до того (крайности были въ его натурѣ), что всякій общественный протестъ казался ему преступленіемъ, насиліемъ... Онъ съ презрѣніемъ отзывался о французскихъ энциклопедистахъ XVIII-го столѣтія, о критикахъ, не признававшихъ теоріи «искусства для искусства», о писателяхъ, стремившихся къ новой жизни, къ общественному обновленію. Онъ съ особеннымъ негодованіемъ и ожесточеніемъ отзывался о Жоржъ-Зандѣ. Искусство составляло для него какой-то высшій, отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, занимающійся только вѣчными истинами и не имѣвшій никакой связи съ нашими житейскими дрызгами и мелочами, съ тѣмъ низшимъ міромъ, въ которомъ мы возвращаемся. Истинными художниками почиталъ онъ только тѣхъ, которые творили *безсознательно*. Къ такимъ причислялись Гомеръ, Шекспиръ и Гете... Шиллеръ не подходилъ къ этому воззрѣнію, и Бѣлинскій, нѣкогда восторгавшійся имъ, охлаждался къ нему по мѣрѣ проникновенія своей новой теоріей. Въ Шиллерѣ не находилъ онъ того спокойствія, которое было непремѣннымъ условіемъ свободнаго творчества... Пушкинъ, къ великому впрочемъ сожалѣнію

Бѣлинскаго и его друзей, также не совсѣмъ подходилъ подъ ихъ теорію,— въ немъ не отыскивался элементъ примиренія, и потому стихотворенія Клюшниковъ, въ которыхъ ясно выражался этотъ элементъ, были признаваемы хотя уступающими Пушкину по обработкѣ и формѣ, но несравненно болѣе глубокими мыслями...

«Свѣтлый взглядъ Бѣлинскаго затуманивался болѣе и болѣе; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теоріей; Бѣлинскій незаметно запутывался въ ея сѣтяхъ, которыя еще скрѣплялъ Бакунинъ. Его свободной, въ высшей степени гуманной натурѣ тяжело, неловко, тѣсно было такое рабское подчиненіе философскимъ формуламъ, въ которыхъ еще тревожно путался самъ Бакунинъ.

«Къ этому присоединились еще—неудача «Наблюдателя», долги, размолвки съ пріятелями. Я засталъ Бѣлинскаго (въ апрѣлѣ 1839), въ напряженномъ лихорадочномъ состояніи, которое я не могъ не замѣтить, но приписывалъ это только его стѣсненному положенію»...

Мѣсяцы тяжелой работы оставили одно разочарованіе въ душѣ.

Нъ концѣ концовъ какъ для Бѣлинскаго, такъ и для его друзей стало совершенно очевиднымъ, что въ Москвѣ работы ему не найти и что волей неволей надо перебираться въ какое-нибудь другое мѣсто. Всѣ мечты, впрочемъ, сосредоточились исключительно около Петербурга. О провинціи, конечно, и не думалось болѣе. Теперь (1839) Бѣлинскій послѣ всѣхъ тяжелыхъ испытаній прекрасно понялъ, въ чемъ его призваніе и въ чемъ назначеніе. Онъ уже не сомнѣвался, что онъ литераторъ и можетъ быть только литераторомъ и ничѣмъ другимъ. Онъ очень интересуется петербургской журналистикой, особенно «Отечественными Записками», какъ бы предчувствуя, какую роль придется играть ему въ нихъ. Но разговоры съ Краевскимъ все растягиваются, а между тѣмъ безденежье, болѣзнь и тревожные признаки скорого разрыва съ кружкомъ не даютъ ни минуты покоя больной, измученной душѣ.

Да, кружокъ распадался... Съ отъѣздомъ Станкевича за границу внутренняя связь между его членами, духовное единство—слабѣли. Индивидуальности опредѣлялись рѣзче, и когда мы вспомнимъ, что въ кружкѣ были такіе разные люди, какъ Бѣлинскій и Константинъ Аксаковъ, или Боткинъ и Кетчеръ мы можемъ только дивиться, что онъ существовалъ такъ долго. Ссоры возникали все чаще, и хотя за ними слѣдовало скорое примиреніе, но, вѣдь, какъ ни связывай разъ порванную веревку,—узлы остаются, ихъ не уничтожишь. Я остановлюсь ненадолго на отношеніяхъ Бѣлинскаго къ главнымъ членамъ кружка—Боткину, К. Аксакову, М. Бакунину и Станкевичу. Мнѣ кажется, что они интересны. Если интеллигенція 40-хъ годовъ была чѣмъ нибудь счастливѣе насъ—то конечно своимъ стремленіемъ къ взаимной близости, своими товарищескими отношеніями и даже своими спорами и примиреніями на принципиальной почвѣ. Бѣлинскій пишетъ какъ-то Панаеву:

«Я помирился съ Боткинымъ и Катковымъ; между нами все опять по-прежнему, какъ будто ничего не было. Да, все по-прежнему, кромѣ прежнихъ пошло-

стей. Сперва я сошелся съ Боткинымъ и безъ всякихъ объясненій, прекраснородушныхъ и экстаическихъ выходокъ и порывовъ, но благоразумно, хладнокровно, хотя и тепло, а слѣд. и *дѣйствительно*. Теперь вижу ясно, что ссора была необходима, какъ бываетъ необходима гроза для очищенія воздуха: эта ссора уничтожила бездну пошлаго въ нашихъ отношеніяхъ. Причины ссоры, нѣсколько вамъ извѣстныя, были только предлогомъ, а истинныя и внутреннія причины только теперъ обозначались и стали ясны. Боткинъ много былъ виноватъ передо мною, но и я въ этомъ случаѣ не уступлю ему... Я радъ безъ памяти, что наши дразги кончились, и что вы таки увидите *насъ* такъ, какъ хотѣли и думали увидѣть насъ, когда отправлялись изъ Питера въ Москву...

«К. Аксаковъ со мной какъ нельзя лучше. Его участіе ко мнѣ иногда трогаеть меня до слезъ. Невозможно быть расположеннѣе и деликатнѣе, какъ онъ со мною. Славный, чудный человѣкъ! Но молодъ такъ, что даже Кетчеръ гонится ему въ дѣдушки. Въ немъ есть все — и сила, и энергія и глубокость духа, но въ немъ есть одинъ недостатокъ, который меня глубоко огорчаетъ. Это — не прекраснородушіе, которое пройдетъ съ лѣтами, но какой-то *китайскій* элементъ, который примѣшался къ прекраснымъ элементамъ его духа. Коли онъ во что засядеть, такъ, во-первыхъ, засядеть по уши, а во-вторыхъ — во сто лѣтъ не вытащите вы его и за уши изъ того ощущеньица, или того понятъица, которое отъ праздности забредеть въ его, впрочемъ, необыкновенно умную голову. Вотъ и теперъ сидитъ онъ въ глупой мысли, что Гете (далеко кулику до Петрова двя!) выше Шекспира. Но пока онъ сидѣлъ да посиживалъ въ этой мысли, если только нелѣпость можно назвать мыслию, случилось происшествіе, отъ котораго на лицѣ Аксакова совершилось страшное *aplatissement*, ибо это происшествіе накормило его грязью, какъ говорятъ безмозглые персіяне. Грязь эту раздѣлили съ нимъ Бакунинъ и Боткинъ».

«...Да, славное дитя Константинъ (Аксаковъ); жаль только, что движенія въ немъ маловато. Я и теперъ почти каждый день расчитываюсь съ какимъ-нибудь своимъ прежнимъ убѣжденіемъ и постукиваю его, а прежде такъ у меня — что ни день, то новое убѣжденіе. Вотъ ужъ не въ моей натурѣ засѣсть въ какое-нибудь узенькое опредѣленьице и блаженствовать въ немъ».

Въ этихъ словахъ,—засѣсть въ узенькое опредѣленьице и блаженствовать въ немъ, уже заключается та исходная точка, съ которой Бѣлинскій будетъ вполсѣдствіи громить славянофиловъ и между прочимъ «милое дитя» — Константина Аксакова.

Въ другомъ письмѣ къ Станкевичу Бѣлинскій рассказываетъ о своей ссорѣ съ Бакунинимъ:

«Съ М. я разстался. Чудесный человѣкъ, глубокая, самобытная, львиная природа — этого у него нельзя отнять; но его претензіи... дѣлають невозможными дружбу съ нимъ. Онъ любить идеи, а не людей, хочетъ властвовать

своимъ авторитетомъ, а не любить. Съ весны я пробудился для новой жизни, рѣшилъ, что каковъ бы я ни былъ, но я — *самъ по себѣ*, что ругать себя и кланяться другимъ на свой счетъ — глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога въ жизни и пр. Ему это крайне не понравилось, и онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что во мнѣ самостоятельность, сила, и что на мнѣ верхомъ ѣздить опасно — сшибу, да еще копытомъ лягну. Началась борьба — перепискою. Онъ былъ израненъ, выслушалъ горькія истины, выраженные энергическимъ языкомъ. Примирился. Послѣ этого-то я былъ въ ...нѣ. Послѣ опять война. Онъ опять съ миромъ, а я пишу ему, что прекраснѣйшія и идеальныя комедіи мнѣ надоѣли. Споръ о простотѣ игралъ тутъ важную роль. Я ему говорилъ, что о Богѣ, объ искусствѣ можно разсуждать съ философской точки зрѣнія, но о достоинствѣ холодной телятины должно говорить просто. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что бунтъ противъ идеальности есть бунтъ противъ Бога, что я погибаю, дѣлаюсь добрымъ малымъ въ смыслѣ *bon vivant et bon samarite* и пр. А я только хочу бросить претензіи быть великимъ человекомъ, я хочу со всѣми быть какъ всѣ. Но это тебѣ непонятно. Я изложу тебѣ подробно всю кампанію, пришлю даже планы сраженій. Ты услышишь чудеса. Пока скажу немножко»...

Это письмо немного отвлеченно, но мнѣ кажется ясно, въ чемъ дѣло. Бакунинъ подавлялъ Бѣлинскаго авторитетомъ своей образованности по части гегелианскихъ брошюръ и толкованія таинственныхъ *Sein, Werden, Nicht-Sein, da-Sein, Bei-Sich-Selbst-Sein*, и пр. и пр. и повидимому требовалъ рабской даже почтительности. Бакунинъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ Гомеръ сравниваетъ съ разъяренными быками. Въ увлеченіи чѣмъ бы то ни было — гегелианствомъ, революціей, освобожденіемъ Польши и даже (!!) завоеваніемъ Россіи, онъ забывалъ рѣшительно обо всемъ и видѣлъ лишь передъ собой красную тряпку, на которую и бросался. *Отчасти* склонный къ тому-же Бѣлинскій, какъ-то инстинктивно удерживался отъ полной односторонности. Жизнь слишкомъ тормозила и мучила его, чтобы онъ совершенно забылъ о ней. Побывавъ еще разъ въ деревнѣ Бакуниныхъ (1838), онъ съ грустью отмѣчаетъ, что и здѣсь, даже женщинъ и дѣвушекъ, «поэтическая непосредственность смѣнилась отвлеченными толкованіями». У себя Бакунинъ, очевидно, все передѣлалъ на свой ладъ; въ этой «большой Лизѣ» — какъ звалъ его Герценъ, — скрывался «желѣзный деспотъ».

«Да, Николай, простое, — продолжаетъ Бѣлинскій, — живое чувство, задушевность, преданность человѣческимъ интересамъ *тамъ* уже не много значать и мало дѣлятся: *тамъ* требуютъ мысли, знанія и вздыхаютъ о мысли и знаніи, безъ которыхъ (для нихъ!!!) нѣтъ любви, нѣтъ жизни. Я все и расписалъ Бакунину откровенно и энергически; онъ вбѣсился и прислалъ мнѣ въ отвѣтъ анаему; я не струсилъ и повелъ дѣло такъ, что онъ растерялся, сталъ противорѣчить себѣ и просить мира. Дѣйствительность вытанцовалась и колотить его нещадно. Ото всѣхъ, даже отъ Петра Кл-ва, онъ услышалъ то-же, что отъ меня. Богъ съ нимъ. А я тебѣ все подробно изложу, ты вѣдь любишь

прочестъ иногда что-нибудь забавное. Это будетъ поэма, въ которой побивается Улисъ самымъ нехитрымъ (но здоровымъ) витяземъ».

Съ самимъ Станкевичемъ Бѣлинскій видѣлся послѣдній разъ передъ его отъѣздомъ за границу. Бѣлинскій простился холодно, потому что находился въ самомъ «пакостномъ настроеніи духа» и горько винилъ себя впослѣдствіи за эту холодность. Сколько нѣжности въ его письмахъ къ умирающему товарищу, который какъ-то упрекнулъ его за долгое молчаніе.

«Но не приписывай этого (Боже сохрани!) моей къ тебѣ холодности (чорта-ли хорошаго было бы во мнѣ, если-бы я охолодѣлъ къ тебѣ?), даже не приписывай и лѣности, хотя она тутъ немного и виновата. Дѣло въ томъ, что въ каждомъ моемъ *большомъ* письмѣ мнѣ хочется познакомить тебя и съ моимъ настоящимъ моментомъ и съ обстоятельствами, бывшими его источникомъ и слѣдствіями; но я теперь мчусь на почтовыхъ по дорогѣ (пока все еще по проселочной) жизни, и настоящій мой моментъ едва-ли продолжается мѣсяцъ. Перейдя-же въ другое состояніе духа, я уже не сержусь на прежнее (какъ это всегда бывало со мною прежде), потому что понимаю его необходимость, и еще потому, что я становлюсь все менѣе и менѣе неистовъ. Процессы моего духа всегда осуществляются въ жизни и отражаются въ обстоятельствахъ, большею частію, потрясающихъ и ужасныхъ. Напримѣръ, недавно (мѣсяца два назадъ) со мною повторилась было твоя исторія, да такъ, что я хватился за голову, боясь,—ужь не сошелъ-ли я съ ума, и подходилъ безпрестано къ зеркалу, чтобы посмотрѣть, не посѣдѣли-ли мои волосы. Слава Богу, все кончилось хорошо, и я за глупую фантазію заплатился только мѣсяцами двумя глупостей и пошлостей, да недѣлями двумя-тремя адскихъ мукъ»...

Бѣлинскій говоритъ тутъ о своемъ новомъ обязательно - неудачномъ увлеченіи какой-то дѣвушкой. Что подѣлаешь,—не везетъ въ любовныхъ дѣлахъ нашимъ критикамъ: не веало Бѣлинскому, Добролюбову, Писареву, Чернышевскому и, быть можетъ на самомъ дѣлѣ, критическіе, анализирующіе умы, склонные къ ироніи, менѣе всего могутъ увлечь женскую душу?—Впрочемъ, это вопросъ посторонній.

Ссора съ Бакунинымъ, очевидно, все же тревожитъ Бѣлинскаго, и онъ открываетъ свое горе Станкевичу:

«Въ послѣднемъ письмѣ моемъ я обѣщалъ тебѣ описать подробно всю мою ссору съ Бакунинымъ. Я было и думалъ приняться за него, но каково было мое изумленіе, когда, взявшись за перо, увидѣлъ, что ссоры не было, что я не знаю, за что я ссорился и за что сердился на этого человѣка. Все дѣло было въ томъ, что у насъ никогда не было дружбы, потому что природы наши враждебно противоположны. «Ты стремишься къ высокому, и я стремлюсь къ высокому будемъ-же друзьями»,—вотъ начало нашей дружбы... Время есть повѣрка всѣхъ склонностей, всѣхъ чувствъ, всѣхъ связей—дѣйствительность стала вытанцовываться, и мы принялись грызться; а когда перегрызлись, то увидѣли, что совсѣмъ не-изъ-чего было грызться, и, какъ умные люди, теперь разошлись мирно... Изъ остальныхъ друзей,

одинъ, на котораго я больше всѣхъ полагался, потому что болѣе всѣхъ любилъ его, поступилъ со мною предательски, но такъ какъ онъ это сдѣлалъ по слабости характера, то я и простилъ его въ душѣ моей... Изъ старыхъ друзей, только добрый, благородный, любящій Аксаковъ все такъ же хорошъ со мною, какъ и прежде. Онъ давно уже сталъ выходить изъ призрачнаго міра Гофмана и Шиллера, знакомится съ дѣйствительностію, и, въ числѣ многихъ причинъ, особенно обязанъ этому здоровой и нормальной поэзіи Гете. Изъ новыхъ меня особенно интересуетъ Кудрявцевъ...

«Да, братъ, — продолжаетъ онъ, — наконецъ, пришлось разсчестъся за всякую ложь — и въ любви, и въ дружбѣ. Діалектика жизни довела до сознанія многихъ истинъ, казавшихся прежде неразрѣшимыми. Я теперь понимаю, что такое любовь и что такое дружба: то и другое есть воспріятіе въ себя однимъ существомъ другого существа, вслѣдствіе необъяснимаго мистическаго сродства ихъ натуръ. То и другое дается человѣку Богомъ, и если человѣкъ, наскучивши ждать, вздумаетъ взять это самъ, то жестоко сръжется».

Да, на грустные размысленія наводятъ эти ссоры. Жизнь учитъ насъ годами горя, разочарованій, мукъ, и какая сила должна быть въ душѣ умнаго и прекраснаго человѣка, чтобы не дать окончательно очерствѣть своему сердцу?

Кружокъ, очевидно, распадался.

Письмо къ Станкевичу заканчивается сообщеніемъ о скоромъ отъѣздѣ въ Петербургъ.

«Недѣли черезъ двѣ послѣ отправленія этого письма ѣду въ Питеръ на житье. Зачѣмъ?

Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Съ злою долей перевѣдаться.

«Безъ фразъ, я узналъ теперь, что не годится порядочному человѣку отдавать свою жизнь и свое счастье на волю случайностей, что для того и другого надо побороться, поработать. Если - бы я приобрѣлъ невозмущаемую ни въ горести, ни въ радости ровность духа, совершенное забвеніе самого себя, какъ частное, и — чего больше всего мнѣ не достаетъ — доброжелательство, участіе и ласку не къ однимъ слишкомъ близкимъ мнѣ людямъ, но и ко всякому человѣческому явленію — я бы это назвалъ своимъ царствомъ небеснымъ, а все остальное охотно отдалъ - бы на волю Божію. Знаешь-ли, Николай, я много измѣнился даже и во внѣшности: — стучанье по столу кулакомъ — ужъ анахронизмъ въ твоемъ передразниваніи меня — шутка - ли! — а внутри меня все переродилось: умѣрились дикіе порывы; нападая на дурную или ложную, по моему мнѣнію, сторону предмета, я уже умѣю не потерять изъ виду хорошей, и истинное чувство мое уже не огненно, но тепло, и тѣмъ глубже, чѣмъ тише; и уже не боюсь разочарованія и охлажденія, не боюсь истощенія духовныхъ силъ... но знаю, что только теперь наступила пора ихъ полнаго развитія и что еще долго они будутъ идти возрастающей, и

хоть я не могу похвалиться кудрями, но часто твержу про себя эти чудные стихи Кольцова—

По лѣтамъ и кудрямъ
Не старикъ еще я:
Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня!

«Дя, я въ тысячу разъ счастливѣе прежняго, глубже и сильнѣе чувствую блаженство жизни, какъ жизни, достоинство человѣка и доступнѣе впечатлѣніямъ искусства, словомъ—любящѣе, но все это неровно. Ты знаешь мое образованіе, знаешь, сколько потрачено времени, знаешь, что работа для меня—вдохновеніе, порывъ, или желѣзная нужда, а не фундаментъ жизни, не источникъ силъ. Да, я не приучилъ ума своего къ дисциплинѣ системы, не подвергалъ его гимнастикѣ ученія, и не приучилъ себя къ работѣ, какъ къ чему-то постоянному и систематическому. Я люблю искусство выше всего, и много міровыхъ интересовъ живеть въ душѣ моей, но все это дилеттантизмъ и добрая натура. И потому, мнѣ страшно самому себѣ выговорить мои намѣренія, не только другому. Чтобы привести ихъ въ исполненіе, мнѣ надо оторваться отъ своего родного круга, мнѣ—робкой, запертой въ самой себѣ натурѣ—перенестись въ сферу чуждую, враждебную—страшно подумать, а время близко! Это послѣдній опытъ—не удастся, всѣ надежды къ чорту! Москва погубила меня, въ ней нечѣмъ жить и нечего дѣлать, и нельзя дѣлать, а разстаться съ нею—тяжелый опытъ».

На послѣднемъ листкѣ письма Бѣлинскій жалуется «усталъ... уходила проклятая гисторія, а между тѣмъ и половины не рассказала».

И все еще Бѣлинскій самымъ искреннимъ образомъ продолжалъ считать себя гегелианцемъ и съ пѣной у рта набрасывается на тѣхъ, кто говоритъ ему о неразумности дѣйствительности и разумности протеста. Но день полного просвѣтлѣнія уже близокъ.

Отъѣздъ Бѣлинскаго въ Петербургъ былъ окончательно рѣшенъ лѣтомъ 1839 года. Краевскій обязывался выплачивать ежегодно 3.500 р. *) ассигнаціями своему новому сотруднику, а новый сотрудникъ взялся вести весь критическій и библиографическій отдѣлъ журнала. Литературный трудъ, очевидно, цѣнился очень нязко.

Съ отъѣздомъ въ Петербургъ отношенія Бѣлинскаго къ кружку хотя и продолжаютъ, но съ каждымъ днемъ становятся все болѣе формальными. Выживаетъ лишь личная пріязнь напр. къ Боткину, все остальное:

«Поглощаетъ (и быстро) безпощадное время».

Теперь, слѣдовательно, какъ разъ время подвести итогъ этимъ отноше-

*) 1050 рублей на серебро.

ніямъ, тянувшимся 7 — 8 лѣтъ, и выдержавшимъ сколько бурь, невзгодъ, столько смѣнъ настроенія!..

Я выскажу мысль очень непріятную мнѣ самому: взятыя въ цѣломъ эти отношенія мнѣ не совсѣмъ нравятся, въ нихъ есть много искусственнаго и, мнѣ кажется, что друзья относились къ Бѣлинскому хотя и по-товарищески, но не безъ обиднаго покровительственнаго оттѣнка. А что они не умѣли, да и потомъ не научились, цѣнить его вполне, какъ онъ того стоилъ — это уже фактъ самоочевидный и исторически доказанный.

Не видѣть громадной пользы, какую принесъ Бѣлинскому кружокъ, — я не могу. Эта польза для его умственнаго развитія — несомнѣнна. Не говоря уже о томъ, что постоянные страстные споры изощрили его диалектику, онъ могъ мимоходомъ на лету научиться очень многому. Первый періодъ существованія кружка не могъ не развить его эстетическаго чутья, составляющаго одно изъ главныхъ достоинствъ его лучшихъ критическихъ статей. Здѣсь-же онъ научился цѣнить Гоголя, что по тому времени, среди восторговъ передъ Кукольниковъ, значило очень много. Обаяніе личности Станкевича, его высокіе нравственные идеалы, требованія безусловной чистоты личной жизни — словомъ все, вылившееся въ абстрактный героизмъ, дало, такъ сказать, философское выраженіе кореннымъ требованіямъ природы Бѣлинскаго. «Молитвенное и колѣнопреклоненное» отношеніе къ искусству, несмотря на всю свою односторонность, не заключало однако въ себѣ ничего безусловно вреднаго; было-бы вредно остановиться на немъ и застыть въ холодно-восторженномъ созерцаніи, но такъ-какъ съ Бѣлинскимъ этого не случилось, то плакаться совсѣмъ не о чемъ. А что старая формула «искусство очищаетъ душу» во многихъ случаяхъ справедлива — въ этомъ сомнѣваться смѣшно. Какъ ни хорошъ человѣкъ по самой своей натурѣ, какъ ни чистъ онъ отъ рожденія, ему нужно и воспитаніе и поддержка. Кружокъ Станкевича давалъ, отчасти, разумѣется, и то и другое Бѣлинскому. Но, повторяю, не видно, чтобы его дѣйствительно любили, дѣйствительно цѣнили. Бѣлинскій неистовствовалъ, увлекался, готовъ былъ топтать въ грязь то, чему поклонялся вчера. Въ глазахъ болѣе спокойныхъ и выдержанныхъ людей онъ не могъ не казаться смѣшнымъ хотя - бы порою. Даже друзья считали себя не только образованнѣе, но и умнѣе его. Одни справедливо, другіе напрасно, хотя самъ Бѣлинскій, постоянно и отъ всей души называя себя дуракомъ и идиотомъ, несомнѣнно поддерживалъ въ нихъ это пріятное заблужденіе. И что грѣха таить — онъ много терялъ и потому, что былъ нищимъ человѣкомъ.

Когда вы сравниваете отношенія къ Бѣлинскому членовъ кружка Станкевича съ отношеніемъ къ нему, напр., Кольцова, вы сейчасъ-же чувствуете огромную разницу. Кольцовъ былъ настоящимъ другомъ, исполненнымъ нѣжности, деликатности и благоговѣнія. Онъ какъ-то сразу своимъ проникательнымъ тонкимъ умомъ, своей многоопытной чуткой душой угадалъ, какія великія силы, какая чудная нравственная чистота таятся въ этомъ невзрачномъ на видъ, постоянно раздраженномъ недовольнымъ собою и окружающими, рѣз-

комъ и застѣнчивомъ человѣкѣ. Онъ понялъ это и оцѣнилъ какъ больше никто, никогда. Онъ дѣйствительно любилъ, дѣйствительно былъ привязанъ и въ ихъ отношеніяхъ есть что-то дѣтски искреннее и непосредственное. О покровительствѣ тутъ, очевидно, не можетъ быть и рѣчи.

Да, обидно это покровительство! Но его не могло не быть. Съ одной стороны—довольные собой, изящные, гордые хотя и добродушные баричи, съ другой—временно отверженный Бѣлинскій, который къ тому же постоянно кается и то и дѣло выдаетъ себя самая «идіотскія» аттестаціи.

Философическій же смыслъ этихъ отношеній весь исчерпывается словами: Бѣлинскій рвется къ жизни, дѣйствительности и мучительно недоволенъ мерзостью окружающаго, а ему говорить: „будь-же ты доволенъ, неистовый человѣкъ, потому что довольны мы“. И онъ старался слушаться.

Какъ-бы нарочно для того, чтобы оставить въ душѣ Бѣлинскаго еще одно непріятное воспоминаніе о Москвѣ, — обстоятельства сложились такъ, что не задолго передъ отъѣздомъ онъ крупно разсорился съ Герценомъ. Это довольно важное обстоятельство. *Тенерь* ссора двухъ интеллигентовъ означаетъ очень мало или даже ровно ничего не обозначаетъ: такъ, задѣли одинъ у другого самолюбіе и стали врагами чуть ли не смертельными и готовы всей души обмѣняться анафемами. Тогда дѣло другое: съ такимъ человѣкомъ, какъ Бѣлинскій, иначе, какъ на принципиальной почвѣ ни сойтись, ни разойтись было нельзя. Въ общихъ чертахъ читатель уже знаетъ объ этой ссорѣ изъ разсказа Герцена. Мнѣ остается добавить здѣсь немного.

Въ Москву Герценъ возвратился въ 1840 году, послѣ пяти лѣтъ отсутствія. Здѣсь былъ уже Огаревъ, вокругъ котораго группировались члены бывшаго станкевичевского кружка. Бакунинъ и Бѣлинскій стояли во главѣ, каждый съ томомъ Гегелевой философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью провозглашавшіе: «нѣтъ философа кромѣ Гегеля, и мы—пророки его». Герцена приняли радушно, съ почетнымъ снисхожденіемъ, какъ человѣка пострадавшаго, съ готовностью произвести его въ свои, но подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы онъ призналъ гегелианство за догматъ и преклонился передъ нимъ. Прежде чѣмъ признать и преклониться, онъ сталъ изучать, и страстное одушевленіе товарищей мало по малу передалось и ему.

«Толковали о Гегелѣ безпрестанно; нѣтъ параграфа во всѣхъ частяхъ Логики, въ двухъ Эстетики, Энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ съ бою отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перекатывающего духа», принимали за обиду мнѣнія объ «абсолютной личности и о «по-себѣ-бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до выпаденія листовъ въ нѣсколько-же дней».

Самый языкъ сталъ совершенно особенный, «птичій», какъ выразился астрономъ Перовщикова.

«Никто, — говоритъ Герценъ, — не отрекся бы въ тѣ времена отъ подобной напр. фразы: «конкресцирование абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляеть ту фазу самоищуаго духа, въ которой онъ потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ».

Языкъ портился, рядомъ съ этимъ шла другая ошибка, болѣе глубокая.

«Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Въ самомъ дѣлѣ, непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все было совершенно искренне. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства съ Космосомъ, и если ему попался по дорогѣ какой нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступающая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ проявленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку — гемюту — или къ «трагическому въ сердцѣ».

«То же въ искусствѣ... Знаніе Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой или труднѣе ея), было столько же обязательно, какъ имѣть плагиатъ. Разумѣется, объ Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ; зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, полагаю, за его превосходные напѣвы, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ «Всемогущество Божіе» и «Атласъ». На ряду съ итальянской музыкой дѣлила онагу и французская литература, и вообще все французское, по дорогѣ и политическое.

«Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были непременно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, что Гете объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда какъ Шиллеръ — поэтъ субъективный, но его субъективность объективна, и наоборотъ — все шло мирно. Вопросы болѣе серьезные не замедлили явиться».

Какіе-же были эти болѣе *серьезные вопросы?* Герценъ не перечисляеть ихъ, къ сожалѣнію. Поэтому на поставленный вопросъ могу отвѣтить лишь приблизительно.

По единодушному свидѣтельству современниковъ, Бѣлинскій въ то время проповѣдывалъ «индійскій покой». Эта проповѣдь съ теоретической стороны опиралась на несовѣмъ правильное и слишкомъ буквальное пониманіе фор-

мулы Гегеля: «все дѣйствительное разумно». Ну, разумѣтся, если *все* разумно, то и дѣлать нечего и мѣнять нечего и стремиться къ улучшенію жизни, по меньшей мѣрѣ, глупость и «мальчишество» (терминъ Гегеля).

— Знаете-ли,—сказалъ однажды Герценъ Бѣлинскому,—что съ вашей точки зрѣнія вы можете доказать, что и чудовищный произволъ разуменъ и долженъ существовать.

— Безъ всякаго сомнѣнія,—отвѣчалъ Бѣлинскій и прочелъ мнѣ «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Столкнулись двѣ натуры, одинаково страстно готовыя защищать свои убѣжденія, два ряда мыслей, временно діаметрально противоположныхъ одинъ другому, двѣ теоріи, почти не имѣющія между собой точекъ соприкосновенія, два настроенія, оба воинственныя, но съ оружіемъ, обращеннымъ на разныхъ враговъ,—и ссора приняла острый характеръ. Вѣдь вопросъ о *разумности* произвола напр. помѣщиковъ въ отношеніи крѣпостныхъ на самомъ дѣлѣ принадлежитъ къ разряду тѣхъ каверзныхъ вопросовъ, которые, такъ или иначе рѣшенные, опредѣляютъ все міросозерцаніе человѣка.

Еще студентомъ, значить совсѣмъ неоперившимся юношей, Герценъ до самозабвенія увлекался Сень-Симономъ. Сень-симонизмъ, съ его преклоненіемъ передъ естествознаніемъ и общественно полезнымъ трудомъ, его уваженіемъ передъ промышленностью, которую онъ считалъ главной двигательницей соціального развитія, своимъ общимъ революціоннымъ — по крайней мѣрѣ протестующимъ — складомъ пришелся, какъ нельзя больше, по душѣ юному Герцену. «Общественность», борьба за общественную справедливость, невозможность мириться съ фактами—безразлично въ теоріи или жизни—которые пригнетаютъ личность—все эти понятія приобрѣли въ глазахъ Герцена удивительную важность еще на студенческой скамейкѣ. Этимъ своимъ взглядамъ онъ остался вѣренъ до конца жизни и почти не отвлекался въ сторону, развѣ случайно и очень ненадолго. Его горячая натура не мирилась—если можно такъ выразиться—ни съ какимъ «примиреніемъ»; его положительный въ основѣ своей умъ, къ тому-же обыкновенно скептически и недоувѣрчиво настроенный, не переваривалъ никакихъ «абсолютовъ», никакихъ «вѣчныхъ началъ». Все скорѣе — кромѣ очень немногаго, напр. правъ человѣка на свободу и счастье — представлялось ему условнымъ и относительнымъ. Свободный человѣкъ, свободно живущій, свободно и искренно проповѣдующій всякое ученіе, всякую вѣру и свободно дѣйствующій на поприщѣ личнаго и общественнаго самосовершенствованія — таковъ былъ его идеалъ. Онъ столкнулся съ Бѣлинскимъ и услышалъ, что все это — мальчишескія мечтанія, что единственная обязанность человѣка — понять разумность окружающаго, примириться съ нимъ—каково-бы, оно ни было и созерцать красоту мірозданія, забывши о человѣческой личности.

Читатель помнитъ конечно, какъ трогательно закончилась эта ссора двухъ людей, которые скоро, и, уже не разставаясь, пошли рука объ руку. Бѣлинскій раскаялся и первый протянулъ руку.

Глава VII.

Гегелианство Бѣлинскаго.

Едва-ли можно сомнѣваться, что гегелианскіе взгляды Бѣлинскаго были очень не прочны, а съ философской точки зрѣнія очень неглубоки. Гегеля онъ никогда не читалъ, познакомился съ его системой въ кружкѣ Станкевича, главнымъ образомъ отъ Бакунина, увлекся ею со всей страстностью своей натуры,—до самозабвенія, до „скрежета зубоваго“, какъ онъ самъ выразился—но только въ такомъ видѣ въ какомъ самъ ее понималъ. А понималъ онъ ее лишь настолько, насколько она подходила къ его настроенію. Мы вѣдь только что видѣли, что онъ хотѣлъ примириться со всѣмъ, чтобы найти хоть немного покоя для своей усталой души. Въ его проповѣдяхъ о разумной дѣйствительности слышится тонъ измученнаго человѣка. Впрочемъ мы сейчасъ ознакомимся, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ съ философіей Гегеля.— Начну ab ovo.

Въ области мысли Гегель и его ученіе сыграли ту же роль, какъ Наполеонъ и его армія—въ политикѣ. Гегелианство завоевало себѣ города, княжества, цѣлыя государства и народы. Въ любомъ европейскомъ университетѣ оно имѣло своихъ представителей—епископовъ, кардиналовъ, аббатовъ, почти-тельно прислушивавшихся къ голосу берлинскаго папы-философа. Безжалостное къ своимъ врагамъ, оно подчинило себѣ цѣлыя области мысли и науки, въ которыхъ все еще правили схоластики. Недаромъ же его сторонники устанавливали двѣ эры человѣческой жизни—до Гегеля и послѣ Гегеля,—и считали своей Гедржой появленіе „Феноменологіи духа“. Гдѣ же и въ чемъ причины такого успѣха?..

Открывая курсъ въ Берлинскомъ университетѣ, Гегель произнесъ одну изъ лучшихъ своихъ рѣчей, которая поможетъ намъ отвѣтить на поставленный вопросъ. Онъ сказалъ:

„Повидимому наступили обстоятельства, при которыхъ философія снова можетъ надѣяться на вниманіе и любовь, и когда эта почти замолкнувшая наука можетъ снова возвысить свой голосъ. Еще недавно, съ одной стороны, вужды времени придавали такую важность мелкимъ интересамъ ежедневной жизни, а съ другой стороны, болѣе высокіе интересы дѣйствительности, борьба, имѣющая цѣлью возстановить и спасти государство и политическую цѣлость народной жизни, овладѣвали всѣми способностями духа, силами всѣхъ классовъ, такъ что внутренняя жизнь духа не могла найти должнаго спокойствія. Всемирный духъ, занятый дѣйствительностью и насильственно направленный ко внѣшности, не могъ обратиться внутрь къ самому себѣ и наслаждаться собою въ своей истинной родинѣ. Но такъ какъ въ настоящее время

поставлена преграда этому потоку действительности, и немецкий народ спась свою национальность, эту основу всякой живой жизни, то наступило время, когда вмѣстѣ съ порядкомъ действительной жизни, можетъ разцвѣсти въ государствѣ свободное царство мысли. Духъ уже обнаружилъ свое могущество, потому что въ настоящее время прочны однѣ идеи и то, что согласуется съ идеями и *только то имѣетъ цѣнность, что можетъ оправдать себя передъ умомъ и мыслью*“.

Въ оправданіи, или, лучше сказать, въ „осмысленіи“ и действительно нуждалось многое—почти все. Войны Наполеона поистинѣ перепахали всю Европу, и сколько новыхъ, невиданныхъ, странныхъ растений появилось на этой перепаханной за-ново почвѣ! Идеи, мечты, иллюзіи, формы жизни, политическіе и нравственные принципы,—все было другое или явилось по крайней мѣрѣ въ другой комбинаціи. Одни, упражняясь гирями и на трапеціяхъ, мечтали о возвращеніи временъ Арминія и древне-германской доблести, другіе тосковали о паденіи человѣческаго духа, обращая свой грустный взоръ назадъ къ золотому вѣку, третьи бодро смотрѣли впередъ... И настойчивой потребности разобратъся въ страшной путаницѣ жизни, действительности прежде всего и хотѣлъ пойти навстрѣчу Гегель.

Исходя все изъ той-же борьбы съ Наполеономъ, какъ поворотнаго пункта новѣйшей исторіи, Гегель продолжалъ:

„Эта борьба была дѣломъ нравственнаго могущества духа, въ которомъ пробудилось сознаніе его энергіи и который въ этомъ чувствѣ поднялъ свое знамя и обнаружилъ свою силу въ действительности. Мы должны признать, какъ неосцѣненное благо, то, что наше поколѣніе жило и дѣйствовало въ этомъ чувствѣ, въ которомъ сосредоточиваются право, нравственность, религія. При такомъ всеобъемлющемъ и глубокомъ стремленіи, духъ сознаетъ свое достоинство, пошлость жизни и пустота интересовъ исчезаютъ, поверхность знаній и убѣжденій дѣлается явною и уничтожается сама собой. Эта серьезная мысль, которая вообще овладѣла душою, образуетъ ту почву, которая необходима для философіи“.

Весь запасъ энергии, всю силу чувства, всю страстность стремленія, выванныхъ изъ глубины народной жизни борьбой за освобожденіе, Гегель хочетъ направить въ русло философіи, чтобы не дать духу погрузиться въ обыденное пошлое существованіе.

„Наше призваніе и наша обязанность—говорить дальше мудрецъ—состоитъ въ томъ, чтобы развить въ философской формѣ тѣ существенные зачатки, которые проявились съ новою силою и новою жизнью въ недавнее время. Это обновленіе духа, которое сначала обнаружилось въ политическомъ мірѣ, продолжаетъ теперь обнаруживаться въ большей серьезности и большей важности нравственныхъ и религіозныхъ интересовъ, въ требованіи, чтобы всѣ жизненные отношенія были болѣе основательны и болѣе совершенны. Самая серьезная потребность есть потребность знать истину. Эта потребность,

которую духовная природа отличается от чувственной, образуетъ самый глубокой интересъ духа и слѣдовательно всеобщій интересъ“.

Но что такое истина? Можно ли познать ее? Да,—смѣло отвѣчалъ Гегель,— подкупая умы слушателей этимъ стремленіемъ въ высшія сферы жизни, этой непоколебимой вѣрой въ могущество разума, въ доступность истины.

„И въ самой Германіи,—продолжалъ Гегель,—поверхностность и пошлость мысли, до начала возрожденія духа, дошли до того, что напугались люди, которые утверждали и считали доказаннымъ, что знаніе истины невозможно, что сущность міра и духа есть непостижимое и непонятное существо. Они пошли также далеко, какъ Пилать, римскій проконсуль, который, услышавши изъ устъ Христа слово истина, спросилъ его: „что есть истина“, какъ человѣкъ, который рѣшилъ этотъ вопросъ и не сомнѣвается, что знаніе истины невозможно. Такимъ образомъ пренебреженіе къ знанію истины, которое всегда считалось признакомъ узкости и пошлости ума, разсматривали въ наше время, какъ высшій триумфъ духа. Сначала отчаяніе въ силахъ разума сопровождалось скорбію и грустію, но вскорѣ нравственное и религіозное легкомысліе, къ которому присоединилось поверхностное и мелкое знаніе, называвшее себя просвѣщеніемъ, открыто и спокойно признало бессиліе разума и полагало свою гордость въ совершенномъ забвеніи высшихъ интересовъ духа“.

Мнѣ кажется, что съ *практической* точки зрѣнія Гегель какъ нельзя болѣе правъ въ своемъ рѣзкомъ отзывѣ о скептикахъ, просвѣтителяхъ и критикахъ. Вѣдь первая задача человѣка—это жить, и отъ этой задачи не уйдешь, не отвертись отъ нея. И вотъ, чтобы жить, людямъ нужна и вѣра въ разумъ и служеніе высшимъ интересамъ духа, нужна столько-же, сколько и предметы первой необходимости. Народы, массы, поколѣнія, въ сущности все человѣчество, всегда и вездѣ, на всѣхъ ступеняхъ своего развитія, въ китайской деревушкѣ, въ чумѣ эскимоса не меньше, чѣмъ въ Парижѣ и Лондонѣ, жили и живутъ какимъ нибудь положительнымъ міросозерцаніемъ изъ чувства само-сохраненія столько же, сколько изъ косности, отгоняя отъ себя критику и сомнѣнія. Жизненная философія должна взывать къ жизни, напрягать человѣческія силы, вдохновлять и воодушевлять, ставить подъ ружье. Вопросъ не въ томъ, насколько она безусловно истина, такъ какъ не только безусловная истина недоступна намъ, но и будь даже она доступна намъ, мы, по условію своего мышленія, все-же не могли бы сказать, безусловна ли она или нѣтъ. Критеріума безусловности у насъ нѣтъ, а есть только критеріумъ исторической необходимости и практической полезности. И нападая на скептиковъ, просвѣтителей, критиковъ, отрицающихъ возможность истиннаго познанія, Гегель правъ, какъ правъ живой человѣкъ, который, во время голода кладетъ себѣ кусокъ мяса въ ротъ, нисколько не интересуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что это совсемъ не мясо, а лишь возможность постоянныхъ ощущеній, которая мыслится психологами идеалистами какъ извѣстная комбинація геометрическихъ центровъ—ничуть не красныхъ, не тяжелыхъ, не питательныхъ. Скептическая философія также мало способна была до сей поры подчинить себѣ общество

взятое въ цѣломъ. какъ и анархизмъ. Какъ невозможно себѣ представить государство самоубійцу, такъ нѣтъ и государства скептиковъ или анархистовъ. И взывая къ высшимъ интересамъ духа, признавая возможность ихъ удовлетворенія, Гегель несомнѣнно выполнилъ высшую задачу, которую только можетъ взять на себя философъ. Онъ хотѣлъ сохранить возбужденіе силъ, вызванное борьбой за освобожденіе, не дать ему растратиться попустому на картофельно-селедочныя мелочи филистерскаго духовно-пониженнаго существованія, хотѣлъ въ одной гениально-смѣлой философской системѣ объединить жизнь и познаніе такъ, чтобы мысль и дѣятельность каждаго отдѣльнаго человѣка представлялась ему не переплетомъ случайныхъ силъ и совпаденій, не пестрымъ узоромъ, напутаннымъ судьбою, а въ ея логической и исторической необходимости. Не пустымъ наборомъ фразъ и не словеснымъ фейерверкомъ представляются поэтому заключительныя слова его рѣчи:

«Все, что я могу требовать отъ васъ — сказалъ онъ своимъ взволнованнымъ слушателямъ — это то, чтобы вы принесли довѣріе къ наукѣ, вѣру въ разумъ, довѣріе и вѣру въ самихъ себя. Любовь къ истинѣ и вѣра въ могущество разума есть первое условіе для философскаго изслѣдованія. Человѣкъ долженъ считать себя достойнымъ самыхъ великихъ истинъ. Нельзя имѣть достаточно высокое мнѣніе о величии и могуществѣ духа. Сокрытая сущность вселенной не въ состояніи укрыться отъ любви къ истинѣ; передъ ней вселенная должна раскрыться и развернуть богатства и глубину своей природы»...

Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что берлинская аудиторія Гегеля заключала въ себѣ лучшихъ представителей европейской мысли. Этимъ онъ былъ обязанъ не только силѣ своей мысли, но и удивительному краснорѣчію. Прочтите хотя-бы его „логику“ — науку, которой какъ бы самой судьбой предназначено быть самой сухой изъ сухихъ и на каждой страницѣ вы найдете удачное сравненіе, мѣткую шутку, интересную ссылку на какое нибудь современное событіе. Гегель былъ больше чѣмъ мыслитель и философъ, онъ былъ художникомъ — такимъ-же, какъ Платонъ въ древности. Увлеченіе Гегелемъ доходило до энтузіазма, до полного самозабвенія, принимая подчасъ наивно-комическія формы. Иные, напр. очень безпокоились о дальнѣйшей судьбѣ абсолютной идеи (по просту Божества), которая, сознавъ самое себя въ философіи Гегеля, очевидно должна была недоумѣвать, что-же дѣлать дальше. О «другихъ» и, именно, она съ русскихъ одинъ современникъ, самъ находившійся нѣкоторое время въ чадѣ правовѣрнаго гегелианства, говорить:

„Новые знакомые (двѣтъ русской интеллигенціи начала 40-хъ годовъ) — встрѣтили меня нѣсколько свысока, требуя безусловнаго принятія феноменологии и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію. Толковали-же они объ нихъ безпристрастно; нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ Логики, въ двухъ Эстетики, Энциклопедіи и проч., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности и ея по себѣ

бытія“. Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ немѣцкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до выпаденія листовъ въ нѣсколько дней... Какъ заплакали-бы (отъ радости) всѣ эти забытые Вердеры, Маргенеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шиллеры, Розенкранцы и самъ Арнольдъ Ругэ, котораго Гейне такъ удивительно хорошо назвалъ „Привратникомъ гегелевской философіи“ — если бы они знали, какія побойща и ратованія возбудила они въ Москвѣ между Маросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ *покупали*“...

И это не было временнымъ увлеченіемъ. Въ шестидесятыхъ годахъ на сторонѣ диалектической метода Гегеля оказался никто другой, какъ знаменитый авторъ „Что дѣлать“ и статей объ общинѣ. Чернышевскій прямо говорилъ: „докажите мнѣ, что метода Гегеля не вѣрна, и я откажусь отъ нея, но этого вамъ *никогда не удастся доказать!*“... Теперь мы присутствуемъ при возрожденіи гегелианства хотя и въ обновленной его формѣ *).

Основной принципъ, которымъ инстинктивно руководится наша умственная дѣятельность, былъ въ свое время вполне и безусловно на сторонѣ Гегелевой системы. Этотъ принципъ — экономія силъ. На самомъ дѣлѣ, въ своемъ ученіи Гегель привелъ въ связь современное ему знаніе, объединилъ и одухотворилъ его философской мыслью и, не упуская изъ виду ни одного изъ вопросовъ, способныхъ волновать людей, нашель для нихъ подходящіе наукообразные отвѣты.

Незадолго до него люди оставались въ грустномъ недоумѣніи, пораженные страшными повидимому безвыходными противорѣчіями, которыми Кантъ завершилъ свое ученіе, и изъ-за которыхъ вдали виднѣлись иронически улыбающіяся черты его учителя Юма. Казалось послѣдняя опора человѣка — разумъ — подкоился, достовѣрность вѣдѣнія исчезла: робкіе умы, всегда предпочитающіе бѣгство труда и лѣнивый покой утомительному изслѣдованію, стали отступать въ свои всегдашнія зимнія квартиры — въ мистицизмъ; эмпирики иронически улыбались, и въ это-то время Гегель выступилъ съ своимъ ученіемъ.

Его система строго монистическая. Онъ не зналъ этой вѣчной оговорки съ одной стороны — духъ, съ другой стороны — матерія. Для него не существовало этого мучительнаго противорѣчія, на рубежѣ котораго стоялъ человѣкъ, напрягая всѣ свои силы, чтобы сохранить равновѣсіе, колеблясь, мучаясь, съ ужасомъ смотря внизъ — въ пропасть, гдѣ царил матерія и сознавая, что царство духа недоступно ему. Философія католической церкви, доведя это противоположеніе до крайности, заставляла человѣка презирать свое тѣло, бороться съ нимъ и тратить такимъ образомъ всѣ свои силы на борьбу съ са-

*) Интересенъ между прочимъ такой фактъ: англичане долгое время не хотѣли знать и читать Гегеля, называя его сумасшедшимъ. Въ послѣднія-же двадцать лѣтъ философія Гегеля три раза была переведена на англійскій языкъ и выдержала нѣсколько изданій.

мимъ собою. Если-бы не временно отдыхъ, доставляемый индульгенціями — бѣдный вѣрующій не вынесъ-бы всей тяжести своего двойственного существованія... Къ счастью матерія, въ видѣ столькихъ-то и столькихъ монетъ, вводила его въ царство духа...

Монизмъ Гегеля принялъ форму *абсолютнаго идеализма*. Уже Юмъ отрицалъ существованіе духа и матеріи и говорилъ, что нѣтъ ничего кромѣ *идей*. Гегель въ этомъ отношеніи сходится съ нимъ, а значить идетъ противъ Канта. Кантъ, остановился на дуализмѣ. Для него существуетъ познающій духъ (субъектъ) и познаваемое нѣчто (объектъ). Правда это познаваемое въ истинной своей формѣ недоступно намъ, какъ вещь въ себѣ, но все-же оно существуетъ, оно *реально*. Эту реальность и отрицаетъ Гегель. Вещь въ себѣ недоступна нашему познанію, а значить ее нѣтъ совершенно. Ово ничто иное какъ *видимость*, какъ проявленіе чего-то другаго — единаго всемірнаго духа, безъ котораго-бы не было и ея.

Что есть то, что есть? Разумѣтся отвѣтъ на этотъ вопросъ зависитъ отъ точки зрѣнія и отъ привязанности къ тому или другому слову. Одни отвѣчаютъ: духъ, другіе — матерія, третьи, — въ своей простотѣ и непосредственности — а кто-же это знаетъ? Гегель далъ первый отвѣтъ: существующее есть духъ, идея; существованіе — это существованіе идеи, историческая жизнь природы и людей — это стремленіе идеи познать самое себя.

Въ основѣ философіи исторіи Гегеля лежитъ та „простая“, какъ называется ее самъ, мысль, что разумъ управляетъ міромъ. Но разумъ этотъ не есть способность; его надо понимать въ особенномъ спеціально-гегелевскомъ смыслѣ; разумъ — это сама сущность, субстанція, это не только мысль, но и мыслящее существо, это всемірный духъ, абсолютная, т.-е. неизмѣнная истина. Что знаемъ мы объ *этомъ* разумѣ? Мы, обыкновенные смертные, ничего; Гегель — все. Свойство разума, сущность этой сущности, — говоритъ онъ, — свобода. Но, почему свобода, а не что-нибудь другое, почему непременно и только свобода? Потому, объясняетъ намъ Гегель, что все *постигается* нами изъ своей противоположности. Мы знаемъ о существованіи *блага* цвѣта, потому что есть цвѣтъ черный, о существованіи *большого*, потому что есть малое. Противоположность разума, духа — это матерія. Свойство матеріи тяжесть, *по-этому* свойство духа — свобода. Но что такое эта свобода? Какъ надо понимать ее? Для Гегеля это свобода есть „*das Bei-sich-selbst-sein*“ т.-е. „у-себя-самого-бытіе“. Не пугайтесь слова: смыслъ его совершенно ясенъ. Быть у себя самого — значить *не зависть* ни отъ чего другаго, быть существомъ самодовлѣющимъ, такимъ существомъ и является *разумъ* Гегеля. Онъ свободенъ, потому что кромѣ него нѣтъ ничего, онъ свободенъ, такъ какъ его дѣятельность — *познаніе*, но это познаніе самого себя — *самосознаніе*. Итакъ, разумъ ни въ чемъ не нуждается, ни къ чему не стремится, кромѣ самосознанія, т.-е. опять таки къ самому себѣ. Поэтому онъ — свободенъ, тогда какъ матерія — зависима, и эта зависимость ея выражается въ *тяготѣннн* къ другому, внѣ ея находящемуся центру.

Прочтя эти строки, читатель, разумеется, скажетъ, что основная точка зрѣнія Гегеля: все есть духъ и жизнь вообще — есть жизнь духа, — выбрана совершенно произвольно. И читатель будетъ какъ нельзя болѣе правъ во всей своей критикѣ, кромѣ одного пункта. Безусловной истины нѣтъ и быть и не можетъ. Если-бы мы ее и знали, то, повторяю, мы не могли-бы ничего отвѣтить на вопросъ о ея безусловности, ибо критерія для этой послѣдней у насъ нѣтъ никакого. Поэтому, не все-ли равно, насколько справедливы (въ абсолютномъ смыслѣ слова) системы Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Спенсера? Они, очевидно, или совсѣмъ несправедливы, или справедливость ихъ недоказуема. Но человѣкъ хочетъ жить, а для того чтобы жить ему, между прочимъ, нужна и философія, которая возвышала-бы производительность его силъ, увеличила-бы шансы его приспособляемости къ суровой обстановкѣ, нужна философія, которая закрѣпляла - бы энергію его настроенія, давала-бы ему всю совокупность современнаго знанія, одушевленнаго единою мыслью, такъ чтобы онъ не терялся въ его разнообразіи, какъ въ лабиринтъ, а шелъ твердо и увѣренно держась за аriadнину нить системы. Для своего времени идеализмъ Гегеля сдѣлалъ это.

Вернемся однако къ начатому.

Исторія, по Гегелю, представляетъ изъ себя безконечный процессъ, въ которомъ разумъ стремится познать самого себя и тѣмъ достигнуть свободы. *Tantum possumus, quantum scimus* — т. е. мы можемъ, или мы свободны лишь на столько, насколько мы знаемъ. Но какимъ путемъ происходитъ процессъ познанія? Онъ начинается съ недостовѣрнаго, относительнаго и подчиняется закону логической необходимости. Какъ въ логикѣ понятіе развивается въ сужденіе, а сужденіе въ умозаключеніе, такъ въ исторіи и въ жизни.

Разумъ Гегеля — истинный царь исторіи, живое существо, проходящее всѣ стадии своего самосознанія. Все измѣняется, все рушится, дряхлѣетъ и разлагается, онъ одинъ, какъ вѣчная непостижимая сущность, какъ принципъ жизни, поднимается съ новыми силами изъ - подъ груды человѣческихъ переворотовъ, изъ подъ развалинъ, обществъ, государствъ, націй. Вѣчно юный, жадный въ достиженіи своей цѣли, онъ свободно переходитъ изъ страны въ страну, двигаясь вмѣстѣ съ солнцемъ на западъ, сбрасывая съ себя съ каждымъ шагомъ своимъ обветшалыя формы жизни, являясь постоянно воплощеннымъ все въ новыя формы въ зависимости отъ того, гдѣ онъ находится въ данную минуту, — подъ небомъ-ли Китая, или на берегахъ Нила, или въ шумныхъ, говорливыхъ городахъ Ионійской Греціи.

Желая нарисовать его портретъ возможно яркими красками, Гегель поступаетъ какъ истинный художникъ, надѣляя свое абсолютное существо чисто человѣческими свойствами. Онъ говоритъ намъ даже о хитрости разума. Люди (какъ индивидуальность) — средство: разумъ пользуется ими для своихъ цѣлей, эксплуатируя ихъ страданія и радости. Передъ нимъ вначалѣ его историческаго поприща открывается неизвѣстная таинственная страна, которую онъ во что-бы то ни стало долженъ изучить и изслѣдовать. Но самъ онъ

въ эту страну не идетъ, а отправляетъ туда людей, цѣлыя племена и народы. Исслѣдовать таинственную область—дѣло не легкое и опасное: это, своего рода, Меотійское болото, гдѣ ничего не стоитъ затеряться среди лѣсовъ, непроходимыхъ топей, трясинъ и т. д. Хитрый разумъ какъ будто знаетъ это и употребляетъ на пользу себѣ человѣческія страсти. Онъ возбуждаетъ честолюбіе, стремленіе къ славѣ, всѣ другія чувства, лишь-бы побудить смертныхъ къ трудному и опасному путешествію. Какое ему дѣло, почему идетъ человѣкъ въ эту таинственную страну. Изъ-за славы, или отъ отчаянья? Важно одно—достиженіе цѣли, важно, чтобы какимъ-бы то ни было путемъ смѣлые піонеры принесли вѣсть, а перенесенныя ими трудности ставятся исключительно на ихъ личный счетъ. Не бѣда, если многіе погибнуть даже: эти жертвы нужны. Такова въ конкретномъ образѣ точка зрѣнія Гегеля и его разума на человѣческую жизнь и человѣческое счастье. Человѣкъ — средство на всемъ пути развитія исторіи.

Что-же такое человѣческіе идеалы? Для Гегеля никакихъ человѣческихъ идеаловъ не существуетъ. Онъ отрицаетъ ихъ безусловно. *Цѣнность человеческой жизни относительна, а не абсолютна. Абсолютную цѣнность, т. е. такую, которой все должно служить, имѣетъ лишь идея.*

Раскрывая все разнообразіе своихъ силъ и способностей, дѣлая безчисленные опыты въ области права, религіи, морали, испытывая вліянія всѣхъ климатовъ, географическихъ условій, различныхъ формъ общественности — разумъ хочетъ, чтобы ни одна крупница его силы не осталась непознанной, чтобы въ теченіи жизненнаго процесса онъ весь раскрылся передъ собой и всю свою потенциальную энергію—энергію возможности—перевелъ въ кинетическую т. е. дѣйствующую. Въ этомъ случаѣ онъ, разумѣется, и имѣетъ громадное несравнимое преимущество передъ отдѣльнымъ человѣкомъ. У насъ та-же цѣль: въ каждомъ изъ насъ кроется масса возможностей, масса дарованій въ зародышѣ. Мы всѣ немножко поэты, музыканты, художники, кто знаетъ—даже Наполеоны-Бонапарты, какъ выразился когда-то Пушкинъ про незамѣтныхъ титулярныхъ совѣтниковъ, допуская, что и они могли-бы быть чѣмъ-нибудь другимъ, неизмѣримо большимъ, чѣмъ незамѣтные титулярные совѣтники. Но что дѣлать? Жизнь наша такъ коротка, сфера нашего опыта такъ ничтожна, что нечего и думать о раскрытіи всѣхъ своихъ возможностей; хорошо еще, если не упустишь изъ виду основной, самой сильной — своего призванія, какъ говорятъ. Для большинства и это недостижимое счастье — и идетъ прахомъ человѣческая жизнь, и идутъ прахомъ человѣческія силы. Съ разумомъ Гегеля ничего подобнаго случиться не можетъ. Онъ не только хитеръ, онъ расчетливъ, экономенъ и избѣгаетъ всего капризнаго, случайнаго, живя лишь въ области необходимаго, повинуюсь принципу сохраненія энергіи...

«Въ предисловіи къ моей философіи права,—пишетъ Гегель въ Логикѣ,—находятся слѣдующія положенія: что разумно, то дѣйствительно, и что дѣйствительно, то разумно...

«Эти простыя положенія многимъ показались странными и подверглись

нападкамъ даже со стороны тѣхъ, которые полагаютъ себя свѣдующими въ философіи и религіи. Что касается до ихъ философскаго смысла, то при наименьшемъ философскомъ образованіи должно знать, что разумъ есть высшая и единственно истинная дѣятельность и что *въ отношеніи формы существующее есть частью явленіе и только частью дѣйствительность*. Во вседневной жизни, всякую прихоть, заблужденіе, зло, и тому подобное, равно какъ и всякое превратное и переходящее существованіе случайно называютъ дѣйствительностью. Однако, при большей разборчивости, уже обычное сознаніе не назоветъ случайнаго существованія дѣйствительностью, потому что такое существованіе имѣетъ только значеніе возможности, которая одинаково можетъ быть и не быть»...

Въ этомъ то и заключается главная ошибка Бѣлинскаго въ періодъ гегелианства, когда все *безъ исключенія* считалъ онъ разумной дѣйствительностью. Никакъ не разумной дѣйствительностью считалъ Гегель Китай и китаизмъ; никакъ не могъ онъ проповѣдывать „индійскаго покоя“, потому что въ основѣ его философіи лежитъ мысль о необходимой измѣняемости всего сущаго. Но нашему великому критику необходимо нужно было спрятать свою голову въ песокъ въ эти годы унынія, и, самъ того не замѣчая, онъ вмѣсто гегелианства проповѣдывалъ китаизмъ и преклоненіе передъ всякой „возможностью“, которая, по Гегелю, можетъ и не быть... Странное однако противорѣчіе! Проповѣдь гендійскаго покоя всегда выходила у Бѣлинскаго бурной и неистовой...

Разумъ Гегеля избѣгаетъ всего случайнаго, произвольнаго, того, что могло бы и не быть. Онъ дорожитъ собою, онъ обходитъ цѣлыя страны и народы и остается только тамъ, гдѣ ему это необходимо нужно, гдѣ, благодаря условіямъ мѣста и времени, онъ можетъ явиться передъ собой въ какой нибудь новой формѣ—религіознаго представленія, политическаго общежитія и такимъ образомъ познать одно изъ скрытыхъ своихъ свойствъ. Онъ, какъ сила вообще, наполняетъ и воплощаетъ въ себѣ вселенную и является то какъ движеніе, то какъ звукъ, теплота, электричество, магнетизмъ, мысль...

При такомъ возрѣніи на исторію, какъ на развитіе самопознанія абсолютнаго духа, Гегель исключаетъ изъ нея быть догосударственный, какъ представляющій полное отсутствіе свободы; точно также онъ исключаетъ изъ вѣдѣнія философской исторіи и цѣлыя страны, гдѣ человѣкъ живетъ, весь поглощенный борьбою и стихійными силами природы—какъ въ Африкѣ кромѣ узкой полосы Нила и въ Новомъ свѣтѣ. Театромъ развитія абсолютнаго духа остаются лишь Европа и Азія и двѣ человѣческихъ расы—желтая и бѣлая...

Почему? Потому что только здѣсь условія способствовали развитію *личнаго* начала. И, въ дѣйствительности, основой гегелевой философіи является борьба за индивидуальность, хотя и въ другомъ смыслѣ, чѣмъ понимаютъ ее русскіе публицисты. Если устранить на минуту метафизическую терминологию Гегеля, особенно его постоянныя обращенія къ абсолютной идеѣ, которая въ сущности ничто иное, какъ символъ жизненной борьбы всего человечества — борьбы, не прекращающейся ни на минуту, совершающейся въ

самой строгой и необходимой преемственности — мы поймем, что разумѣть Гегель подъ индивидуальностью и почему онъ придаетъ ей такое значеніе.

Въ индивидуальности, прежде всего, нѣтъ ничего конкретнаго, это со-всѣмъ не личность и ужь никакъ не опредѣленная личность въ обычномъ смыслѣ этого слова. „Ни съ чѣмъ преходящимъ и случайнымъ философія не можетъ и не должна имѣть дѣла“; поэтому индивидуальность слѣдуетъ понимать только какъ *особенность* или совокупность особенностей духа, воплотив-шюся въ какую нибудь форму.

Къ личности и опредѣленному человѣку толкающемуся или толкавшемуся на исторической сценѣ, Гегель неизмѣнно равнодушенъ.

«Живое,—говоритъ онъ, напр. въ своей „Логикѣ“—умираетъ, потому что оно противорѣчитъ самому себѣ, по своему понятію оно есть родъ, конкретная всеобщность, но оно существуетъ въ единичной непосредственной формѣ. Въ смерти родъ является какъ власть надъ непосредственною единичностью“...

„Смерть живого существа, единичнаго и непосредственнаго—есть жизнь духа“... такъ-какъ духу важно лишь то, чтобы живое существо чѣмъ-нибудь приблизило его къ полнотѣ самосознанія.

Но вѣдь жизнь духа есть исторія. Поэтому смерть непосредственныхъ единичностей, т. е. животныхъ, людей, націй, государствъ и т. д. является прямою необходимостью, прямымъ возстановленіемъ власти рода, т. е. общаго и цѣлаго надъ отколовшеюся отъ него частицею, вдругъ зажившей своею самостоятельной жизнью. Отдѣляя отъ себя эту частицу, родъ, такъ сказать, ссужаетъ ей бытіе, т. е. даетъ ей свои признаки и свойства, дѣлаетъ ее львомъ, челевѣкомъ, *Персіей*, а затѣмъ вновь воспринимаетъ ее въ себя, но уже не прежней, какой она была, а расширенной путемъ ея личнаго опыта. Мы видѣли, что духъ исторіи послѣдовательно воплощалъ себя въ индивидуальности Китая, Индіи, Персіи, развивался и двигался въ нихъ, насколько это оказывалось возможнымъ, а затѣмъ, обогащенный государственнымъ опытомъ Китая, уходилъ оттуда, оставляя страну въ непробудномъ снѣ. Такъ и всякая другая „непосредственная единичность“—всѣ эти Периклы и Ганнибалы, Карлы Великіе и простые обыденные смертные, воспроизведя себѣ подобныхъ и дѣйствуя въ жизни,—къ тому общему, чѣмъ надѣлилъ ихъ родъ, прибавляютъ что нибудь свое собственное, а, слѣдовательно, возвращаютъ ссуду съ процентами.

Цѣль духа—познать самого себя. Познать можно только путемъ опредѣленія, и истинное познаніе должно совокупить въ себѣ всѣ возможные опредѣленія даннаго понятія. Когда на вопросъ, что есть столъ, вы скажете, что это „письменный“, или „красный“, или „четырехногій“ — вы не удовлетворите никого. Нужно исчерпать понятіе, т. е. указать въ опредѣленіи *всѣ* его свойства. Такъ и духъ, чтобы достигнуть своей цѣли, долженъ *весь* безусловно использовать себя, раскрыться цѣликомъ, развернуться какъ кусокъ матеріи, гобеленовъ, напимѣръ, съ нарисованнымъ на немъ рисункомъ...

Это развертываніе духа и есть историческій процессъ. То та, то другая

сторона этого царя истории проявляется и познается в жизни данной индивидуальности — лица, нации, государства. Разумеется, чѣмъ больше этихъ индивидуальностей, чѣмъ рѣзче онѣ отличаются одна отъ другой, чѣмъ богаче содержаніе каждой изъ нихъ, тѣмъ это выгоднѣе для духа — тѣмъ большіе успѣхи совершаетъ онъ. Представьте себѣ, что человѣкъ былъ - бы втеченіе своей жизни и нищимъ, и лордомъ, и каторжникомъ, и первымъ судьей, и рабочимъ, и капиталистомъ, и поэтомъ, и философомъ и т. д.—каковъ былъ-бы его жизненный опытъ? Грандіозенъ. Но, что недоступно человѣку, то доступно духу, ибо онъ имѣетъ къ своимъ услугамъ безконечное время, безконечно различныя обстоятельства и безконечное количество индивидуальностей. Они живутъ со своими особенностями, а затѣмъ путемъ дѣятельности, воспроизведенія и смерти передаютъ накопленное ими въ общую сокровищницу духа. Т. е.

„Истинный результатъ жизни состоитъ въ отрицаніи непосредственной формы идеи; другими словами, ея истинный результатъ есть знаніе“... (Логика § 223) *).

А человѣкъ?

„Близъ солнца на одной изъ маленькихъ планетъ,
Живетъ двуногій звѣрь некрупнаго сложенья,
Живетъ сравнительно еще немного лѣтъ
И думаетъ, что онъ—вѣнецъ творенья;
Что всѣ сокровища еще безвѣстныхъ странъ
Для прихоти его природа сотворила,
Что для него реветъ въ часъ бури океанъ.
И борется звѣрокъ съ судьбой, насколько можно.
Хлопочетъ день и ночь о счастья своемъ.
Съ расчетомъ на вѣка устраиваетъ домъ...
Но вѣтеръ на него пахнулъ неосторожно...
И нѣтъ его—пропалъ и слѣдъ...“

Чѣмъ богаче и разнообразнѣе индивидуальность, тѣмъ быстрѣе и дѣятельнѣе потенциальная энергія данной народности или исторической эпохи превращается въ кинетическую. Гегель блестяще доказываетъ это на исторіи Греціи.

„Здѣсь,—говоритъ Гегель,—мы впервые чувствуемъ себя дома и впервые можемъ прослѣдить связь нашихъ чувствъ, мыслей, учреждений съ мыслями,

*) Формулу эту можно перевести на болѣе понятный языкъ. Дѣло въ томъ, что «непосредственная форма идеи» есть единичный предметъ — напр. *данный* камень, *данный* человѣкъ, *данное* государство — словомъ нѣчто конкретное. Становясь предметомъ познанія эти непосредственныя формы идеи входятъ какъ матеріалъ, какъ элементъ *обобщенія* въ понятіе. Въ этомъ послѣднемъ они, разумеется, теряютъ свою конкретность, свою индивидуальность. Такъ, напримѣръ, въ понятіи «человѣкъ» нѣтъ ничего, чтобы принадлежало только негру, только эскимосу, Ивану, Петру, а есть принадлежащее имъ всѣмъ вообще какъ людямъ. Такой переходъ отъ частнаго къ общему, т. е. къ знанію и есть, по терминологіи Гегеля, «отрицаніе непосредственной формы идеи».

чувствами и учрежденіями Эллады. Въмѣсто случайной преемственности восточныхъ цивилизацій, мы, начиная съ Греціи, видимъ передъ собой *одну* цивилизацію, органически развивающуюся вплоть до нашихъ дней. Заслуги Греціи „громадны“, „великолѣпны“, „прекрасны“; ея жизнь—это юность челоуѣчества съ ея капризами, бодростью, вѣрою въ свое славное будущее. Мы не видимъ еще здѣсь тѣхъ тяжелыхъ матеріальныхъ заботъ практическаго разума, отъ которыхъ сѣдѣетъ міръ“...

Теперь сдѣлаемъ нѣкоторые выводы и дополненія.

Исслѣдуя процессъ историческаго развитія, Гегель тщательно удерживается отъ того, чтобы позволить себѣ нравственную оцѣнку. Онъ довольствуется тѣмъ, что показываетъ необходимость событія. Онъ старается даже устранить изъ своего анализа всякую деонтологию, т.-е. ученіе о томъ, что должно быть. Онъ не говоритъ, что истина ждетъ насъ — истина уже есть, она существуетъ въ дѣйствительности.

«Противъ дѣйствительности разума — говорить онъ въ введеніи къ Логикѣ (§ 6)—возстаетъ уже то представленіе, что идеи и идеалы суть только химеры и что философія есть только система подобныхъ небылицъ или, наоборотъ, что идеи и идеалы слишкомъ превосходны для того, чтобы имѣть дѣйствительность и слишкомъ безсильны, чтобы произвести ее. Но раздѣленіе дѣйствительности и идеи особенно нравится разсудку, который принимаетъ грезы своихъ отвлеченій за истинное существованіе, гордится своимъ понятіемъ *долженствованія*, которое онъ особенно охотно предписываетъ въ политической области, какъ будто міръ дожидался его, чтобы узнать, какимъ онъ долженъ быть... если бы міръ былъ какъ онъ долженъ быть, что случилось бы съ мнимою важною *долженствованія*?»...

Остановимся на минуту на этомъ пунктѣ гегелевой доктрины. Дѣло въ томъ, что слово идеаль очень неопредѣленно и, какъ все неопредѣленное, подвержено самымъ разнообразнымъ злоупотребленіямъ. Мы и злоупотребляли имъ, мы и носились съ нимъ какъ съ писаной торбой, не желая сознать, что идеаль — палка о двухъ концахъ. Идеалы могутъ быть и полезны и вредны, это очевидно, такъ какъ, въ сущности говоря, всякое желаніе людей или группы людей есть уже въ извѣстномъ смыслѣ идеаль. Ротшильды и европейскіе банкиры имѣютъ свои идеалы, англійскіе ландорды свои, тоже надо сказать про іезуитовъ и вообще всѣхъ жившихъ и живущихъ людей. Всѣ эти «идеалисты» сходятся въ томъ, что міръ устроенъ нехорошо или по крайней мѣрѣ далеко не такъ хорошо, какъ онъ могъ-бы быть устроенъ и въ этомъ смыслѣ ихъ идеалы имѣютъ такое-же законное право на существованіе, какъ идеаль какого-нибудь толстаго, заплываго жиромъ профессора, увѣряющаго, что всѣ должны быть *благоразумны*. И на самомъ дѣлѣ почему отдавать предпочтеніе профессору передъ іезуитами, іезуитамъ передъ Ротшильдами, Ротшильдамъ передъ живущими. Всѣ люди, всѣ челоуѣки и всѣ имѣютъ

право на существованіе. Мало того, каждое поколѣніе имѣетъ свой торжествующій идеалъ, который представляетъ изъ себя равнодѣйствующую всѣхъ въ данное время существующихъ идеаловъ. Но кто-же поручится, что этотъ идеалъ будетъ признанъ законнымъ и справедливымъ слѣдующимъ поколѣніемъ? Однако во имя его принимались мѣры, ломалась та или другая сторона жизни и не явится ли онъ игомъ для потомковъ и не проклянутъ ли они отцовъ своихъ — идеалистовъ. Отцы заботились о культурѣ, а дѣти скажутъ, что имъ надо любви, а культуры они и знать не хотятъ. Дѣды упражнялись въ любви, а внуки скажутъ, что благодаря этому упражненію они остались безъ хлѣба, и т. д. Вѣдь идеалъ есть продуктъ извѣстной эпохи, обстоятельствъ случайныхъ и проходящихъ; какъ-же можно высказывать его догматически? Или есть еще идеалы вѣчные, абсолютные, неизмѣнные отъ начала до конца вселенной? Допустимъ, что таковые идеалы существуютъ, но и это очень мало помогаетъ дѣлу. Задача не въ вѣчности, неизмѣнности и пр., а въ томъ, *какую форму* приметъ это вѣчное, и неизмѣнное? Какъ христіанство могло въ извѣстную эпоху воплотиться въ инквизицію, такъ и со всякимъ вѣчнымъ и неизмѣннымъ можетъ случиться такая-же непріятная исторія. Форма въ человѣческой жизни играетъ такую-же важную роль, какъ и сущность. Извѣстную пословицу «законы святы, да исполнители лихіе супостаты» — можно полностью примѣнить къ идеаламъ. Они требуютъ крайне осторожнаго обращенія съ собою.

Пойдемте дальше. У инквизиторовъ былъ идеалъ отправить всѣхъ еретиковъ въ царство небесное, у якобинцевъ — уничтожить все аристократическое, все выходящее изъ ряду вонъ, все чѣмъ-нибудь отличное отъ массы, у Наполеона — завоевать Европу. И инквизиторы и якобинецъ и Наполеонъ жгли, рѣзали, убивали, дѣлая все, что казалось имъ нужнымъ, необходимымъ, полезнымъ. Они напрягали всю свою энергію, фанатизировали энергію другихъ — и что-же? если трудно что-нибудь сказать относительно судьбы еретиковъ, то можно утверждать зато, что якобинскій и наполеоновскій идеалъ не только не были осуществлены, но и не были осуществимы. Они представляли изъ себя иллюзію, во славу которой и было ухлопано невообразимое количество силы. Такимъ-же неосуществимымъ идеаломъ является въ настоящее время система политическаго равновѣсія, требующая, чтобы европейскія національности, или группировки этихъ національностей, были по возможности равносильны. Этотъ идеалъ привелъ къ истощающему всѣхъ и вся вооруженному миру, къ ревнивому соглядатайству другъ за другомъ, къ гласному и негласному надзору, подъ которымъ обрѣтается Европа, къ постоянной возможности столкновенія и даже къ нетерпѣливому ожиданію этого столкновенія, чтобы хоть какъ-нибудь закончилось это невыносимо напряженное положеніе вещей. И въ сущности политическое равновѣсіе недостижимо. Его измѣряютъ теперь числомъ солдатъ и пушекъ, какъ будто сила народа заключается въ числѣ солдатъ и пушекъ.

Существеннѣйшимъ критеріумомъ идеала является *осуществимость* и

неосуществимость. Въ первомъ случаѣ онъ опирается на необходимость жизни, во второмъ онъ рѣшительно никуда не годится. Осуществимый идеаль подсказывается самою жизнью, выводится изъ нея и опирается на существующія силы и существующія явленія, неосуществимый — это бредъ иллюзіонера, сумасшедшаго милленарія, и ребяческіе восторги передъ этимъ бредомъ рано или поздно должны прекратиться.

Когда наконецъ, — восклицаетъ Карлейль, — человѣкъ пойметъ, какъ ничтожно его «я хочу» передъ тѣмъ, что должно быть (should be) и какъ ничтожно «должно быть» передъ тѣмъ, что будетъ (will be). Въ этомъ-то «будеть», какъ строго обусловленной исторической необходимости, и заключается вся сущность. Наша обязанность наилучшаго приспособленія къ этой грядущей необходимости, а никакъ не въ стремленіи создать себѣ другую необходимость, что невозможно.

Однако, если кто-нибудь скажетъ, что предыдущія строки требуютъ немѣннѣя идеаловъ, тотъ жестоко ошибется. Во первыхъ, *нельзя* не имѣть идеаловъ, слѣдовательно объ этомъ всё разговоры могутъ быть покончены въ одномъ словѣ. Но все равно какъ Аристотель рекомендовалъ быть добродѣтельнымъ не безъ ироніи, такъ и относительно идеаловъ можно пожелать, чтобы они не чуждались критики, скептицизма, а главное, чтобы основаніемъ ихъ были не мечты, не иллюзіи, и тотъ міръ дѣйствительности, откуда наши радости и страданія, котораго мы не знаемъ и въ сущности очень мало хотимъ знать.

И самъ Гегель нисколько не думаетъ уничтожать публицистику и возможность высказывать свои идеалы по разнымъ поводамъ.

«Когда разумъ, — продолжаетъ онъ, — обращается къ вседневнымъ, внѣшнимъ и преходящимъ предметамъ, учрежденіямъ и состояніямъ, которыя *могутъ имѣть большую, хотя и относительную важность въ известное время и въ ограниченной сферѣ*, онъ справедливо можетъ найти въ этихъ предметахъ многое, что не согласуется со всеобщими и законными опредѣленіями мысли: кто не доволенъ умель, чтобы не замѣтить вокругъ себя многихъ вещей не такихъ, какъ бы онѣ должны были быть?»

Но разсудокъ заблуждается, полагая, что эти предметы и ихъ опредѣленія входятъ въ область философіи. *Область философіи не должно, а необходимое*, не наши желанія, а міръ какъ онъ есть въ дѣйствительности, и все сущее она разсматриваетъ какъ его обусловленный моментъ...

Поэтому, философія разсматриваетъ цѣлое въ необходимыхъ моментахъ его развитія. При такомъ анализѣ, что можетъ означать нравственная точка зрѣнія и какое значеніе имѣетъ она? Отвѣтъ очевиденъ: ничего не означаетъ и никакого значенія не имѣетъ. Она не болѣе какъ случайная призма, черезъ которую преломляются лучи событій и явленій, чтобы образовать прихотливое и случайное изображеніе. Публицистика можетъ вѣдать это, но философіи нѣтъ никакого дѣла до подобныхъ вещей: *Philosophie hat daran nichts zu machen...*

Въ этомъ пунктѣ своего ученія Гегель дѣйствительно жестокъ. Но Бѣлинскій идетъ еще дальше его. Гегель все-же допускаетъ въ извѣстныхъ предѣлахъ публицистическую критику, недовольство; его ученикъ не хочетъ знать ничего подобнаго. Несомнѣнно, принижая личность, Гегель дѣлаетъ однако исключеніе для *великихъ людей*. Бѣлинскій не хочетъ слышать даже и объ этомъ. Онъ преувеличилъ, довелъ до крайнихъ выводовъ фаталистическіе элементы гегелевой философіи. Но вѣдь онъ искалъ полноты небытія или даже забвенія...

Та идея, которая легла въ основаніе всѣхъ философскихъ системъ XIX вѣка и вывела нашу мысль изъ области абсолютнаго и безусловнаго въ область относительнаго и историческаго, одушевила десятки смѣлыхъ умовъ во всѣхъ областяхъ изслѣдованія — является основной въ воззрѣніи Гегеля. Это идея *эволюціи, развитія*.

Гераклитъ безъ всякаго колебанія можетъ быть признанъ духовнымъ пророкомъ нашей эпохи. Отъ него сохранились лишь отдѣльныя отрывочныя изреченія, но въ нихъ все-же резюмирована вся истинная сущность нашей работы. Нѣтъ ничего неизмѣннаго — училъ Гераклитъ. Все течетъ, все измѣняется, ничто не остается самимъ собою; борьба — всеобщій родоначальникъ и руководитель: она создала боговъ и людей, свободныхъ и рабовъ.

Это почти все, что мы знаемъ изъ доподлинно принадлежащаго Гераклиту — обстоятельство, которое, однако, не мѣшало Лассалу, напримѣръ, написать о немъ прекрасную и обширную *диссертацію*.

Система Гегеля однородна съ ученіемъ Гераклита.

„*Диалектика, — говоритъ Гегель, — есть основной законъ мысли (§ 11)*“.
Что это значитъ? Ничто не можетъ быть проще и понятнѣе этого положенія, стоять только популярно изложить его, не прибѣгая къ нѣсколькимъ варварской терминологіи нашего философа.

Гегель, — прекрасно поясняетъ одинъ русскій писатель, — называлъ метафизической точку зрѣнія тѣхъ мыслителей, которые, не умѣя понять процесса развитія явленій, повелѣ представляють ихъ себѣ и другимъ, какъ застывшія, безсвязныя, неспособныя перейти одно въ другое. Этой точки зрѣнія онъ противопоставляетъ діалектику, которая изучаетъ явленія именно въ ихъ развитіи (какъ необходимый моментъ цѣлаго) и, слѣдовательно, въ ихъ взаимной связи. По Гегелю діалектика есть принципъ всякой жизни, т. е. *ничто не остается самимъ собою, все необходимо переходитъ въ собственную свою противоположность; все заключаетъ въ себѣ источникъ внутренняго противорѣчія* *).

*) Гераклитъ одинаково признавалъ одновременное существованіе противоположностей. Для него нѣчто и существуетъ и не существуетъ. Оно только *возникаетъ*, чтобы немедленно-же стать другимъ, а значить процессъ его развитія есть процессъ постоянного *отрицанія* самого себя.

„Человѣкъ—смертенъ, говоримъ мы, рассматривая смерть какъ нѣчто коренящееся во внѣшнихъ обстоятельствахъ и совершенно чуждое природѣ живого человѣка. Выходитъ, что у человѣка есть два свойства: во-первыхъ, быть живымъ, а во - вторыхъ быть также и смертнымъ. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что жизнь сама носить въ себѣ зародышъ смерти и вообще всякое явленіе противорѣчиво въ томъ смыслѣ, что оно само изъ себя развиваетъ тѣ элементы, которые рано или поздно положить конецъ его существованію, превратятъ его въ его собственную противоположность. Все течетъ, все измѣняется, и нѣтъ силы, которая могла-бы задержать это постоянное теченіе, остановить это вѣчное движеніе; нѣтъ силы, которая могла-бы противиться діалектикѣ явленій. Гете олицетворяетъ діалектику въ образѣ духа:

Въ бурѣ дѣяній, въ волнахъ бытія
Я поднимаюсь
Я опускаюсь...
Смерть и рожденье—
Вѣчное море;
Жизнь и движенье—въ вѣчномъ просторѣ.

«Въ данную минуту движущееся тѣло находится въ данной точкѣ, но въ то же время находится и внѣ ея, потому что, если-бы оно находилось *только* въ ней, оно, по крайней мѣрѣ на это мгновеніе, стало-бы *неподвижнымъ*. Всякое движеніе есть діалектическій процессъ, живое противорѣчіе, и такъ какъ нѣтъ ни одного явленія природы, при объясненіи котораго намъ не пришлось-бы въ послѣднемъ счетѣ апеллировать къ движенію, то надо согласиться съ Гегелемъ, который говорилъ, что *діалектика есть душа всякаго научнаго познанія*. И это относится не только къ познанію природы. Что означаетъ, напримѣръ, старый афоризмъ: *summum jus—summa injuria?* То ли, что справедливѣе всего мы поступаемъ тогда, когда, отдавши дань праву, мы въ то же время отдадимъ должное и неправію? Нѣтъ, такъ рассуждаетъ только «пошлый опытъ, умъ глупцовъ». Этотъ афоризмъ означаетъ, что всякое отвлеченное право, дойдя до своего логическаго конца, превращается въ неправіе, т. е. въ свою собственную противоположность. «Венеціанскій купецъ» служитъ этому блестящей иллюстраціей. Взгляните теперь на экономическія явленія. Каковъ логическій конецъ «свободнаго соперничества». Каждый предприниматель стремится побить своихъ соперниковъ, остаться единоличнымъ хозяиномъ рынка. И, конечно, не рѣдки случаи, когда какому нибудь Ротшильду или Вандербильту удается счастливо осуществить это стремленіе. Но это показываетъ, что свободное соперничество ведетъ къ монополіи, т. е. къ отрицанію соперничества, т. е. къ своей собственной противоположности. Или посмотрите, къ чему ведетъ прославленный нашей народнической литературою такъ называемый *трудоваго принципа собственности*. Мнѣ принадлежатъ только то, что создано моимъ трудомъ. Это какъ нельзя болѣе справедливо. И не менѣе справедливо то, что я употребляю созданную мною вещь по сво-

ему свободному усмотрѣнiю: я пользуюсь ею самъ, или мѣняю ее на другую вещь, почему либо для меня желательную. Столь-же справедливо, наконецъ, и то, что я пользуюсь вымѣненной мною вещью опять - таки по моему свободному усмотрѣнiю, какъ мнѣ прiятнѣе, лучше, выгоднѣе. Положимъ теперь, что я продуктъ моего собственнаго труда продалъ за деньги и деньги употребилъ на наемъ работника, т. е. купилъ чужую рабочую силу. Воспользовавшись этой чужой силой, я оказываюсь владѣльцемъ стоимости, которая значительно выше стоимости, израсходованной мною на ея покупку. Это, съ одной стороны, очень справедливо, такъ какъ, вѣдь, уже признано, что я могу пользоваться вымѣненной мною вещью, какъ мнѣ лучше и выгоднѣе, а, съ другой стороны, это очень несправедливо, потому что я эксплуатирую *чужой трудъ* и тѣмъ отрицаю тотъ принципъ, который лежалъ въ основѣ моего понятiя о справедливости. Собственность, прiобрѣтенная моимъ личнымъ трудомъ, родитъ мнѣ собственность, созданную трудомъ другого. *Summum jus—summa iniuria*. И такая *iniuria* самою силою вещей порождается въ хозяйствѣ чуть не каждаго зажиточнаго кустика, чуть не каждаго исправнаго сельскаго домохозяина». §

И такъ *въ явленiяхъ природы*, каждое явленiе дѣйствиємъ тѣхъ самыхъ силъ, которыя обусловливаютъ его существованiе, рано или поздно, но неизбежно превращается въ свою собственную противоположность.

Въ явленiяхъ - же духа каждое понятiе раскрываетъ свое содержанiе, лишь при сопоставленiи съ его противоположностью. Жизнь познается черезъ смерть, добро черезъ зло, свѣтъ черезъ мракъ.

Присматриваясь ближе къ диалектическому процессу природы и мысли, мы видимъ основное и постоянно повторяющееся явленiе: *переходъ качества въ количество и наоборотъ*.

Оба эти измѣренiя, т. е. количество и качества—учитъ Гегель въ своей Логикѣ (§ 108)—до нѣкоторой степени независимы одно отъ другаго, такъ что, съ одной стороны, количество можетъ измѣняться безъ измѣненiя качества предмета, но съ другой стороны увеличенiе и уменьшенiе количества, къ которому предметъ первоначально равнодушенъ имѣетъ границу и при переступленiи этой границы качество измѣняется. Такъ, напримѣръ, различная температура воды сначала не оказываетъ влiянiя на ея капельно-жидкое состоянiе, но при дальнѣйшемъ увеличенiи или уменьшенiи температуры наступаетъ моментъ, когда разстоянiе сдѣленiя измѣняется качественно и вода превращается въ паръ или ледъ. Сначала кажется, что измѣненiе количества не оказываетъ никакого влiянiя на сущность природы предмета, но за нимъ скрывается что-то другое, и это, повидимому, безхитростное измѣненiе количества незамѣтно для самаго предмета измѣняетъ его качество. Греки уже замѣтили это противорѣчiе мѣры и изобразили его въ различныхъ наглядныхъ примѣрахъ. Таковы, напримѣръ, вопросы: образуетъ-ли одно пшеничное зерно кучу пшеницы, или: вырвавши одинъ волосъ изъ конскаго хвоста, дѣлаютъ-ли хвостъ голымъ? Такъ какъ количество составляетъ внѣшнюю опредѣленность бытiя, къ которой оно

равнодушно, то сначала не усумняются отвѣчать на эти вопросы отрицательно. Но впоследствии необходимо должны будутъ согласиться, что это произвольное увеличеніе и уменьшеніе имѣеть свою границу, и что наступаетъ точка, когда отъ постояннаго прибавленія зерна образуется куча пшеницы, или отъ постояннаго выдергиванія одного волоса хвостъ лошади оголяется.

То же самое высказано въ извѣстномъ разсказѣ о мужикѣ, который до тѣхъ поръ прибавлялъ по одному лоту къ ношѣ своего осла, пока онъ не упалъ, потому что ноша сдѣлалась невыносимою. Было-бы несправедливо принять эти доводы за праздную школьную болтовню, потому что они выражаютъ мысли, которыя очень важны въ практическомъ и преимущественно въ нравственномъ отношеніи. Такъ расходы, которые мы дѣлаемъ, допускаютъ нѣкоторый просторъ и могутъ быть увеличены или уменьшены до извѣстной степени. Но когда они переступаютъ, въ ту или другую сторону, мѣру, опредѣляемую частнымъ состояніемъ каждаго, тогда мѣра обнаруживаетъ свое качественное вліяніе, какъ въ вышеприведенномъ примѣрѣ о различной температурѣ воды, и хорошее хозяйство становится скупостью или расточительностью. Тоже самое прилагается къ политикѣ, такъ что внутреннее устройство государства въ одно и тоже время находится въ зависимости и не зависитъ отъ величины его владѣній, отъ числа его жителей и другихъ количественныхъ условій. Если, напримѣръ, мы возьмемъ государство въ тысячу квадратныхъ миль величины и съ четырьмя милліонами народонаселенія, то мы должны будемъ согласиться, что одна - двѣ квадратныя мили земли, или одна - двѣ тысячи жителей, болѣе или менѣе, не могутъ имѣть никакого существеннаго вліянія на его устройство. Но нельзя не видѣть, что при дальнѣйшемъ увеличеніи или уменьшеніи этихъ чиселъ, наступитъ, наконецъ, точка, когда, независимо отъ всѣхъ другихъ условій, отъ одного только количественнаго измѣненія, должно измѣниться самое устройство государства. Устройство маленькаго Швейцарскаго кантона не прилжимо къ большому царству, и точно также устройство римской республики было не на своемъ мѣстѣ, когда его перенесли на большіе имперскіе города Германіи.

Не трудно видѣть теперь, что общимъ своимъ характеромъ система Гегеля вполне отвѣчаетъ главному требованію, которое мы вольно и невольно предъявляемъ всѣмъ философскимъ системамъ девятнадцатаго вѣка. Это требованіе заключается въ томъ, чтобы онѣ соотвѣтствовали современному имъ состоянію естествознанія, включая въ это понятіе и все то, что намъ извѣстно о человѣкѣ и человѣческомъ обществѣ.

Гегель воспринялъ ту-же идею развилъ ее до конца. Признаніе эволюціи, безконечнаго движенія и безконечной измѣняемости какъ сущности познаваемого нами міра, спасло его отъ бесплодной траты силъ. Мы уже знаемъ, къ чему обязываетъ мыслителя идея эволюціи и непрерывнаго развитія. Она учитъ, что формы видовъ, учреждений, понятій не представляютъ изъ себя чего нибудь неизмѣннаго, а переходятъ послѣдовательно одна въ другую. Этотъ переходъ мы должны представлять себѣ только какъ безконечный процессъ, у котораго

нѣтъ цѣли, а если она и есть, то непознаваема, что то-же самое. Процессъ совершается по извѣстнымъ законамъ въ рамкахъ и условіяхъ строгой необходимости. Нѣтъ и не можетъ быть ничего случайнаго тамъ, гдѣ все обусловлено. Итакъ нѣтъ ничего живого и мертваго, нѣтъ смерти и жизни, ибо все умираетъ, входя въ жизнь другого: самая жизнь есть безпрестанная смерть, самая смерть есть постоянное возникновеніе новой жизни.

Неизмѣнные законы въ мірѣ измѣнчиваго бытія представлялись Гегелю исключительно логическими. Въ этомъ одна изъ характерныхъ особенностей его системы, за которую ему доставалось больше всего. Эта особенность, что мы уже видѣли раньше, совершенно не случайна. Гегель дорожилъ ею больше всего, постоянно возвращался къ ней и ея истолкованію. Но чѣмъ больше вчитываешься въ его Логику, которая представляется многимъ особенно англичанамъ, чѣмъ-то вродѣ трехтомнаго чудовища, способнаго поглотить всякую живую мысль и убить ее въ самомъ зародышѣ, тѣмъ больше убѣждаешься, что Гегель отталкиваетъ насъ, главнымъ образомъ, своей терминологіей. Онъ безразлично употребляетъ два слова, которыя мы привыкли раздѣлять: бытіе и мышленіе. Только то, что мыслится, существуетъ, и существованіе есть мышленіе. Но то, что принадлежало Гегелю, должно принадлежать ему и теперь. Пускай эта особенность представляется однимъ безусловно истиной, другимъ безусловно ложной, третьимъ любопытнымъ историческимъ явленіемъ, — это нисколько не лишаетъ Гегелеву систему ея научнаго характера, которымъ и объясняется ея живучесть и ея мировое значеніе. Въ сущности различіе между Дарвиномъ и Гегелемъ, Гегелемъ и Спенсеромъ совсѣмъ не такъ велико и до той поры, пока мы не узнаемъ, что-же такое существованіе и что такое мышленіе, — а это мы вѣроятно не узнаемъ никогда, — не можетъ быть строго опредѣлено. Во всякомъ случаѣ, наибольшія свои завоеванія въ области мысли и знанія идея эволюціи совершила подъ могучимъ прикрытіемъ гегелевой діалектики.

Мы видѣли раньше, въ чемъ заключалась теорія Гегеля, — этотъ величайшій памятникъ человѣческаго ума въ XIX-мъ столѣтіи. Мнѣ кажется, что ее можно резюмировать въ 2-хъ положеніяхъ:

1) Мышленіе есть дѣятельность, а не сила, — процессъ, а не пребываніе, и его область существуетъ не въ пространствѣ, а во времени, идетъ въ длину, а не въ ширину, въ порядкѣ преемственной послѣдовательности, — одно послѣ другого, а не одно возлѣ другого, одно рождается вслѣдъ за другимъ и для того, чтобы самому въ свою очередь дать мѣсто третьему. Ихъ бытіе, потому, есть бытіе моментальное, ихъ пребываемость заключена въ тѣсномъ промежуткѣ между рожденіемъ и смертью, возникновеніемъ и прохожденіемъ, между понятіемъ только что кончившимся и понятіемъ, которое уже возникаетъ. И, если все есть процессъ, а не пребываніе, то и философіи приходится объяснить не то, что существуетъ, а изложить самое это *движеніе* понятій.

2) Цѣль духа (какъ историческаго, такъ и міроваго)—раскрыть свое собственное содержаніе, перейти отъ безформенной однообразности къ опредѣленному разнообразію—словомъ, превратить всю свою потенциальную энергію въ кинетическую, всю *возможность* своего проявленія — въ дѣйствительность существованія.

Эту идею Гегеля можно считать основной и, мало того, безусловно вѣрной. Но все же оставимъ въ покоѣ абсолютный духъ и абсолютную идею—ограничимся тѣмъ, въ чемъ они проявляются — т. е. міромъ индивидуальнаго или, попросту, *человѣческаго*.

Для человѣка мы получимъ ту-же цѣль, какъ и для абсолюта.

Можно утверждать, что: «Всякое дисциплинированное и организованное общество стремится къ тому, чтобы использовать до конца всякаго своего члена, т. е. превратить всю его потенциальную энергію въ кинетическую, сдѣлать возможность силы, какой бываетъ каждый человѣкъ при рожденіи, дѣйствительнымъ ея проявленіемъ».

Съ точки зрѣнія общественной, человѣкъ — запасъ силы или просто: «возможность силы», т. е. дѣйствованія.

Послѣ сказаннаго выше мнѣ нѣтъ никакой надобности разбирать, насколько философія Гегеля консервативна и способствуетъ усиленію полицейскихъ бригадъ и насколько она либеральна и пригодна для начертанія конституцій,—тѣмъ болѣе, что въ описываемую мной эпоху русскіе люди нисколько не занимались политикой: это были прекрасныя, горячія головы, искавшія высшей правды и истины. И самая прекрасная, самая горячая голова—Вѣлинскій—очевидно не могъ не увлечься временно Гегелемъ (какъ онъ понимался въ кружкѣ) до зубного скрежета. Эта всеобъемлющая система, заключавшая въ себѣ, повидимому, ясные и положительные отвѣты на самые дорогіе для духа человѣческаго вопросы, поразила его своей красотой, стройностью, величіемъ. Онъ отнесся къ ней прежде всего какъ поэтъ и художникъ. Ему мало дѣла до отвлеченныхъ формулъ, до сухихъ выкладокъ діалектики, до всѣхъ этихъ Sein, Nicht-Sein, Bei-sich-selbst sein и т. д. Абсолютная идея превращается для него въ образъ и онъ съ пафосомъ восклицаетъ:

«Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ есть ни что иное, какъ дыханіе единой и вѣчной идеи, проявляющееся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадная солнца, жилы — млечные пути, а кровь — чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, т. е. безпрестанно творить, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышетъ въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, въ свирѣпомъ

ураганѣ пустынь, въ шелестѣ листьевъ, въ журчаньи ручья, въ рыканіи льва и въ слезѣ младенца, въ волѣ человѣка и въ дивныхъ созданіяхъ времени. Кружится колесо времени съ быстрою непомирною, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся волканы, и зажигаются новыя, на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми; смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть; силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ начала и веществъ...» Словомъ:

Въ вѣчномъ движеніи,
Въ волнахъ бытія
Я опускаюсь, я поднимаюсь...
Жизнь и движеніе—вѣчное море,
Смерть и рожденіе—
Въ вѣчномъ просторѣ.

Но Бѣлинскій долженъ былъ прибавить, что представителемъ, формой этой измѣняющейся идеи является человѣкъ и человѣческая жизнь. Онъ забылъ объ этомъ и только *старался* радоваться и только восклицалъ, что все прекрасно и разумно, когда на душѣ было мрачно какъ въ тюрьмѣ. Особенно настаиваю на словѣ «старался». Въ немъ все это время борются два начала, одно критически выработанное представленіе объ окружающей дѣйствительности (и ужъ конечно собственной своей жизни), какъ самой скверной, ни съ какими требованіями разума несообразной, словомъ—чисто-отрицательное; другое,—взятое имъ на вѣру представленіе о вселенной, какъ о единомъ прекрасномъ космосѣ, проникнутомъ дивной гармоніей художественнаго произведенія. И чтобы примирить это противорѣчіе, онъ напрягаетъ силу своего разума, чтобы спасти себя отъ безысходнаго отчаянія и отыскать себѣ въ жизни тотъ уголокъ, гдѣ, несмотря ни на что, онъ можетъ быть счастливымъ, какая-бы жизненная скверность не окружала его, — онъ бросается уже открыто и безповоротно въ объятія своеобразно понятаго гегелизма. Тамъ—возможное спасеніе. Метафизика должна привести въ связь все существующее и представляемое; эту разрозненную, полую видимыми противорѣчіями дѣйствительность она должна объединить въ одномъ *цѣломъ*. Задача сводится къ тому, чтобы примирить фактъ и идею, представляемую красоту и существующую скверность. Не насиліемъ, не активной борьбой съ недостатками жизни можно сгладить это различіе; нѣтъ: «философія и искусство должны указать ограниченіямъ ихъ границы и ихъ *необходимость въ связи съ цѣлымъ*». Прежде всего надо примирить противорѣчіе между идеей, представленіемъ и явленіями дѣйствительности.

И Бѣлинскій ломаетъ свою здоровую, боевую натуру, восторгается отвлеченностями, сводитъ самого себя на нѣтъ, стараясь найти въ ничтожествѣ собственной жизни спокойствіе духа; бѣдный, великій человѣкъ, онъ увлекся гегелианствомъ только потому, что увидалъ въ немъ проповѣдь смиренія. Но не думайте, чтобы ему въ это время хорошо было. Вотъ одно изъ писемъ 40-го года.

«Не только давно собираюсь и собирался я писать къ тебѣ, мой милый и безцѣнный Боткинъ, но уже давно писалъ и пишу, какъ покажетъ это куча вздору, приложеннаго къ сему посланію, и выставленныя на ней числа. Причина моего молчанія—состояніе моего духа, страждущее, рефлектирующее, резонерствующее. Да, я не знаю свѣтлыхъ минутъ... Въ душѣ моей сухость, досада, злость, жолчь, апатія, бѣшенство и проч. и проч. *Втра въ жизнь, въ Духа, въ дѣйствительность — отложена на неопредѣленный срокъ, до лучшаго времени, а пока въ ней—безвѣріе и отчаяніе.* Не могу завидовать блаженству пошляковъ, ненавижу и презираю его всѣми силами моей дико-страстной натуры, но, право, часто жалѣю, зачѣмъ я не рожденъ однимъ изъ этихъ господъ: по крайней мѣрѣ, зналъ бы хоть какое нибудь довольство и удовлетвореніе. А теперь не знаю никакого... И между тѣмъ мое мученіе нисколько не однообразно: каждая минута даетъ мнѣ новое, и потому я и не могу кончить къ тебѣ ни одного письма: начавъ вчера, нынче вижу, что не то».

Глава VIII.

Намъ необходимо подробно ознакомиться съ состояніемъ журналистики первой половины тридцатыхъ годовъ и ея славными дѣятелями. Иначе литературное значеніе Бѣлинскаго не предстанетъ передъ нами во всемъ его величіи.

Я начну съ Николая Алексѣевича Полевого, знаменитаго редактора „Московского Телеграфа“ (1825—1834), автора Исторіи русскаго народа, переводчика Шекспира (Гамлетъ)—человѣка, поражающаго насъ своей огромной энергіей, разносторонностью своей дѣятельности и... трагической судьбой.

Бѣлинскій, Панаевъ и вообще кружокъ „Современника“ произнесли когда-то Полевому суровый приговоръ. Вотъ, напр., что говоритъ Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ: „Немногіе, даже изъ замѣчательныхъ людей, берегаютъ до старости то живое начало, ту смѣлость духа, тѣ благородныя стремленія, которыя одушевляли ихъ и давали имъ силу въ молодости...“

Грустно смотрѣть на этихъ ослабѣвшихъ людей, но... „ничто не можетъ быть жалче и печальнѣе, когда видишь человѣка, разбитаго жизнью, безсильнаго, пережившаго самого себя, старающагося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему нѣкогда по праву,—человѣка, прикидывающаго молодцомъ, когда уже ноги дрожатъ и измѣняють ему на каждомъ шагу и съ робкой завистью отрицающаго дѣйствительную силу, проявляющуюся въ новомъ поколѣніи. Такое зрѣлище представлялъ, къ сожалѣнію, въ послѣдніе годы своей жизни нѣкогда сильный литературный боецъ, подъ влияніемъ котораго воспитывалось почти все наше поколѣніе. Я говорю о Полевомъ... Если бы онъ, послѣ рокового произвола, обрушившагося надъ нимъ, присмирѣлъ по-неволѣ

и продолжалъ-бы честно и смиренно трудиться, съ единственною цѣлью поддерживать свое многочисленное семейство, нима его осталось-бы не запятнанымъ въ исторіи русской литературы. Но Полевой съ-испугу послѣдилъ употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которыхъ никто отъ него не требовалъ; беспрестанно унижалъ безъ нужды свое литературное и человѣческое достоинство, протягивая свою руку людямъ отсталымъ, пошлымъ защитникамъ тѣхъ принциповъ, противъ которыхъ онъ когда-то ратовалъ, отъявленнымъ негодяямъ, и,—что всего хуже,—съ завистливою ненавистью обратился къ новому поколѣнію... Хотя онъ совершенно потерялъ въ послѣдніе годы свое литературное значеніе, но смерть его на мгновеніе примирила всѣхъ съ нимъ. Полевой, восхвалявшій романы частнаго пристава Штевена, писавшій „Парашей-Сибирячекъ“ и другія тому подобныя произведенія, былъ забытъ. Въ простомъ деревянномъ гробѣ, выкрашенномъ желтою краскою (онъ завѣщалъ похоронить себя какъ можно проще), передъ нами лежалъ прежній Полевой, тотъ энергичный редакторъ „Моск. Тел.“, которому мы были такъ много обязаны нашимъ развитіемъ“...

Жестокая правда скрыта въ этихъ словахъ, но правда односторонняя, слишкомъ, я-бы сказала, сухая. Мы имѣемъ полное право нѣсколько иначе отнести къ Полевому.

Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю. Нуженъ великій художникъ, чтобы изобразить эту простую и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненную трагизма жизнь! Авторъ „Исторіи русскаго народа“, сильный боецъ и передовой человѣкъ, гибкій и энергичный умъ, открытое, живое сердце—это Полевой въ первой половинѣ своей жизни. Авторъ заядло-патріотическихъ произведеній, сотрудникъ Булгарина, человѣкъ, не останавливающійся ни передъ какими униженіями, торговавшій своимъ талантомъ и быстро промотавшій свою великую славу на скользкомъ пути подслуживанія,—это тотъ же Полевой, но уже послѣ закрытія „Москов. Тел.“. Что же случилось? Панаевъ объясняетъ такую перемѣну испугомъ и матеріальными затрудненіями. Полевой былъ по словамъ пословицы: сила соломѣ ломить.

Разскажемъ вкратцѣ его литературную біографію: это избавить насъ отъ необходимости произносить неприятный приговоръ самому видному изъ русскихъ журналистовъ вплоть до Бѣлинскаго и, быть можетъ, хоть нѣсколько послужить ему оправданіемъ. Тѣмъ мрачнѣе представляется намъ различнаго рода независяція обстоятельства, среди которыхъ приходилось дѣйствовать и Бѣлинскому. Кстати же увидимъ, чѣмъ этотъ послѣдній обязанъ Полевому, такъ какъ во всякомъ случаѣ гораздо разумнѣе говорить о вліяніи Полевого на Бѣлинскаго, чѣмъ о вліяніи Надеждина. Въ сущности „Отечественныя Зап.“ были прямымъ продолженіемъ „Московского Телеграфа“, а не „Телескопа“.

Полевому было съ небольшимъ 20 лѣтъ, когда онъ принялся за изданіе «Телеграфа». Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, онъ былъ какъ нельзя лучше приготовленъ къ роли журналиста. Не особенно образованный, онъ обладалъ однако многочисленными и разнообразными зна-

ніями; писалъ онъ легко, свободно и всегда литературно, прекрасно владѣя своимъ нѣскольکو рѣзкимъ и оригинальнымъ юморомъ, а главное—онъ былъ достаточно смѣлъ, чтобы довѣрить своему вкусу и настроенію. Какъ истинный журналистъ, писалъ онъ обо всемъ,—о русской и всеобщей грамматикѣ, о санскритскомъ языкѣ, объ исторіи всеобщей и русскихъ лѣтописяхъ, о театрѣ и политической экономіи, о промышленности и о Шекспирѣ, о научныхъ теоріяхъ и объ искусствѣ, о преобразованіяхъ и успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности.

Конечно, академія имѣетъ полное право не причислять его къ лику своихъ членовъ, а наука—отнюдь не меньше—забыть его, но намъ трудно не вспомнить съ благодарностью объ этой кипучей, разносторонней дѣятельности. Она имѣла большой смыслъ и въ свое время прекрасно сыграла роль толчка — и притомъ очень энергичнаго.

Полевой повсюду, съ рѣзкимъ и грубоватымъ даже юморомъ, нападалъ на заснувшихъ лѣнтяевъ и педантовъ; онъ буквально не давалъ имъ покоя, въ какія бы спеціальныя сферы или норы они не прятались. Онъ по пятамъ преслѣдовалъ ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмѣивая его представителей, искренне утвержденныхъ въ мысли о своей гениальности, вслѣдствіе какой-нибудь плохо изданной компіляціи по нѣмецкимъ учебникамъ. Если и въ настоящее время нерѣдко попадаютъ люди, основывающіе всѣ свои претензіи на величіе лишь на томъ, что имъ извѣстна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что-же было 60—70 лѣтъ тому назадъ? Все равно какъ каждый, строчившій библиографическія замѣтки, наивно воображаетъ себя критикомъ, какъ авторъ дикаго стихотворенія требовалъ причисленія къ сонму поэтовъ, — такъ и ничтожный компіляторъ находилъ въ своей душѣ достаточно самоувѣренности, чтобы мнить себя жрецомъ науки и съ этой высотой съ презрѣніемъ посматривать на окружающее, вообще, человѣчество и частности. У Полевого на этотъ счетъ была своя собственная точка зрѣнія, не достаточно рѣзко сформированная, быть можетъ не совсѣмъ ясная даже для него самого, и все же замѣчательная, и для насъ очевидная. Эта точка зрѣнія, одушевленная вполнѣ гениемъ Бѣлинскаго, согрѣтая его чуднымъ, безконечно любящимъ и вѣрующимъ сердцемъ, составила всю славу нашего великаго критика. Я говорю конечно объ общественной точкѣ зрѣнія. Не особенно симпатичная, разъ она предлагается намъ въ слишкомъ искаженномъ видѣ, еще менѣе симпатичная, когда ее примѣняютъ механически и односторонне къ произведеніямъ науки и искусства, она однако всегда имѣла и будетъ имѣть большое значеніе. Прекрасно сформулирована она Бѣлинскимъ: „Свобода творчества, говоритъ онъ, легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазію; для этого нужно быть только гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни“. Всякому

извѣстно, какой переворотъ въ нашихъ взглядахъ и понятіяхъ произвела эта общественная точка зрѣнія; несомнѣнно, что она была у Полевого. Понятно теперь, почему онъ съ такой энергіей преслѣдовалъ всякихъ ученыхъ педантовъ и птичьихъ поэтовъ, ибо на всякую дѣятельность — все равно научную или литературную — онъ смотрѣлъ прежде всего какъ на дѣятельность общественную. Большой поклонникъ Пушкина, вполне убѣжденный въ его гениальности, онъ нападалъ даже на него. „Полевой, — говоритъ А. Скабичевскій въ своей „Исторіи новѣйшей литературы“, — представилъ въ своемъ „Моск. Тел.“ первые задатки оцѣнки писателей, принимая въ соображеніе не одну степень талантности и эстетическія достоинства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всѣхъ похвалахъ, расточаемыхъ имъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, что былъ, и, нападая на его стремленія къ великосвѣтскости, ясно намекалъ на тѣ новыя, официальные связи и отношенія, которыя завязались у Пушкина послѣ 1826 года“.

Сильный и остроумный писатель, врагъ всякаго авторитета, прекрасный полемистъ, Полевой очевидно долженъ былъ возбудить противъ себя цѣлую стаю литературныхъ недруговъ, буквально недававшихъ ему ни минуты покоя. Совершенно правъ его братъ, говоря:

„Издатель „Московского Телеграфа“ только началъ свое литературное поприще и уже въ первое время существованія его журнала, былъ, можно сказать, осыпанъ нападеніями и обвиненіями всякаго рода, начиная отъ обыкновенныхъ литературныхъ противорѣчій до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ противорѣчій до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ выходокъ. Онъ былъ не Карамзинъ, не прославленный ученый и профессоръ; онъ учился не въ университетахъ, не въ академіяхъ; а въ глазахъ тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломовъ ни на какое ученое званіе, что такъ усердно старались пояснить благородные, повитые на щитахъ, его противники. Они упрекали, кололи его знаніемъ; выводили послѣдствія, по ихъ мнѣнію, очень логическія, что званіе купца, слѣдовательно торговца, промышленника, несовмѣстно съ литературными занятіями, и, почитая его какимъ-то парією среди благородныхъ кастъ, на этомъ основаніи позволяли себѣ дерзости, какихъ не осмѣлились бы сказать другому. Наконецъ, издатель „Московского Телеграфа“ могъ опасаться, что съ нимъ случится то, что Бомарше вложилъ въ уста Донъ-Базилію о клеветѣ: „самая пошлая, самая нелѣпая клевета оставляетъ послѣ себя слѣдъ“.

Въ этихъ клеветникахъ, злостныхъ и упорныхъ нападкахъ на Полевого, какъ нельзя лучше проявились болгарскіе нравы литературы того времени. Но на Полевого нападали и съ другой стороны.

Въ немъ на самомъ дѣлѣ была та самостоятельность мысли и чувства, которая такъ не нравилась 50 лѣтъ тому назадъ. Въ литературу Полевой выступилъ защитникомъ романтизма, въ исторіи — противникомъ Карамзина. Обратимъ вниманіе на послѣднее обстоятельство: оно этого заслуживаетъ.

Какъ писалъ Карамзинъ свою исторію,— извѣстно: это исторія государства, а не народа, это панегирикъ вѣшной силѣ и вѣшнему могуществу, это прекрасный арсеналъ для всѣхъ аргументовъ національнаго самодовольства. Народа на сценѣ нѣтъ, вмѣсто философской точки зрѣнія господствуетъ нравственная. Приобрѣтеніе удѣла — великая заслуга, эпитеты *добродѣтельный* и *недобродѣтельный* пестрятъ страницы. Сантиментальный моралистъ повсюду стоитъ рядомъ съ панегиристомъ силы. Какъ бы въ отвѣтъ „Исторія Государства Россійскаго“ Полевой пишетъ свою „Исторію русскаго народа“.

Прекрасная книга, не утерявшая своей цѣны еще и до настоящаго времени. Для людей-же 20-хъ и 30-хъ годовъ она была настоящимъ откровеніемъ. Молчаливый и закабаленный народъ впервые заявилъ о своемъ непосредственномъ участіи въ дѣлѣ сознанія и государства и исторіи. Ему было отведено свое мѣсто, и тѣмъ ярче выступило противорѣчіе между народомъ, создавшимъ исторію, и крѣпостной, безправной массой, въ которую превратился тотъ-же народъ и о чемъ совѣмъ забылъ Карамзинъ.

Одна эта книга могла-бы обезсмертить имя Полевого, а если прибавить къ ней его заслуги какъ издателя „Московского Телеграфа“, то, право, становится грустнымъ, что у насъ нѣтъ даже его приличной біографіи и только десятокъ статей, разбросанныхъ въ журналахъ, да давно затерявшійся памятникъ на Волковомъ кладбищѣ— вотъ и все, что осталось отъ сильнаго бойца, когда-то передоваго деятеля нашего общества...

Правда, впоследствии Полевой самъ себя опровергъ и набросилъ на свое имя очень темную тѣнь. Случилось это послѣ неожиданнаго прекращенія „Московского Телеграфа“, когда его издатель остался безъ всякихъ средствъ къ жизни и къ довершенію всего получилъ строгое внушеніе. Человѣкъ умалился. Теперь, если ужъ надо о чемъ рассказывать, то не о прежней почти героической борьбѣ съ самодовольствомъ и обскурантизмомъ, а о писаніи только патріотическихъ произведеній, о сотрудничествѣ съ Булгаринымъ, объ откровенномъ ухаживаніи и забѣганіи передъ силой жизни. Полевой дѣлалъ все, что могъ, чтобы забыли его-же самого и первую половину его дѣятельности. Однако онъ не достигъ этого.

Посмотрите, какая глубокая иронія и вмѣстѣ съ тѣмъ какая глубокая истина скрывается въ словахъ Бѣлинскаго, случайно брошенныхъ имъ въ одной изъ бібліографическихъ замѣтокъ: „Не тотъ г. Полевой, который не додалъ шести книжекъ „Русск. Вѣст.“, не тотъ, который выкраиваетъ, изъ чего попало, плохія драмы, создаетъ комедіи вродѣ „Война Федосьи Сидоровны съ китайцами“ и воспѣваетъ „деньги“, но тотъ, который издавалъ „Моск. Тел.“, ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убѣжденія, порицалъ направленіе драмъ г.г. Шаховскаго и Кукольника и не воспѣвалъ денегъ“.

Все это какъ нельзя болѣе правда; но чѣмъ больше задумываемся мы надъ судьбой Полевого, тѣмъ настойчивѣе выступаетъ передъ нами вопросъ: „что-же такое съ нимъ случилось?“ Панаевъ говоритъ: „испугался“. Другіе ссылаются на обремененіе многочисленнымъ семействомъ...

Было и то, и другое. Но не трудно, кажется, вообразить себѣ иную обстановку, гдѣ съ такими людьми, какъ Полевой, никакого зла не случилось бы, не пришлось бы ему въ этой иной обстановкѣ ни холопствовать, ни лицежрить, не пришлось-бы отрекаться отъ себя и восхвалять романы частнаго пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно-ли разсуждать съ точки зрѣнія этой, не идеальной даже, но все-же лучшей обстановки? Намъ думается, что да. Вѣдь общество существуетъ со-всѣмъ не для героевъ, а общественная жизнь — не для героическихъ поступковъ. Героевъ такъ мало, что изъ-за нихъ-бы не стоило хлопотать. Большинство смертныхъ представляетъ изъ себя коллекціи весьма и весьма дюжинныхъ людей. Умныхъ, не глупыхъ по крайней мѣрѣ, между ними достаточно; но тѣ, кто одаренъ исключительной силой воли, могучей вѣрой и способностью приносить въ жертву идеалу свое тщеславное, вѣчно алчущее „я“, — встрѣчаются въ видѣ исключенія. Герой въ любой обстановкѣ — развѣ уже самой исключительной—не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена къ людямъ средней воли, а ихъ-то чувство достоинства она и должна оберегать. А если она не дѣлаетъ этого, если она это человѣческое достоинство топчетъ въ грязь, если она возводитъ въ принципѣ — неуваженіе къ нему, въ систему — преслѣдованіе его, то кто-же виновать? Неужели слабый чловѣкъ средней руки, обремененный многочисленнымъ семействомъ?...

Чувство собственного достоинства — удивительный и лучший даръ природы чловѣку, вѣрнѣе — это чувство приобрѣтено имъ цѣною величайшихъ усилий и неисчисленныхъ страданій. Поэтому-то оно такъ и привлекательно, поэтому-то и есть лучшее, что находится въ нашемъ распоряженіи. Хотите знать, какой судъ можно произнести надъ той или другой эпохой, надъ тѣми или другими историческими условіями,—спросите себя: а какъ эта эпоха, какъ эти историческія условія относились къ чувству чловѣческаго достоинства? Уважили-ли они его, цѣнили-ли его или—наоборотъ—третировали, презирали, всяческими способами преслѣдовали? Мнѣ думается, что трудно съ такого рода критериумомъ сдѣлать серьезную ошибку. Аристотель всю свою теорію нравственности построилъ на сознаніи чловѣческомъ собственного достоинства. Великая и славная мысль, вникая въ которую мы невольно переносимся въ въ обстановку греческой жизни, ея привольной атмосферы, въ которой такъ свободно дышалось людямъ. Почему чловѣкъ добродѣтеленъ? Потому-ли, что онъ боится кого или чего нибудь, потому-ли, что онъ ищетъ награды, потому-ли, наконецъ что, ему такъ приказано? Нѣтъ проще, гораздо проще: онъ добродѣленъ потому, что уважаетъ самого себя.

* Тридцатые-же и сороковые года нашего вѣка къ подобной этикѣ приспособлены не были, а какъ-бы, наоборотъ, задались специальной цѣлью доказать, что чувства собственного достоинства у чловѣка нѣтъ, да и быть не можетъ. На Полевомъ они проявили все свое могущество — и онъ сломенъ. Конечно, никто не мѣшаетъ намъ обвинять его: «жестокія» слова и такъ уже не разъ градомъ сыпались по его адресу. Но будетъ-ли правда въ этихъ «жестокихъ»

словах? Если и будетъ, то не полная. Не знаю,—какъ другіе, но я, вчитываясь въ письма Полевого, относящіяся къ послѣдней эпохѣ его дѣятельности, чувствовалъ одну лишь жалость и состраданіе къ этому когда-то сильному человѣку. Долги, заботы о семействѣ, о насущномъ кускѣ хлѣба, тревожныя думы о подневольной работѣ, постоянное насильственное напряженіе своихъ силъ — вотъ тема этихъ писемъ. Передъ нами слабый, несчастный подъяремный человѣкъ, боязливо оглядывающійся, боязливо протягивающій руку.

Мнѣ кажется можно просто сказать: пусть въ Полевого бросить камень тотъ, кто чувствуетъ себя лучше и выше его. Онъ дѣлалъ все, что могъ, онъ бился, какъ можетъ только биться рыба, выброшенная на берегъ, больной, разслабленный онъ работалъ по 16-ти часовъ въ сутки — но ничего не вышло: судьба слишкомъ крѣпко затянула свой узелъ. Съ невыразимой тоской неудачника, поставившаго надъ собой крестъ, смотрѣлъ онъ и на свою жизнь и на свои послѣдніе труды. Онъ видѣлъ, какъ изо дня въ день мельчаетъ и гибнетъ его репутація, какъ отворачиваются отъ него прежніе друзья, какъ презираютъ его бывшіе поклонники. Но очевидно, что онъ началъ катиться слишкомъ съ крутой горы. Остановиться не было силъ, и за свое малодушіе, которое,—къ ужасу своему,—прекрасно сознавалъ, онъ расплатился сторипцею, быть можетъ, даже слишкомъ жестоко расплатился за него.

Конечно, Бѣлинскій не поступилъ-бы такъ, и въ этомъ все наше утѣшеніе. Онъ не разъ бывалъ въ такомъ-же положеніи, какъ Полевой, не разъ нищета и томительная неопредѣленность положенія надрывала его силы, по видимому, онъ предпочелъ-бы умереть съ голоду, чѣмъ сдаться. Но все-же, изъ всѣхъ враговъ знаменитаго публициста, онъ одинъ отнесся къ нему человѣчески, понялъ его, пожалѣлъ и... простилъ въ душѣ.

Полевой шелъ въ уровень съ публикой, учился вмѣстѣ съ нею, но учился настойчиво, проникновенно. Этимъ (какъ и Бѣлинскаго) въ значительной степени объясняется его вліяніе. Совершенно другое представляетъ изъ себя Надеждинъ, издатель и редакторъ одинаково шумѣвшаго когда-то «Телескопа». Это былъ, прежде всего, профессоръ и ученый человѣкъ. Какъ профессоръ, онъ былъ вполне на своемъ мѣстѣ и пользовался большими симпатіями слушателей.

«Надеждинъ производилъ; съ начала своего профессорства, большое впечатлѣніе своими лекціями, — рассказываетъ К. Аксаковъ. — Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ-сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину; но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ занятій. Тѣмъ не менѣе, справедливо оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ Надеждина, прибавлялъ, что Надеждинъ

много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ (Станкевичъ) будетъ въ раю, то Надеждину за то обяванъ. Тѣмъ не менѣе, благодарный ему за это пробужденіе, Станкевичъ чувствовалъ бѣдность его преподаванія. Надеждина любилъ за то еще, что онъ былъ очень деликатенъ съ студентами, не требовалъ, чтобъ они ходили на лекціи, не выходили во время чтенія, и вообще не любилъ никакихъ полицейскихъ приемовъ. Это студенты очень цѣнили, — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекціяхъ, какъ у Надеждина. Обладая текучею рѣчью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедрѣ, онъ говорилъ безъ умолку, и случалось, что проходилъ назначенный часъ, а онъ продолжалъ читать (онъ былъ крайнимъ). Однажды, до поступленія моего на второй курсъ, прочелъ онъ два часа слишкомъ, и студенты не напомнили ему, что срокъ его лекціи давно прошелъ».

Но если студенты прощали Надеждину и сухость его словъ и нѣкоторую неясность выраженія и даже «собственное безучастіе къ предмету», — то публика не простила ему этого. Прежде всего она плохо его понимала. Не то что-бы Надеждинъ писалъ слишкомъ уже тяжело—нѣтъ, но воспитанный на произведеніяхъ нѣмецкихъ философовъ онъ усвоилъ себѣ и ихъ безконечные періоды, совершенно неподходящіе для русскаго нетерпѣливаго и невнимательнаго мозга, — а также довольно трудную терминологию, которая приводила провинцію въ искреннее недоумѣніе и даже замѣшательство. Не понимала публика и тонкой ироніи Надеждина. Ей въ то время надо было говорить рѣзко и прямо: «это, вотъ, прекрасно и возвышенно», а «это скверно и низко». А тутъ чловѣкъ смѣялся, да еще такъ странно и ехидно, что никакъ нельзя было отличить, гдѣ онъ говоритъ серьезно, гдѣ иронически. Но самое главное, конечно, въ томъ, что Надеждинъ какъ въ лекціяхъ, такъ и въ критикѣ одинаково проявлялъ *собственное безучастіе* къ предмету. Этого-то ужъ нельзя было не замѣтить и это было непростительной ошибкой. Вѣдь въ то время задача критики сводилась не только къ тому, чтобы оцѣнить произведеніе, растолковать его общественный смыслъ и поставить на подобающее мѣсто — первымъ ея дѣломъ было возвысить любовь и уваженіе къ русской литературѣ. Эту задачу Надеждинъ просмотрѣлъ, и всю ее цѣликомъ вынесъ Бѣлинскій одинъ на своихъ плечахъ.

Мало, къ сожалѣнію, даже слишкомъ мало симпатичнаго можно сказать о третьемъ знаменитомъ современномъ журналистѣ Бѣлинскаго — Осипѣ Ивановичѣ Сенковскомъ, еще болѣе извѣстномъ подъ псевдонимомъ барона Брамбеуса.

Профессоръ университета и блестящій лекторъ, знатокъ восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владѣвшій языками — персидскимъ, арабскимъ, турецкимъ, коптскимъ, французскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ, русскимъ, польскимъ, итальянскимъ и испанскимъ, свободно писавшій на пяти языкахъ, и вмѣстѣ съ этимъ талантливый публицистъ, критикъ, авторъ

безчисленныхъ повѣстей, единственный редакторъ и почти единственный сотрудникъ самаго распространеннаго когда-то журнала,—таковъ Осипъ Ивановичъ Сенковский съ внѣшней стороны своей дѣятельности. Громадная память, блестящій умъ и не менѣе блестящая фантазія, невѣроятное трудолюбіе, разносторонній талантъ и энциклопедическое образованіе, дѣлали его самымъ замѣтнымъ и вліятельнымъ человѣкомъ среди русскихъ журналистовъ.

Прочтите любую страницу изъ произведеній Сенковского, все равно откуда выхваченную,—изъ его повѣстей или фантастическихъ разсказовъ, изъ его критики или литературной лѣтописи, изъ его фельетоновъ или ученыхъ трактатовъ, — вамъ сейчасъ-же бросится въ глаза рѣзко очерченная индивидуальность автора. Послѣ самаго незначительнаго опыта безчисленные псевдонимы Сенковского не будутъ затруднять васъ. Какъ-бы онъ ни подписывался—баронъ Брамбеусъ, Тютюнджю—Оглу Т.-О, О. О. О, Сел, Б. Б., Осипъ Морозовъ, Бѣлкинъ, Сибѣгинъ и пр. и пр.,—вы его сейчасъ узнаете, какъ узнавала его нѣкогда публика тридцатыхъ годовъ. У Сенковского не только рѣзко очерченная индивидуальность, это—индивидуальность утрированная, утрированная произвольно самимъ Сенковскимъ. Тамъ, гдѣ вы увидите блестящее и общедоступное изложеніе самыхъ трудныхъ вопросовъ лингвистики или политической экономіи, или даже медицины, внезапно прерванное веселой шуткой, или иронической фразой, въ которой авторъ подсмѣивается и надъ предметомъ, и надъ самимъ собой; тамъ, гдѣ послѣ одушевленныхъ красивыхъ строкъ вы натолкнетесь на другія, въ которыхъ дается полный просторъ скептицизму, готовому заподозрить все — сдѣланные выводы, усилія ученыхъ, собственную эрудицію автора, и даже самого себя; тамъ, гдѣ шутка зачастую переходитъ въ буффъ, полный утрировки, гдѣ читателю нельзя, подчасъ, разобраться, серьезно-ли говорятъ ему или шутятъ, гдѣ насмѣшливая улыбка автора ни на минуту не исчезаетъ съ написанныхъ строкъ, гдѣ все такъ искусственно, гдѣ все такъ тревожить и тормозитъ вашъ умъ и такъ мало дѣйствуетъ на сердце, волю,—тамъ вы угадаете руку Сенковского.

Но не останавливайтесь на первыхъ страницахъ, не поддавайтесь очарованію безусловно умнаго человѣка, у котораго, кажется, весь организмъ пропитанъ умомъ,—идите дальше. Идите дальше и вами скоро начнетъ овладѣвать утомленіе. Вашъ умъ удовлетворенъ стройной логикой, смѣлыми парадоксами, интересомъ аргументаціи, ваше воображеніе пріятно провело время, слѣдуя за прихотливой фантазіей автора, за ея изысканными арабесками, но ваше чувство, ваша воля остались незатронутыми. Сенковский объяснить вамъ все, что угодно, но гдѣ тотъ предметъ, который бы онъ заставилъ полюбить, гдѣ та цѣль, ради которой весь этотъ шумъ и блескъ“. Ваша воля осталась безъ напряженія, нѣтъ слезъ негодованія, нѣтъ любовнаго волненія сердца. Вызванная чтеніемъ работа ума и игра фантазіи не замѣняетъ остающейся охъ него пустоты и холодности чувства.

Задача художника, актера, артиста вообще, какъ служителя искусства,—писать я въ другомъ мѣстѣ, —«разогрѣть предметъ». Миѣ простятъ неудачное

выраженіе «разгорѣть», но лучшее по краткости. Можно сказать иначе: «задача искусства — представить вамъ предметъ или всю совокупность предметовъ, указать съ симпатической стороны», т. е. затронуть любовь и ненависть вашего сердца, повліять на вашу волю. Этого не было у Сенковского.

Сравните его съ Бѣлинскимъ. По всей вѣроятности, несомнѣнно даже, онъ былъ въ десять разъ образованнѣе послѣдняго, если не болѣе того. Но Бѣлинскій умѣлъ угадывать, тогда какъ Сенковскій только понималъ; Бѣлинскій носилъ въ своей груди благородное, смѣлое сердце, въ немъ таились всѣ муки и надежды современности, онъ воспитывалъ наши стремленія и умѣлъ возбуждать ихъ; какъ истинный художникъ, онъ вызывалъ наши восторги и наши негодованія; какъ человѣкъ съ творческой силой, — онъ былъ всегда самостоятеленъ. А главное статьи Бѣлинскаго—сама жизнь измученной, но не утравшей героической вѣры души, поэма, созданная вѣрой въ грядущее счастье, мукой и страданіями своей эпохи. Сенковскій умѣлъ, умѣлъ какъ Мефистофель, но какъ часто оставляетъ онъ насъ при одномъ безцѣльномъ, безодержательномъ смѣхѣ!.. Бѣлинскій—боецъ, Сенковскій—наблюдатель.

Есть умное изреченіе, которое гласитъ: «жизнь представляется трагедіей тому, кто смотритъ на нее съ точки зрѣнія чувства, и комедіей тому, кто стремится только понять ее». Вся жизнь для Сенковского преобразовывалась въ комедію, часто въ водевиль, иногда въ скверный анекдотъ. Онъ не любилъ касаться высокихъ страстей, героическихъ порывовъ, не вѣрилъ даже въ мрачныя силы человѣческой природы. Рѣдко возвышался онъ до взгляда на жизнь какъ на таинственную драму, разыгрывающуюся на нашей маленькой сценѣ—землѣ, онъ предпочиталъ видѣть въ ней интересную комбинацію довольно-таки бессмысленныхъ случайностей. Величіе не поражало его, зло не пугало. Въ первомъ онъ находилъ всегда яркіе слѣды эгоизма, во второмъ — тотъ-же эгоизмъ, въ формѣ мелкихъ страстей, если угодно—мошенничества, тщеславія, подбострастія.

Строго говоря, онъ ни во что не вѣрилъ, ничего не хотѣлъ, ни къ чему не стремился.

Въ его рукахъ бібліотека для чтенія стала журналомъ интереснымъ, разнообразнымъ и, по существу, совершенно безпринципнымъ.

Передъ нами болѣе ста томовъ журнала. изъ которыхъ каждый—плоть отъ плоти и кость отъ костей самого Сенковского. Признаемся, мы не безъ уваженія просматривали ихъ. Мирно и спокойно стоятъ они теперь въ бібліотекѣ, плотно прижатые другъ къ другу, всѣ въ переплетахъ, съ пожелтѣвшими, запятнанными страницами. Изрѣдка тревожитъ ихъ рука специалиста или такого случайнаго работника, какъ я, большую-же часть времени никто ни на минуту не чувствуетъ въ нихъ ни малѣйшей надобности. Груды книгъ вырастаютъ возлѣ нихъ, надъ ними, внизу, и эти небольшіе томы, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе затериваются среди новыхъ пришельцевъ. Ихъ дѣло сдѣлано, покончены всѣ расчеты, итогъ подведенъ, и, молчаливые свидѣтели прошлаго, они не имѣютъ достаточно внутренней силы, чтобы хоть чѣмъ нибудь

заявить о себѣ новымъ поколѣніямъ. А вѣдь было время, когда выходъ каждой изъ этой сотни книжекъ ожидался съ нетерпѣніемъ, когда торопливыя руки нервно разрѣзали страницы, и добродушный читатель, съ невольной улыбкой, выражавшей предчувствіе удовольствія, набрасывался на «Литературную лѣтопись», или критическія статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Какъ замирающее эхо доносятся до насъ восторги читателей барона Брамбеуса, тотъ говоръ и шумъ, который возбуждала «Библіотека»; спокойные и забытые стоятъ ея томы. *Nabent sua fata libelli* — рождаются и умираютъ, и одна изъ сотни тысячъ достигаетъ безсмертія...

«Библіотека для Чтенія» — журналъ Сенковскаго. Это, повторяемъ, плоть отъ плоти его; онъ самъ фигурируетъ передъ нами на каждой страницѣ, и, зная его, мы уже предчувствуемъ, чѣмъ должны быть и онѣ. Мы видѣли, что у Сенковскаго было много данныхъ, чтобы быть хорошимъ редакторомъ; такимъ-же вышелъ и его журналъ.

У редактора-энциклопедиста журналъ не могъ не быть энциклопедическимъ: отдѣлы наукъ, иностранной словесности и смѣси были тѣ отдѣлы, въ которые Сенковскій вложилъ всю свою душу. Онъ былъ нѣсколько англоманомъ, особенно въ литературѣ. Новой французской школы онъ не долюбивалъ и даже энергично преслѣдовалъ ее, доходя подчасъ до страннаго и неприличнаго даже вышучиванія такихъ крупныхъ величинъ, какъ Жоржъ Зандъ. Эту послѣднюю онъ именовалъ не иначе, какъ г-жею Егоръ Зандъ. Ему больше нравилась англійская литература, съ ея спокойнымъ анализомъ человѣческаго сердца и почти всѣ лучшія ея произведенія появлялись въ «Библіотекѣ». Постоянно встрѣчаемъ мы переводы изъ Кольриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Сомервилъ и т. д. Не мало и статей посвящено этимъ талантливымъ писателямъ, такъ что въ общемъ читатели «Библіотеки» могли быть благодарны ея редактору. Въ «Смѣси» печатались каждый мѣсяцъ краткія обзорнія новостей англійской и французской литературъ, съ библиографическими списками появившихся на рынокѣ книгъ. Въ отдѣлѣ наукъ, особенно интересномъ и разнообразномъ, Сенковскій знакомилъ публику со всѣми открытіями и новинками въ области положительныхъ знаній.

Въ отдѣлахъ «Критики» и «Литературной лѣтописи» въ первые годы изданія «Библіотеки» почти всѣ статьи написаны Сенковскимъ, хотя не всѣ онѣ статьи критическія: многія представляютъ лишь обзорніе содержанія книги, съ выписками изъ нея для образца и съ немногими, иногда серьезными, но большею частью шутивными, юмористическими замѣчаніями. «Литературная лѣтопись» посвящена была почти исключительно подобнымъ замѣткамъ; отдѣлъ «Критики» всегда былъ серьезнѣе. Въ первые годы существованія журнала рецензіи лѣтописи писались вообще спокойнымъ тономъ, хотя не безъ саркастическихъ выходокъ и отступленій. Онѣ-то всего болѣе и нравились публикѣ, ими-то всего болѣе и восхищались.

Тутъ Сенковскій сдѣлалъ великую ошибку: онъ послушался публики. Та, повидимому, рѣшительно не имѣла ничего противъ газетства и балагана,

даже требовала того и другого и «вскорѣ почти вся литературная лѣтопись превратилась въ непрерывную шутку: стали разсматриваться преимущественно такія сочиненія, которыя представляютъ наиболѣе смѣшныхъ сторонъ; наконецъ, шутка дошла даже до буффа, и лѣтопись заставляеть новыя книги плясать передъ собою, играть комедію, водевиль и представлять сцены изъ «Тысячи и одной ночи»... Литературная лѣтопись была какъ-бы отдыхомъ и гимнастикой для ума, требовавшего перемѣны занятій, и въ то же время жертвою вкусу публики».

Противъ гимнастики остроумія и жертвы вкусу публики можно, конечно, возразить очень много.

Можно свести къ немногимъ основнымъ пунктъ міровоззрѣнія «Библіотеки для Чтенія».

1) Читатель глупъ — его надо учить.

2) Читатель настолько глупъ, что въ сущности ни чему научить его нельзя.

3) Безъ читателя нѣтъ журнала. Надо нравиться читателю, забавлять его, смѣшить его, льстить его вкусамъ, а такъ какъ онъ неисправно глупъ, то и смѣяться надъ нимъ.

4) Литературы нѣтъ, есть книжная торговля.

5) Всѣ литераторы пошляки, сплетники, прыщи больного самолюбія, подчасъ доносчики. Надо ихъ бить и крѣпко бить (словомъ разумѣется).

5) Смѣйтесь-же, господа, надъ своей несуществующей литературой, несуществующей общественностью. А не хотите смѣяться, плачьте, или патріотически во все горло кричите «ура» на драмахъ Кукольника, — Кукольникъ выше Гоголя!..

О Булгаринѣ и Гречѣ — не говорю. Слишкомъ уже извѣстны эти господа.

Теперь сравните со всѣмъ этимъ дѣятельность Бѣлинскаго и вы увидите, — какое по истинѣ огромное значеніе должна была имѣть его ригористическая неподкупная нравственность, удержавшая его почти на недостигаемой высотѣ его восторженная любовь къ литературѣ, его серьезное отношеніе даже къ крошечнымъ книженкамъ, въ которыхъ замѣчалась хоть искра таланта.

Глава IX.

Первые годы въ Петербургѣ.

Въ Петербургъ Бѣлинскій и ѣхалъ и пріѣхалъ въ самый скверномъ расположеніи, хотя какое то тайное предчувствіе и говорило ему, что свою настоящую дорогу онъ найдетъ только въ «Сѣверной Пальмирѣ», прозванной такъ съ легкой

руки его литературнаго «пріятеля» Фаддѣя Булгарина. Онъ, впрочемъ, старається шутить, какъ вообще, когда ему скверно. Онъ пишетъ Боткину:

«Петербургъ — городъ знатный, Нева-рѣка преобладающая, а петербургскіе литераторы — прекраснѣйшіе люди послѣ чиновниковъ и господъ-офицеровъ. Мнѣ очень, очень весело: о чемъ ни заговоришь — столько сочувствія. Однимъ словомъ: Петербургъ — молодой, молодой человѣкъ, но говоритъ совсѣмъ такъ, какъ старикъ»...

Знакомствъ завелось много, хотя знакомства, какъ и слѣдуетъ быть, мало облегчали душевную тяготу. Бѣлинскому во всю его жизнь нужны были друзья, насчетъ знакомства у него никогда не налаживалось дѣло.

«Несмотря на рѣшеніе,—продолжаетъ онъ,—избѣгать всякихъ знакомствъ, я завелъ ихъ бездну. Прежде всего я познакомился съ Краевскимъ. Чрезвычайно добрый, теплый и умный человѣкъ! Въ немъ есть даже и чувство изящнаго, но оно не развито... Плетневъ добрый и простой человѣкъ, но онъ теперь на покоѣ у жизни. Князь Одоевскій принялъ и обласкалъ меня, какъ нельзя лучше. Онъ очень добрый и простой человѣкъ, но повытерся свѣтомъ и жизнью, и потому безцвѣтенъ, какъ изношенный платокъ. Теперь его больше всего интересуетъ мистицизмъ и магнетизмъ. Очень также хорошо отзывался онъ и о моемъ «Пятидесятилѣтнемъ Дядюшкѣ». У Панаева есть закадычный другъ Я-въ, — это, братъ, московскій человѣкъ, и я выключаю его изъ числа знакомыхъ... Да, и въ Петербургѣ есть люди, но это все москвичи, хотя бы они и въ глаза не видали Бѣлокаменной. Собственно Петербургу принадлежит все половинчатое, полуцвѣтное, сѣренькое, какъ его небо, обтершееся и гладкое, какъ его прекрасные тротуары. Въ Петербургѣ только поймешь, что религія есть основа всего, и что безъ нея человѣкъ—ничто, ибо Петербургъ имѣетъ необыкновенное свойство оскорбить въ *человѣкѣ* все святое и заставить въ немъ выдти наружу все сокровенное. Только въ Петербургѣ человѣкъ можетъ узнать себя,—человѣкъ онъ, полу-человѣкъ, или скотина: если будетъ страдать въ немъ—человѣкъ, если Петербургъ полюбитъ ему—будетъ или богатъ или дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ. Самъ городъ, красивъ, но основанъ на *плоскости*, и потому Москва—красавица передъ нимъ. Въ театрѣ я былъ два раза (т.-е. въ Александринскомъ) и въ третій страхъ не хочется идти... Публика—господа офицеры и чиновники—...позоръ и оскорбленіе человѣчества и общества...»

Бѣлинскій посылаетъ поклоны всѣмъ своимъ московскимъ друзьямъ, просить писать, жалѣетъ, что безъ Кудрявцева ему не съ кѣмъ читать ни *Иліады*, ни Пушкина... Далѣе:

«Булгаринъ, встрѣтись съ Панаевымъ на Невскомъ, на другой день послѣ выхода 11 № О. З., сказалъ: «почтеннѣйшій, почтеннѣйшій, бульдога-то это вы привезли меня травить?»

«Скажи Грановскому, что чѣмъ больше живу и думаю, тѣмъ больше, *кровью* люблю Русь, но начинаю сознавать, что это съ ея субстанціальной стороны, но ея опредѣленіе, ея дѣйствительность настоящая, начинаютъ при-

водить меня въ отчаяніе—грязно, мерзко, и утомительно-нечеловѣчески,— я понимаю *Фроловыхъ*...

«Твой переводъ «Ряса Монаха» я читалъ и перечитывалъ, упивался самъ и упоевалъ другихъ; теперь онъ въ рукахъ у кн. Одоевскаго. Гоголя видѣлъ два раза, во второй обѣдалъ съ нимъ у Одоевскаго. Хандрить, да есть отъ чего, и все съ ироническою улыбкою спрашиваетъ меня, какъ мнѣ понравился Петербургъ. Невскій проспектъ—прелесть, чудо, такъ что перенесъ-бы его, да Неву, да нѣсколько человѣкъ—въ Москву»...

Да, скверно было на душѣ, несмотря на «бездну знакомства». Явилась даже какая-то смутная тоска, неопредѣленная и назойливая, овладѣвающая обыкновенно человѣкомъ, когда годы подходятъ къ тридцати—этому перевалу жизни, и онъ настойчиво спрашиваетъ себя: что же я сдѣлалъ, чѣмъ же я сталъ?.. и въ грустномъ озлобленіи казнить себя, какъ Некрасовъ, даже за то, что

Доживши уже до 30-ой весны,
Не нажилъ я себѣ хоть богатой казны,
Чтобъ глупцы у моихъ извивалися ногъ,
Чтобъ и умный порой позавидовать могъ.

Но не о казнѣ, разумѣется, тосковалъ Бѣлинскій.

«Я теперь собственнымъ опытомъ узналъ возможность такого состоянія,— говоритъ Бѣлинскій, обращаясь къ разсказу о себѣ.—Мнѣ теперь ни до кого нѣтъ дѣла, я никого не люблю, ни въ комъ не принимаю участія,—потому что для меня настало такое время, когда я увидѣлъ ясно, что или мнѣ надо стать тѣмъ, чѣмъ я долженъ быть, или отказаться отъ претензіи на всякую жизнь, на всякое счастье. Для меня одинъ выходъ—ты знаешь какой; для меня нѣтъ выхода въ *Jenseits*, въ мистицизмъ и во всемъ томъ, что составляетъ выходъ для полу-богатыхъ натуръ и полу-павшихъ душъ. Я теперь еще больше понимаю, отчего на святой Руси такъ много пьяницъ, и почему у насъ *спиваются съ кругу* все умные, по общественному мнѣнію, люди; но я не могу и спиться... Мнѣ остается одно: или сдѣлаться дѣйствительнымъ, или, до тѣхъ поръ, пока жизнь не погаснетъ въ тѣлѣ, пѣть вотъ эту пѣсенку—

Я увялъ и увялъ
Навсегда, навсегда,
И блаженства не зналъ
Никогда, никогда!
Всѣмъ постылый, чужой,
Никого не любя,
Я живу...»

Онъ жалуется и въ жалобахъ своихъ доходитъ до настоящихъ стонувъ неизяснимой муки:

«Боткинъ, Боткинъ! Не сердись и не презирай, но пойми... Подъ этимъ скрывается нѣчто похожее на судорожное сжатіе сердца, на глубоко-болѣзнен-

ное стѣненіе груди, въ которыхъ простая, глубокая потребность любви и сочувствія. Нѣтъ, никогда не страдалъ я такъ глубоко—силъ недостаетъ. Внутри меня что-то глубоко оскорблено. Я уже не мучусь апатіею, но страдаю цѣлые дни какою-то тяжелою болѣзнію. Ну, да что объ этомъ говорить! Ты и безъ словъ поймешь меня»...

«Ты и безъ словъ поймешь меня». Не знаю,—понялъ ли его Боткинъ, но самъ Бѣлинскій не понималъ себя или, лучше сказать, совѣстился понять себя. Теперь всѣ его страданія—страданія неудовлетворенной личной жизни, страстная потребность любви и дружбы. А гдѣ ихъ взять? Московскіе друзья—далеко, любимой женщины нѣтъ совсѣмъ. Сердце говоритъ громко, настойчиво, стонетъ, жалуется, а Бѣлинскому какъ-то совѣстно признаться въ этомъ, онъ все еще не повѣрилъ въ себя, все еще его ясный умъ окутанъ теоретическимъ туманомъ, онъ все еще продолжаетъ считать себя не имѣющимъ, собственно говоря, никакого права на личное счастье, какимъ то отверженнымъ...

«Всѣ эти аллегоріи и «придворные экивоки» клонятся къ тому, что права личнаго человѣка такъ же священны, какъ и мірового гражданина, и что кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ,—а мнѣ тотъ, и другой, и третій равно несносны. Говорить о себѣ, да о себѣ, или все о моихъ, да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,—не хорошо и не умно; но тяжело и давить въ себѣ все и не имѣть никого, кто бы дружески откликнулся на наши стоны... Ахъ, мой добрый Василій, такъ тяжело, какъ еще никогда не бывало! Моя одинокость въ мірѣ терзаетъ меня: никогда такъ мучительно не жаждала душа груди, которая отвѣтила бы вздохомъ на ея вздохъ, которая съ любовью приняла бы на себя усталую отъ горя голову... Великое благо въ сей жизни дружба, и особенно великое для меня, потому что оно одно, которое я вполнѣ вкусилъ; но—знаешь ли что? мужская грудь и холодна, и жестка, и пожатіе грубой мужской руки, хотя бы и дружней, даетъ только жизнь, а не смерть, ту сладкую и блаженную смерть, о которой говоритъ Гете въ своемъ божественномъ «Прометей». А мнѣ хотѣлось бы хоть на мгновение умереть отъ избытка жизни, а послѣ этого, пажалуй, хоть и умереть въ буквальномъ смыслѣ. И что-же? Каждый новый день говоритъ мнѣ: это не для тебя,—пиши статьи и толкуй о литературѣ, да еще о русской литературѣ... Это выше силъ... глубоко оскорбленная натура ожесточается и... хочеть оргій, оргій...

«Вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва!

«Грудь физически здорова; противъ обыкновенія, я даже не кашляю; но она вся истерзана, въ ней нѣтъ мѣста живого. Да, земля вспахана и обработана,—каковы-то плоды будутъ?..

«Питеръ принялъ меня хорошо и ласково, но мнѣ отъ этого только грустнѣе... А, впрочемъ, душа моя Тряпичникъ, я жуирую... у князя Одоевскаго по субботамъ встрѣчаюсь съ посланниками...» и проч.

Уже изъ предыдущаго читатель можетъ вообразить себѣ, какъ интересны

были для В. Г. Бѣлинскаго эти встрѣчи съ посланниками и какъ великолѣпно держалъ онъ себя въ разговорахъ съ высокопоставленными персонами. Едва ли въ свѣтскомъ обществѣ отъ него могли добиться чегонибудь, кромѣ мычанія и озлобленнаго угрюмаго взгляда. Совсѣмъ не того просила душа. Его томило одиночество, его, эту глубоко общественную натуру, всегда тянуло къ близкимъ людямъ, въ товарищескій кружокъ, гдѣ-бы его могли не только слушать, но и понимать. *Здѣсь*, въ Петербургѣ, его не понимаютъ, не цѣнятъ. Онъ чувствуетъ это, доходитъ до полного упадка духа, до полного безвѣрія въ будущее и, конечно, какъ всегда, прежде всего винить самого себя. Почему на самомъ дѣлѣ не можетъ онъ сойтись съ обществомъ?—задаетъ онъ себѣ вопросъ. Вѣдь тамъ и здѣсь попадаются хорошіе люди, значить въ его натурѣ есть какой-то недочетъ. Онъ слишкомъ привыкъ витать въ эмпиреяхъ, прикладывая ко всему абсолютную мѣрку недосыгаемаго для человѣка совершенства, слишкомъ щедръ на презрѣніе къ другимъ. «Ну и сиди въ такомъ случаѣ въ углу»... Онъ, какъ и раньше въ подобныя-же тяжелыя минуты нравственной пригнетенности, повторяетъ: «надо быть проще», проще во всемъ—въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, къ ихъ слабостямъ, недостаткамъ, даже пошлости и мелочности, надо сломить свою гордыню, которая не даетъ больше удовлетворенія. Но всѣ эти «надо», хотя бы тысячу разъ повторенныя—пустыя слова. Эти «надо»—мысль, дѣйствительность—одиночество.

9-го февраля 40-го года онъ пишетъ Боткину:

«Вотъ тебѣ, Б., и интервалъ—съ 3 числа скачокъ на 9. Это очень вѣрно характеризуетъ мою жизнь и состояніе моего духа (впрочемъ, теперь во мнѣ духа нѣтъ ни на грошъ). По крайней мѣрѣ, ты и изъ этихъ скачковъ увидишь, что я не писалъ къ тебѣ не по равнодушію къ тебѣ, и собесѣдовалъ съ тобою чаще, нежели ты предполагалъ. Итакъ, о Лермонтовѣ. Каковъ его «Терекъ»? Чортъ знаетъ—страшно сказать, а мнѣ кажется, что въ этомъ юношѣ готовится *третій* русскій поэтъ, и что Пушкинъ умеръ не безъ наследника. Во 2 № О. З. ты прочтешь его колыбельную пѣсню казачки—чудо! А это:

Въ минуту жизни трудную (и пр.; выписано все стихотвореніе).

«Какъ безумный твердилъ я дни и ночи эту чудную молитву,—но теперь я твержу, какъ безумный, другую *молитву*».

И скучно, и грустно!... И некому руку пожать

Въ минуту душевной невзгоды!.. (выписано стихотвореніе).

«Эту *молитву* твержу я теперь потому, что она есть полное выраженіе моего моментальнаго состоянія. Повѣришь ли, другъ Василій,—всѣ желанія уснули, ничто не манитъ, не интересуется, даже чувственность молчать и ничего не просить. А дня черезъ два надо приниматься за статью о *дѣтскихъ книжкахъ*, гдѣ я буду говорить о любви, о благодати, о блаженствѣ жизни, какъ полнотѣ ея ощущенія, словомъ обо всемъ, чего и тѣни, и призрака нѣтъ теперь въ пустой душѣ моей. Полнота, полнота! чудное, великое слово! Блаженство не въ абсолютѣ, а въ полнотѣ, какъ отсутствіи ре-

флексіи при живомъ ощущеніи въ себѣ того участка абсолютной жизни, какой данъ тому или другому человѣку. Что моя абсолютность: я отдалъ бы ее, еще съ придачею послѣдняго сюртука, за полноту, съ какою иной офицеръ спѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачетъ штандартъ»...

Въ подчеркнутыхъ немного выше строкахъ заключается одна изъ безчисленныхъ жалобъ Бѣлинскаго на его работу. Да, эта работа не налаживалась долго, несмотря на то, что Бѣлинскій отдавалъ ей всѣ свои силы. Только въ ней находилъ онъ дѣйствительное утѣшеніе отъ неудачъ своей неустроенной жизни и тѣмъ было досаднѣе, что такая масса неизбѣжныхъ условій дѣлала ее подчасъ невыносимой.

Надо сказать прежде всего, что эта работа была обязательная, срочная, которая къ такому-то и такому числу требовала отъ человѣка и вдохновенія, и напряженія всѣхъ его силъ. Было что-то деспотическое, властное и требовательное въ этой грудѣ книгъ, беспорядочно разбросанныхъ на столѣ, о каждой изъ которыхъ непремѣнно, немедленно и къ такому-то дню слѣдовало дать отчетъ. Бѣлинскій былъ человѣкъ сто разъ русскій, слѣдовательно работать аккуратно и систематически по столько-то часовъ въ сутки онъ рѣшительно не могъ. Онъ даже не мечталъ о такой работѣ. Случалось, что онъ не выпускалъ пера изъ рукъ цѣлыми сутками, случалось наоборотъ, что цѣлыми недѣлями онъ не могъ безъ отвращенія видѣть чернилъ, пера и бумаги. Несомнѣнно также, что если не большая, то во всякомъ случаѣ значительная часть его работы была такой, какая по всей истинѣ и справедливости называется черной. На самомъ дѣлѣ, въ его вѣдѣніи находился весь критическій и библиографическій отдѣлъ Отечественныхъ Записокъ, что сводилось къ тому, что онъ былъ обязанъ: 1) писать критическія статьи, 2) давать отчеты о всей той печатной белибердѣ, которая появлялась на книжномъ рынкѣ, 3) слѣдить за текущей журналистикой, вести полемику, отвѣчать Сенковскому, Гречу, Булгарину и пр. Тутъ было отчего заработать до одури. Но все-же не въ этомъ заключалось главное горе. При своемъ огромномъ литературномъ талантѣ, при невѣроятной прямо усидчивости, Бѣлинскій могъ бы безъ особеннаго труда справляться съ своей нелегкой задачей. Главное затрудненіе заключалось въ немъ самомъ, въ его невѣрїи въ себя, въ невозможности примирить противорѣчія своего внутренняго міра и какъ-бы то ни было раздѣлаться съ своимъ мрачнымъ настроеніемъ.

Легко понять, какъ дается, напр., работа притакоемъ вотъ настроеніи:

«Я давно уже пересталъ ожидать переменъ въ судьбѣ отъ чуда, а въ дѣйствительности вижу—гибель свою...

«Жизнь—ловушка, а мы—мыши, инымъ удастся сорвать приманку и выйдти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ... Будемъ же пить и веселиться, если можемъ, нынѣшній день нашъ,—вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва! Живетъ одно общее, а мы—китайскія тѣни, волны океана—океанъ одинъ, а волнъ много было, много есть

и много будетъ, я кому дѣло до той или другой? Да, жизнь—игра въ банкъ, сорвалъ—твое, сорвали—бросайся въ рѣку, если боишься быть нищимъ...

А подобное настроеніе было господствующимъ втеченіе долгаго времени. Приходилось писать не совсѣмъ такъ, какъ думалось, и волей неволей идти противъ себя. Приходилось въ то же время ежемѣсячно поучать людей и чему? Это было очень трудно для человѣка, который самъ еще не зналъ хорошенько ни своихъ силъ, ни истинныхъ своихъ стремленій и только искалъ правды жизни. Конечно, какъ натурѣ пылкой, способной озаряться въ минуты творческаго вдохновенія, Бѣлинскому казалось иногда, что все для него ясно, что истина находится у него въ рукахъ. Тогда онъ садился за столъ и писалъ свою «критику». Но проходилъ подъѣмъ духа, ослабѣвали силы, успокоивалась кровь и зачастую Бѣлинскому приходилось краснѣть передъ самимъ собою за написанное наканунѣ. Онъ испыталъ полностью эти иллюзіи вдохновенія, эти обманы волнующейся крови, и онъ узналъ, какъ мучительны эти иллюзіи, какъ тяжелы эти обманы! Въ томъ же февралѣ 40-го года онъ пишетъ Боткину:

«Тебѣ не понравилась моя статья въ XII № «От. Зап.». Я это зналъ. Въ самомъ дѣлѣ, не вытанцовалась. А странное дѣло, писалъ съ такимъ увлеченіемъ, съ такою полнотою, что и сказать нельзя: напишу страницу, да и прочту Панаеву и Я-ву. Въ разбить-то они больно восхищались, а какъ потомъ прочли въ цѣломъ, такъ не понравилась. Я самъ думалъ о ней, какъ о лучшей моей статьѣ, а какъ напечаталась, такъ не могъ и перечестъ. Какъ нарочно это случилось тотчасъ послѣ прочтенія твоей статьи. Признаюсь въ грѣхѣ—я было крѣпко приунылъ. Хотѣлось мнѣ въ ней, главное, намекнуть пояснѣе на субстанціальное значеніе идеи общества, но какъ я писалъ къ сроку, и къ спѣху, сочиняя и пиша въ одно и то же время, и какъ хотѣлъ непременно сказать и о томъ, и о другомъ,—то и не вытанцовалось. Теперь я ту же бы пѣсенку, да не такъ бы спѣлъ. Что она тебѣ не понравилась—это такъ и должно быть: ты понимаешь дѣло и смотришь на него не снизу вверхъ, но досадно, что и людъ-то божій ей недоволенъ»...

Довольно долго, особенно-же въ первое время по прїѣздѣ на Петербургъ, Бѣлинскому положительно пришлось пробивать себѣ дорогу. Въ Москвѣ онъ уже пользовался нѣкоторой извѣстностью, въ Петербургѣ-же его не зналъ почти никто, кромѣ развѣ литературныхъ кружковъ. Но тутъ-то, въ этихъ кружкахъ и таились главные его непріатели.

«Въ письмѣ 14 марта Бѣлинскій, между прочимъ, останавливается на печальномъ положеніи своихъ журнальныхъ дѣлъ, зависѣвшемъ отъ труднаго положенія самаго журнала. Въ первые годы положеніе «Отч. Записокъ» было, въ самомъ дѣлѣ, очень неблагоприятное. Первоначально онѣ были основаны въ видѣ небольшого общества на акціяхъ, изъ нѣсколькихъ человѣкъ. Одни внесли свою долю, другіе не вносили вовсе; нѣкоторые изъ участниковъ вмѣшивались въ самое веденіе дѣла, ставили условія, крайне стѣснительныя

для журнала,—такъ что изданіе, на первый годъ, конечно, не имѣвшее много подписчиковъ, стѣсненное этимидомашними препятствіями и, наконецъ, встрѣченное враждебно компаніей «Библ. для Чтенія» и «Сѣверной Пчелы» (имѣвшими тогда большое вліяніе на публику)—могло удержаться только при большомъ упорствѣ редакціи. Въ этомъ упорствѣ недостатка не было, и Бѣлинскій, самъ крайне непрактическій, не могъ довольно надивиться твердому характеру редакціи, ея самоотверженію (о которомъ послѣ сталъ судить иначе). Общее состояніе журнала отражалось, конечно, и на дѣлахъ Бѣлинскаго.

Бѣлинскій рассказываетъ о трудныхъ обстоятельствахъ изданія. Для него сдѣлано было все: редакція трудится безъ устали, все отлично устроено; порядочные люди пристали къ журналу, дали ему характеръ и единство (что есть, изъ другихъ журналовъ, только въ «Библиотекѣ»), мысль, жизнь, одушевленіе (которыхъ нѣтъ ни въ одномъ журналѣ), а между тѣмъ дѣло неидетъ:

«И добро бы Сенковскій мѣшалъ? — Нѣтъ, Гречъ съ Булгаринимъ—хвала и честь расейской публикѣ... Живя въ Москвѣ, я даже стыдился много и говорить о Гречѣ, считая его призракомъ; но въ Питерѣ онъ авторитетъ больше Сенковскаго. Лекціи свои онъ началъ читать, чтобы уронить «О. З.»—онъ говорить это публично. Вотъ тебѣ и дѣйствительность!.. Но если бы и не это, если бы у меня и были деньги, мнѣ все не легче: я теперь понимаю саркастическую жолчность, съ какою Гофманъ нападалъ на идіотовъ и филистеровъ; я связанъ съ расейскою публикою страшными узами, какъ съ постылою женою»...

Бѣлинскій въ письмахъ этого времени часто возвращается къ милой компаніи Греча и Булгарина; онъ говорилъ о ихъ всемогуществѣ, о ихъ владычествѣ надъ расейскою публикою и увѣряетъ, что безъ ихъ нападокъ «Отеч. Зап.» имѣли бы 3000 подписчиковъ вмѣсто 1800.

Эти представленія о «владычествѣ» Греча,—замѣчаетъ Пыпинъ,—могутъ показаться теперь преувеличенными. По всей вѣроятности, Бѣлинскій въ этомъ случаѣ говорить отчасти подъ вліяніемъ того, что слышалъ отъ редакціи журнала, которая придавала большую важность Гречу и компаніи, между прочимъ опасаясь отъ нихъ вреда для подписки, и постоянно противъ нихъ ратовала. Но и не одна редакція «Отеч. Записокъ» имѣла такое мнѣніе о «владычествѣ» Греча. Напомнимъ статью кн. Одоевскаго о «польской» литературной партіи конца тридцатыхъ годовъ, которую онъ изображаетъ какъ цѣлую злонамѣренную стачку, приписывая ей систематическіе замыслы и тонкую интригу. Въ сущности, дѣло было безъ сомнѣнія проще. Не было, конечно, недостатка въ интриганствѣ, какое изображаетъ кн. Одоевскій и которое иной разъ могло быть очень опасно; «Сѣверная Пчела» пользовалась особеннымъ довѣріемъ генерала Дуббельта..., но кн. Одоевскій тѣмъ не менѣе, вѣроятно, преувеличилъ силу «систематической» интриги: съ этой стороны опасность являлась уже нѣсколько позднѣе, и «польской» интриги было несравненно меньше, чѣмъ русской. Въ литературномъ смыслѣ, писателямъ «Отеч. Запи-

сокъ» не было никакого труда бороться съ ихъ противниками; каждый успѣхъ публики въ литературномъ пониманіи былъ паденіемъ ихъ враговъ; но на первое время эти враги могли казаться серьезными врагами именно потому, что имѣли великій авторитетъ въ массѣ полубразованной публики, считавшей Греча великимъ знатокомъ русскаго языка, Булгарина—прекраснымъ романистомъ и правописателемъ, Сенковского—образцомъ остроумія и т. д. Вопросъ былъ, слѣдовательно, не столько въ борьбѣ съ этой партіей, сколько въ воспитаніи самой публики, неразвитость которой могла создать такое «владычество». Въ письмахъ того времени, Бѣлинскій не находилъ достаточно сильныхъ эпитетовъ для пошлости читающей публики и предметовъ ея почитанія...

Выходитъ, такимъ образомъ, что Гречъ и Булгаринъ могли очень и очень досажать Бѣлинскому, могли даже вырвать какъ-то у него фразу: я больше счастливъ какою-нибудь удачной выходкой противъ Булгарина, Греча и подобныхъ п..., нежели дѣльной критической статьей. Такія слова могъ произнести только журналистъ, истинный журналистъ по призванію. И Бѣлинскій на самомъ дѣлѣ все болѣе и болѣе дѣлался имъ.

Вы конечно помните, съ какимъ великолѣпнымъ презрѣніемъ относился онъ къ «большой публикѣ» въ Москвѣ, особенно во время редактированія «Наблюдателя». Онъ положительно не хотѣлъ ея знать. Онъ мечталъ, что возлѣ его журнала соберутся интеллигентныя силы и интеллигентные читатели, которые, вмѣстѣ съ нимъ, будутъ наслаждаться выводами высшей философіи и прочими отвлеченностями. Онъ зналъ, что масса публики падка на политику, и хотѣлъ совершенно устранить ее изъ своего журнала. Онъ не заботился даже о популярныхъ статьяхъ, которыя казались ему совершенно излишнимъ балластомъ. Въ Петербургѣ, этотъ взглядъ рѣзко мѣняется, какъ вообще рѣзко мѣняется и самъ Бѣлинскій. Завоевать эту большую публику, пріобрѣсти ея симпатіи, расположеніе, опрокинуть авторитетъ Греча и Булгарина—такова теперь ясная и опредѣленная задача, которую поставилъ передъ собой Бѣлинскій. Онъ спрашиваетъ, напр., себя:

«Чѣмъ взялъ Сенковский?—Основною мыслію своей дѣятельности, что учиться не надо, и что на все въ мірѣ надо смотрѣть шутя. Русскій чело-вѣкъ любитъ жить на шеромыгу... Потомъ, кого любитъ наша публика?—Греча, Булгарина,—да, они, особенно первый, въ Питерѣ, даже при жизни Пушкина, были важнѣе его и доселѣ сохраняютъ свой авторитетъ. О публичныхъ лекціяхъ Греча и теперь говорятъ, какъ о чудѣ, съ восторгомъ и благоговѣніемъ. Вотъ наша публика: давайте-жъ, о невинныя московскія души, скорѣе давайте ей Шекспира—она ждетъ его. Нѣтъ, переведите-ка лучше всего В. Гюго съ братією, да всего Поль-де-Кока, да и издайте великолѣпно съ романами Булгарина и Греча, съ повѣстями Брамбеуса и драмами Полевого: тутъ успѣхъ несомнителенъ; а бѣднаго Шекспира печатайте въ журналахъ—только въ нихъ и прочтутъ его»...

Читатель, даже просто число читателей, начинают приобретать в его глазах огромное значение. Узнавши о намерении москвичей выпустить отдельным изданием Ричарда II-го в перевод Кетчера, он насмшливо пишет Боткину:

«Вѣдь ты вѣрно для того желаешь видѣть «Ричарда» в печати, чтобы его читали и прочли? Знаешь ли ты, что «Макбета», переведеннаго известнымъ литераторомъ—Вронченко, разошлось ровно пять экземпляровъ?.. Я того и гляжу, что премудрый синедріонъ, состоящій изъ московскихъ душъ, вздумаетъ перевести всего Шекспира и великолѣпно издать его для удовольствія российской публики. Смотрите же, господа, печатайте больше—экземпляровъ 100,000: российская публика просвѣтится, а вы настройте себѣ каменныхъ домовъ и купите деревень. Въ Питеръ бы васъ, дураковъ—тамъ-бы вы поумнѣли, тамъ-бы вы узнали, что такое российская дѣйствительность и российская публика. Въ журналѣ она прочтетъ и Шекспира: за журналъ она платитъ деньги, и за свои деньги читаетъ все сплошь»...

Да, нужны читатели, нужны подписчики на журналы, нужны покупатели книгъ. Это единственное условіе, при которомъ литература можетъ достигнуть самостоятельности. Иначе она не можетъ избавиться отъ зависимости, отъ гг. меценатовъ, которыхъ конечно Бѣлинскій ненавидитъ отъ всей души. Все больше и больше сознавалъ онъ въ себѣ журналиста, работающаго для всѣхъ, а не кабинетнаго мыслителя, не кружковаго писателя. Онъ пишетъ по этому поводу Боткину:

«Да, по прежнему брезгаю французами... но идея общества обхватила меня крѣпче,—и пока въ душѣ останется хоть искорка, а въ рукахъ держится перо,—я дѣйствую. Мѣчи нѣтъ, куда ни взглянешь—душа возмущается, чувства оскорбляются. Чтѣ мнѣ за дѣло до кружка—во всякой стѣнѣ, хотя бы и не китайской, плохое убѣжище. Вотъ уже нашъ кружокъ и рассыпался, и еще больше рассыплется, а куда приклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность? Нѣтъ, къ чорту всѣ высшія стремленія и цѣли! Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму, мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку «О. З.» Я литераторъ,—говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупѣть, чтобы расейская публика лучше понимала меня: благодаря одурающему вліянію финскихъ болотъ—надѣюсь вполне успѣть въ этомъ».

Или:

«... Мы *) еще не безъ надеждъ. Несмотря на промахи Каткова (ст. о снахъ), на мои (глухая статейка о брошюркахъ Жук. и Глинки, надъ которою смѣялся весь Питеръ и публично тѣшился Гречъ), на Краевского (рецензія о повѣстяхъ Павлова, на которую ропталъ весь Питеръ), и пр., и пр.; несмотря на новое

*) Т. е. „Отечественныя Записки“.

и непереваримое для нашей публики направлѣніе «О. З.», нынѣшній годъ, вмѣсто того, чтобы убавиться стами тремя подписчиковъ, ихъ прибавилось сотни три... «На слѣдующій годъ онъ еще ожидаетъ прибавки)... Это тѣмъ вѣроятнѣе, что «конкретности» и «рефлексинъ» исключаются рѣшительно, кромѣ ученыхъ статей... и вообще нынѣшній годъ популярнѣе и живѣе, а между тѣмъ публика уже и привыкаетъ къ новости... «Библи. для Читенія» падаетъ. См. (Смирдинъ) ее продаетъ чуть не съ аукціона».

Заботы о «большой публикѣ» совсѣмъ не пустяки, какъ это можетъ показаться отвлеченно настроенному читателю, и особенно характерны они для Бѣлинскаго, корорый лишь съ величайшимъ трудомъ разставался съ аристократическими (въ умственномъ отношеніи) традиціями кружка Станкевича. Съ той поры, какъ онъ переѣхалъ въ Петербургъ, его страшно стало тяготить одиночество, и какъ человѣка, и какъ журнальнаго работника. Онъ плохо сходился съ людьми, въ литературѣ же на самомъ дѣлѣ онъ былъ окруженъ самыми беззастѣнчивыми врагами. Между прочимъ, укажу на странное противорѣчіе его натуры: его постоянно тянуло къ людямъ, въ ихъ общество, а вмѣстѣ съ тѣмъ страшная конфузливость мѣшала сближенію. Говорятъ, что Некрасовъ думалъ о Бѣлинскомъ, когда создавалъ свою «Застѣнчивость». И Бѣлинскій самъ сознавалъ этотъ свой мучительный недостатокъ. Въ минуты упадка духа, онъ отъ всего сердца завидовалъ тѣмъ, у кого

...Поступь гордая, голосъ увѣренный;
Что ни скажутъ, ихъ рѣчь хороша...

и онъ со стономъ, готовъ былъ жаловаться на то, что—

...вотъ я то сижу, какъ потерянный,
И ударится въ пятки душа,

—что у него

Странно руки висятъ бесполезныя,
На устахъ замираютъ слова...

«...Одно,—пишетъ онъ,—меня ужасно терзаетъ: робость моя и конфузливость не ослабѣваютъ, а возрастаютъ въ чудовищной прогрессіи. Нельзя въ люди показаться... Истинное Божіе наказаніе! Это доводитъ меня до смертельнаго отчаянія. Что это за дикая странность? Вспомнилъ я рассказъ матери моей. Она была охотница рыскать по кумушл.амъ..., я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькою, нанятою дѣвкою: чтобы я не беспокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била. Можетъ быть—вотъ причина. Впрочемъ, я не былъ груднымъ: родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и не зналъ ея..., сосалъ я рожокъ, и то, если молоко было прокисшее и гнилое—свѣжаго не могъ брать. Потомъ: отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно—вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ быть въ этомъ разгадка дикаго явленія. *Я просто боюсь людей, общество ужасаетъ меня.*»

Разумѣется, эта болѣзненная робость и застѣнчивость не могла не отразиться и на всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго. Странное дѣло! Послѣ шести лѣтъ упорной работы, онъ все еще не вѣритъ въ себя, стыдится своихъ статей, боязливо спрашиваетъ,—повравились ли онѣ, огорчается каждымъ отрицательнымъ отзывомъ, а самое главное, все еще не смѣетъ положиться на себя. Ему непремѣнно нуженъ какой-нибудь авторитетъ, на который онъ могъ-бы опереться.

Но смыслъ пребыванія Бѣлинскаго въ Петербургѣ сводится къ тому, что онъ постепенно возвращается къ самому себѣ и освобождается отъ всякаго посторонняго вліянія. Въ Петербургѣ на самомъ дѣлѣ онъ одинокъ, нѣтъ рядомъ кружка Станкевича и нѣтъ товарищескаго деспотизма, такъ долго тяготѣвшаго надъ свободной и смѣлой мыслью нашего великаго критика. Сначала ему жутко, тоскливо, но эта тоска, усиленная и назойливая предвѣщаетъ лишь скорое возрожденіе. Возродиться для Бѣлинскаго—значило прежде всего повѣрить въ себя, свое призваніе, свой талантъ. Страшно трудно далась ему эта вещь, которая для другихъ ровно ничего не значить. По натурѣ своей онъ—одинъ изъ тѣхъ «несчастливыхъ», вся жизнь которыхъ есть одно непрестанное развитіе, одно непрестанное движеніе впередъ. Онъ не могъ остановиться ни на минуту, но такъ какъ долгое время онъ шелъ по совершенно ложному пути, то за весь этотъ тяжелый промежутокъ времени, всякій шагъ впередъ означалъ для него отрицаніе предшествовавшаго шага, или, иными словами, отрицаніе самого себя. И онъ сидѣлъ въ одиночествѣ подавляемый грустными мыслями о собственномъ ничтожествѣ и твердилъ по сту разъ въ день самыя мрачныя изъ стиховъ Лермонтова, наиболѣе отвѣчавшіе его настроенію. Особенно ему нравились «Молитва» и «Дума». А между тѣмъ его тянуло въ жизнь къ людямъ, къ власти надъ этой большой публикой, такъ радостно воспринимавшей пошлыя выходки Греча, Булгарина, Сенковскаго. Онъ уже почувствовалъ, что только эта умственная власть можетъ удовлетворить его, зналъ и средство для этого—журналистику, но какъ то робѣлъ и стыдился, попросту не смѣлъ. Онъ то и дѣло извинялся въ своей «журналоманіи», такъ какъ съ точки зрѣнія его московскихъ пріятелей, заниматься журналистикой—дѣло въ большей или меньшей степени презрѣнное. Когда онъ узналъ, что Боткинъ собирается писать для О. З., онъ отвѣчалъ ему:

«Не повѣришь, Боткинъ, я съ ума схожу отъ радости—ты вдвое началъ существовать для меня теперь. Не думай, чтобы это выходило изъ моей *журналоманіи*—увѣряю тебя, что она давно уже прошла, уступивъ мѣсто разумному сознанію и глубокому убѣжденію, что для нашего общества журналъ—все, и что нигдѣ въ мірѣ не имѣетъ онъ такого важнаго и великаго значенія, какъ у насъ. Не болѣе пяти сочиненій разошлось у насъ, во сто лѣтъ, въ числѣ 5000 экз.,—между тѣмъ есть журналъ съ 5000 подписчиковъ! Это что-нибудь значить! Журналъ поглотилъ теперь у насъ всю литературу—публика не хочетъ книгъ—хочетъ журналовъ,—и въ журналахъ печатаютъ цѣликомъ драмы и романы, а книжки журналовъ—каждая въ пудъ вѣсомъ. Теперь

у насъ великую пользу можетъ приносить, для настоящаго, и еще больше для будущаго кафедре, но *журналъ большую, ибо для нашего общества прежде науки нужна человѣчность, гуманистическое образованіе*».

Онъ сознавалъ въ себѣ прирожденную способность быть настоящимъ журнальнымъ борцомъ, истиннымъ распространителемъ этой самой человѣчности и этого самаго гуманистическаго образованія, но чтобы рѣшительно и безповоротно выступать въ этой роли, надо было прежде всего покончить съ собственными затрудненіями и противорѣчіями.

Онъ выѣхалъ изъ Москвы съ нѣкоторыми завѣтами, которые долгое время были для него настоящими мѣшками съ пескомъ на ногахъ. Сущность этихъ завѣтовъ сводилась къ необходимости развитія въ себѣ *Entsagung*—самоотреченія во что-бы то ни стало. *Надо* отказаться отъ личнаго счастья, *надо* примириться съ своей участью, какова-бы она ни была, *надо* уничтожить въ себѣ неудовлетворенность. И Бѣлинскій соглашался, что все это дѣйствительно *надо*. Но прямо наперекоръ его волѣ возрастала въ немъ жажда и потребность личнаго счастья. Признать эту жажду и эту потребность законными и необходимыми онъ долго не рѣшался. Что же въ такомъ случаѣ дѣлать и великолѣпнѣйшимъ *Entsagung*?

«Ты говоришь—пишетъ онъ Боткину,—что я мало развилъ въ себѣ *Entsagung*? Можетъ быть его и совсѣмъ нѣтъ во мнѣ. Такъ какъ я понимаю его въ другихъ и высоко цѣню, то недостатокъ его въ себѣ я считаю ограниченностью, въ которой, однако-жъ, не стыжусь признаться. Кажется, что для меня настаетъ время такихъ *простыхъ* признаній. По крайней мѣрѣ, теперь они для меня очень не трудны. Я этому радъ. Вообще я уже много посбавилъ себѣ цѣны въ собственномъ мнѣніи, и надѣюсь, что скоро сознаю себя тѣмъ, что я есть—безъ пошлаго смиренія и пошлой гордости. А можетъ быть, во мнѣ и кроется возможность этого таинственнаго *Entsagung*; но какъ это *мнѣ* узнать. Вообрази себѣ мужика, который всю жизнь свою не ѣдалъ ничего, кромѣ хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиною, и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы и калачей и кандитерскихъ издѣлій и плодовъ: можно сказать, что у него нѣтъ самообладанія и человѣческой воздержности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра... а захвативши что-нибудь, начнетъ пожирать съ звѣрскою жадностью, а когда у него стануть отнимать, онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ? Какъ же отъ него требовать *Entsagung*? У всякаго есть *своя исторія, мой добрый Василій*»...

«У всякаго своя исторія», но этой-то своей исторіи и не хотѣлъ понимать Бѣлинскій. *Entsagung* противорѣчило его натурѣ и темпераменту, но за нимъ стояло огромное философское ученіе, деспотически властвовавшее надъ умомъ. Это ученіе говорило, что жизнь есть—*общее*, а человѣкъ, личность, индивидуальность—*частное*. *Частное* очевидно должно уступать честь и мѣсто общему; и примириться съ такимъ роковымъ и неизбѣжнымъ положеніемъ дѣлать—главная обязанность человѣка. Но всякій понимаетъ, какъ трудно дается это примиреніе, потому что приходится забывать самого себя... *Общее*—это Молохъ.

Не угодно-ли самого себя принести ему въ жертву, И Бѣлинскій все больше и больше возмущался этой «необходимостью».

«Ты пишешь,—говорить онъ между прочимъ Боткину,—что Бакунинъ любить одно общее. О, поропадай это ненавистное общее, этотъ Молохъ, пожирающій жизнь, эта гремушка эгоизма!.. Лучше самая пошлая жизнь, чѣмъ *такое* общее, чтобъ чортъ его побралъ! Пусть лучше данъ будетъ моему разумѣнню маленькій уголокъ живой дѣйствительности, чѣмъ сухое и эгоистическое (общее). Ты пишешь, что у меня такая же способность отвлеченія, какъ у М.; такъ, да не такъ; я резонеръ и рефлектировщикъ, правда, — но зато, какъ скоро представляли передъ меня дивныя явленія дѣйствительности въ искусствѣ и жизни, я посылалъ къ черту свою рефлексію, и никогда не мѣнялъ *человѣка на книгу*»...

Въ другой разъ онъ пишетъ:

„Письмо твое, отъ 21-го мая, любезный Боткинъ, и обрадовало и глубоко тронуло меня. Я хотѣлъ-было отвѣчать, но статья о Лермонтовѣ отвлекла меня. Не могу дѣлать вдругъ двухъ дѣлъ... Другъ, понимаю твое состояніе, и не виню тебя за то, что ты тяготишься людьми и требуешь уединенія и природы... Страданіе твое болѣзненно, въ немъ много слабости и безсилія, но не вини въ этомъ ни себя, ни свою натуру. Мы, въ этомъ отношеніи, все какъ двѣ капли воды: по жизни ужасныя дряни, хотя по натурамъ и очень не пошлые люди... На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силою отторгнутого отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ идти къ приобрѣтенію разумной непосредственности, къ *очеловѣченію*. Положеніе истинно трагическое! Въ немъ заключается причина того, что наши души походятъ на дома, построенныя изъ корокъ—вездѣ щели. Мы не можемъ шагу сдѣлать безъ рефлексіи, беремъ за кушанье съ нерѣшимостью, боясь, что оно вредно. Что дѣлать? Гибель частнаго въ пользу общаго—мировой законъ. Въ утѣшеніе наше (хоть это и плохое утѣшеніе) мы можемъ сказать, что хоть Гамлетъ (какъ характеръ) и ужасная дрянь, однако-жъ онъ возбуждаетъ во всехъ еще больше участія къ себѣ, чѣмъ могучій Отелло и другіе герои шекспировскихъ драмъ. Онъ слабъ, и самому себѣ кажется гадокъ, однако только пошляки могутъ называть его пошлякомъ и не видѣть проблесковъ великаго въ его ничтожности. Воспитаніе лишило насъ религіи, обстоятельства жизни (причина которыхъ въ состояніи общества) не дали намъ положительнаго образованія и лишили *всякой* возможности сродниться съ наукою; съ дѣйствительностію мы въ ссорѣ и по праву ненавидимъ и презираемъ ее, какъ и она по праву ненавидитъ и презираетъ насъ. Гдѣ-жъ убѣжище намъ?—На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ. Но послѣднія наши ссоры показали намъ, что для призраковъ нѣтъ спасенія и на необитаемомъ островѣ. Я разстался съ тобою холодно (дѣло прошлое!), безъ ненависти и презрѣнія, но и безъ любви и уваженія, ибо потерялъ всякую вѣру въ самого себя. Въ Петербургѣ, съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ

лицу съ обществомъ,—и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москвдушию*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?“...

Бѣлинскому суждено было найти такой же исходъ, и вся программа этого исхода уже заключается въ коротенькомъ письмѣ отъ 4-го октября 40-го года: *Проклинаю* мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ чловѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предрасудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!—какъ воскликнулъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность выше исторіи, выше чловѣчества*. Это мысль и дума вѣка! Боже мой, страшно подумать, что со мною было—горячка или помѣшательство ума—я словно выздоравливающій. Да, Б., ты ничего путнаго не сдѣлаешь, хотя и доказалъ, что ты много-много прекраснаго могъ бы сдѣлать; но ни ты, ни твоя натура въ томъ не виноваты. Это общая наша участь,—и на этотъ счетъ я спою тебѣ славную пѣсенку—

Толпой угрюмою и скоро позабытой,

Надъ міромъ мы пойдемъ, безъ шума и слѣда (и проч.).

Ну, а пока будемъ что-нибудь дѣлать хоть для забавы, разсѣянія отъ скуки или отъ бесполезныхъ думъ объ испанскихъ дѣлахъ“...

Глава X.

Возрожденіе.

Нѣтъ ничего отраднѣе и даже—сказалъ бы я—болѣе возвышающаго душу, какъ зрѣлище возрожденія чловѣка, который послѣ долгихъ томительныхъ годовъ исканія нашель твердую опору для своего духовнаго міра, для своего нравственнаго и умственнаго развитія и, вернувшись къ себѣ, сознавъ истинныя потребности своей природы и темперамента, является передъ нами какъ бы преображеннымъ. Тоска замѣняется вѣрою, упадокъ духа — бодростью. Это именно и случилось съ Бѣлинскимъ. Что возродило его? Городъ Петербургъ съ дѣловитымъ, холоднымъ складомъ своей жизни? Конечно нѣтъ. Ни одного петербургскаго принципа жизни Бѣлинскій не облюбовалъ и ни однимъ не увлекся. Онъ до самой своей смерти остался такимъ-же идеалистомъ, какимъ былъ раньше въ Москвѣ и еще до того въ Пензѣ. Правда, самъ онъ не разъ говорилъ, что его „передѣлалъ Питеръ“,— но не надо придавать особеннаго значенія этимъ словамъ. „Питеръ“ никогда никого не возрождалъ и возро-

дять не может по самому существу своему;—вотъ наоборотъ развѣ. Бѣлинскаго конечно возродила работа и *любовь* — первая и единственная въ его жизни раздѣленная любовь къ женщинѣ. Когда мало-по-малу онъ началъ сознавать свою силу и вліяніе, когда онъ увидѣлъ, что съ нимъ считаются, онъ, какъ работникъ по призванію, не могъ не приподнять своей усталой головы, и успѣхъ влилъ значительную бодрость въ его измученное сердце. Да, надо работать, только работать, не думая о себѣ; думая лишь о *человѣкѣ*, котораго жизнь растаптываетъ такъ презрительно и равнодушно. „Для меня человѣческая личность выше исторіи выше общества, выше человѣчества“,—говорить онъ въ письмѣ къ Боткину. Эта-то человѣческая личность и была тѣмъ камнемъ краеугольнымъ, на которомъ онъ воздвигъ свое новое міросозерцаніе. Пусть жизнь огромна, велика, могущественна, пусть она считаетъ за собой мириады вѣковъ прошлаго—все-же человѣкъ не обязанъ падать передъ ней ницъ, а напротивъ того—онъ долженъ призывать ее къ суду передъ своимъ сознаніемъ, своими нравственными запросами и добиваться во что-бы то ни стало своего личнаго и общаго счастья. Теперь передъ нами уже настоящій Бѣлинскій, тотъ, который не выносилъ никогда никакого вѣшняго давленія и почти ребенкомъ понялъ всѣ ужасы крѣпостного права. «Если несчастенъ я, и несчастны другіе,—значить жизнь неразумна»,—такъ рассуждаетъ онъ и инстинктивно онъ всегда такъ думалъ, хотя и не рѣшался высказать подобнаго рода ересь. Когда исходная точка найдена,—сдѣлать изъ нея выводъ не трудно, и Бѣлинскій съ обычной своей страстностью и неистовствомъ принялся за эту работу. Мы уже видѣли, что онъ рѣзко измѣнилъ свой взглядъ на Шиллера. Презрѣнный Шиллеръ сталъ для него великимъ Шиллеромъ. Онъ ненавидѣлъ его прежде за то, что его поэзія исполнена интимными запросами души человѣческой, что въ ней кипитъ страсть, что въ ней слышатся проклятія злу жизни. Но теперь, когда онъ призналъ законность всего этого—Шиллеръ сталъ ему дорогъ и даже дороже олимпійски спокойнаго, величаваго Гете. По той-же причинѣ онъ примирился съ французами и пересталъ находить глупыми и пошлыми ихъ увлеченія идеалами лучшаго общественнаго устройства. Съ откровенностью генія раскрывается онъ въ своихъ прежнихъ ошибкахъ и увлеченіяхъ.

«Однако-жъ,—пишетъ онъ Боткину въ концѣ 40-го г.,—чортъ возьми, я ужасно измѣняюсь; но это не страшитъ меня, ибо съ пошлою дѣйствительностью я все болѣе и болѣе расхожусь, въ душѣ чувствую больше жару и энергіи, больше готовности умереть и пострадать за свои убѣжденія. Въ прошедшемъ меня мучатъ двѣ мысли: первая, что мнѣ представлялись случаи къ наслажденію, и я упускалъ ихъ, вслѣдствіе пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примиреніе съ гнусною дѣйствительностію. Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатано, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича, въ гадкой статьѣ о Менцелѣ: какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности—его родины... И этого-то благороднаго и великаго по-

эта назвалъ я печатано крикуномъ, потомъ риемованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о «Горе отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это — благороднѣйшее, гуманическое произведение, энергическій (и при томъ еще первый) *протестъ* противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и пр. и пр. и пр.»

Онъ вспоминаетъ другія подобныя идеи, которымъ еще такъ недавно придавалъ абсолютное значеніе, и восклицаетъ: «неужели я говорилъ это?»

«Конечно, идея, которую я силился развить въ статьѣ по случаю книги Глинки «О Бородинскомъ сраженіи», вѣрна въ своихъ основаніяхъ, но должно было бы развить и идею отрицанія, какъ историческаго права, не менѣе перваго священнаго и безъ котораго исторія человѣчества превратилась бы въ стоячее и вонючее болото,—а если этого нельзя было писать, то долгъ *чести* требовалъ, чтобы ужъ и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгалъ я въ неистовствѣ... противъ французовъ—этого энергическаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества?... Проснулся я—и страшно вспомнить мнѣ о моемъ снѣ... *А это насильственное примиреніе съ гнусною расейскою дѣйствительностію*»...

Между прочимъ онъ, вспоминая о первой тяжелой порѣ петербургской жизни и спрашивая себя,—откуда-же были эти муки, этотъ скрежетъ зубовой, говорить: «я страдалъ отъ дѣйствительности, которую называлъ разумною и за которую ратовалъ!» Онъ безконечно благодаренъ Питеру за то, что тотъ открылъ ему глаза на всю пошлость и мерзость окружающей дѣйствительности и на невозможность мириться съ ней.

«Да, Б., только въ Питерѣ... созналъ я, что я человѣкъ, и чего-нибудь да стѣю; только въ Питерѣ узналъ я цѣну нашему человѣческому святому кружку. Мнѣ милы теперь и самыя ссоры наши: онѣ выходили изъ того, что мы возмущались гадкими сторонами одинъ другого. Нѣтъ, я еще не встрѣчалъ людей, передъ которыми мы могли бы скромно сознаться въ своей незначительности. Многихъ людей я отъ души люблю въ Питерѣ, многіе люди и меня любятъ тамъ больше, чѣмъ я того стѣю, но, мой Б., я одинъ, одинъ одинъ! Никого возлѣ меня! Я начинаю замѣчать, что общество Герцена доставляетъ мнѣ больше наслажденія, чѣмъ ихъ: съ тѣми я или говорю о вздорѣ, или тщетно стараюсь завести общій интересный разговоръ, или проповѣдую, не встрѣчая противорѣчія, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызываетъ наружу всѣ мои убѣжденія, я съ нимъ спорю, и, даже когда онъ явно вретъ, вижу все-таки самостоятельный образъ мыслей»...

Мнѣ нечего объяснять великое значеніе, которое имѣлъ новый философскій принципъ Бѣлинскаго и страстная проповѣдь свободы и счастья, начатая теперь. Все противорѣчило ему въ жизни и онъ противорѣчилъ всему. Крѣпостное право стояло какъ скала, а чѣмъ другимъ было крѣпостное право,

как не полнымъ отрицаніемъ личности? Возьмите затѣмъ государственность. Вѣдь въ сущности со времени Петра Великаго и его знаменитаго указа о рекрутской повинности, закабалившаго всю Россію вплоть до 19-го февраля, живетъ и развивается одна грандіозная историческая эпоха наростанія и уплотненія государственнаго начала. Это наростаніе происходило роковымъ, стихійнымъ образомъ, и каждый годъ приносилъ свой камень, чтобы возвысить громадное зданіе.

Государственность въ старомъ смыслѣ слова и полное обезличеніе идутъ всегда рука объ руку. Это два тождественныя явленія, изъ которыхъ одно порождаетъ другое, образуя въ концѣ концовъ переплетъ взаимно дѣйствующихъ силъ. Старая государственность не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе. Онъ долженъ былъ отдать себя всего, безъ остатка, въ службу. Его жизнь была predeterminedъ заранѣе, она вся проходила по чужой волѣ. Лучшій примѣръ такого полного поглощенія человѣка—это военная служба при Николаѣ Павловичѣ, продолжавшаяся цѣлыхъ 25 лѣтъ, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человѣку самому, когда могъ онъ пожить для себя, поѣсть не изъ казеннаго котла, лечь и встать не по барабану, повернуться въ ту сторону, въ которую хочетъ, завестись своей семьей? Ничего и никогда. У насъ — кратковременная повинность, въ то время — поглощеніе человѣка.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, какъ Кальвинъ, объявляла, что для нея не существуетъ людей, а только поступки. Въ Женевѣ ребенокъ, провинившійся въ богохульствѣ, подвергался суровому наказанію. У насъ дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшимъ за то, что онъ думалъ иначе, чѣмъ слѣдуетъ, ввела безконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человѣка, и горе тому, кто отступалъ отъ правила: наказаніе постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была вездѣ, въ канцеляріяхъ и департаментахъ, въ казармахъ и семьяхъ. Отъ крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати замѣтить, многіе помѣщики брали на себя сами руководство половымъ подборомъ), отъ солдата—только службы, отъ чиновника—только исполнительности, отъ дѣтей—только повиновенія.

Даже священники того времени были обязаны проповѣдывать, что главная заслуга заключается въ *покорности* властямъ.

Покорность прекрасна, но не тогда, когда она вызывается жестокостью и ужасомъ. Противъ такой покорности, покорности обезличивающей и обездушивающей cadaго, должна была возстать не только мысль, но и сердце. Вставши на защиту личности и ея правъ, Бѣлинскій геніально прозрѣлъ съ самыхъ сокровенныхъ потребности своего времени. Это было съ его стороны *историческимъ* шагомъ. Теперь онъ идетъ уже рука объ руку со всею жизнью, а не крошечнымъ кружкомъ экзальтированной молодежи.

Измѣнилось все—настроеніе, взглядъ. Къ землѣ, къ борьбѣ съ дѣйстви-

тельностью, притянули самое искусство и постарались привязать его къ ней крѣпкимъ узломъ. Когда-то знаменитый стихъ Пушкина, обращенный къ поэту:—«Ты—царь, живи одинъ»—казался уже смѣшнымъ. «Духъ нашего времени таковъ,—писалъ Бѣлинскій въ 43 г.»—что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничивается птичьимъ пѣніемъ, создаетъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ философскою и историческою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля не достойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній! *Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденій отъ дѣла, сочиненія отъ жизни».*

Такихъ мыслей не было въ тридцатые годы. Тогда они показались бы смѣшными, странными, ненужными. Печоринъ презрительно усмѣхнулся бы, слушая ихъ, хотя несомнѣнно только въ нихъ было его спасеніе: онѣ принесли бы неизмѣримо больше пользы его усталой надломленной душѣ, чѣмъ всѣ поѣздки въ Персію, чѣмъ всѣ романы съ Бѣлами, Мери и т. д.

Умственные интересы измѣнились не менѣе рѣзко. Оказалось уже недостаточнымъ звать Гегеля или Шеллинга или цитировать наизусть Фейербаха. На горизонтѣ впервые появляется поклоненіе естествознанію, и Герценъ пишетъ свои «Письма объ изученіи природы». Въ петербургскихъ журналахъ стали помѣщать статьи по вопросамъ политической экономіи, естественно-научныя обзорѣнія, новыя эстетическія теоріи, и въ то же время впервые была разъяснена русской публикѣ позитивная философія Канта. Движеніе съ каждымъ годомъ проникало и въ даль и въ глубь, но странно: несмотря на политико-экономическія и естественно-научныя формулы, въ которыя оно облеклось, источникомъ его было сердце. Что называется не осушивъ пера, Герценъ послѣ «Писемъ» принимается за «Сороку-Воровку»—этотъ рѣзкій памфлетъ противъ крѣпостничества; вскорѣ затѣмъ появляется удивительно подходящая къ духу времени повѣсть Григоровича «Антонъ-Горемыка». Съ этой минуты на знамени русской мысли красуются крупно и отчетливо написанное слово «народничество».

«Проповѣдь шла все сильнѣе... все одна проповѣдь,—и смѣхъ, и плачь, и книга, и рѣчь, и Гоголь, и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума... и, повторяю, источникомъ всего этого было проснувшееся сердце. Люди тосковали, рвались на просторъ и они знали теперь, почему они тоскуютъ, и чего хотятъ».

Они очевидно хотѣли признанія своихъ правъ, они тосковали о томъ, что имъ не дають возможности полностью развернуть свои силы и способности и о томъ еще, что ихъ меньшій братъ находится въ скотоподобномъ крѣпостномъ состояніи. Верховный принципъ—«человѣческая личность выше всего» разъяснилъ имъ всѣ запутанные узлы современности. Съ его мѣркой подходили они къ окружающему. Бѣлинскій шелъ впереди. Рѣзко и безповоротно отказался онъ отъ *своего* гегелианства и писалъ по этому поводу Боткину: «Глупцы врутъ, говоря, что Гегель превратилъ жизнь въ мертвыя схемы; но это правда, что онъ изъ явленій жизни сдѣлалъ тѣни, сцѣпившіяся костяными руками и пляшущія по воздуху надъ кладбищемъ. Субъектъ у него не самъ себѣ цѣль, но средство для мгновеннаго выраженія общаго, а это общее является у него въ отношеніи къ субъекту Молохомъ, ибо, пощеголявъ въ немъ (въ субъектѣ), бросаетъ его какъ старые штаны. Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля), ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ расейскою дѣйствительностію, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему, я былъ еще послѣдовательнѣе самого Г. (Гегеля), хотя и глупѣе Менцеля. Всѣ толки о нравственности—вздоръ сущій, ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности, какъ и въ объективной религіи (какъ напр. въ индійскомъ пантеизмѣ, гдѣ Брама и Шива—равно боги, т.-е. гдѣ добро и зло имѣютъ равную автономію). Ты—я знаю—будешь надо мною смѣяться... по смѣйся какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т.-е. гегелевской *Allgemeinheit*). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобою—таковскій и былъ сукинъ сынъ... Благодарю покорно, Егоръ Ѳеодорычъ (Гегель)—кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участію идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все, и конца не будетъ. Выписка изъ Эхтермейера порадовала меня, какъ энергическая стучушка по философскому колпаку Г., какъ фактъ, доказывающій, что и нѣмцамъ предстоитъ возможность сдѣлаться людьми, человѣками, и перестать быть нѣмцами. Но собственно для меня тутъ не все утѣшительно. Я изъ числа людей, которые на всѣхъ вещахъ видятъ

хвостъ дьявола,—и это, кажется, мое послѣднее міросозерцаніе, съ которымъ я и умру. Впрочемъ, я отъ этого страдаю, но не стыжусь этого. Человѣкъ самъ по себѣ ничего не знаетъ—все дѣло (зависитъ) отъ очковъ, которые надѣваетъ на него независящее отъ его воли расположеніе его духа, капризъ его натуры. Годъ назадъ я думалъ діаметрально-противоположно тому, какъ думаю теперь,—и право, я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать одно и тоже».

Глава XI.

Кружокъ Бѣлинскаго.

Одиночество Бѣлинскаго. на которое онъ постоянно жалуется, продолжается сравнительно недолго—около года. За это время онъ былъ ближе всего съ Боткинымъ, съ которымъ и переписывался постоянно. Мало-по-малу возлѣ него образовался кружокъ съ самыми замѣтными людьми, въ которомъ были: Герценъ, Тургеневъ, Некрасовъ, Кавелинъ и ненадолго—Достоевскій. Съ этимъ своимъ кружкомъ Бѣлинскій не разставался уже до могилы. Къ нашему счастью и благополучію, мы на основаніи многочисленныхъ воспоминаній и писемъ можемъ составить полное представленіе не только о взглядахъ кружка, но и о его интимной будничной жизни. Но сначала нѣсколько словъ о дружбѣ Бѣлинскаго съ Герценомъ и Кольцовымъ.

Я знаю только двухъ настоящихъ дѣйствительно достойныхъ этого имени друзей Бѣлинскаго—Герцена и Кольцова. Какъ ни далеки они другъ отъ друга по своимъ взглядамъ на жизнь, какъ ни много ступеней общественной лѣстницы раздѣляло ихъ,—оба они однако отличались той чуткостью, которая дала имъ возможность увидѣть во всей ея красотѣ душу Бѣлинскаго, эту больную, измученную душу, обыкновенно подавленную горами житейскаго мусора. И Кольцовъ, и Герценъ—*любили* Бѣлинскаго, а натура послѣдняго была именно изъ такихъ, которыхъ надо много любить, чтобы хоть сколько нибудь понимать. И въ этой любви, дѣлающей человѣка прозорливымъ, одинаково сошлись и сынъ богатаго родовитаго барича, одаренный блестящимъ умомъ и огромнымъ литературнымъ талантомъ и сынъ прасола съ его непосредственнымъ «черноземнымъ» гениемъ.

Мнѣ случилось какъ то дать такую характеристику Герцена: «Судьба щедро надѣлила его умомъ, талантомъ, матеріальными средствами, и вмѣстѣ съ тѣмъ его жизнь не можетъ быть названа счастливой. Нельзя не вѣрить его искренности, и когда онъ говоритъ напр. въ «Быломъ и Думахъ»:

«Разочарованіе, усталъ, Blasirtheit» сказали бы о моихъ выболѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, разочарованіе! да, усталъ! Разочарованіе—слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается лѣнь сердца,

эгоизмъ, придающій себѣ видъ любви, звучная пустота самолюбія, имѣющаго притязанія на все, силы—ни на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти высшія неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомерія въ жизни и романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ ли нѣтъ чего нибудь истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихъ въ смѣшныя пародіи и пошлый маскарадъ...»

Вступая въ жизнь, Герценъ могъ рассчитывать на лучшую участь. Суровость, съ какою съ нимъ поступали въ юности, обидѣла эту властную, гордую натуру, и онъ далъ себѣ клятву не мириться никогда. Роковой шагъ эмиграціи всю жизнь тяготѣлъ надъ нимъ своими тяжелыми послѣдствіями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; какъ Байронъ, онъ не нашелъ нигдѣ покоя. Швейцарія опротивѣла ему своимъ мелкимъ расчетливымъ мѣщанствомъ, Англія — своимъ крупнымъ мѣщанствомъ, Франція — своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграціи, вернуться въ Россію онъ не могъ, не хотѣлось—да и къ чему бы это повело? Бросая его изъ угла въ уголь, изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, эмиграція окружала его всегда чужимъ обществомъ или, лучше сказать, — это общество было его только на половину. Съ эмигрантами другихъ странъ онъ не могъ чувствовать никакой кровной связи, свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чѣмъ радости... А тутъ еще семейная неурядица — постоянная, мучительная.

Но почему же Герценъ не могъ сойтись съ эмиграціей ни съ молодой, ни со старой? Да просто по той причинѣ, что его интересы и интересы всевозможныхъ эмигрантовъ были въ сущности совершенно различны. Герценъ постоянно смотрѣлъ впередъ и гораздо больше видѣлъ въ немъ, читалъ въ немъ, чѣмъ вѣрилъ въ него. Онъ предсказалъ неуспѣхъ революціи 48-го года, франко-германскую войну, торжество политики Бисмарка. Онъ былъ настроенъ на мрачный ладъ, и что же было дѣлать ему среди фанатиковъ, ожидавшихъ торжества своихъ идей, проектовъ, предположеній чуть ли не на завтрашній день. Ему не было мѣста между ними еще и потому, что въ немъ крѣпко сидѣла черта, обшая почти всѣмъ дѣятелямъ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ одного Бѣлинскаго—это черта умственного аристократизма, своего рода даже пресыщенія. Старое барство отзывалось въ этомъ и всегда съ невыгодой для тѣхъ, кто былъ его преемникомъ. Возьмите Тургенева и Герцена, — оба они, не смотря на весь демократизмъ своихъ убѣжденій, никакъ не могли сойтись съ тѣми людьми, которые были плоть отъ плоти и кровь отъ крови демократіи. Ихъ коробили манеры, языкъ, замашки «новыхъ людей», выступившихъ въ Россіи на сцену въ шестидесятыхъ годахъ. Они искали изящества, особенной утонченности чувствъ и идей и, разумѣется, не находили ихъ у дѣятелей, явившихся на смѣну ихъ поколѣнію. Но больше всего ихъ мучило — и это настоящее слово — отъ догматизма мысли, отъ всего, что провозглашалось съ безусловной самоувѣренностью и съ ненавистью къ какому бы то ни было

ограниченію, возраженію, колебанію. Они извѣдали слишкомъ много, ихъ жизнь была слишкомъ богата, они не признавали никакого подчиненія. Въ ихъ взглядѣ на вещи чувствуется пресыщеніе и утомленность. Художественная за-кваска, своего рода диллетантизмъ жизни ставилъ между ними и истинными «практиками» непреодолимую преграду—и это несмотря на искреннее желаніе обѣихъ сторонъ сговориться, несмотря даже на общность теоретическихъ убѣжденій. Умственный аристократизмъ — очень характеренъ, повторяю, для Герцена, но полное его разъясненіе завело бы насъ слишкомъ далеко.

Онъ пришелъ къ отчаянію, если хотите—пессимизму. И что на самомъ дѣлѣ оставалось ему?

Терпѣть, не жаловаться? Но у Герцена натура была не такая. Его злоба, раздраженіе, грусть неотразимо просились наружу, какъ просились они у Байрона и у всѣхъ людей того же гордаго типа. И Герценъ, и Байронъ могли писать *только о себѣ*; своими насмѣшками надъ врагами, своими жалобами на свою долю они наполняли цѣлыя страницы, цѣлые томы. Русскій изгнанникъ чувствовалъ, что онъ сродни великому англійскому поэту.

«Байронъ, — пишетъ Герценъ, — нашедшій слово и голосъ для своего разочарованія и своей усталости, былъ слишкомъ гордъ, чтобы притворяться, чтобы страдать для рукописекъ; напротивъ, онъ часто горькую мысль свою высказывалъ съ такимъ юморомъ, что добрые люди помирали со смѣху. Разочарованіе Байрона больше, чѣмъ капризъ, больше, нежели личное настроеніе. Байронъ сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требованія его были ложны, а потому, что Англія и Байронъ были двухъ разныхъ возрастовъ, двухъ разныхъ воспитаній и встрѣтились именно въ ту пору, когда туманъ разсѣялся. Разрывъ, который Байронъ чувствовалъ какъ поэтъ и гений, сорокъ лѣтъ тому назадъ, послѣ ряда новыхъ испытаній, послѣ грязнаго перехода съ 1830—1848 г. и гнуснаго съ 48 до сегодншняго дня поразилъ теперь многихъ. И мы, какъ Байронъ, *не знаемъ куда дѣться, куда преклонить голову.*»

Да къ этому въ концѣ концовъ и даже ни на полномъ еще закатѣ своихъ дней, пришелъ Герценъ и не могъ не придти, такъ какъ съ непомерной требовательностью, съ все разлагающимъ анализомъ относился онъ къ жизни. Онъ не шелъ никогда ни на какіе компромиссы, не могъ радоваться ни блготворительнымъ концертамъ ни копеечнымъ изданіямъ для народа. Чудная картина простыхъ *человѣческихъ* отношеній между людьми постоянно казалась передъ его глазами. Онъ хотѣлъ многого—хотѣлъ *правды въ жизни*, хотѣлъ отсутствія лжи, лицемерія—значить хотѣлъ и тѣхъ условій, которыя даютъ всякому возможность быть искреннимъ, не трусомъ,—а смѣлымъ, исполненнымъ своего чело-вѣческаго достоинства и глубоко носящимъ въ себѣ сознаніе своей внутренней святости — своего «я»... Хотѣть этого—значить хотѣть всего. А жизнь шла другимъ путемъ и другое торжествовало вокругъ Герцена. И онъ осудилъ и—быть можетъ—даже слишкомъ строго осудилъ.

Но не сразу. У него была чудная молодость, здоровая, веселая, блестящая

и продолжительная, на которой какъ то исчезаетъ даже сѣрое пятно ссылокъ. И Герценъ въ то время (1830—1848) былъ здоровымъ, блестящимъ, веселымъ. Все удавалось ему — дружба, любовь, работа, и онъ повялъ то счастье, то веселье жизни, которыя недоступны такимъ измученнымъ больнымъ пролетаріямъ, какъ Бѣлинскій, или Достоевскій. «Ложь» и лицемѣріе жизни, — (ихъ онъ видѣлъ постоянно своимъ пронизательнымъ умомъ) — такъ рѣзко, съ такимъ гениальнымъ остроуміемъ выставленныя имъ въ запискахъ д-ра Крупова — этого чудака и оригинала, пришедшаго къ мысли, что всѣ такъ называемые здоровые люди въ дѣйствительности сумашедшіе, сознательно портящіе себѣ жизнь рабскимъ и трусливымъ повиновеніемъ обычаямъ и приличіямъ — эта ложь и лицемѣріе какъ бы исчезали передъ свѣтлой и радостной картиной будущаго, нарисованной молодостью, сознаниемъ своего таланта и независимости.

Герценъ тогда рвался на борьбу и побѣду и пока его огромныя силы находили себѣ исходъ только въ литературѣ, гдѣ онъ съ 43 года шель рука объ руку съ Бѣлинскимъ.

На самомъ дѣлѣ въ ихъ натурахъ и убѣжденіяхъ было по существу много общаго. Свою *личную* самостоятельность они оба цѣнили выше всего, это *право* самостоятельности они оба распространяли не всѣхъ людей; они оба искали для нея опоры въ дѣйствительности и находили ее въ образованіи, наукѣ, матеріальной обезпеченности. Въ словѣ человекъ, личность, для нихъ заключалась разгадка жизни, звучало что-то святое. Они какъ бы впитали въ себя знаменитый афоризмъ Новалиса: «помни, что когда ты дотрогиваешься до руки человекъ, ты дотрогиваешься до колонъ храма, въ которомъ обитаетъ божество». И когда оба они видѣли этотъ храмъ, это человѣческое сердце загрязненнымъ и униженнымъ, эту жизнь его сведенную къ приходо-расходной книгѣ, къ мелкимъ и пошлымъ заботамъ, «чтобы не быть хуже другихъ» — они скорбѣли то сильно и горько, то въ тяжеломъ раздумьи. И въ это-же время оба они одинаково были исполнены вѣры. То мрачное, тоскливое настроеніе, которое впоследствии рѣзко окрасило все міросозерпаніе Герцена и которому онъ слишкомъ даже подчинялся по излишней требовательности своей натуры, — еще таилось въ глубинѣ его души и рѣдко и какъ бы случайно прорывалось наружу.

Оба повторяю рвались къ борьбѣ и побѣдѣ...

Я рассказалъ выше о непродолжительной ссорѣ между ними и о томъ, какъ она закончилась. Этотъ эпизодъ научилъ ихъ еще больше уважать другъ друга. Если-бы Бѣлинскій остался до конца на своей всепримиряющей точкѣ зрѣнія, если-бы Герценъ увлекся славянофильствомъ — это было бы огромнымъ ударомъ и огромной потерей для обояхъ. Но на счастье это не случилось и оба смѣло могли гордиться другъ другомъ. Драгоценна и любопытна характеристика, какую даетъ Бѣлинскій Герцену.

Бѣлинскій между прочимъ получилъ интермедію къ «Кто виновать»? (для задуманнаго имъ альманаха); она опять доставила ему большое удовольствіе, и онъ пишетъ слѣдующее:

«Я изъ нея окончательно убѣдился, что Г-нъ — большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилетантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Онъ не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать: но вѣдь и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ «Генріадѣ», но и въ «Кандидѣ»; — однако его «Кандидъ» потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія онъ уже пережилъ и еще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію, — и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны; а какъ люди — ограничены и чуть не глупы (Пушквинъ, Гоголь). У Г-на, какъ у природы по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборотъ — талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ его натурѣ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у него много и таланта и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все рождаетъ самъ изъ себя и пользуется умомъ какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ — а таланта насквозь пропитаннаго умомъ».

Еще нѣжнѣе были отношенія къ Бѣлинскому со стороны Кольцова. Они познакомились вѣроятно вначалѣ 30-хъ годовъ черезъ Станкевича и сразу же оцѣнили и поняли другъ друга. Переписка между ними началась однако позже. Заѣзжая въ Москву, Кольцовъ всегда посѣщалъ Бѣлинскаго, также дѣлалъ онъ потомъ въ Петербургѣ. Друзья проводили время за «безконечнымъ чаемъ въ безконечныхъ бесѣдахъ», главнымъ предметомъ которыхъ являлась, конечно, литература. Кольцовъ былъ умный человѣкъ, не только гениальный поэтъ; несмотря на очень скромную внѣшность, несмотря на то, что въ обществѣ онъ всегда старался зайти въ уголъ и деликатно соглашался со всякимъ, — у него обо всемъ было свое собственное мнѣніе, всегда очень тонкое и нѣсколько ироническое. Бѣлинскій цѣнилъ въ немъ эту черту такъ-же, какъ цѣнилъ и его дарованіе; и когда Кольцовъ умеръ, своей превосходной статьей о немъ Бѣлинскій воздвигъ ему вѣчный памятникъ.

Узнавши о переездѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ, Кольцовъ писалъ ему: „Въ Питеръ — въ часъ добрый. Жить, поживать приѣвваючи. Каковъ Петербургъ? — Сѣрь, и воздухъ мутенъ, и дни грустны; — на первый разъ онъ, кажется, для всѣхъ таковъ, а обживешься съ нимъ, и получшаешь, и чѣмъ ужъ дальше, тѣмъ лучше да лучше, а наконецъ и вовсе полюбится... Какъ бы мнѣ хотѣлось теперь хоть маленькую получить отъ васъ вѣсточку!.. Я терплю и думаю, что у васъ шли все такія обстоятельства, что вамъ было не до меня и, можетъ быть, порою часто не до себя, иначе я не могу и думать объ вашемъ долгомъ-долгомъ молчаньи. Если и теперь не до меня, — не пишите еще, справляйтесь съ своими внутренними и внѣшними требованіями; Богъ дастъ,

придетъ время лучшее, тогда можно поговорить и со мною... Я знаю васъ, и это сознаніе всегда говоритъ мнѣ такъ же, какъ и прежде»... Онъ посылаетъ Бѣлинскому нѣсколько стихотвореній, отдавая на его рѣшеніе: что лучше — напечатать, что не хорошо — оставить».

Кольцовъ вообще самъ не рѣшался судить о своихъ стихотвореніяхъ, испрашивалъ обыкновенно мнѣнія Бѣлинскаго.

Въ другихъ письмахъ (отрывкахъ), начала 1840, онъ рассказываетъ Бѣлинскому о своей домашней и дѣловой жизни, которая начинала крайне тяготить его: ему становилась невыносима «матеріальность», торговыя дѣла, какъ они велись въ его кругу, и полное одиночество въ его нравственныхъ интересахъ. Онъ не жалуется, но рассказываетъ, и съ раздраженіемъ сознаетъ, что ему даже становится трудно писать къ Бѣлинскому, съ которымъ такъ хотѣлось бы бесѣдовать; онъ винитъ себя въ недостаткѣ воли, въ малодушіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ думаетъ, что не могъ бы ничего сдѣлать противъ окружающаго, еслибы и захотѣлъ.

«Вотъ и теперь — пишу, а о чемъ? Думать тошно, а силы нѣтъ горю пособить: мнѣ даны отъ Бога море желаній, и съ кузовокъ души. Я очень знаю, что вы такое, да вамъ надобно того, что часто у меня не дома... Еще и то порою приходило въ мысль, чтобы васъ не беспокоить слишкомъ черезчуръ мелкою дрязгою;... хоть я и давно замѣчалъ въ васъ болѣе во сто разъ (расположенія), чѣмъ въ другихъ, но все-таки боялся: душа темна... Мнѣ возвыситься до вашей дружбы мудрено;... я вашъ давно, но вы мой еще недавно».

Бѣлинскій отвѣчалъ ему нѣжно и ласково; самъ измученный жизнью, онъ все же находилъ въ себѣ достаточно силы, чтобы поддерживать другихъ.

Въ то время какъ друзья пріятели Бѣлинскаго, видя и слыша его каждый день, долго не могли сообразить, что за великая сила находится передъ ними, — Кольцовъ опѣнилъ его сразу.

«Не шутя, — пишеть онъ напр., — и не лѣтя говорю вамъ: давно я васъ люблю, давно читаю ваши мнѣнія, читаю и учусь, но теперь читаю ихъ больше... и понимаю лучше. Много ужъ они сдѣлали добра, но болѣе сдѣлають... Ваша рѣчь — высокая, святая рѣчь убѣжденія»...

Бѣлинскій звалъ его изъ Воронежа перебраться въ Петербургъ или Москву; онъ зналъ, что провинція и ужасная семейная обстановка, скоро погубятъ эту молодую, стихійно неводержанную силу, но Кольцовъ рано началъ смотрѣть на себя, какъ на обреченнаго и отказывался. Повидимому онъ одинаково ясно сознавалъ свою участь и считалъ ее неизбѣжной.

«Бѣдный Кольцовъ, какъ глубоко страдаетъ онъ, — пишеть Бѣлинскій къ Боткину. — Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждетъ — одни скоты блаженствуютъ, но тѣ и другіе равно умрутъ: таковъ вѣчный законъ Разума. Ай да разумъ! Какъ пріѣдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи, чтобы тотчасъ же увѣдомилъ меня; а если поѣдетъ въ Питеръ, чтобы прямо ко мнѣ и искалъ бы меня на Васильевскомъ острову (слѣдуетъ адресъ)... У меня теперь большая квартира, и намъ съ нимъ будетъ просторно»...

Кольцовъ побывалъ въ Петербургѣ у Бѣлинскаго всего одинъ разъ, въ концѣ 40-го года. Нечего и говорить, какъ радостна была встрѣча, какъ тяжела разлука. И она была-бы еще тяжелѣе, если-бы они знали, что видятся въ послѣдній разъ.

Бѣлинскій ничего не скрывалъ отъ Кольцова, и тому было невыразимо грустно видѣть, что человѣкъ, котораго онъ считаетъ великимъ, запутался и растерялся въ противорѣчіяхъ собственной мысли. Какъ-то онъ пишетъ Бѣлинскому: «Мнѣ какъ-то теперь вы все дѣлаетесь ближе и каждая ваша боль больна и мнѣ. Когда же прояснится вашъ горизонтъ? Или онъ чистъ и теперь? Напишите,—вы меня обрадуете».

Чѣмъ ближе къ катастрофѣ, тѣмъ грустнѣе и безнадежнѣе становились письма Кольцова, но дѣлать было уже нечего, хотя Бѣлинскій и старался обманывать себя въ томъ смыслѣ, что спасеніе еще возможно.

«О Кольцовѣ нечего и толковать,—пишетъ Бѣлинскій къ Боткину отъ 31 марта 1842 г.—Я писалъ къ нему, чтобы онъ все бросалъ и, *спасая душу*, ѣхалъ въ Питеръ. Я бы не сталъ его приглашать къ себѣ изъ вѣжливости или такъ—такими вещами я теперь не шучу. Богаты не будемъ, сыты будемъ. За счастье почту дѣлиться съ нимъ всѣмъ... Пиши къ нему и заклинай ѣхать, ѣхать и ѣхать»...

Но эти приглашенія остались безъ отвѣта. 19 октября 1842 г. Кольцовъ умеръ; Бѣлинскій узналъ объ этомъ только въ концѣ ноября изъ стихотворенія «На смерть Кольцова», присланнаго какимъ-то мѣстнымъ стихотворцемъ.

Первое впечатлѣніе было то-же, какое уже испытывалъ Бѣлинскій, теряя самыхъ дорогихъ людей, — сухое чувство горя, которое въ первое время не находить себѣ выраженія и ложится на душу камнемъ. Въ первомъ письмѣ онъ не сказалъ Боткину больше того, что было выше приведено. Во второй разъ онъ пишетъ о Кольцовѣ отъ 9 декабря, отвѣчая своему другу; Боткина событіе привело очевидно, кромѣ горя, и въ крайнее негодованіе противъ семьи, роль которой въ судьбѣ Кольцова была ему извѣстна. Бѣлинскій пишетъ:

«Смерть Кольцова тебя поразила. Что дѣлать? На меня такія вещи иначе дѣйствуютъ: я похожъ на солдата въ разгарѣ битвы — палъ другъ и братъ — ничего — съ Богомъ — дѣло обыкновенное. Оттого-то, вѣрно, потеря сильнѣе дѣйствуетъ на меня тогда, какъ я привыкну къ ней, нежели въ первую минуту. Объ отцѣ Кольцова думать нечего: такой случай могъ бы вооружить перо энергическимъ, громоноснымъ негодованіемъ гдѣ-нибудь, а не у насъ. Да и чѣмъ виноватъ этотъ отецъ, что онъ — мужикъ? И что онъ сдѣлалъ особеннаго? Воля твоя, а я не могу питать враждебности противъ волка, медвѣдя, или бѣшеной собаки, хотя бы кто изъ нихъ растерзалъ чудо-генія или чудо красоты, такъ же, какъ не могу питать враждебности къ паровозу, раздавившему на пути своею челоуѣка. Поэтому-то Христосъ, видно, и молился за палачей своихъ, говоря: не вѣдятъ бо, что творять. Я не могу молиться ни за волковъ, ни за медвѣдей, ни за бѣшенныхъ собакъ, ни за русскихъ купцовъ и мужиковъ, ни за русскихъ судей и квартальныхъ; но и не могу пи-

татъ къ тому или другому изъ нихъ личной ненависти. И *что* напишешь объ отцѣ Кольцова и *какъ* напишешь? Во-1-хъ, и написать нельзя, во-2-хъ, и напиши—онъ вѣдь не прочтетъ, а если и прочтетъ—не пойметъ, а если и пойметъ—не убѣдится. Издать сочиненія Кольцова—другое дѣло; но какъ издать, на что издать, и проч. и проч. и проч. Совокупность всѣхъ такихъ вопросовъ парализуетъ мой духъ и производитъ во мнѣ апатію. Эта апатія, я начинаю догадываться, есть особенный родъ отчаянія».

Какъ я говорилъ выше, Бѣлинскій написалъ біографію Кольцова, чудное художественное произведеніе, исполненное задушевности и любви. Вы помните окончательную его оцѣнку:

«Кольцовъ родился для поэзіи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа въ полномъ значеніи этого слова. Быть, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтой, а душой, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни,—зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ и по своей натурѣ, и по своему положенію былъ вполнѣ русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали, и веселію, а вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаянія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ онъ жалуется, что у него нѣтъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ
На людей поглядѣть;
Чтобъ порой предъ бѣдой
За себя постоять;
Подъ грозой роковой
Назадъ шагу не дать;
И чтобъ съ горемъ, въ пиру,
Быть съ веселымъ лицомъ;
На погибель идти—
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собой сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спѣлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотреть на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ: прочтите его «Пѣсню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его «Крестьянской пирушкѣ» и въ пѣснѣ:

Что ты спишь, мужичокъ!
Вѣдь ужъ лѣто прошло,
Вѣдь ужъ осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ;
Вслѣдъ за нею зима
Въ теплой шубѣ идетъ,
Путь свѣжкомъ порошить,
Подъ санями хруститъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Хлѣбъ везутъ, продаютъ,
Собираютъ казну,
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашель онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ пѣнтякѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклоченныя бороды, и старыя онучи— и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзии. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, можетъ-быть еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ складывается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсней составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копейки, то прожитое счастье, то жалоба на судьбу-мачиху.

Въ одной пѣснѣ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одинокому; въ другой выражено раздумье крестьянина, на что ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отцомъ, рассказывать ребятишкамъ сказки, болѣть, стариться. Такъ,—говоритъ онъ,—хоть оно и не того, но ужъ такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? «Гдѣ избытокъ мой зарыть лежать?» И это раздумье разрѣшается въ саркастическую русскую иронию:

Куда глянешь—всюду наша степь;
На горахъ—лѣса, сады, дома;
На днѣ моря—груды золота;
Облака идутъ—нарядъ несутъ!..

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка—тамъ поэзія Кольцова доходить до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество образовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучить душу мука смертная,
Вонь изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился—
Горе мыкать, жизнью тѣшиться:
Съ злою долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни («Измѣна суженой») прочтите пѣсню: «Ахъ, зачѣмъ меня»—какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Послѣ Бѣлинскаго многіе писали о Кольцовѣ, но лучшей оцѣнки онъ не дождался. Эта оцѣнка Бѣлинскаго сдѣлана столько-же критическимъ умомъ, сколько любовью и дружбой.

Самое существенное объ отношеніи Бѣлинскаго къ Тургеневу приведено много выше, когда я говорилъ о воспоминаніяхъ послѣдняго. Здѣсь мнѣ остается добавить нѣкоторыя второстепенныя подробности. Бѣлинскій, какъ извѣстно, первый разгадалъ огромное художественное дарованіе и написалъ очень лестную, для начинающаго автора, статью, по поводу его стихотворной поэмы «Параша». Это закрѣпило пріязнь и въ Петербургѣ. Тургеневъ часто бывалъ у Бѣлинскаго въ его скромной квартирѣ и вель съ нимъ безконечные разговоры о самыхъ отвлеченныхъ вещахъ—о Богѣ, о безсмертіи души и т. д. Бѣлинскій, какъ всегда, спорилъ съ огромнымъ, страстнымъ увлеченіемъ, нисколько не жалѣя своей надорванной большой груди. Вы конечно помните наивное восклицаніе, однажды вырвавшееся у него: «Какъ вамъ не стыдно, Тургеневъ: мы еще не рѣшили вопроса о существованіи Бога, а вы уже хотите обѣдать»... Стыдить Тургенева Бѣлинскому приходилось и не только за юношескій нетерпѣливый аппетитъ. Нашъ великій романистъ въ то далекое время былъ юнъ и неопытенъ; постоянно нуждаясь въ деньгахъ, онъ безъ разбора занималъ направо и налево и мало заботился объ уплатѣ долговъ. Бѣлинскому это не нравилось и онъ говорилъ объ этомъ Тургеневу въ глаза. Не нравилось ему и то, что Тургеневъ, разъѣзжая по салонамъ, увѣрялъ своихъ аристократическихъ знакомыхъ, преимущественно дамъ, что занимается

литературой лишь такъ себѣ, между прочимъ, и никогда не беретъ денегъ за работу, печатая лишь изъ одолженія къ издателямъ. И за это невинное хвастовство стыдилъ Бѣлинскій своего юнаго друга.

Все это конечно мелочи, но эти мелочи прекрасно отгѣняютъ роль, которую игралъ Бѣлинскій въ своемъ кружкѣ. Онъ былъ не только умственнымъ и литературнымъ авторитетомъ, «не только нашимъ знаменитымъ критикомъ», но въ то-же время и нравственнымъ руководителемъ для многихъ... и кажется больше всего для Некрасова.

Всѣмъ, конечно, хорошо извѣсто, въ какомъ тяжеломъ или даже прямо ужасномъ положеніи находился Некрасовъ, въ первые годы своей самостоятельной жизни. Ему приходилось жить въ подвалахъ, голодать и выносить всякія обиды и притѣсненія со стороны окружающаго, которое обыкновенно такъ немилостиво къ неудачнику. За какое дѣло онъ ни брался,—ничто не шло у него, даже литература. Первый сборникъ его стихотвореній «Мечты и Звуки», оказался ниже всякой критики и долго валялся на полкахъ книжныхъ магазиновъ, пока самъ Некрасовъ не скупилъ, наконецъ, оставшіеся экземпляры своего уродливаго дѣтища. Но странно—Некрасовъ не падалъ духомъ. Онъ все чего-то ждалъ, чего-то надѣялся, не приходилъ въ отчаяніе. Основа его природы была удивительно здоровая—даже могучая, способная вынести всякія тяготы жизни и добиться своего. Но на самомъ дѣлѣ горизонтъ мало-по-малу прояснился. Почти безъ гроша денегъ Некрасовъ принялся за изданіе альманаховъ, расхоронившихся очень бойко, и черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ изданія Современника онъ былъ уже богатымъ человекомъ. Боюсь высказать эту мысль, но мнѣ кажется, что въ жизни человека ничего никогда не пропадаетъ. Всякій опытъ, всякая удача и неудача, всякое ощущеніе и чувство оставляютъ въ характерѣ свой слѣдъ, совершенно стереть который нѣтъ никакой возможности. Поэтому я думаю, что и годы нищеты и униженій не могли не испортить Некрасова и слишкомъ даже развили практическую сторону его природы. Онъ зналъ, когда надо было уступить, когда поклониться, и уступалъ и кланялся и измѣнялъ себѣ и друзьямъ. Чернышевскій расплакался, прочтя въ ссылкѣ одно изъ его стихотвореній «ad hoc» написанныхъ; Елисѣевъ называетъ его героемъ рабомъ, тоже дѣлаетъ Михайловскій. Некрасовъ дѣйствительно умѣлъ прекрасно лавировать. Не знаю, нужно ли его за это обвинять, можно ли оправдывать, но полагаю,—нѣтъ рѣшительно ни малѣйшаго основанія считать его неискреннимъ поэтомъ.

Въ этомъ случаѣ я уже полагаюсь на чутье публики прежде всего. Если-бы Некрасовъ такъ и постоянно обманывалъ, онъ не былъ-бы любимымъ поэтомъ милліоновъ. Такой чудовищный плагиатъ прямо невозможенъ въ жизни, не представляю себѣ одинаково и притворства втеченіе десятилѣтій. Въ трехъ пунктахъ, или лучше, мотивахъ своей поэзіи Некрасовъ представляется мнѣ безусловно искреннимъ: тамъ, гдѣ онъ говоритъ о страданіяхъ униженныхъ и

и оскорбленныхъ, т. е. прежде всего народа, тамъ гдѣ онъ вспоминаетъ о своей матери и—о Бѣлинскомъ. И это послѣднее воспоминаніе было для него дѣйствительно святымъ. Панаева-Головачева рассказывала Добролюбову, что Некрасовъ признавался ей, что можетъ писать лишь въ тѣ минуты, когда на него нахлынутъ воспоминанія о Бѣлинскомъ. «Такъ пусть-же онъ почаще вспоминаетъ о немъ»—отвѣчалъ суровый Добролюбовъ. Некрасовъ, какъ человѣкъ замѣчательно умный, не могъ, конечно, не понимать, какая огромная разница между его характеромъ и характеромъ Бѣлинскаго, и онъ конечно признавалъ превосходство послѣдняго, идеализировалъ его даже, и кто знаетъ,—отъ сколькихъ ошибокъ и увлеченій спасъ его этотъ идеалъ, явившійся передъ нимъ въ конкретной формѣ друга и руководителя юности. Безконечно важно запастись на всю жизнь такими «святыми воспоминаніями». Это вѣрные и неизмѣнные друзья!

А вотъ когда только о прохвостахъ вспоминать приходится, ну...

Посмотримъ теперь на интимную жизнь кружка и на его времяпрепровожденіе.

«Бѣлинскій,—рассказываетъ Кавелинъ,—имѣлъ на меня и на всѣхъ чарующее дѣйствіе. Это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили во всѣхъ насъ, отдавался имъ страстно, наполнилъ ими все свое бытіе. Прибавьте къ этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, безпощадность къ самому себѣ, при большомъ самолюбіи, и вы поймете, почему этотъ человѣкъ господствовалъ въ кружкѣ неограниченно. Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхъ часто бывалъ неправъ, увлекался страстью далеко за предѣлы истины; мы знали, что свѣдѣнія его (кромѣ русской литературы и ея исторіи) бывали недостаточны; мы видѣли, что Бѣлинскій часто поступалъ какъ ребенокъ, какъ ребенокъ капризничалъ, малодушествовалъ и увлекался... Но все это исчезало передъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которой нельзя было подкупить ничѣмъ,—даже ловкой игрой на струнѣ самолюбія.

Бѣлинскаго въ нашемъ кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно подальше. Бѣда, если она попадала на глаза Бѣлинскому: онъ ее выворачивалъ тотчасъ же напоказъ всѣмъ и неумолимо, язвительно преслѣдовалъ несчастнаго дни и недѣли, не келейно, а соборнѣ, предъ всѣмъ кружкомъ... Извѣстно, что и себя онъ тоже не щадилъ. Панаеву не мало доставалось за его суетность, мнѣ за «прекраснодушіе» и за славянофильскія наклонности, которыя въ то время были очень сильны. Вліяніе Бѣлинскаго на мое нравствен-

ное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ моей жизни было неизмѣримо и оно никогда не изгладится изъ моей памяти».

«Какъ мы проводили время и что происходило въ нашемъ капельномъ кружкѣ, это легко представить себѣ всякій, кто знакомъ, хоть по наслышкѣ, съ молодыми литературными кружками 30-хъ и 40-хъ годовъ. Аристократическимъ изяществомъ людей съ достаткомъ все мы, кромѣ Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократическіе салоны и литературные тузы были намъ извѣстны только по имени. Но весело намъ было очень, насколько можно было веселиться при тогдашней обстановкѣ... Каждый литературный кружокъ, въ томъ числѣ и нашъ, былъ тогда похожъ на секту, въ которую новые члены принимались трудно, по испытаніи и рекомендаціи. Мы мечтали о лучшемъ будущемъ, не формулируя положительно, какимъ оно должно быть, жадно собирали все анекдоты, слухи и рассказы, изъ которыхъ прямо или косвенно слѣдовало... приближеніе иного времени... также жадно и зорко слѣдили за всякимъ проявленіемъ въ словѣ или печати мыслей и стремленій, которыми были преисполнены. Каждый мѣсяцъ приносилъ намъ новинку—статью, а иногда и больше, Бѣлинскаго, которую читали и перечитывали. Жоржъ-Зандъ и французская литература... пользовались великимъ авторитетомъ. За событіями политическими въ Европѣ мы слѣдили внимательно, но нельзя сказать, чтобъ съ настоящимъ пониманіемъ.

«Взаимныя отношенія членовъ кружка были самыя дружескія, тѣсныя, интимныя. Камертонъ имъ давалъ Бѣлинскій. Шуткамъ и остроуміямъ, часто и неостроумнымъ, не было конца. Запѣвалой былъ почти всегда Бѣлинскій... Споры и серьезные разговоры не велись методически, а всегда перемежались и смѣшивались съ остротами и шутками.

«Все это очень извѣстно и обыкновенно въ нашихъ русскихъ дружескихъ кружкахъ и по складу нашего ума не можетъ быть иначе. Отмѣчу нѣкоторыя особенности нашего тогдашняго кружка, обусловленныя родомъ жизни и вкусами Бѣлинскаго. Онъ работалъ какъ истинно русскій человекъ—запоемъ, и когда могъ отдыхать, т. е. когда необходимость не заставляла его работать, охотно лѣнился, болталъ и игралъ въ карты, ради препровожденія времени. Игрокомъ онъ никогда не былъ. Съ половины мѣсяца, или такъ между 15 и 20 числами, Бѣлинскій исчезалъ для друзей—запирался и писалъ для журнала. Ходить къ нему въ это время было не деликатно. Бѣлинскій болталъ охотно, но проведенное въ разговорѣ время приходилось ему наверстывать ночью, потому что работа была срочная... Съ выходомъ книжки Бѣлинскій становился свободнымъ и приходилъ почти каждый день къ намъ, иногда къ обѣду, но всего чаще тотчасъ послѣ обѣда—играть въ карты... Такъ какъ друзья Бѣлинскаго знали, что онъ почти каждый вечеръ проводитъ у насъ, то приходили къ намъ, и такимъ образомъ квартира наша мало-по-малу обратилась въ клубъ. Каждый вечеръ кто-нибудь изъ друзей забѣгалъ хоть на минуту повидаться съ Бѣлинскимъ, сообщить новость, переговорить о дѣлѣ. Какъ только приходилъ Бѣлинскій послѣ обѣда—тотчасъ же начиналась игра

въ карты, копейная, но которая занимала и волновала его до смѣшного. Заигрывались мы вчасую до бѣла дня. Тургеневъ игралъ спокойно и съ перемѣннымъ счастьемъ; я вѣчно проигрывалъ; Кульчицкому счастье всегда валяло удивительное и онъ игралъ отлично. Бѣлинскій игралъ плохо, горячился, ремизился страшно, и рѣдко оканчивалъ вечеръ безъ проигрыша. На этихъ-то картежныхъ вечерахъ, увѣковѣченныхъ для кружка брошюрой Кульчицкаго: «Нѣкоторыя великія и полезныя истины объ игрѣ въ преферансъ», изданной подъ псевдонимомъ кандидата Ремизова, происходили тѣ сцены высокаго комизма, которыя приводили часто въ негодованіе Т-ва, забавляли друзей, а меня приводили въ глубокое умиленіе и еще больше привязывали къ Бѣлинскому»...

«Повѣрите ли читатель, что въ нашу игру, невиннѣйшую изъ невинныхъ, какая въ худшемъ случаѣ оканчивалась рублемъ-двумя, Бѣлинскій вносилъ всѣ перипетіи страсти, отчаянія, радости, точно участвовалъ въ великихъ историческихъ событіяхъ? Садился онъ играть съ большимъ увлеченіемъ и, если ему везло, былъ доволенъ и веселъ... Поставя нѣсколько ремизовъ, Бѣлинскій становился мрачнымъ, жаловался на судьбу, которая его во всемъ преслѣдуетъ и, наконецъ, съ полнымъ отчаяніемъ бросалъ карты и уходилъ въ темную комнату. Мы продолжали игру какъ будто ни въ чемъ не бывало. Кульчицкій (игравшій обыкновенно счастливо) нарочно ремизился отчаянно и мы шумно выражали свою радость, что наконецъ-то и онъ попался. Послѣ двухъ-трехъ такихъ умысленныхъ ремизовъ и криковъ, сосѣдняя дверь тихонько пріотворялась, и Бѣлинскій выглядывалъ оттуда на игру съ сіяющимъ лицомъ. Еще два-три ремиза—и онъ выходилъ изъ темной комнаты, съ азартомъ садился за игру, и она продолжалась вчетверомъ по-прежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали въ замѣчательныхъ людяхъ и еще сильнѣе къ нимъ привязывали. Та-же черта была и въ Герценѣ.

«Въ эпоху, какую описываю талантъ, нравственная фізіономія и образъ мыслей Бѣлинскаго сложились окончательно и достигли своего апогея. Никакихъ колебаній и шатаній изъ стороны въ сторону не было. Его симпатіи клонились къ сторонѣ Франціи, а не Англій или Германіи. Его идеалы были нравственно соціальныя болѣе, чѣмъ политическіе.

«Политической программы ни у кого въ тогдашнихъ кружкахъ не было. Къ тогдашнему нашему status quo Бѣлинскій относился отрицательно на всѣхъ путяхъ и ненавидѣлъ панславизмъ во всѣхъ его направленіяхъ и со всѣми его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы—пережитое прошедшее, которое и привело къ печальному настоящему. Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подѣ-часъ ребячески, съ чудовищными преувеличеніями, но въ которыхъ всегда лежала вѣрная, свѣтлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Разъ какъ-то въ спорѣ Бѣлинскій съ яростью объявилъ, что черногорцевъ надо вырѣзать всѣхъ до послѣдняго. Другой разъ, по поводу какой-то книги, романа или стиховъ, гдѣ поминались русскіе шлемы, латы, доспѣхи, онъ напечаталъ коротенькую рецензію, въ которой говорилъ,

что ничего этого никто не видалъ, а всё знаютъ лапти, мочалы, рогожи и палки. Враги Бѣлинскаго пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно, отчасти по тупости не хотѣли или не умѣли понять того, что онъ говорилъ или хотѣлъ сказать. Послѣ, положительная сторона его ненавистей и отрицаній выступила яснѣе. Говорятъ, что за-границей онъ страшно тосковалъ и стремился назадъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ Москвѣ, въ одномъ разговорѣ съ Грановскимъ, при которомъ я присутствовалъ, Бѣлинскій даже выражалъ славянофильскую мысль, что Россія лучше съумѣетъ, пожалуй, разрѣшить социальный вопросъ и покончить съ враждой капитала и собственности съ трудомъ, чѣмъ Европа. Но Бѣлинскій ясно понималъ, что тогдашнее положеніе наше, съ ногъ до головы, ненормальное... Онъ вмѣнялъ русскимъ въ особенное достоинство, что они трезвы умомъ, не тарашатся, относятся къ себѣ отрицательно и что имъ нечего охранять. Петра Великаго онъ боготворилъ. «Пишите скорѣй его исторію,—говаривалъ Бѣлинскій;—пройдетъ сто лѣтъ и никто не повѣритъ, что Петръ не миеъ, а историческая дѣйствительность».

Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ даетъ еще болѣе интимное описаніе жизни кружка и роли, какую въ немъ игралъ Бѣлинскій:

«Кружокъ, въ которомъ жилъ Бѣлинскій (разсказываетъ онъ) былъ тѣсно сплоченъ и сохранялся во всей чистотѣ до самой его смерти. Онъ поддерживался силою его духа и убѣжденій. Послѣ его смерти всё какъ-то разбрелись и спутались, но память объ этомъ кружкѣ, вѣрно, до сихъ поръ дорогѣ каждому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ нему...»

Бѣлинскій рѣдко выходилъ изъ этого кружка и показывался въ литературный свѣтъ.

Этотъ свѣтъ изрѣдка открывался для него только въ одномъ домѣ, куда стекались разъ въ недѣлю всевозможныя извѣстности—ученыя, военныя, литературныя, духовныя и великосвѣтскія. Большой гармоніи и одушевленія въ этомъ обществѣ не могло существовать; усиліе хозяина дома сближать литературу съ великосвѣтскимъ обществомъ не удавалось. Для великосвѣтскаго общества, никогда не принимавшаго живого участія въ отечественной литературѣ, вся тогдашняя литература заключалась только въ пяти или шести литературныхъ авторитетахъ, посѣщавшихъ салоны. На остальныхъ литераторовъ и ученыхъ,—людей, по большей части не свѣтскихъ, застѣнчивыхъ,—это общество поглядывало съ нѣсколько оскорбительнымъ любопытствомъ сквозь стеклышки и лорнеты, какъ на звѣрей, спрашивая съ удивленіемъ хозяина дома: «откуда это? что это? Литературные авторитеты не желали сближаться съ этими остальными и удоставали ихъ только изрѣдка своего благосклоннаго вниманія или одобренія...

Это былъ домъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго.

Положеніе записныхъ ученыхъ и литераторовъ было очень не ловко въ этомъ великосвѣтскомъ литературномъ салонѣ. Они обыкновенно съ робостію, съ замирающимъ дыханіемъ пробирались черезъ салонъ, преслѣдуемые дамскими

лорнетами и мужскими стеклышками, въ кабинетъ радушнаго хозяина и тамъ уже, забравшись куда-нибудь въ уголокъ, вздыхали полной грудью.

«Нужно ли было сближать литературу съ великосвѣтскостью, продолжаетъ Панаевъ, это вопросъ, въ разсмотрѣніе котораго я входить здѣсь не буду...

«Но упоминая объ этихъ собраніяхъ, я долженъ сказать, что всѣхъ человѣчнѣе, всѣхъ лучше являлся на нихъ самъ хозяинъ дома, принимавшій съ одинаковымъ радушіемъ, топлотою и искренностію, безъ различія, cadaго своего гостя—какого-нибудь важнаго, значительнаго господина съ украшеніями на фракѣ и бѣднаго, робкаго, еще никому неизвѣстнаго литератора. Это—черта, особенно для того времени, заслуживающая вниманія.

«Бѣлинскій долго не рѣшался появиться въ этомъ салонѣ, несмотря на то, что чувствовалъ большое расположеніе къ его хозяину, доказательствомъ чего было то, что онъ высказывался предъ нимъ вполне, иногда даже съ такою энергіею, которая приводила хозяина салона въ большое смущеніе...

— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердить на васъ,—говорилъ онъ Бѣлинскому.

— Сказать вамъ правду, отчего? — отвѣчалъ улыбаясь Бѣлинскій; — я человѣкъ простой, неловкій, робкій, отъ роду не бывавшій ни въ какихъ салонахъ... У васъ же тамъ бываютъ дамы, аристократки, а я и въ обыкновенномъ-то дамскомъ обществѣ вести себя не умѣю... Нѣтъ, ужъ избавьте меня отъ этого! Вѣдь вамъ же будетъ нехорошо, если я сдѣлаю какую-нибудь неловкость или неприличіе по-вашему.

«Но, несмотря на это, хозяинъ салона непремѣнно хотѣлъ, чтобъ Бѣлинскій былъ въ числѣ его гостей».

Извѣстенъ анекдотъ о томъ, какой переполохъ произвелъ Бѣлинскій на этомъ вечерѣ своей неловкостью, когда, облокотившись по разсѣянности на столикъ съ одной ножкой, уставленный бутылками, опрокинулъ его—вино полилось къ ногамъ знаменитостей. Бѣлинскій смѣшался до послѣдней степени, и «близкій къ кончинѣ» поспѣшилъ домой...

«Вообще,—Бѣлинскій не терпѣлъ разнороднаго, мало знакомаго и большаго общества. Онъ даже, бывало, при появленіи въ нашемъ обычномъ кружкѣ какого-нибудь незнакомаго лица, измѣнялся мгновенно, впадалъ въ дурное расположеніе духа и переставалъ говорить.

«Онъ искренно былъ привязанъ ко всѣмъ безъ исключенія, составлявшимъ этотъ тѣсный кружокъ, но иногда вдругъ почему-то особенно увлекался на время къ-мъ-нибудь и обнаруживалъ къ нему необыкновенную нѣжность. Онъ, впрочемъ, всегда прямо и откровенно сознавалъ потомъ свои заблужденія и самъ добродушно смѣялся вмѣстѣ съ нами надъ своими крайностями и увлеченіями...

«Вообще малѣйшая, самая ничтожная вещь могла приводить его иногда въ бѣшенство—это было уже отчасти слѣдствіемъ роковой болѣзни, развивавшейся въ немъ сильнѣе и сильнѣе.

«Во время отдыховъ, иногда по вечерамъ онъ любилъ играть въ префе-

рансь съ пріятелями по самой маленькой цѣнѣ и играть всегда съ увлеченіемъ и очень дурно.

«Разъ (это было у меня, наканунѣ свѣтлаго праздника) онъ часа три сряду не выпускалъ изъ рукъ карты и наставилъ страшное количество ремизовъ. Утомленный, во время сдачи, онъ вышелъ въ другую комнату, чтобы пройтись немного. Въ это время Тургеневъ (котораго онъ очень любилъ) нарочно подобралъ ему такую игру на восемь въ червахъ, что онъ долженъ былъ остаться непремѣнно безъ четырехъ... Бѣлинскій возвратился, схватилъ карты, взглянулъ и весь просіялъ... Онъ объявилъ восемь въ червахъ и остался, какъ и слѣдовало, безъ четырехъ. Онъ съ бѣшенствомъ бросилъ карты и вскрикнулъ задыхаясь: Такія вещи могутъ случаться только со мною!..

«Тургеневу стало жаль его, и онъ признался ему, что хотѣлъ подшутить надъ нимъ.

«Бѣлинскій сначала не повѣрилъ, но когда всё подтвердили ему то же, — онъ съ невыразимымъ упрекомъ посмотрѣлъ на Тургенева и произнесъ, поблѣднѣвъ какъ полотно:

« — Лучше бы ужъ вы мнѣ этого не говорили. Прошу васъ впередъ не позволять себѣ такихъ шутокъ!

«Когда болѣзненные припадки затихали или не слишкомъ беспокоили его, онъ становился какъ-то особенно ясенъ и свѣтелъ: его кроткая, прямая, деликатная натура такъ и отражалась въ его глазахъ. Въ эти минуты онъ любилъ подшучивать надъ слабостями нѣкоторыхъ своихъ друзей, напримѣръ, надъ падкостью къ аристократіи, маленькимъ хвастовствомъ, тщеславіемъ и т. п.

«Но для того, чтобы имѣть о Бѣлинскомъ полное понятіе, видѣть его во всемъ блескѣ, надобно было навести разговоръ на тѣ общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражить его противорѣчіемъ; затронутый, онъ вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала внутренней энергіей и силой, голосъ по временамъ задыхался, всё мускулы лица приходили въ напряженіе... Онъ нападалъ на своего противника съ силой человѣка, власть имѣющаго, мимоходомъ игралъ имъ какъ соломенной, издѣвался, ставилъ его въ комическое положеніе и между тѣмъ продолжалъ развивать свою мысль съ энергіей поразительной. Въ такія минуты этотъ обыкновенно застѣнчивый, робкій и неловкій человѣкъ былъ неузнаваемъ...

«Бѣлинскій ходилъ къ немногимъ искреннимъ пріятелямъ, чтобы отдохнуть отъ работы и отводить душу въ спорахъ и толкахъ о томъ, что его сильно тревожило; но онъ больше любилъ домашній уголъ и устраивалъ его всегда, по мѣрѣ средствъ своихъ, съ нѣкоторымъ комфортомъ. Чистота и порядокъ въ его кабинетѣ были всегда удивительные: полы какъ зеркало, на письменномъ столѣ всё вещи разложены въ порядкѣ, на окнахъ занавѣсы, на подоконникахъ цвѣты, на стѣнахъ портреты различныхъ знаменитостей и друзей, и, между прочимъ, портретъ Станкевича и нѣсколько старинныхъ гравюръ, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Онъ самъ отыскивалъ ихъ на толку-

чемъ рынкѣ и хвасталъ мнѣ своими находками, и бібліотеку свою, состоявшую большею частью изъ русскихъ книгъ, онъ умножалъ съ каждымъ годомъ, и въ послѣднее время, когда уже свободно читалъ по-французски, началъ приобретать и французскія книги...

«Къ нему часто сходились по вечерамъ его пріятели, и онъ всегда встрѣчалъ ихъ радушно и съ шутками, если былъ въ хорошемъ расположеніи духа, т.-е. свободенъ отъ работы и не страдалъ своими обычными припадками. Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно зажигалъ нѣсколько свѣчей въ своемъ кабинетѣ. Свѣтъ и тепло поддерживали всегда еще болѣе хорошее расположеніе его духа»...

Панаевъ рассказываетъ, съ какимъ энтузіазмомъ Бѣлинскій встрѣчалъ всякій новый талантъ, всякій литературный успѣхъ. Такъ онъ встрѣтилъ первыя произведенія г. Достоевскаго, Гончарова; а раньше онъ восхитился «Двумя Судьбами» г. Майкова, даже «Парашей» г. Тургенева...

«Страсть» Бѣлинскаго, не имѣя другого выхода, вся сосредоточилась на литературѣ. Онъ съ какою-то жадностью бросался на каждую вновь выходящую книжку журнала и дрожащей рукой разрѣзывалъ свои статьи, чтобы пробѣжать ихъ и посмотреть, до какой степени сохранился смыслъ ихъ въ печати. Въ эти минуты лицо его то вспыхивало, то блѣднѣло: онъ отбрасывалъ отъ себя книжку въ отчаяніи; или успокоивался и приходилъ въ хорошее расположеніе духа, если не встрѣчалъ значительныхъ перемѣнъ и искаженій.

Уже изъ простаго перечня именъ членовъ кружка,—такихъ, какъ Тургеневъ, Герценъ, Кавелинъ, всякій видитъ, что кружокъ съ полнымъ правомъ можетъ быть названъ «западническимъ прежде всего». Скоро, впрочемъ, благодаря стихамъ Некрасова, повѣстямъ Григоровича, рассказамъ Тургенева, нѣкоторымъ статьямъ самого Бѣлинскаго, въ немъ ярко проявилось и другое теченіе—именно народничество, но западничеству на первыхъ порахъ, по крайней мѣрѣ, оно рѣшительно не мѣшало.

Нечего и говорить, что всѣ симпатіи Бѣлинскаго, послѣ того какъ онъ окончательно и безповоротно раздѣлался съ своимъ гегелианствомъ, стали принадлежать Европѣ. Только тамъ, въ ея жизни, которая издалека представлялась еще болѣе прекрасной и чарующей, находилъ онъ воплощеніе обоихъ принциповъ, ставшихъ краеугольными камнями его новаго міросозерцанія—свободы личности и общественности. Еще недавно, по чисто теоретическому недоразумѣнію, ненавистные ему французы стали близки его сердцу, потому что въ нихъ онъ увидѣлъ передовыхъ борцовъ за права человѣка. Въ немъ тоже проснулся борецъ, страстный, пылкій, исполненный любви и ненависти. И всѣ усилія своего духа онъ сосредоточилъ теперь на проповѣди дорогихъ и излюбленныхъ началъ, торжество которыхъ означало бы слияніе русской жизни съ общечеловѣческой, русской дѣйствительности съ западно-европей-

ской. Этой точкой зрѣнія опредѣляется теперь тонъ и направленіе его литературной дѣятельности, и прежде всего, какъ увидимъ ниже, онъ долженъ былъ вступить въ ожесточенную борьбу, борьбу на жизнь и на смерть съ всероссійскими славянофилами или славянами, какъ они себя называли.

Но предварительно небольшая глава о любви Бѣлинскаго и его женитьбѣ

Глава XII.

Любовь Бѣлинскаго.

Въ началѣ главы о «возрожденіи», я говорилъ, что работа и успѣхъ помогли Бѣлинскому встать на ноги, заставили его повѣрить въ себя и съ презрѣніемъ отнестись къ своему прежнему, робкому и забитому состоянію. Я упомянулъ вскользь и о любви. Теперь мнѣ надо подробно и основательно остановиться на ней, хотя бы уже потому, что ни въ чемъ такъ рѣзко и ярко не проявляется индивидуальность человѣка, какъ въ этомъ таинственномъ, всемогущемъ и святомъ для него чувствѣ. Искренняя любовь—это своего рода великое испытаніе, обнаруживающее всѣ тайные помыслы, обнажающее душу до дна. Чѣмъ глубже, значительнѣе любовь, тѣмъ яснѣе высказывается человѣкъ.

Бѣлинскій былъ влюбленъ горячо, настойчиво, страстно. Это былъ взрывъ затаеннаго долго молчавшаго чувства, неудержимый голосъ человѣческой природы, рвущейся къ личному счастью, — гордое сознаніе своего права на это счастье, какою бы цѣною ни досталось оно. И это въ то же время могучая вѣра въ себя, безстрашіе передъ жизнью, ея заботами и затрудненіями.

Подробно исторія любви Бѣлинскаго стала извѣстной лишь въ самое недавнее время, благодаря его письмамъ къ невѣстѣ, напечатаннымъ г. Милюковымъ во второмъ томѣ «Почина». Это одни изъ самыхъ интересныхъ писемъ. Сила, страсть, искренность—вотъ что составляетъ ихъ главную прелесть, не говоря уже о томъ, что здѣсь-же Бѣлинскій излагаетъ свои взгляды на любовь, бракъ, семью и семейную жизнь.

Мы знаемъ въ общихъ чертахъ, какъ смотрѣли на любовь въ кружкѣ Станкевича. Для самого «главы» любовь была мечтой, романтической грезой; его друзья старались тянуться за нимъ въ эту высь. Ничего реальнаго, тѣмъ менѣе натуралистическаго не хотѣли они видѣть въ любви. Любовь—это было сліяніе въ духѣ двухъ избранныхъ и предназначенныхъ другъ для друга существъ. При первой же встрѣчѣ, эти существа сразу узнавали другъ друга, одновременно возгорались взаимнымъ чувствомъ и стремились къ соединенію. Нѣчто подобное случилось и съ Бѣлинскимъ въ 1836 г.—но какъ и все, имѣющее ближайшее отношеніе къ личной его жизни, закончилось полнѣйшей неудачей. Свою «избранницу», душу, родную по духу, онъ встрѣ-

тилъ въ домѣ Бакуниныхъ. Разумѣется, онъ не ухаживалъ, не говорилъ сладкихъ словъ: она была для него святыней, которой онъ поклонялся,—предметомъ тайныхъ и мучительныхъ восторговъ. Онъ скоро убѣдился, что ни на какую взаимность онъ рассчитывать не можетъ. Но такова сила предвзятой теоріи: Бѣлинскій, утирая кулакомъ кровавыя слезы, все-же еще три-четыре года твердилъ за своими баричами-друзьями, это жизнь блаженство, и что ему чудо какъ хорошо существовать въ фантастическомъ мірѣ эстетическихъ восторговъ, платоническихъ чувствъ, отрѣшенныхъ отъ дѣйствительности настроеній.

Я говорилъ выше, какъ жизнь отрезвила Бѣлинскаго. Онъ, въ концѣ концовъ, не могъ не замѣтить, что друзья относятся къ нему высокомерно, что жить восторгами нераздѣленной любви—по меньшей мѣрѣ смѣшно. Тотъ самый голосъ одинокаго, вѣчно ищущаго опоры сердца, который онъ такъ жестоко, старательно хотѣлъ заглушить въ себѣ, сталъ говорить все громче, настойчиво напоминая о необходимости для человѣка личнаго счастья. Надо лишь отрѣшиться отъ фантастичности, надо жить *просто*, безъ недоступныхъ, неосуществленныхъ мечтаній, жить, какъ трава растетъ.

Жестокая борьба съ нуждой уже давно показала ему, что «дѣйствительность есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и желѣзными челюстями» и что она «мститъ за себя насмѣшливо, ядовито» тѣмъ, кто не хочетъ съ ней знаться... Неудачи въ любви и дружбѣ окончательно убѣдили его въ томъ, что „не все то бываетъ, чтб, кажется, должно-бы быть“, что „между міромъ фантазіи и міромъ дѣйствительности нѣтъ ничего общаго“ и что „дѣйствительность не лошадь, которою можно управлять по волѣ, а кучерь, который править нами и преисправно похлестываетъ насъ своимъ бичемъ“. „Для меня нѣтъ ужаснѣе мысли“,—говорилъ Бѣлинскій впоследствии,—„какъ остаться у жизни въ дуракахъ, быть ея дюномъ. Пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвѣчать проклятіями. Это лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать, какъ ребенка“. Итакъ, „надо жить, надо двигаться въ живой дѣйствительности“; „ощущенія, волнованія жизни—это главное, а тамъ можно и пофилософствовать“. И съ ненасытнымъ любопытствомъ“ Бѣлинскій началъ вглядываться въ эту дѣйствительность, „прежде столь презираемую“ кружкомъ. Въ этотъ самый моментъ подоспѣло гегелианство съ своей всеобъемлющей формулой о разумности всего существующаго, и Бѣлинскій „взревѣлъ отъ радости“. Въ знаменитой формулѣ онъ наконецъ нашелъ свое *mot d'enigme*. Для кружка вся окружающая дѣйствительность была „пошла“ и „призрачна“; для него она будетъ теперь вся сплошь «разумна»: „ничего изъ нея нельзя выкинуть и ничего въ ней нельзя похулить и отвергнуть“. Съ этой разгадкой сразу все становилось понятно и просто; весь міръ, поставленный въ кружкѣ вверхъ ногами, возвращался теперь въ свое естественное положеніе. И для Бѣлинскаго «настаетъ время *простыхъ* признаній“—въ томъ-же, въ чемъ онъ признавался и прежде, но уже безъ всякаго самоуничиженія. Да, онъ не гений и не необычно-

венный человекъ, онъ *какъ есть*,—простой, добрый малый“; онъ не можетъ достигнуть «абсолютнаго блаженства“ путемъ *мысли* и путемъ излюбленнаго пріятелями «самоотреченія» (Entsagung, Resignation); онъ будетъ искать его въ *жизни*, „не созерцательно, а дѣятельно“; и найдетъ свое блаженство „не въ абсолютѣ“, не въ «рефлексіи, а въ простомъ непосредственномъ наслажденіи жизнью, безъ всякихъ справокъ о томъ, насколько въ индивидуальныхъ «частностяхъ» жизни отражается философское «общее». Прочъ «добровольное отреченіе отъ своей сущности, своей самостоятельности, по причинѣ разныхъ философскихъ вліяній. Кто пляшетъ подъ чужую дудку, тотъ всегда дуракъ». «Къ чему философскія маски—будь всякій тѣмъ, что есть». И Бѣлинскій окончательно рѣшилъ, что, каковъ-бы ни былъ онъ *самъ по себѣ*, что ругать себя и кланяться другимъ на свой счетъ—глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога къ жизни».

Если за правило принимается «жить просто», «жить какъ все», то естественно возникаетъ мысль о семьѣ и бракѣ, но мысль уже не восторженная, мысль приниженная, пожалуй, въ началѣ по крайней мѣрѣ—равнодушная. Томить скука одиночества, цыганская холостая жизнь, меблированная пошлая обстановка. Нельзя жить одними восторгами творчества, однимъ полемическимъ раздраженіемъ. Усталая душа ищетъ покоя и забвенія. Человекъ старается окупиться въ спокойную пошлость бытія, въ эту теплую, засасывающую тину.

Это опять настроеніе, необходимо зародившееся въ душѣ какъ противовѣсъ предыдущему. И насилуя себя, усталый и измученный идеалистъ, Бѣлинскій говорить... о бракѣ по разсудку. Онъ какъ бы нарочно старается опошлить свое настроеніе, свои мысли, свою жизнь. Пропадать, такъ пропадать. Все равно...

«Я теперь,—пишетъ онъ,—совершенно созналъ себя. То и другое можетъ быть вполне выражено словами That (дѣятельность), которое есть моя стихія. А сознать,—это значитъ сознать себя за-живо зарытымъ въ гробу, да еще съ связанными нзади руками. Что въ томъ, что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Чтѣ мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно,—и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно? Дайте... человеку сферу свойственнаго ему способностямъ дѣятельности,—и онъ переродится.— Но эта сфера... ея негдѣ взять. Этой сферы и теперь для меня нѣтъ, и никогда, никогда не будетъ ея для меня...

Цѣлесообразная и разумная дѣятельность,—по теперешнимъ понятіямъ Бѣлинскаго,—возможна только въ обществѣ, сознательно преслѣдующемъ свои общественные интересы; и прилагая эти понятія къ тому, что онъ видѣлъ вокругъ себя, Бѣлинскій окончательно приходилъ къ безотрадному выводу, что онъ и все его поколѣніе суть жертвы «безалабернаго состоянія русскаго общества», что единственнымъ убѣжищемъ отъ презираемой ими и презирающей ихъ дѣйствительности можетъ быть только «необитаемый островъ», ка-

кимъ и былъ ихъ кружокъ, и что, при этихъ условіяхъ, и сами они, и ихъ любовь и дружба, стремленія и дѣятельность—превращаются въ какой-то «призракъ». Будь литература на Руси выраженіемъ общества, а слѣд. и потребностью его,—будь хоть сколько нибудь человѣческая цензура,—говорить г. Милюковъ,—другое дѣло.

Къ сознанию своего безсилія присоединялось еще тяжелое чувство зависимости отъ поденнаго журнальнаго заработка. Необходимость «писать второй листъ, когда перваго уже правится корректура», невозможность «прочестъ что-нибудь для себя», вмѣстѣ съ напоминаніями близкихъ людей: «читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ будетъ трудно писать»,—все это временами вызывало у Бѣлинскаго отвращеніе къ перу и погружало его въ совершенную апатію. «Мнѣ кажется,—замѣчалъ онъ,—дай мнѣ свободу дѣйствовать для общества хотя на десять лѣтъ... и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость... полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли»... Но, увы, это были однѣ мечты. Въ дѣйствительности же Бѣлинскій сравнивалъ себя съ «Прометеемъ въ карикатурѣ». «Отечественныя Записки»—моя скала, Краевскій—мой коршунъ. Мозгъ мой сохнетъ, способности тупѣютъ, и только «печаль минувшихъ дней въ моей душѣ, чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй».

Но, надо заглушить въ себѣ печаль минувшихъ дней и свободно, смѣло пойти за своимъ чувствомъ, куда бы ни привело оно... Къ счастью это чувство здѣсь, на лицо—въ сердцѣ.

Знакомство Бѣлинскаго съ своей будущей женой Марьей Васильевной Орловой началось въ 1835 году. Кажется, что для М. В. Орловой достаточно чисто внѣшней характеристики.

М. В. Орлова родилась 1812 г. Воспитаніе она получила въ Московскомъ Александровскомъ институтѣ, гдѣ кончила курсъ съ первою медалью. Выдаваясь среди сверстницъ по своимъ умственнымъ способностямъ, М. В. отличалась замѣчательною красотою. По окончаніи курса М. В. оставлена была пепиньеркою при институтѣ, затѣмъ она была гувернанткой въ семьѣ племянницы извѣстнаго писателя Лажечникова, а въ 1835 г. поступила клас-сой дамою въ Екатерининскій институтъ. Знакомство ея съ Бѣлинскимъ относится къ тому же году. Раньше она читала и зачитывалась Бѣлинскимъ, причѣмъ особенное впечатлѣніе произвела на нее появившаяся въ 1834 г. извѣстная статья Бѣлинскаго «Литературныя Мечтанія». Познакомилась М. В. съ Бѣлинскимъ въ домѣ П. Я. Петрова, впоследствии ученаго ориенталиста. Бѣлинскій посѣщалъ М. В. въ институтѣ и приносилъ ей книги для чтенія. Такъ продолжалось до переѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ въ 1839 г.—М. В. Бѣлинская умерла въ Москвѣ въ 1890 г.

За этой характеристикой стоитъ однако другая, очень цѣнная, несмотря на всю свою общность. М. В. была женщиной извѣстной среды, извѣстнаго

воспитанія. Въ институтѣ, сначала ученицей, потомъ пепеньеркой, наконецъ классной дамой, она привыкла къ своеобразному порядку и строгому укладу этой замкнутой во всѣ стороны жизни. Выходя замужъ и имѣя уже слишкомъ 30 лѣтъ—она, разумѣется, не могла переродиться. Какъ, спрашивается, было ей приспособиться къ неправильной, нервной, постоянно пересѣкаемой самыми противорѣчивыми настроеніями, жизни Бѣлинскаго? Это не институтъ, не его мирная обстановка, не его формализмъ, это самая грозная дѣйствительность «съ желѣзными когтями». Инстинктивно М. В. несомнѣнно понимала, что она, выходя замужъ, предпринимаетъ очень рѣшительный и рискованный шагъ. Но Бѣлинскій увлекъ её своею головокружащей горячностью, и благоразумная, нѣсколько холодная, привыкшая къ порядку, опредѣленности и формализму классная дама стала женой великаго писателя, у котораго однако не было ни малѣйшаго понятія объ «уютѣ» и о практическихъ сторонахъ жизни. Что-же дало совмѣстное существованіе? Счастье или горе? Мы не знаемъ. «Переписка,— говоритъ П. Милоковъ,— не открываетъ намъ этой тайны».

Бѣлинскій твердо выполнилъ свое намѣреніе: если это было счастье, онъ пользовался имъ тихо, «не привлекая ничьего вниманія»; если это былъ крестъ,— онъ сумѣлъ нести его «съ достоинствомъ», и унесъ свою тайну въ могилу. Въ первые годы брака у него совсѣмъ отпадаетъ охота—исповѣдываться передъ друзьями въ письмахъ, занимающихъ десятки листовъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ эта способность—писать длинныя письма—возвращается, правда, къ Бѣлинскому снова. Но сердечныя признанія въ этихъ письмахъ уже не играютъ никакой роли: письма заняты общественными интересами, борьбой литературныхъ партій, журнальными новостями и т. д.

Первое письмо къ М. В. Орловой написано Бѣлинскимъ немедленно по прїѣздѣ въ Петербургъ (осенью 1841 г.), гдѣ друзья, Панаевъ и Боткинъ, уже приготовили ему удивительно роскошную квартиру, кажется, въ двѣ комнаты. Онъ въ восторгѣ отъ всего и ждетъ лишь счастливѣйшей минуты—свадьбы. «Бываютъ,—пишетъ онъ,—минуты страстнаго, тоскливаго стремленія къ вамъ. Вотъ, полетѣлъ бы хоть на минуту, крѣпко, крѣпко пожалъ-бы вамъ руку, тихо сказалъ-бы вамъ на ухо, какъ много я люблю васъ, какъ пуста и бессмысленна моя жизнь безъ васъ. Нѣтъ—нѣтъ—скорѣе, скорѣе, или я съ ума сойду».

Потомъ письма слѣдуютъ одно за другимъ почти непрерывной вереницей, полныя страсти, нетерпѣнія, горячности. Все разсудочное было забыто: при характерѣ Бѣлинскаго всякая отсрочка—мука.

«Я не могу видѣть васъ,—восклицаетъ онъ,—говорить съ вами, и мнѣ остается только писать къ вамъ; вотъ почему второе письмо мое получаете вы, не успѣвши освободиться изъ-подъ впечатлѣнія отъ перваго. Мысль о васъ дѣлаетъ меня счастливымъ, и я несчастенъ моимъ счастіемъ, ибо могу только думать о васъ. Самая роскошная мечта стоитъ меньше самой небогатой сущестственности; а

богатая сущность: что же и к чему мнѣ всё мечты, и дать мнѣ счастье? Нѣтъ, до тѣхъ поръ, пока вы не со мной,— я, не могу ничего дѣлать, ничего думать. Послѣ этого очень много вопросовъ: когда же это будетъ? И пока я еще не знаю, когда что-то внутри меня говоритъ мнѣ, что скоро. О, если-бы это могло ущемъ мѣсяцъ!

те: скоро-ли получу я отъ васъ письмо? Жду — и не вѣрю, что вѣренъ, что получу скоро — и боюсь даже надѣяться. О, не мучьте вѣдь вы уже послали ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра! — ли?

цайте. Храни васъ, Господь! Пусть добрые духи окружаютъ васъ шептываютъ вамъ слова любви и счастья, а ночью посылаютъ вамъ сны. А я,—я хотѣлъ бы теперь хоть на минуту увидеть васъ, долго, смотрѣть вамъ въ глаза, обнять ваши колѣна и поцѣловать край ватя. Но нѣтъ, лучше дольше, какъ можно дольше не видѣться, сонейли увидѣться на одну только минуту, и вновь разстаться, какъ разстались разъ. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горитъ, захъ накипаютъ слеза: въ такомъ глупомъ состояніи обыкновенно хочется много и ничего не говорится, или говорится очень глупо. Странное Въ мечтахъ я лучше говорю съ вами, чѣмъ на письмѣ, какъ нѣкогда я лучше говорилъ съ вами, чѣмъ при свиданіяхъ. Что-то теперь Соколь? Что завѣтная дорожка, зеленая скамеечка, великолѣпная аллея? Какъ трудно вспоминать обо всемъ этомъ, и сколько отрады и счастья въ грусти до воспоминаія!»

Можно только удивляться, откуда бралъ въ это время силу, чтобы все-же работать, все-же писать. Онъ живетъ лишь ожиданіемъ писемъ отъ невесты и тѣмъ, что читаетъ и перечитываетъ ихъ сотни разъ. Только полная увѣренность въ скоромъ счастьѣ поддерживаетъ его. Онъ старается по-уютнѣе строить свой уголокъ, распредѣляетъ помещеніе, радуется, что въ квартирѣ такъ много цвѣтовъ. Только почему запаздываютъ письма?..

«Боже мой! Сколько мученій прекратило ваше письмо! Сколько разъ думалъ я: если это отъ болѣзни, то сохрани и помилуй меня Богъ (это чуть-ли не первая была моя молитва въ жизни); если же это такъ — нынче да завтра, то прости ее, Господи! Я сталъ робокъ и всего боюсь, но больше всего въ мѣръ — вашей болѣзни. Мнѣ кажется, что я такъ крѣпокъ, что смѣшно и думать и заботиться обо мнѣ; но вы — о Боже мой, Боже мой, сколько тяжелыхъ грезъ, сколько мрачныхъ опасеній!

Тысячу и тысячу разъ благодарю васъ за ваше милое письмо. Оно такъ просто, такъ чуждо всякой изысканности и между тѣмъ такъ много говорить. Особенно восхитило оно меня тѣмъ, что въ немъ вашъ характеръ, какъ живой, мечется у меня передъ глазами, — вашъ характеръ, весь составленный изъ благородной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мнѣ за то и

другое—я перечитывалъ ихъ слово по слову, буква по буквѣ, медленно, какъ гастрономъ, наслаждающійся лакомымъ кушаньемъ. Я далъ себѣ слово какъ можно больше провиниться передъ вами, чтобы вы какъ можно больше бранили меня...

«Не отнимайте у меня права думать больше о васъ, чѣмъ о себѣ. Я знаю, что для васъ все равно, тотъ или этотъ стулъ, лишь бы можно было сидѣть на немъ; но что-жъ мнѣ дѣлать, если я счастливъ мыслію, что лучший стулъ будетъ у васъ, а не у меня. Глупо, глупо и глупо—вижу самъ; да развѣ я претендую теперь хоть на капельку ума? Развѣ я не знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ началъ посѣщать Сокольники,—сдѣлался такимъ дуракомъ, какимъ еще не бывалъ. Теперь я понялъ ту великую истину, что на свѣтѣ только дураки счастливы. Я было отчаялся въ возможности быть сколько-нибудь счастливымъ, не понимая того, что не велика бѣда, если родился не дуракомъ—стоитъ сойти съ ума... Зарапортовался!

Весь занятый своими мечтами и грезами, онъ неохотно переходитъ на дѣловые разговоры. А приходится:

«Кстати о дѣлѣ и о дѣлахъ—пишетъ онъ (19 сентября 43 г.).—Вы не напрасно бранили меня въ письмѣ своемъ за разныя затѣи и фантазіи, я заслуживалъ еще большей брани. Я не разъ говорилъ вамъ и повторю теперь, что вы умнѣе меня. Мой умъ—чисто теоретическій и въ теоріи прекрасно умѣетъ ставить 4, помноживши 2 на 2, въ дѣйствительности я столько глупъ, сколько вы умны, стало быть, очень глупъ. Живя въ Москвѣ и плавая въ эмпиреяхъ я составилъ въ головѣ преглупый планъ, по которому мнѣ по приѣздѣ въ Питеръ надо было засѣсть за дѣло, чтобы кончить работу, которая дѣйствительно должна была принести мнѣ значительныя выгоды. Но по приѣздѣ въ Питеръ, я тотчасъ-же увидѣлъ, что не могу ничего дѣлать, особенно мучась тщетнымъ ожиданіемъ письма... Положимъ, что этой работой (Исторія русской литературы?) я приобрѣлъ-бы средства пошире и поудобнѣе устроить мою новую жизнь, но не глупо ли для пустяковъ и бездѣлицъ откладывать то, для чего всѣ хлопоты объ этихъ пустякахъ и бездѣлицахъ, безъ чего я не могу ничего дѣлать, ни о чемъ думать? Ясно какъ $2 \times 2 = 4$, что пока вы не сомною, и я не съ вами,—я никуда не гоюсь, и жизнь мнѣ въ тягость. И потому надо думать не о вздорахъ, а объ дѣлѣ. Пусть дѣло кончится расчетливо и въ обрѣзъ, но лишь бы оно какъ можно скорѣе кончилось, а тамъ все придетъ своимъ чередомъ, и что будетъ нужно, то всегда можно будетъ сдѣлать. Краевскій теперь небогатъ деньгами, да мнѣ слишкомъ забираться и не слѣдуетъ,—то мы съ нимъ и рассчитали все приблизительно. Деньги я получу на дняхъ, стало быть, самое главное препятствіе устранено. Второе препятствіе состоитъ въ томъ, что я жду изъ Пензы дворянской грамоты, на которую изъ Москвы послалъ 150 руб. асс. и которую надѣюсь получить очень скоро. Между тѣмъ нашлось еще обстоятельство, о которомъ мнѣ нужно сказать вамъ и рѣшеніе котораго должно зависѣть отъ однѣхъ васъ и нисколько не отъ меня. Не примите этого даже за предложеніе съ моей стороны; нѣтъ, это только

вопросъ, на который вы свободны отвѣчать какъ вамъ угодно. Для самого меня онъ такъ страненъ, что безъ вашего отвѣта я не умѣю его рѣшить ни положительно, ни отрицательно. Дѣло вотъ въ чемъ: всѣ мои пріятели, которымъ я нашелъ нужнымъ открыть мою тайну, увѣряютъ меня, что, для избѣжанія лишнихъ расходовъ, мнѣ не надо было-бы ѣздить въ Москву, а лучше бы вамъ однимъ пріѣхать въ Питеръ, гдѣ вы могли-бы остановиться на день у Краевского, у котораго живетъ сестра его покойной жены (если бы вы не захотѣли остановиться на своей собственной квартирѣ, которая будетъ готова къ вашему пріѣзду). Если я нѣсколько на сторонѣ подобнаго плана, такъ это не по причинѣ потери лишнихъ денегъ и лишняго времени, а вотъ почему: можетъ быть, вы думаете вѣнчаться въ инстит. церкви, въ присутствіи М. Chagriot и всего института: это для меня ужасно; потомъ, по патріархальнымъ къ вамъ отношеніямъ, М. Ch., можетъ быть, станетъ смотрѣть на наше формальное соединеніе, какъ на свадьбу въ общемъ значеніи этого слова, и, пожалуй, предложитъ еще себя въ посаженыя матери, а вамъ, м. б., нельзя будетъ отъ этого отказаться. Если это такъ, то мнѣ пріятнѣе было бы обвѣнчаться съ вами въ Камчаткѣ, или на Алеутскихъ островахъ, чѣмъ въ Москвѣ. Но, м. б., все это въ вашей волѣ сдѣлать и иначе и тогда мои страхи уничтожаются сами собою вмѣстѣ съ ихъ причиною. М. А. находитъ, что ѣхать вамъ однимъ было бы трудно по вашимъ отношеніямъ къ М. Ch., ибо вы должны ей сказать, куда и зачѣмъ ѣдете, а ей это могло бы показаться всячески неудобовыполнимымъ. Итакъ, скажите ваше мнѣніе просто и откровенно, и не думайте, чтобы вашъ отрицательный отвѣтъ могъ сколько-нибудь быть мнѣ не по сердцу.

Въ отвѣтъ на это свое «дѣловое посланіе», заканчивающееся нѣсколько анархической формулой: «если судьба пошлетъ намъ лишь одинъ счастливый день,—не упустимъ и его!»—Бѣлинскій получилъ отъ своей невѣсты отвѣтъ, который ошеломилъ его. Очевидно, что М. В. Орлова, освободившись нѣсколько изъ-подъ вліянія страстныхъ рѣчей жениха, стала задумываться и находить всякія препятствія. Бѣлинскій старается отдѣлаться шутками, своей вѣрой въ будущее, своей безконечной нѣжностью.

«Что же касается до старой, бѣдной, больной жены (такъ выставляла себя М. В.), *sauvage* въ обществѣ и несмыслящей ничего въ хозяйствѣ, которой наказываетъ меня Богъ, то позвольте имѣть честь донести вамъ, Магіе, что вы изволите говорить глупости. Я особенно благодаренъ вамъ за эпитетъ «бѣдной»; въ самомъ дѣлѣ, вы погубили меня своею бѣдностью: вѣдь я было располагалъ жениться на толстой купчихѣ, съ 100.000 приданого. Что касается до вашей старости, я былъ бы отъ нея въ совершенномъ отчаяніи, если-бы, во первыхъ, мнѣ хотѣлось имѣть молоденькую жену *à la m-me Maniloff*, а, во вторыхъ, если бы я не видѣлъ и не зналъ людей, которые отъ молодости женъ своихъ страдаютъ, какъ другіе отъ старости. Изъ этого я заключаю, что дѣло ни въ старости, ни въ молодости, и вообще нѣтъ ничего бесполезнѣе, какъ заглядывать впередъ и говорить утвердительно о томъ, что еще только будетъ,

но ничего еще нѣтъ. Я надѣюсь, что мы будемъ счастливы; но рѣшеніе на этотъ вопросъ можетъ дать не надежда, не предчувствіе, не расчетъ, а только сама дѣйствительность. И потому пойдемъ впередъ безъ оглядокъ и будемъ готовы на все,—быть человѣчески достойными счастья, если судьба дастъ намъ его, и съ достоинствомъ, по-человѣчески, нести несчастье, въ которомъ никто изъ насъ не будетъ виноватъ. Кто не стремится, тотъ и не достигаетъ; кто не дерзаетъ, тотъ и не получаетъ. Всякое важное обстоятельство въ жизни есть лотерея, особенно бракъ: нельзя, чтобы рука не дрожала, опускаясь въ таинственную урну за страшнымъ билетомъ, но неужели же слѣдуетъ отдергивать руку потому, что она дрожитъ?—Вы больны,—это правда; но вѣдь и я боленъ; я былъ бы въ тягость здоровой женѣ, которая не знала бы по себѣ, что такое страданіе. Намъ же не въ чемъ будетъ завидовать другъ другу, и мы будемъ понимать одинъ другого во всемъ—даже и въ болѣзняхъ. Какъ добрые друзья, будемъ подавать другъ другу лекарства,—и они, не такъ горьки будутъ намъ казаться. Впрочемъ, по роду вашей болѣзни, вы должны выздороветь, вышедши замужъ; бывали примѣры, что доктора отказывались лечить, какъ безнадежныхъ, больныхъ расстройствомъ нервовъ женщинъ, совѣтуя имъ замужество, какъ послѣднее средство,—и опытъ часто показывалъ, что доктора не ошибались въ свсихъ расчетахъ; ибо брачная жизнь болѣе сообразна съ натурою и назначеніемъ женщины, чѣмъ дѣвическое состояніе. Но какъ бы то ни было—

Будь сіянье, будь ненастье,
Будь, что надобно судьбѣ,
Все для жизни будетъ счастье,
Добрый спутникъ, при тебѣ.

Дайте мнѣ вашу руку, мой добрый, милый другъ,—то опираясь на нее, то поддерживая ее, я готовъ идти по дорогѣ моей жизни, съ надеждою и бодро. Я вѣрю, что чувствовать подлѣ своего сердца такое сердце, какъ ваше, быть любимымъ такою душою, какъ ваша, есть не наказаніе, а награда выше мѣры и заслуги».

Не правда-ли, какія нѣжныя, трогательныя слова находить воспламенившаяся страсть Бѣлинскаго! И эти слова властно захватываютъ мою душу потому, между прочимъ, что исторія любви—почти единственный эпизодъ въ жизни нашего великаго писателя, гдѣ онъ даетъ полный и безусловный просторъ своему исключительно личному чувству, и готовъ во имя его возстать противъ всѣхъ людей и всей вселенной. Онъ какъ будто инстинктивно сознаетъ, что въ его жизни и дѣятельности недостаетъ опоры, что то и другое расширится и окрѣпнетъ, когда его сердце получитъ спокойствіе и удовлетворенность! Великая истина. Нѣтъ болѣе ужаснаго предрасудка, какъ мысль, что для успѣшнаго служенія *общему* надо отказаться отъ самого себя. Богъ вѣсть откуда занесенная, и какимъ вѣтромъ навѣянная, эта мысль "деспотически распоряжалась судьбою лучшихъ людей, одного изъ нашихъ десятилѣтій. Я не могу, не смѣю, не имѣю права любить, такъ какъ долженъ положить кости

свои за друзей, долженъ принести себя въ жертву счастью великаго цѣлаго — народа. Все личное, только отклонить меня отъ этой задачи, наполнить мое существованіе мелкими раздражающими заботами о кускѣ хлѣба, о благосостояніи, быть можетъ приучать къ комфорту. Правда, — сердце просить своего счастья, но пусть молчитъ сердце, когда страдаетъ великое цѣлое — народъ! Много во всемъ этомъ честнаго, искренняго, много искренняго увлеченія и въ то же время много мечтательности, много утопизма! Забыты основныя требованія человѣческой природы, забыта та простая психологическая истина, что богатство, глубина личной жизни не могутъ не отразиться самымъ лучшимъ вдохновляющимъ образомъ на общественной дѣятельности. Еще страннѣе — я веду въ этихъ строкахъ рѣчь о 70-хъ годахъ, — забыты уроки Чернышевскаго, преподавныя имъ, въ знаменитомъ и авторитетномъ романѣ «Что дѣлать». Правда, тамъ Рахметовъ отказался отъ себя, оставивъ для себя изъ личныхъ наслажденій одну хорошую сигару въ день. Но съ другой стороны и теорія Кирсанова, Лопухова, Вѣры Александровны должны были навести на мысль, что отказаться отъ себя долженъ лишь тотъ, про кого сказано «*могий виѣстити, да виѣстити*», — для всѣхъ-же остальныхъ, личное счастье есть необходимое условіе дѣятельности вообще, общественной въ частности. Но таково было ослѣпленіе теоріей, что не слушались не только окруженнаго ореоломъ авторитета Чернышевскаго, но — что безмѣрно важнѣе, — не слушались и голоса собственной природы — и жертвовали собой, и отказывались отъ личнаго счастья, и гибли потомъ, погруженные въ ноющую, безысходную тоску.

Но великой, здоровой непосредственностью своего инстинкта Бѣлинскій превосходно понималъ, что ему надо. Отсюда его нетерпѣніе, отсюда этотъ страстный тонъ.

Любопытно, между прочимъ, отиѣтитъ, съ какой чуткостью относится онъ къ святинѣ своей любви и брака, и какъ жестоко оскорбляютъ его житейскія церемоніи и обычаи, сопровождающіе этотъ великій шагъ человѣческой жизни. Онъ пишетъ, напр., отъ 2-го октября 43 года, когда увидѣлъ, что М. В. считаетъ совершенно невозможнымъ приѣхать къ нему въ Петербургъ:

«Я, вы знаете, располагался приѣхать самъ въ Москву. Я не думалъ ни о дя-дюшкахъ и тетушкахъ, ни о *m-me Charriot* (если и думалъ о послѣдней, то предположительно только) ни объ официальном обѣдѣ, съ шампанскимъ и поздравленіями, съ идиотскими улыбками, и, можетъ быть, о, *infame!* — съ чиновническими шутками и любезностями. Въ этой по-истинѣ плѣнительной картинѣ не достаетъ только свахи, смотра, сговора, дѣвичника съ свадебными пѣснями. Кажется, — что и при этой мысли ужасъ проникаетъ холодомъ до костей моихъ — въ посаженомъ отцѣ и посаженной матери недостатка не будетъ, и насъ съ вами встрѣтятъ съ образомъ, и мы будемъ кланяться въ ноги. Знаете ли что! — мнѣ больно не одно то, что вы осуждаете меня на эту позорную пытку, но то, что вы обнаруживаете столько *resignation* въ этомъ случаѣ въ отношеніи къ самой себѣ. Это для

меня всего тяжелѣе. Вы даже не хотите понять причины моего ужаса и отвращенія къ этимъ позорнымъ церемоніямъ и приписываете это трусости Подколесина. Во мнѣ такъ много недостатковъ, что уже ради одной ихъ многочисленности не слѣдуетъ мнѣ приписывать несуществующихъ во мнѣ. Подкол(есинъ) труситъ мысли, что вотъ-де все былъ не женатъ и вдругъ женатъ. Я понимаю такую мысль, но она не можетъ же испугать меня до того, чтобы я хотя на секунду, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, пожалѣлъ о моемъ рѣшеніи жениться. Въ такомъ случаѣ, я чувствовалъ бы себя недостойнымъ васъ и сталъ бы самъ себя презирать. Такая мысль (т. е. подколесинскій страхъ женатаго состоянія) можетъ меня беспокоить какъ необходимость выѣхать въ собраніе, или пройти по улицѣ въ мундирѣ, но не больше. Подколесинъ пугается не церемоній и неприличныхъ приличій; напротивъ, онъ не понимаетъ возможности брака безъ нихъ, и безъ нихъ пропалъ бы отъ ужаса при мысли, что объ этомъ говорятъ. Изъ окна я не выброшусь, но не ружаюсь, что наканунѣ вѣчанья не проснусь съ сильною просѣдью на головѣ и что въ эту ночь не переживу длиннаго, длиннаго времени тяжелой внутренней тревоги. И, ниша эти строки, я глубоко скорблю и глубоко страдаю отъ мысли, что вы не поймете моего отвращенія къ позорнымъ приличіямъ и шутовскимъ церемоніямъ. Для меня противны слова: *невѣста, жена, женихъ, мужъ*. Я хотѣлъ бы видѣть въ васъ *ma bien aimée, amie de ma vie, ma Eugénie...* По моему *кровному* убѣжденію, союзъ брачный долженъ быть чуждъ всякой публичности, это дѣло касается только двоихъ—никого больше».

Письмо заканчивается горячимъ настойчивымъ призывомъ:

«Ахъ, Marie, Marie, вы, которая такъ умѣете понимать, чувствовать и любить, вамъ ли быть рабою мнѣй дикой толпы? Вамъ ли имѣть такъ мало силы характера и воли и дрожать призраковъ и тѣней, которые пугаютъ только глупцовъ? О, нѣтъ, я увѣренъ, что это только непривычка къ новымъ мыслямъ, исполненіе ихъ на дѣлѣ требуется такъ безотлагательно—не больше; я увѣренъ, и теперь внутри васъ раздается сильный голосъ, и что вы выйдете изъ этой борьбы побѣдительницею. Вамъ Богъ далъ высокій ростъ, зачѣмъ же присѣдаться, горбиться и сгибаться? Вамъ Богъ далъ столько ума, зачѣмъ же ему ограничиться одною теоріею и не перейти въ жизнь, дабы самымъ дѣломъ служить Господу и хвалить его? Вашу руку, Marie, вашу руку—мнѣ далъ васъ Богъ, и потому я хочу, чтобы вы были моею не только передъ людьми и свѣтомъ, но и передъ Богомъ: а это возможно только тогда, когда вы и чувствомъ, и словомъ, и дѣломъ вмѣстѣ со мною станете передъ Нимъ на колѣна. Отвѣчайте мнѣ скорѣе и не забывайте, что все-таки, если надо будетъ мнѣ приѣхать въ М(оскву), я приѣду».

Честное слово, всѣ эти мелочи въ высшей степени любопытны. Бѣлинскаго бѣсятъ, выводятъ изъ себя всѣ эти тетушки, дядюшки, *m-lles Charriot*, онъ весь проникнутъ святыней своихъ отношеній къ любимой женщинѣ, онъ не хочетъ выставлятъ на общее позорище и, быть можетъ, подвергать перекрестному огню, пошлыхъ чиновничьихъ свадебныхъ шутокъ—(одно—«эхъ

горько!» чего стоит) — свое хотя властное, требовательное, но застѣнчивое чувство — и вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ сразу-же наталкивается на цѣлый рядъ установленныхъ обычаевъ и приличій, и съ ужасомъ убѣждается, что какъ-никакъ, а онъ долженъ «погибнуть во цвѣтѣ лѣтъ и красоты»! Свою самостоятельность, свою святыню приходится отстаивать шагъ за шагомъ послѣ горячаго боя со скелетами звѣздоносца — дядюшки, почтенной тетушки и пр. А ему самому все это кажется такимъ простымъ, такимъ человѣческимъ дѣломъ; чувство, охватившее его такъ чисто, возвышенно, сильно, что всякое чужое вниманіе кажется обидой и оскорбленіемъ. Онъ просто не понимаетъ, — при чемъ тутъ правила и обычаи, какъ не понимаетъ, почему невѣста не хочетъ писать ему чаще, чѣмъ разъ въ недѣлю.

Проще, проще, — восклицаетъ онъ, — *по-человѣчески*.

Онъ продолжаетъ бороться всей силой своего краснорѣчія и діалектики: *Окт. 4, понед.* До сихъ поръ не могу, — пишетъ онъ, — опомниться отъ вашего письма: такъ неожиданно было для меня его содержаніе. Когда, въ Москвѣ, говорилъ я вамъ о моемъ пріѣздѣ, у меня и мысли не было о М-ше Charriot, которой, по моему мнѣнію, не было никакого дѣла и интереса до нашего дѣла; о дядюшкѣ съ тетушкою думалъ я, — можетъ быть, захотятъ быть при церемоніи, и этимъ все и кончится. Присутствіе 20 особъ и параднаго стола послѣ церемоніи мнѣ и въ голову не входило, ибо думалъ, что вы скорѣе согласитесь сто разъ умереть, чѣмъ добровольно подвергнуться униженію и позору китайскихъ и тибетскихъ обычаевъ. Я такъ въ этомъ случаѣ былъ увѣренъ въ васъ, что не хотѣлъ и говорить объ этомъ. Я робокъ и дикъ въ обществѣ и съ незнакомыми людьми. Но въ обществѣ порядочномъ я менѣе дикъ, а иногда бываю даже разговорчивъ и смѣлъ; въ обществѣ, каково то, къ которому принадлежать ваши родственники, я теряюсь и уничтожаюсь, даже нечаянно попавши въ него; а играть въ немъ роль, и притомъ еще такую, слушать поздравленія, сопровождаемыя то идиотскими, то злыми улыбками, слушать любезности и ласкающія эквивоки (что неизбежно, если тутъ будетъ, напр., тотъ милый вашъ родственникъ, въ которомъ всѣ видятъ идеалъ свѣтской любезности), — это не только на яву, но и во снѣ страшно увидѣть — можно проснуться съ сѣдыми волосами!.. Къ этой плѣнительной картинѣ не достаетъ только встрѣчи насъ съ хлѣбомъ и солью (впрочемъ, это-то, вѣроятно, и будетъ), да еще того, чтобы члены честнаго компанства (т. е. гости), прихлебывая вино, говорили-бы: *горько!* а мы-бы съ вами цѣловались въ ихъ удовольствіе; да еще не достаетъ нѣкоторыхъ обрядовъ, которые бывають на Руси уже на другой деиь и о которыхъ я, конечно, вамъ не буду говорить. Вы, можетъ быть, скажете мнѣ: «что-же за любовь ваша ко мнѣ, если она не можетъ выдержать вотъ какого опыта и если вы для меня не хотите подвергнуться, конечно, неприятнымъ, но и необходимымъ условіямъ?» Прекрасно; но если-бы на Руси было такое обыкновеніе, что желающій жениться непременно долженъ быть всенародно высѣченъ

трижды: сперва у порога своего дома, потомъ на полпути, и наконецъ у входа въ храмъ Божій; неужели вы и тогда сказали-бы, что мое чувство къ вамъ слабо, если не можете выдержать такого испытанія? Вы скажете, что я выражаюсь, во-первыхъ, слишкомъ энергически (извините: я люблю называть вещи настоящими ихъ именами, а китаизмъ не считаю деликатностью), а во-вторыхъ, по моему обыкновенію утрирую вещи, и что то, что я сказалъ, далеко не то, чему я долженъ подвергнуться. Вотъ это-то и есть самый печальный и грустный пунктъ нашего вопроса. Я глубоко чувствую позоръ подчиненія законамъ подлой, бессмысленной и презираемой мною толпы, вы тоже глубоко чувствуете это; но я считаю за трусость, за подлость, за грѣхъ передъ Богомъ, подчиняться имъ, изъ боязни толковъ, а вы считаете это за необходимость. Вопреки первой заповѣди вы сотворили себѣ кумирь, и изъ чего-же? Изъ презираемыхъ вами мнѣній презираемой вами толпы! Вы чувствуете одно, вѣруете одному, а дѣлаете другое. А это и не великодушно и неблагородно! Это значитъ молиться Богу своему втайнѣ, а въявь приносить жертвы идоламъ. Это страшный грѣхъ! О, я понимаю теперь, почему вы такъ заступаетесь за Татьяну Пушкина, и почему меня это всегда такъ бѣсило и опечаливало, что я не могъ говорить съ вами порядкомъ и толковать объ этомъ предметѣ! Любовь есть религія женщины, и нѣтъ для женщины высшаго и болѣе святого наслажденія, какъ всѣмъ жертвовать своей религіи. Для нея свято всякое законное и справедливое требованіе того, кого она любитъ. Съ моей стороны, я тоже имѣю право предложить вамъ вопросъ: «Неужели-же ваше чувство ко мнѣ такъ слабо, что вы не можете принести мнѣ жертвы (необходимость какой внутренно признаете сами) и не можете выполнить самаго справедливаго и законнаго—не требованія—я не требую, а прошу, умоляю васъ.

Наконецъ, М. В. уступила и согласилась пріѣхать въ Петербургъ сама. Для Бѣлинскаго это было настоящимъ торжествомъ, хотя все-же и тутъ нашлась капля дегтю. Онъ пишетъ:

Окт. 12. Третьяго дня получилъ я отъ васъ письмо, которое сдѣлало меня кротко и тихо, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубоко счастливымъ; образъ вашъ въ душѣ моей снова сталъ свѣтелъ и прекрасенъ, и я сказалъ вамъ правду во вчерашнемъ письмѣ, что это ваше письмо могло бы воскресить меня умирающаго. Да, до 4 часовъ нынѣшняго дня, я былъ невыразимо счастливъ вами и черезъ васъ: мысль о васъ дѣйствовала на мою грудь освѣжительно, я чувствовалъ вокругъ себя ваше незримое присутствіе, жилъ двойною жизнью. Я не жалѣлъ о томъ, что письмо мое заставило васъ много и тяжело страдать: страданье благодатно тогда, когда оно ведетъ къ сознанію. Мнѣ было бы даже непріятно, если-бы вдругъ вы спокойно согласились со мною въ томъ, чего за минуту и представить не умѣли себѣ какъ возможное и естественное, и потому въ вашемъ страданіи я видѣлъ органической, живой процессъ сознанія и благословилъ его. Ваше письмо было написано въ два пріема и составляетъ какъ бы два письма. Первое оканчивается изъясненіями вашей любви ко мнѣ, которыя тронули меня до глубины души, до слезъ; почеркъ слабѣетъ и

последнія строки едва дописаны—волненіе души вашей прервало ихъ. Второе письмо начинается мыслью, хотя ваше страданіе было не бесполезно—и по вашему рѣшенію ѣхать въ Петербургъ я увидѣлъ, что вы съ честью и побѣдою вышли изъ борьбы. Да, ваше письмо было прекрасно: какъ въ зеркалѣ, отражало оно въ себѣ вашу душу, ваше сердце, все, что я въ васъ такъ высоко уважалъ, а *потому* и любилъ. Въ этомъ письмѣ вы были самой собою, безъ всякихъ постороннихъ вліяній.

Сегодня получилъ я отъ васъ второе письмо, которое вы написали, побывавъ у своего дражайшаго дядюшки, и въ которомъ *потому*, я уже не узналъ васъ. Въ немъ ничего нѣтъ вашего, — особенно вашей благородной откровенности: вы хитрите и лукавите со мною, а, можетъ быть, прежде всего съ самой-собою. *«Я приѣду, непременно приѣду»*, говорите вы, но къ этому прибавляете: *«если вы такъ этого хотите»*. А развѣ вы не знаете, что я такъ этого хочу? Развѣ вы не знаете, что я этого хочу потому, что иначе и нѣтъ возможности соединиться намъ, ибо *ѣхать въ М. я рѣшительно не могу?* Кажется, я объ этомъ писалъ подробно и ясно? Потомъ, какъ вы общаетесь приѣхать?—съ оговорками, что, можетъ быть, дурно сдѣлаете пожертвовавъ одному чувству другимъ, хотя и не столь сильными, но все же святыми; что, можетъ быть, убьете сестру и отца, и что, можетъ быть, приѣдете въ бѣлой горячкѣ... Marie, Marie! Да кто-жъ такъ соглашается? Этакъ только отказываютъ начисто...

«Въ васъ есть способность къ безграничному, къ любви и преданности, полной и совершенной, но не иначе, какъ съ дозволенія правительства и съ одобренія дяденьки съ тетенькой. Будь я вашъ мужъ, а вы моя жена,—о! вы поскакали-бы на телѣгѣ ко мнѣ на край свѣта и обидѣлись-бы, если-бы кто увидѣлъ въ этомъ что-нибудь необыкновенное. Но теперь вы смотрите на меня не какъ на человѣка, котораго вы любите, а какъ на жениха (подлое слово, чтобы чортъ приснился тому, кто его выдумалъ) и позвольте себѣ скорѣе умереть, зачахнуть въ горѣ и тоскѣ вѣчной разлуки со мной, чѣмъ увидѣться со мною противъ правилъ и приличій, хотя бы отъ этого зависѣло мое спасеніе отъ смерти. Будь я въ Москвѣ, умирай я, вы не рѣшились-бы придти ко мнѣ на квартиру, видѣть меня. Да это еще извинительнѣе въ глазахъ моихъ: такимъ поступкомъ вы разорвали-бы всѣ связи съ обществомъ и лишили-бы себя пристанища преклонить голову; но, выходя замужъ, у насъ, на Руси, дѣвушка ничего не теряетъ, но все выигрываетъ, и если мужъ ее уважаетъ, она имѣетъ полное право плевать на все остальное. Вы, Marie, такъ зависите отъ чуждыхъ вліяній, что даже жаль васъ. Когда вы поѣхали къ дяденькѣ съ тетенькой,—если-бы эти изверги сказали вамъ: «конечно-де, глупо жертвовать счастіемъ жизни условному приличію»,—вы прискакали-бы въ институтъ къ сестрѣ счастливая, веселая, довольная, съ твердой рѣшимостью презирать глупыя условія, и были-бы въ восторгѣ отъ своего героизма. Но какъ эти добродушные злодѣи оказали отпоръ вашему намѣренію,—оно вдругъ ослабѣло. воля ваша исчезла, характеръ спрятался, а любовь ко мнѣ сказалась больною;

все святое, все *ваше* отлетѣло отъ васъ,—и въ письмѣ ко мнѣ очутились только слова, слова, слова, да ложь, ложь и ложь... Ахъ, Marie, Marie! Пока дѣло шло о такихъ выраженіяхъ любви, какъ, напр., подарить крестикъ и обязать меня носить его, перекрестить и проч., вы были смѣлы и рѣшительны. А какъ дѣло коснулось до пожертвованія крошечку посущественнѣе, вы испугались бѣлой горячки... Что-жь ваша любовь ко мнѣ, ваше чувство?.. Робко-же вы любите!.. Вы говорите, *еслибъ* вы были сиротою, совершенно одинокою, вы ни минуты не поколебались-бы ѣхать въ П. и не испугались-бы остаться два—три дня до вѣнчанья подъ одною кровлею со мною. Не вѣрю, Marie, рѣшительно не вѣрю. Есть положенія въ жизни, для которыхъ не существуетъ условій, которыя не допускаютъ *еслибъ*. Таково положеніе—любовь, особенно для женщины. Это ея долгъ, обязанность, религія, и для женщины нѣтъ ничего сладостнѣе, какъ всѣмъ жертвовать религіи своего сердца. Любовь даетъ ей силу творить великое и пристыжать своею силою гордаго, сильнаго мужчину. Принести жертву—еще дѣло не великое: великое въ томъ, чтобы насладиться, обрѣсти источникъ счастья въ собственной жертвѣ. Жертвы, дѣлаемые по холодному долгу, часто убиваютъ (напр. ввергая въ бѣлую горячку); жертвы, совершаемые по любви, даютъ счастье тому, кто приноситъ ихъ. Иначе, я не умѣю понимать ни любви, ни самоотверженія».

Но и кромѣ пониманія, есть чисто практическія, дѣловыя соображенія:

Слушайте-же, Marie, что я скажу вамъ теперь, и вѣрьте—я не обманываю васъ—каждое слово мое вѣрно и честно. Вы пишете ко мнѣ, что въ М. можно обвиняться скромно, словомъ, какъ я хочу: это обстоятельство дѣлаетъ то, что *убѣжденія* моя уже не помѣшали-бы мнѣ пріѣхать въ М., *но обстоятельства*,—это дѣло другого рода, и клянусь вамъ Богомъ и честью, что, съ этой стороны, *пріѣхать въ М. я никакъ не могу*, какъ бы ни желалъ этого. Для васъ (о, только въ трудныя минуты моей жизни созналъ я, какъ глубоко и сильно люблю я васъ!);—я сдѣлалъ-бы это охотно, мнѣ было пріятно пощадить вашу слабость и принести вамъ эту жертву, но это не въ моей власти по тремъ причинамъ, изъ которыхъ каждой одной достаточно, чтобы я и не думалъ о возможности этой поѣздки. *Во-первыхъ деньги*. Marie, ваше женственное тонкое чувство деликатности не допускаетъ меня до подробныхъ объясненій по части этой статьи. Повѣрьте мнѣ, что я скорѣе мотъ, чѣмъ скряга, и если ужъ я заговорилъ о деньгахъ, какъ о препятствіи,—значить дѣло не шуточное. Впрочемъ, я и на деньги еще не смотрѣлъ-бы: нѣсколько бессонныхъ ночей и нѣсколько дней тяжелаго труда впереди не испугали-бы меня,—хотя я знаю, вы сами потомъ бранили-бы меня за недостатокъ откровенности по сей части. *Во-вторыхъ*, мои отношенія къ журналу и Краевскому. Оставьте № безъ статьи въ это время, въ то-же время поставивъ Краевскому въ необходимость достать и дать мнѣ 3.000 р. денегъ, которыхъ онъ мнѣ не долженъ,—согласитесь, что если я былъ-бы такъ наглъ, то онъ могъ-бы не быть такъ уступчивъ. Видите-ли, вы меня заставили-же наконецъ быть вполне откровеннымъ съ вами. Я существую только «Отеч. Записками», и больше ни-

чѣмъ. Плату получаю не задѣльную, а круглую, т. е. не по статьямъ, а въ годъ—4.500 р.
 Хорошо. Я теперь Богъ знаетъ что бы далъ за возможность пріѣхать къ вамъ. Клянусь вамъ всѣмъ святымъ, я былъ бы счастливѣйшимъ человѣкомъ, если-бы могъ пріѣхать въ Москву, чтобы спасти васъ отъ бессонныхъ ночей, отъ слезъ и мукъ нерѣшимости. Не симпатизируя вашему горю (ибо не понимаю его), я тѣмъ не менѣе страдаю имъ. Каждая слеза ваша падаетъ каплею яда на мое сердце и сушитъ его. Но я не могу пріѣхать: могущественная сила обстоятельствъ не допускаетъ меня до этого. Я только-что выздоровѣлъ, и еще ни строки не написалъ для журнала; а Краевскій и теперь еще боленъ и ничего не можетъ дѣлать. Сегодня хотѣлъ его навѣстить; онъ сказалъ моему челоуѣку, что хотя ему и легче, но чтобы я отложилъ мое посѣщеніе дня на два. Сверхъ того, какъ вамъ уже извѣстно это,—мнѣ не съ чѣмъ ѣхать въ М.—у меня нѣтъ бумагъ. Вы пишете, что для васъ была-бы тяжела отсрочка до Рождества: эта отсрочка *невозможна*, ибо если я могу пріѣхать въ Москву, то развѣ только послѣ Пасхи, когда прекращается подписка на журналы. И такъ ждать почти до мая! Неужели вы согласитесь на это, чтобы только избѣгнуть ненавистной вамъ поѣздки? Неужели вамъ не страшна такая отсрочка? Мнѣ—такъ она ужасна. Кромѣ того, что все это время я ничего не буду въ состояніи дѣлать и принужденъ буду снова приняться за преферансъ,—кромѣ всего этого и многого другого, я еще не вѣрю судьбѣ и жизни. Мало ли что можетъ случиться въ это время. Не должно пытаться судьбу: даетъ—берите сейчасъ-же, или послѣ не жалуйтесь на нее. Въ этомъ отношеніи я фаталистъ, чѣмъ и вамъ желаю быть. Мнѣ почему-то кажется, что если мы не обвиняемся до поста предрождественскаго, то никогда ужъ не соединимся. Это предчувствіе—глупость, но оно мучитъ меня. Итакъ, вотъ мое положеніе: съ одной стороны, ужасъ при мысли о какой бы то ни было отсрочкѣ; съ другой—ваши слова: «*Я пріѣду, непременно пріѣду, если вы такъ этого хотите!*» И потомъ ваши мученія, боязнь бѣлой горячки.

Вотъ что значать предрасудки! Нужно же людямъ мучить и терзать себя ими, какъ будто и безъ предрасудковъ мало у нихъ горя! И накажи меня Богъ, если я до сего времени не готовъ былъ поклониться всѣмъ и каждому, что вы, моя избранная, чужды всякихъ предрасудковъ, что вы стоите выше ихъ! И какое разочарованіе, Боже великій, какое разочарованіе! Для меня тутъ есть отчего сойти съ ума или умереть, хоть я и знаю, что ни съ ума не сойду, ни умру, а только буду тяжело страдать про себя. Пріѣзжайте вы въ Петербургъ, и къ посту мы обвиняемы, а къ празднику мы уже привыкли бы къ нашему новому положенію, рѣка вошла бы въ свои берега и потекла бы ровною, чистою и свѣтлою волною, отражая въ себѣ далекія небеса, если-бы то угодно было Богу. А вы думаете, *привычка* дѣло легкое и скорое? Я отъ брака съ вами никогда не ожидалъ восторговъ, да и Богъ съ ними, съ этими восторгами, не стоятъ они того, чтобы гнаться за ними; я ожидалъ отъ жизни вдвоемъ съ вами существованія мирнаго, яснаго,

теплаго, охоты къ труду и любви къ своему углу, или, какъ французы говорятъ, къ своему очагу. И это бы пришло и этимъ бы мы наслаждались уже вполне мѣсяца черезъ два (еслибы обвѣнчались въ началѣ ноября); а теперь этого надо ожидать *мѣсяцевъ* черезъ *восемь*.

И почему же? потому что вы слишкомъ уважаете приличія мелкаго чиновническаго круга, который по своимъ понятіямъ едва-ли выше любого лакейскаго круга! Нѣтъ, и въ самой Москвѣ всѣ порядочные люди взяли бы мою сторону противъ васъ. Не могу забыть вашего святого, благоуханнаго письма (отъ 5 окт.), въ которомъ вы были самою собою, писали подъ диктовку вашего сердца, а не вашего почтеннаго дядюшки (проклятіе ему!). Вы согласились со мною, вы сами увидѣли, что я правъ, что, во всѣхъ отношеніяхъ, лучше вамъ ѣхать въ П(етербургъ), чѣмъ мнѣ въ М(оскву) и что въ этомъ нѣтъ никакой жертвы и ничего страннаго, неумѣстнаго, или предосудительнаго съ вашей стороны. Да какъ же иначе и могли бы вы понимать это простое и обыкновенное дѣло, вы, у которой такое сердце, такая душа, такой умъ и такой разсудокъ? Вы очень хорошо знаете, что дѣвушки бѣгаютъ отъ родителей, чтобы тайно вѣнчаться съ тѣми, кого онѣ любятъ,—и если дѣло дѣйствительно повершается бракомъ, то общество и не думаетъ ихъ презирать. Въ Россіи бракъ покрываетъ и не такія дѣла. Ваше же положеніе предъ глазами общества совсѣмъ другое. Вы, съ позволенія своего отца, поѣдете къ жениху, который по *обстоятельствамъ* (а не почему другому) не можетъ пріѣхать къ вамъ, вотъ и все. Тутъ ничего нѣтъ ни страннаго, ни необыкновеннаго, ни неумѣстнаго, ни предосудительнаго. Въ Петербургѣ это для всѣхъ и каждаго обыкновенно и естественно; въ Москвѣ это осудятъ только салоппицы да чиновники... Неужели же на нихъ смотрѣть? Вы все это сами знаете и чувствуете не хуже меня. Но вы съѣздили къ вашему драгоцѣнному дядюшкѣ и встрѣтили отпоръ; спѣшили, оторопѣли, и вмѣсто того, чтобы спорить, доказывать, и то наступая, то уступая, то твердостію, то лаской заставить его согласиться съ вами, или, по крайней мѣрѣ, возбудить въ немъ терпимость (*tolerance*) къ мысли о вашей поѣздкѣ,—вы расплакались, голова у васъ разболѣлась и вы начали вдругъ ни съ того, ни съ сего смотрѣть въ очки вашего дражайшаго дядюшки и стали *пренаменно* увѣрять меня, что, требуя вашего пріѣзда въ Петербургъ, я требую, чтобы вы въ холодъ пошли по улицѣ въ дезабилье.

Больше всего мучаетъ Бѣлинскаго то, что у него съ невѣстой нѣтъ полнаго единства чувства и настроенія.

«Да, Marie, — пишетъ онъ, — мы съ вами во многомъ расходимся. Вы, за отсутствіемъ какихъ-либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобы не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятнѣйшую жертву для Бога истины и разума — плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той-же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе. Зачѣмъ пишу я это вамъ? Затѣмъ, что въ

ваши свѣтлыя минуты, когда вы будете самой-собою, вы поймете это и скажете: если-бъ онъ былъ не таковъ, я бы, можетъ быть, больше любила его, но меньше уважала...

Впрочемъ, насъ раздѣлило воспитаніе, а не природа. Я люблю и уважаю вашу натуру, люблю и уважаю васъ, какъ прекрасную возможность чего-то прекраснаго. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ-же виноваты вы, что родились и воспитались въ «дистанціи огромнаго размѣра», въ городѣ княгини Марьи Алексѣевны.

Ахъ, Marie, Marie! Жизнь коротка и обманчива, ловите ее—или послѣ не раскаивайтесь. Въ Китаѣ обычай и приличіе выше истины и счастья: выѣзжайте изъ Китая, т. е. изъ Москвы, и спѣшите ко мнѣ. Вѣрьте, счастье, которое вы вкусите, не дастъ вамъ помнить о существованіи людей, которые любить вмѣшиваться не въ свои дѣла. Узнавши меня, вы не будете узнавать себя. Какъ женщина, вы такъ мало знаете жизнь, что съ вами иногда нѣтъ возможности говорить о ней, словно съ ребенкомъ. Я знаю, напр., что мои причины невозможности ѣхать въ Москву вы находите неудовлетворительными, особливо со стороны моихъ отношеній къ „О. З.“ и К-му; но объяснить я вамъ ихъ не въ силахъ, именно потому, что вы женщина и притомъ русская женщина. Приѣхавъ, сами увидите и, повѣрьте, не разъ вспомните о своей несправедливости ко мнѣ, обвините себя, пожалѣйте обо мнѣ и посмѣйтесь надъ собою.

Сердце не обмануло меня: только-что полѣзъ было я въ ящикъ за конвертомъ, чтобы запечатать это письмо, какъ получилъ ваше. Ахъ Marie, Marie, вы меня не понимаете, или не хотите понять: не грѣхъ-ли вамъ думать, что я лгу передъ вами, обманываю васъ, увѣряю васъ, что не могу къ вамъ приѣхать? И не могу я къ вамъ приѣхать совсѣмъ не по боязни шутовскихъ церемоній, которыхъ—я вѣрю вамъ—не было-бы теперь, если-бъ я приѣхалъ. Не могу я приѣхать по тому-же самому, почему часовой не можетъ сойти съ своего поста, хотя-бы отъ этого зависѣло счастье всей его жизни. Я опять-таки не согласенъ съ вами, чтобы такое важное дѣло было приѣхать вамъ въ Петербургъ. Никто съ этимъ не согласится; но спорить съ вами не буду, ибо чѣмъ-же вы виноваты, что все жили въ Москвѣ, а не въ Петербургѣ? Застать меня на столѣ — дѣло не невѣроятное и не невозможное; это было-бы для васъ страшнымъ несчастіемъ, но неужели въ Москвѣ черезъ это теряются права на уваженіе? Какой-же это гнусный, подлый и киргизъ-кайсацкій городъ!

«Бѣдный другъ мой, какъ вы страдаете. Сердце мое сжалось, когда я прочелъ ваше письмо. Правда, причина вашего страданія—фантомъ, призракъ, бредъ больнаго воображенія; но развѣ отъ этого легче ваше страданіе? Напротивъ, тѣмъ большее страданіе возбуждаетъ въ моей душѣ ваше страданіе. Да, Marie, есть пункты, въ которыхъ мы рѣшительно не понимаемъ другъ

друга; зато, благодаря имъ, я понялъ, что такое Москва. Я давно уже не люблю ее; но теперь... Что касается до приглашенія, которымъ удостоиваютъ меня ваши родственники, я долженъ объяснитьсь съ вами опредѣленнѣе на этотъ счетъ. Въ Петербургѣ нѣтъ обычая останавливаться у родни, своей или женой; тамъ это не въ тонѣ, да никто и не пригласитъ и не пуститъ; для этого есть трактиры. Такъ водится и въ Европѣ; но не такъ водится въ Москвѣ, патриархальной и азиатской. Если я захочу соблюсти экономію, я остановлюсь у своихъ родственниковъ, или у Щепкиныхъ, которыхъ считаю истинными своими родными въ духѣ; но что-жъ мнѣ за радость остановиться у людей, совершенно чуждыхъ мнѣ, быть связаннымъ, притворяться, скрывать свой образъ мыслей, говорить не то, что думаю? Бывать у нихъ я готовъ для васъ. Это другое дѣло. Вы, Marie, совсѣмъ не понимаете меня съ моей главной и существенной стороны. Знаете-ли вы, что людей, съ которыми я ни въ чемъ не могу сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу ихъ? И знаете-ли вы, что я это считаю въ себѣ добродѣтелью, лучшимъ, что есть во мнѣ?

Прощайте. Отвѣчайте мнѣ немедленно на это письмо. Будьте свободны въ вашемъ рѣшеніи, и вѣрьте, что ваше спокойствіе и здоровье, въ моихъ глазахъ, стоютъ моего счастья, и что я постараюсь, какъ могу и умѣю, *me resigner*.

На этомъ заканчивается переписка съ невѣстой. Бѣлинскій побѣдилъ, М. В. пріѣхала къ нему въ Петербургъ. Но не была-ли эта побѣда куплена слишкомъ дорогою цѣною, не оставила-ли у обоихъ тѣни раздраженія и грустнаго сознанія, что вполнѣ они другъ друга не понимаютъ?

Глава XIII.

Втеченіе цѣлаго ряда лѣтъ (1840 — 46) журнальная дѣятельность Бѣлинскаго ограничивалась исключительно «Отечественными Записками». Онъ любилъ этотъ журналъ, который самъ создалъ и на который убилъ все свое здоровье. Онъ слѣдилъ за его успѣхами, радовался каждому новому подписчику, каждому слову сочувствія и не жалѣлъ себя. Работать приходилось много, невѣроятно много и порою чувствовалось тяжелое утомленіе.

«Сколько разъ заставлялъ я его въ такія минуты и смотрѣлъ на него, не замѣчаемый имъ; если-же онъ оборачивался и взглядывалъ на меня, прежде нежели я уходилъ, онъ безъ церемоніи говорилъ мнѣ:

«—Извините меня, Панаевъ... Видите, я занятъ.

«Онъ откладывалъ на минуту перо и прикладывалъ руку къ головѣ. Я какъ теперь вижу его въ этомъ положеніи»...

Панаевъ рассказываетъ, какъ утомляли физически Бѣлинскаго эти работы и какъ тяготила его, наконецъ, необходимость писать о пустякахъ и невозможность говорить о томъ, что сдѣлалось его настоящимъ, глубокимъ интересомъ.

«Какъ-то разъ, — говоритъ Панаевъ, — я засталъ Бѣлинскаго ходящимъ по комнатѣ въ волненіи и съ усиліемъ махающимъ правою рукою.

«— Что это съ вами? — спросилъ я его.

«— Рука отекала отъ писанья... Я часовъ восемь сряду писалъ, не вставая. Говорятъ, я самъ виноватъ, потому что откладываю писанье свое до послѣднихъ дней мѣсяца. Можетъ быть это отчасти и правда, но взгляните, Бога ради, сколько книгъ мнѣ присылаютъ... и какія еще книги — посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальныя книжонки! И я долженъ непремѣнно хоть по нѣсколько словъ написать объ каждой изъ этихъ книжонокъ!..

«Онъ останоился на минуту, тяжело вздохнулъ и продолжалъ:

«— Да, и если-бы знали вы, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то-же — все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамокъ — все искусство, да искусство! Ну, какой я литературный критикъ! — Я рожденъ памфлетистомъ, — и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло въ душѣ, отчего сердце болитъ!»

«Я рожденъ былъ памфлетистомъ» — т. е. самымъ неудобнымъ человѣкомъ въ обстановкѣ сороковыхъ годовъ, когда господствовалъ принципъ «не разсуждать надо, а слушаться!» И все чаще и чаще приходилось задаваться вопросомъ — «о чемъ-же писать?», тѣмъ болѣе, что цензура стала «съ интересомъ и вниманіемъ» приглядываться къ статьямъ Бѣлинскаго.

«Писать ничего и ни о чемъ со дня на день становится невозможнѣе и невозможнѣе. Объ искусствѣ ври что хочешь, а о дѣлѣ, т. е. о нравахъ и нравственности, — хоть и не трать труда и времени. Изъ статьи моей въ 1 № «О. З.» вырѣзанъ цѣлый листъ печатный — все лучшее, а я этою статьею очень дорожилъ, ибо она проста и по идеѣ и по изложенію. Изъ статьи о Державинѣ (№ 2) не вычеркнуто ни одного слова, а я совсѣмъ не дорожилъ ею. Теперь долженъ приниматься за 2-ю ст. о Д. (Державинѣ), подъ влияніемъ вдохновительной и поощрительной мысли, что ее всю изрѣжутъ и исковеркаютъ. Все это и другія причины огадали мнѣ русскую литературу и вранье о ней сдѣлали пыткой».

А между тѣмъ онъ долженъ былъ говорить и говорить о ней — «ради хлѣба насущнаго». Работа идетъ странно: часто даже обыкновенно онъ пропускаетъ время, потому что мысли полны другимъ, наконецъ, редакция начинаетъ требовать статьи: — «глядь ужъ и 15-е число на дворѣ, — Кр. рычитъ, у меня въ головѣ ни поль-мысли, не знаю, какъ начну, что скажу; беру перо» — и статья будетъ готова, — «какъ, я самъ не знаю, но будетъ готова».

Его стѣсняли даже въ отзывахъ о Державинѣ, вычеркивали полемическія страницы противъ Булгарина и запрещали нападать на славянофильскій «Мо-

сквитянинъ» Погодина и Шевырева, который онъ ненавидѣлъ и презиралъ искренне,—отъ всей души.

«О чемъ писать,—съ отчаяніемъ спрашиваетъ онъ?—Но у насъ есть только дворянскіе выборы, а этотъ предметъ... О министерствѣ? Но ни ему до насъ, ни намъ до него нѣтъ дѣла, при томъ же... О движенія промышленности, администраціи, общественности, о литературѣ, наукѣ?—но у насъ ихъ нѣтъ. О себѣ самихъ? Но мы выучили уже наизусть свои страданія и страшно надоѣли другъ другу!» Положеніе, согласитесь, не изъ лучшихъ. Но допустимъ, что цензура была-бы менѣе строга, и Бѣлинскому, почаще разрѣшали бы выходить изъ заколдованнаго круга: Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ—Лермонтовъ, Пушкинъ, Гоголь и т. д. Было-бы лучше только *отчасти*, такъ какъ главное зло таилось въ полномъ и плачевномъ отсутствіи общества, въ полномъ и плачевномъ отсутствіи общественнаго самосознанія.

Бѣлинскій превосходно понималъ это: «Увы, Боткинъ,—говоритъ онъ,—безъ общества нѣтъ ни дружбы, ни любви, ни духовныхъ интересовъ, а есть только порываніе ко всему этому, порыванія неровныя, безсильныя, безъ достиженія, болѣзненныя, недѣйствительныя. Вся наша жизнь, наши отношенія служатъ лучшимъ доказательствомъ этой горькой истины. Общество живетъ извѣстною суммой извѣстныхъ принциповъ... Человѣчество есть абстрактная почва для развитія души индивидуума, а мы всѣ выросли изъ этой абстрактной почвы, мы—несчастные Анахарсисы новой Скиѣи. Оттого мы зѣваемъ, толчемся, суетимся, всѣмъ интересуемся, ни къ чему не прилѣпляясь, все пожираемъ, ничѣмъ не насыщаясь... Мы любили другъ друга, любили горячо и глубоко... но какъ же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили другъ отъ друга въ восторгъ и экстазъ,—мы ненавидѣли другъ друга, мы удивлялись другъ другу, мы презирали другъ друга...; во время долгой разлуки, мы рыдали и молились при одной мысли о свиданіи, истаевали и исходили любовью другъ къ другу, а сходились и видѣлись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствіе и разставались безъ сожалѣнія. Какъ хочешь, а это такъ. Пора намъ перестать обманывать самихъ себя, пора смотрѣть на дѣйствительность прямо, въ оба глаза, не шурясь и не кривя душою... Теперь посмотри на нашу любовь: что это такое? Для всѣхъ это—радость, блаженство, пышный цвѣтъ жизни, для насъ это—трудъ, работа, тяжкая скорбь. Вездѣ богатство и роскошь фантазіи, но во всемъ скудость и нищета дѣйствительности»...

«Въ жизни общества, въ средѣ котораго они воспитались и должны были дѣйствовать, Бѣлинскій находилъ такія же странныя и фальшивыя явленія—отъ отсутствія правильныхъ условій общественности»:

«Ученые профессора наши—педанты, гниль общества; полуграмотный купецъ Полевой даетъ толчокъ обществу, дѣлаетъ эпоху въ его литературѣ и жизни, а потомъ вдругъ... отступаетъ... Не знаю, имѣю ли я право упомянуть тутъ и о себѣ, но вѣдь и обо мнѣ говорятъ же, меня знаютъ многіе, кого я не знаю, я, какъ ты мнѣ самъ говорилъ въ послѣднее свиданіе, *фактъ русской жизни*. Но посмотри, что же это за уродливый... фактъ! Я понимаю

Гете и Шиллера лучше тѣхъ, которые знаютъ ихъ наизусть, а не знаю по-нѣмецки... Такъ повинить ли мнѣ себя? О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Мнѣ кажется, дай мнѣ свободу дѣйствовать для общества хоть на десять лѣтъ... и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость... полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли. Да, въ иныя минуты я глубоко чувствую, что это — свѣтлое сознаніе своего призванія, а не голосъ мелкаго самолюбія, которое силится оправдать свою лѣность, апатію, слабость воли, безсиліе и ничтожность натуры. Обращусь къ тебѣ. Ты часто говорилъ, что не можешь, ибо не призванъ писать. Но почему же ты пишешь и при томъ такъ, какъ немногіе пишутъ? Нѣтъ, въ тебѣ есть все для этого, все, кромѣ силы и упорства, которыхъ нѣтъ потому, что *нѣтъ того, для кого должно писать*: ты не ощущаешь себя въ обществѣ, ибо его нѣтъ»...

Бѣлинскій нѣсколько увлекается; онъ забываетъ объ успѣхѣ собственныхъ статей среди современниковъ, забываетъ наконецъ о потомствѣ. Да, о потомствѣ онъ вообще мало думалъ и могъ-бы пожалуй повторить извѣстные стихи Майкова:

По смерти слава намъ не въ прокъ.

И что за счастье, что когда-то

Укажетъ риторъ бородатый

Въ тебѣ для школьниковъ урокъ.

Новая, воспринятая Бѣлинскимъ, идея о верховенствѣ личности и личнаго начала, идея такъ гармонически сливавшаяся со всѣмъ его нравственнымъ существомъ, къ тому времени была несомнѣнно революціонной. А между тѣмъ она росла и ширилась въ его умѣ и нетерпѣливо просилась наружу. Но приходилось молчать или маскировать свои мысли. На самомъ дѣлѣ, что было ему писать, когда онъ считалъ гражданскую доблесть высшимъ проявленіемъ личнаго начала или думалъ объ «эмансипаціи женщинъ?»...

«Биографія Катона (Утическаго, а не скотины Старшаго) пахнула на меня мрачнымъ величіемъ трагедіи, — какая благороднѣйшая личность! Периклъ и Алкивиадъ взяли съ меня полную и обильную дань удивленія и восторговъ. А что же Цезарь, — спросишь ты. Увы, другъ мой, я теперь забился въ одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего. Ты знаешь, что мнѣ не суждено попадать въ центръ истины, откуда въ равномъ разстояніи видны всѣ крайнія точки ея круга: нѣтъ, я какъ-то всегда очучусь на самомъ краю. Такъ и теперь: я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ паеосѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхи и Катонъ Утическій... заслонили собою въ моихъ глазахъ и Цезаря и Македонскаго? Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести. Принимаясь за «Плутарха», я думалъ, что греки заслонятъ отъ меня римлянъ — вышло не такъ. Я бѣсновался отъ Перикла и Алкивиада, но Тимолеонъ и Фокіонъ (эти греко-римляне) закрыли для меня своей суровою колоссальностію

прекрасные и граціозные образы представителей аеинянъ. Но въ римскихъ біографіяхъ душа моя плавала въ океанѣ. Я понялъ черезъ «Плутарха» многое, чего не понималъ. На почвѣ Греціи и Рима выросло новѣйшее человѣчество. Безъ нихъ средніе вѣка ничего не сдѣлали бы. Я понялъ и французскую революцію, и ея римскую помпу, надъ которою прежде смѣялся... Обаятеленъ міръ древности. Въ его жизни зерно всего великаго, благороднаго, доблестнаго, потому что основа его жизни—гордость личности, неприкосновенность личнаго достоинства.

«Воспоминанія древняго міра еще усилили въ Бѣлинскомъ то направленіе мыслей, какое внушали ему теперь наблюденія надъ дѣйствительностью. Сила испытанныхъ впечатлѣній убѣждала его, что апатія, его одолѣвавшая,—вовсе не упадокъ энергіи, не ослабленіе его задушевныхъ стремленій. Напротивъ:

«Я во всемъ разочаровался, ничему не вѣрю, ничего и никого не люблю, и однако-жъ интересы прозаической жизни все менѣе и менѣе занимаютъ меня, и я все болѣе и болѣе — гражданинъ вселенной. Безумная жажда любви все болѣе и болѣе пожираетъ мою внутренность, тоска тяжелѣе и упорнѣе. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимаетъ и не мое. Личность человѣческая сдѣлалась пунктомъ, на которомъ я боюсь сойти съ ума. Я начинаю любить человѣчество маратовски: чтобы сдѣлать счастливою малѣйшую часть его, я, кажется, огнемъ и мечомъ истребилъ бы остальную»...

Слѣдуетъ страстная тирада въ защиту достоинства человѣческой личности, обвиненіе противъ ея угнетателей,—гдѣ вспоминается Бѣлинскому его новый идеалъ, Шиллеръ, «Тиберій Гракхъ нашего вѣка», и старый авторитетъ, Гегель, который далеко не удовлетворяетъ его своими политическими теоріями. Бѣлинскій восхищается двумя великими народами древности, успѣвшими достигнуть столь высокаго понятія о достоинствѣ личности, и мирится вполнѣ съ французами, которые «безъ нѣмецкой философіи поняли то, чего нѣмецкая философія еще и теперь не понимаетъ». Онъ думаетъ, что ему надобно познакомиться съ сенъ-симонистами. «Я на женщину смотрю ихъ глазами».

«Изложеніе взгляда на женщину есть новая страстная филиппика. По мнѣнію Бѣлинскаго, «женщина есть жертва, раба новѣйшаго общества». Онъ съ крайнимъ и рѣзко выраженнымъ негодованіемъ возстаетъ противъ господствующаго взгляда на женщину, утвержденнаго обычаемъ и другими общественными санкціями, взгляда, унизительнаго для женщины, грубаго, лицемернаго и несправедливаго. За женщиной, по словамъ Бѣлинскаго, не признаютъ равнаго человѣческаго права: мужчина считаетъ себя ея господиномъ, и она не имѣетъ выхода изъ подчиненія, какъ бы оно ни было несправедливо и жестоко; ея «честь» понимается самымъ «киргизъ-кайсацкимъ» образомъ: мужчина, нисколько не вредя своему достоинству, можетъ свободно отдаваться своимъ влеченіямъ,—женщина подвергается суровому осужденію, если уклонилась отъ формальной морали, обычая, хотя бы для самаго истиннаго чувства; для нея одной обязательна эта внѣшняя, формальная мораль, и она остается безупречна въ глазахъ общества, если исполняетъ ее, хотя бы это исполненіе

было вынужденное или лицемерное. Изображая обычные отношенія брака, отношенія неровныя и стѣснительныя только для женщины, Бѣлинскій спрашиваетъ:—«Почему это? Превосходство мужчины? Но оно тогда законное право, когда признается сознаниемъ и любовію жены, выходитъ изъ нея свободной довѣренности... иначе право (мужа) надъ нею—кулачное право. Нѣтъ, братъ, женщина въ Европѣ столько же раба, сколько въ Турціи и въ Персіи... И мы еще можемъ фантазировать, что человѣчество стоитъ на высокой степени совершенства». Всѣхъ далѣе ушли въ этомъ отношеніи французы: у нихъ нравы уже предоставляютъ женщинѣ больше свободы, и у нихъ явилась «вдохновенная пророчица, энергическій адвокатъ правъ женщины»—(нѣкогда ненавистная ему) Жоржъ-Зандъ. «Великій народъ»,—добавляетъ онъ».

«Отечественныя Записки» въ это время (43—46 г.) положительно процвѣтали. Число подписчиковъ, долго стоявшее на 1500, поднялось до 3000, а затѣмъ перешло и эту цифру. Бѣлинскій все шире и шире распространялъ свое вліяніе въ публикѣ, его статьи ожидалась съ нетерпѣніемъ и читались какъ слова самой истины. Лучшими его статьями за это время слѣдуетъ признать статьи о Гоголѣ, Лермонтовѣ, Пушкинѣ, Полевомъ, Кольцовѣ и его ежегодные обзоры литературы, въ которыхъ онъ старательно отмѣчалъ всякій даже незначительный шагъ впередъ. Окончательно сложились его литературные взгляды и онъ съ радостью видѣлъ, какъ молодые таланты становились подъ его знамя. На равныхъ правахъ и въ одинаковомъ направленіи работалъ онъ съ Герценомъ—этимъ огромнымъ, свѣтлымъ, тогда еще не разочарованнымъ и пытливымъ умомъ. Я разсмотрю подробнѣе его: 1) борьбу съ славянофилами, 2) защиту натуральной школы и 3) зарожденіе народничества.

Глава XIV.

Бѣлинскій и славянофилы.

Что такое славянофильство? Откуда такая ненависть къ нему со стороны Бѣлинскаго? Почему онъ считалъ ихъ въ концѣ концовъ злѣйшими своими врагами, хотя съ главнѣйшими изъ нихъ, напр. К. Аксаковымъ, С. Хомяковымъ, онъ состоялъ долгое время въ пріятельскихъ, даже близкихъ отношеніяхъ? Духовно и теоретически Бѣлинскій и славянофилы вышли изъ того-же корня, и онъ и они одинаково прошли строгую школу нѣмецкой философіи, увлекались сначала Шеллингомъ, потомъ Гегелемъ. Мнѣ необходимо отвѣтить на поставленные вопросы, но такъ какъ спеціальнаго трактата о славянофильствѣ я писать не собираюсь, то о немъ собственно—лишь самое существенное, пользуясь при этомъ преимущественно показаніями современниковъ.

«Славянофильство или руссизмъ не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и массовой инстинктъ, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію существовали со времени обрѣтія первой бороды Петромъ Великимъ.

Противодѣйствіе петербургскому «объевропеиванію» Россіи никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повѣшанное на зубцахъ Кремля и тамъ прострѣленное Меншиковымъ и другими царскими «потѣшными» въ видѣ буйныхъ стрѣльцовъ; убитое въ равелинѣ петербургской крѣпости въ лицѣ царевича Алексѣя, оно—это противодѣйствіе—является какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ разнузданная брань гениальнаго Ломоносова, какъ сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы сѣсть на престолъ: вѣдь народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронованіи выйдетъ приказъ избить нѣмцевъ. Всѣ раскольники—славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественниками Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинѣ, но патриотизмъ 1812 года не имѣлъ старообрядчески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и Пушкинѣ, въ самомъ Императорѣ Александрѣ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ могучіе народы, когда ихъ задѣваютъ чужіе; потому это было торжественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора. Но теорія его была слаба; для того, чтобы любить русскую исторію, патриоты перекладывали ее на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій римско-греческій патриотизмъ Корнеля и Расина и не шли далѣе стиха:

Pour un soeur bien né, que la patrie est chère!

Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

Правда Шишковъ бредилъ уже и тогда о восстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограничено. Что же касается до настоящаго народнаго слога, то его зналъ одинъ офранцузенный графъ Раstopчинъ, да и тотъ частенько перевиралъ его, преобразовывая въ «балаганный стиль».

По мѣрѣ того, какъ война забывалась, патриотизмъ этотъ утихалъ и выродился, наконецъ, съ одной стороны, въ подлую циническую лесть «Сѣверной Пчелы». съ другой—въ пошлый Загоскинскій патриотизмъ, называвшій Шую Манчестромъ, Шубуева—Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго размѣра «отъ стѣнъ Кремля до стѣнъ Китая»...

Только при Императорѣ Николаѣ славянофильство изъ настроенія обратилось въ доктрину, теорію. Въ этомъ многое было повинно. Усиленный государственный режимъ, господствовавшій въ эту эпоху, гнетъ котораго каждый чувствовалъ на себѣ, не могъ не вызвать чисто инстинктивнаго желанія уйти хотя-бы въ область фантазіи и мечтательнаго будущаго.

Всякій, думается намъ, знаетъ, что въ николаевскую эпоху господство-

вала «система». Эта система ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражает нас своим грандіознымъ размахомъ. Эта система являлась какъ-бы живымъ воплощеніемъ могучей и непреклонной личности самого Императора Николая I. Идея, которая проникала собой всю систему и какъ мозгъ наполняла кости ея, была идеей внѣшняго могущества и силы Россіи—съ одной стороны, безусловнаго единства ея духовной жизни—съ другой. Относительно внѣшняго могущества будемъ кратко: его не только добивались, имъ пользовались. Познакомившись хотя немного съ исторіей дипломатическихъ сношеній времени Николая I-го, вы прежде всего видите тотъ фактъ, что въпродолженіе долгаго ряда лѣтъ въ европейскомъ концертѣ Россія держала первую скрипку. Императоръ былъ настоящимъ рѣшителемъ европейскихъ судебъ, чьему приказанію волей-неволей должны были подчиняться за границей. Въ дѣла другихъ европейскихъ государствъ онъ вмѣшивался властно и требовательно; его голосъ раздавался, какъ голосъ власти, силу и право имѣющей, главное—силу. Стоитъ припомнить классическую угрозу Николая I-го отправить въ Парижъ миллионъ слушателей, т. е. солдатъ, въ случаѣ, если будетъ допущена къ представленію пьеса, гдѣ выводилась далеко не въ привлекательномъ видѣ Екатерина II-я. Луи-Филиппъ послушался: пьесу поспѣшили упразднить. Участіе Россіи въ венгерскомъ возстаніи—новая иллюстрація того-же самага. Венгерцы возстали потому, что у нихъ были съ австрійцами свои собственные счеты; но такъ какъ Императоръ Николай I-й возложилъ на себя трудную задачу о сохраненіи европейскаго мира и считалъ безусловнымъ своимъ долгомъ заботиться о прочности всѣхъ европейскихъ престоловъ и поддерживать династическую идею вездѣ и повсюду, то Россіи пришлось вмѣшаться и въ венгерское возстаніе ради его успокоенія. Русскій колоссъ въ эту удивительную эпоху расправлялъ свои могучіе члены и явился въ полномъ блескѣ величія и власти. Но, очевидно, чтобы пользоваться въ Европѣ такой первенствующей ролью, ему пришлось пустить въ ходъ всѣ свои силы, которыя только были, пришлось дѣлать невѣроятное напряженіе, пришлось идеѣ внѣшняго могущества подчинить все остальное и принести ей въ жертву лучшія дарованія и лучшія способности.

Однимъ изъ необходимѣйшихъ условій внѣшняго могущества, по мнѣнію Императора Николая, являлось полное, безусловное, нетерпящее никакихъ даже самомажнѣйшихъ уклоненій, духовное единство всѣхъ русскихъ людей. Имъ должны были проникнуться всѣ, начиная съ перваго вельможи и кончая послѣднимъ мужиченкомъ. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себѣ всѣ мысли и чувства пятидесятимилліоннаго населенія. Это была поистинѣ грандіозная попытка. Всѣ усилія правительства, въ области внутренней политики, сводились къ дисциплинѣ, идеаломъ которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое, строго опредѣленное мѣсто; отъ каждаго требовалось, чтобы онъ говорилъ, думалъ и чувствовалъ именно такъ, какъ было предписано. Одинъ долженъ былъ чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; въ мысляхъ одного могло быть больше развязности и бойкости, чѣмъ въ мысляхъ

другого, или третьяго, которому совѣтъ не полагалось имѣть никакихъ мыслей. Все это было строго предусмотрѣно системой, все это съ математической точностью соотвѣтствовало положенію человѣка здѣсь, на землѣ.

Какъ жилось въ этой обстановкѣ интеллигентной мысли—сообразить не трудно. Интеллигентная мысль менѣе всего подходила подъ требованія системы. Вѣдь вся привлекательность умственной или творческой дѣятельности въ томъ и заключается, что въ ней человѣкъ выражаетъ свою особенность и индивидуальность. Разъ нѣтъ послѣдняго, разъ нѣтъ свободы, позволяющей проявить самого себя,—то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мостовую. Но какое дѣло „системъ“ до особенности и индивидуальности? Крупныхъ людей, какъ напр. Пушкина, она старалась привлечь на свою сторону. Съ мелкими она совершенно не церемонилась.

При такихъ обстоятельствахъ, при такой тягости жизни, почва для утопіи, для всяческихъ—мечтаній готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопію, свои мечтанія, что было имъ такъ-же необходимо, какъ глотокъ свѣжаго воздуха задыхающемуся человѣку. Обстоятельства заставили ихъ организоваться, сплотиться и подыскать философскія подпорки для своихъ вождельній. Лѣтомъ 1836 г. въ одномъ изъ журналовъ того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь; тонуло ли что и возвѣщало свою гибель, былъ ли это сигналъ, зовъ на помощь, вѣсть объ утратѣ или о томъ, что его не будетъ,—все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значать два—три листа, помѣщенныхъ въ ежемѣсячномъ обзорѣніи? А между тѣмъ такова сила рѣчи сказанной, такова мощь слова въ странѣ мечтаній и не привыкшей къ свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію. Оно имѣло полное право на это. Послѣ «Горе отъ ума» не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдѣлало бы такое сильное впечатлѣніе. Между ними—десятилѣтнее молчаніе. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдругъ тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала рѣчи для того, чтобы спокойно сказать: «lasciate ogni speranza».

«Со второй, третьей страницы письма, — говоритъ Герценъ, — меня остановилъ печально серьезный тонъ; отъ cadaго слова вѣяло долгимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Такъ пишутъ только люди, долго думавшіе, много думавшіе, и много испытавшіе въ жизни... Читаю далѣе—письмо растеть, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ актомъ, протестомъ личности, которая за все вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ».

«Каждый чувствовалъ тяготу. У cadaго было что-то на сердцѣ и все-таки всѣ молчали; наконецъ пришелъ человѣкъ, который по-своему сказалъ—что? Онъ сказалъ только про боль, свѣтлаго ничего нѣтъ въ его словахъ, да нѣтъ ничего и во взглядѣ. Письмо Чаадаева — безжалостный крикъ боли и

упрека петровской Россіи; оно имѣло право на него; развѣ эта среда жалѣла, шадила автора или кого-нибудь?

«Разумѣется, такой голодъ долженъ былъ вызвать противъ себя оппозицію, или онъ былъ-бы совершенно правъ, говоря, что «прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для нея вовсе нѣтъ», что «это пробѣлъ недоразумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ—до чего отчужденіе и рабство могутъ довести». Это было покаяніе и движеніе. Оно и не прошло такъ. На минуту всѣ даже сонные и забытые воспрянули, испугавшись зловѣщаго голоса. Всѣ были изумлены, большинство было оскорблено, человѣкъ десять громко и горячо апплодировали автору».

Исторія Россіи—грозный урокъ, данный народамъ, «до чего отчужденіе и рабство могутъ довести»,—такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она однако несправедлива до рѣзкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаевъ говорилъ: «въ Москвѣ каждого иностранца водятъ смотрѣть большую пушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколъ, который свалился прежде, чѣмъ зазвонилъ. Удивительный городъ, гдѣ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или можетъ быть этотъ большой колоколъ безъ языка—гіероглифъ, выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя славянами, какъ-бы удивляясь, что имѣетъ слово человѣческое». Нельзя было оставить безъ отпора такое неуваженіе. Чаадаевъ и славянофилы равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни; они равно спрашивали: «что-же будетъ? Такъ жить невозможно; тягость и нелѣпость окружающаго, очевидно, невыносима—гдѣ-же выходъ?»

«Его нѣтъ»,—отвѣчаетъ человѣкъ петровскаго періода, исключительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ I въ европейскую будущность Россіи. Онъ печально указывалъ, къ чему привели усилія цѣлаго вѣка: образованіе дало только новыя средства угнетенія, народъ стонетъ подъ игомъ горшею прежняго.

«Исторія другихъ народовъ,—говоритъ онъ,—повѣсть ихъ освобожденія. Русская исторія—развитіе крѣпостнаго состоянія». «Переворотъ Петра сдѣлалъ изъ людей—просвѣщенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ, смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ, отшатнувшіеся отъ него,—пора отдохнуть, пора свести въ свою душу миръ, прислониться къ чему-нибудь». Это почти значило, «пора умереть», и Чаадаевъ «прислонился» къ католицизму.

Славянофилы рѣшили вопросъ иначе.

Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе живой души въ народѣ, чутъе ихъ было проникательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная болѣзнь. И въ то время, какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ возможность спасенія лицъ, а не народа, у славянофиловъ ясно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа—его будущность.

«Выходъ за нами,—говорили славянофилы,—выходъ—въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе: воротимся къ прежнимъ допетровскимъ правамъ».

Вѣрное, хорошее настроеніе воплотилось въ странную форму.

«Исторія не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бываютъ нужны старыя платья. Всѣ возстановленія, всѣ реставраціи были всегда маскаратами: ни легитимисты не возвратились ко временамъ Людовика XIV, ни республиканцы—къ 8-ому Термидору. Случившееся стѣбитъ писаннаго, его не вырубить топоромъ... хотя-бы самой гильотины. Намъ сверхъ того и не къ чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской Россіи была уродлива, бѣдна, дика,—а къ ней-то и хотѣли славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются въ этомъ: какъ-же иначе объяснить всѣ археологическія воскресенія, поклоненіе правамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ боярскимъ костюмамъ. И что это такое за ненависть къ фракамъ и брюкамъ нѣмецко-парижскаго покроя? Во всей Россіи кромѣ славянофиловъ никто не носилъ мурмолокъ. К. С. Аксаковъ одѣлся такъ «національно», что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ рассказываетъ шутя Чаадаевъ».

Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тѣнь на всѣ славянофильскія теоріи. Эта тѣнь по необходимости сгустилась, когда узкій, назойливый, даже наглый, націонализмъ нашель себѣ убѣжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерѣ.

«Такъ, напримѣръ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ въ Москвѣ проѣздомъ панславистъ Гай. Москвитяне вѣрятъ вообще всѣмъ иностранцамъ; Гай былъ больше чѣмъ иностранецъ, онъ былъ «нашъ братъ» славянинъ. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить нашихъ славянъ судьбою страждущихъ и православныхъ братій въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней, и сверхъ того Гаю былъ данъ обѣдъ во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ важнѣйшихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, человекъ краснаго православія,—К. Аксаковъ,—разгоряченный вѣроятно тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее «не совѣшь» христіанское выраженіе:

Упьюся я кровью мадяровъ и нѣмцевъ...

Всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастью остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кровожаднаго пѣвца; онъ вскочилъ съ своего мѣста, схватилъ десертный ножикъ и сказалъ: господа, извините меня, я васъ оставляю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старый настройщикъ Дизъ—нѣмецъ; я сбѣгаю его прірѣзать и сейчасъ-же возвращусь. «Громъ смѣха заглушилъ негодованіе».

«Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началѣ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкѣ съ своей легкой кавалеріей,

подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, съ своими застрѣльщиками, охотниками, ультро-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кievскаго періода, и умѣренными, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каедры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, какъ-бы символически выходившее всегда двумя мѣсяцами позже, чѣмъ слѣдовало, но все же выходившее. При главномъ штабѣ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр. и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторявшіяся стычки очень интересовали литературные салоны въ Москвѣ. Надо замѣтить вообще, что Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр. «Мертвыхъ Душъ» составляло событіе.

Критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ какимъ бывало во Франціи или Англии слѣдили за парламентскими преніями».

Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ и въ немъ одномъ дѣйствительно совершался глухо и полусловами протестъ противъ тяготы жизни. Въ лицѣ западниковъ, и Грановскаго по преимуществу, московское общество привѣтствовало равную къ свободѣ мысль Запада,—мысль умственной независимости и борьбы за все свободное. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало оскорбленнаго чувства народности.

Все это, разумѣется, совершалось на вершинахъ общества, нисколько не затрогивая массы. Въ то время и славянофильство и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» ученіями, истинный смыслъ которыхъ былъ доступенъ лишь немногимъ посвященнымъ.

«Я въ Москвѣ зналъ, — говоритъ Герценъ, — два круга, два полюса ея общественной жизни. Сначала я былъ потерянъ въ обществѣ стариковъ гвардейскихъ офицеровъ временъ Екатерины, товарищей моего отца, и другихъ стариковъ, нашедшихъ тихое убѣжище въ страннопріимномъ сенатѣ, товарищей его брата. Потомъ я зналъ другую, молодую Москву—литературно-свѣтскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своихъ похоронъ по рангу и ихъ сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями»,—я не зналъ и не хотѣлъ знать. Промежуточная среда эта—настоящая николаевская Русь—была безцвѣтна и пошла, безъ екатерининской оригинальности, безъ отваги и удали людей 1812 года, безъ нашихъ стремленій и интересовъ... Говоря о московскихъ гостиныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, давали тонъ декабристы, смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Орловъ и А. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ, наконецъ, А. Хомяковъ спорилъ до 9-ти часовъ утра, начавши въ 9 ве-

чера, гдѣ К. Аксаковъ съ мурмокой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, гдѣ Р. выводилъ логически личнаго Бога ad majorem gloriam Hegelü, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ все помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными, гдѣ молодой старикъ А. П. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы отъ Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ, гдѣ Боткинъ и Крюковъ патетически наслаждались рассказами М. С. Щепкина, и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что падало»...

Въ этихъ кружкахъ за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипѣло. Москва принимала дѣятельное участіе въ спорахъ за мурмоки и противъ нихъ, барыни и барышни читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣли только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и не-литературныхъ вечерахъ, на которыхъ встрѣчались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу—у Свербѣева, въ воскресенье—у Елагиной. Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера пріѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобы посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣлаетъ и какъ отдѣлають его самого: пріѣзжали въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфи-театръ за Рогожской заставой.

Илей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православія и славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, «Горгіасъ, совопросникъ міра сего», по выраженію Морощкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ устали и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ островами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти было нельзя.

Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины (одинъ изъ краугольныхъ догматовъ славянофильства); онъ приписывалъ разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемые откровеніемъ, получаемыя вѣрой. Если же разумъ оставленъ на самого себя, то, бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ за ними шагъ за шагомъ и подъ конецъ дулъ на карточный

домъ логическихъ формулъ, или подставлялъ ногу своимъ противникамъ и заставлялъ ихъ падать въ матеріализмъ, отъ котораго они стыдливо отрекались или въ «атеизмъ», котораго они просто боялись. Хомяковъ торжествовалъ! Но, разумѣется, онъ не могъ не пасовать передъ людьми, которые безъ боязненно принимали всѣ выводы науки, куда бы она ни вела ихъ.

Тутъ же были и другіе столпы славянофильства, братья Кирѣевскіе, Иванъ и Петръ. Оба они стоятъ печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія; непризнанные живыми, не дѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидывали савана, не разставались съ своей глубокой грустью.

Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича носило рѣзкіе слѣды страданій и борьбы. Жизнь ему не улыбалась. Съ жаромъ принялся онъ въ своей юности за ежемѣсячное обозрѣніе «Европеецъ». Двѣ выпедшія книжки были превосходны, при выходѣ второй «Европеецъ» былъ запрещенъ. Онъ помѣстилъ въ «Денницѣ» статью о Новиковѣ. «Денница» была схвачена, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Кирѣевскій, разстроившій свое состояніе «Европеецемъ», уныло почилъ въ пустынѣ московской жизни; ничего не представлялось вокругъ—онъ не вытерпѣлъ и уѣхалъ въ деревню, затаивъ въ груди глубокую скорбь и тоску по дѣятельности. И этого человѣка, твердаго и чистаго, какъ сталь, разѣла ржа. Черезъ 10 лѣтъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества мистически настроенный.

Положеніе его въ Москвѣ было тяжелое. Совершенной близости сочувствія у него не было ни съ западниками, ни съ славянофилами. Между нимъ и западниками была стѣна вѣры и церковныхъ, православныхъ догматовъ. Въ то же время поклонникъ свободы и принциповъ французской революціи, онъ не могъ раздѣлять пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообрядцевъ-славянъ. Онъ однажды съ глубокой печалью сказалъ Грановскому: „Сердцемъ я больше связанъ съ вами, во не дѣлю многого изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ“. Съ Иваномъ Кирѣевскимъ было больно спорить, какъ больно спорить съ разрушающимся человѣкомъ.

Характеристика славянофильскаго кружка вышла бы, однако, не полной, если бы мы забыли упомянуть о самомъ фанатическомъ проповѣдникѣ правовѣрія и народничества, К. Аксаковѣ. Мы еще будемъ встрѣчаться съ нимъ, пока—всего нѣсколько строкъ.

„Константинъ Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, въ діалектическомъ упоеніи мысли и не сосредоточивался въ безвыходномъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша и притомъ вѣчный юноша—онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ мы видимъ не неувѣренное пытаніе почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынѣ, не дальнія надежды, а фанатическую вѣру, нетерпимую, одностороннюю, ту, которая могла бы сдвинуть съ мѣста горы. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякій воинъ. Онъ былъ окруженъ враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надо было пробиваться черезъ ряды всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя.

Какая уж тут терпимость!

Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикѣ Хомякова, онъ не былъ поэтъ—мыслитель, какъ Н. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убѣдительными. Онъ въ началѣ 40-хъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, миръ и артель. Онъ научилъ Гаксгаузена понимать ихъ и, послѣдовательный до дѣтства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривымъ воротомъ. „Москва—столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ—только резиденція“.

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчно восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношей: онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда споры славянофиловъ съ западниками дошли до того, что они уже не хотѣли болѣе встрѣчаться. Герценъ какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Г. дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ къ Г. „Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ онъ,—проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ позжать вашу руку и проститься“. Онъ быстро пошелъ къ своимъ санямъ, но вдругъ воротился. Г. стоялъ на томъ-же мѣстѣ; ему было грустно. Аксаковъ бросился къ нему, крѣпко обнялъ его и крѣпко поцѣловалъ. У него на глазахъ были слезы. Этому-то младенцу сердцемъ, но убѣжденному и непреклонному фанатику и пришлось играть видную роль въ проповѣди славянофильства. Можно себѣ напередъ представить, сколько горячности было внесено въ эту проповѣдь и къ какимъ жизненнымъ практическимъ результатамъ могла она привести! Быстро и далеко зашла ссора изъ-за теоретическихъ разногласій между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-по-малу перешла въ журнальную.

Грановскій, Герценъ и другіе кое-какъ еще ладили съ славянофилами. Не уступая началъ, они не дѣлали изъ разномыслія личнаго вопроса. Бѣлинскій, страстный въ своей нетерпимости, шелъ дальше и горько упрекалъ своихъ друзей—западниковъ за покладистость.

„Я жидъ по натурѣ,—писалъ онъ одному изъ нихъ изъ Петербурга,—и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу. Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ „Москвитянинѣ“ (органъ славянъ). Нѣтъ, я не буду читать. Скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія“.

За то честили его и славянофилы. „Москвитянинъ“, раздраженный Бѣлинскимъ, раздраженный успѣхомъ „Отечественныхъ Записокъ“ и успѣхомъ знаменитыхъ лекцій Грановскаго, защищался чѣмъ попало, и всего менѣе

жалѣлъ Бѣлинскаго; онъ прямо говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ опасномъ, жаждущемъ разрушенія, радующемся при зрѣлищѣ „пожара“ и т. д.

„Москвитянинъ“ былъ, главнымъ образомъ, выразителемъ профессорскаго славянофильства двухъ своихъ редакторовъ, Погодина и Шевырева — этихъ сіамскихъ близнецовъ, какъ ихъ тогда называли. „Москвитянинъ“ мало-по-малу сталъ задѣвать уже не только Бѣлинскаго за его журнальныя статьи, но и Грановскаго—за его лекціи. И дѣлалось это къ сожалѣнію съ тѣмъ же несчастнымъ отсутствіемъ такта, который возстановлялъ противъ славянскаго органа всѣхъ порядочныхъ людей. Шевыревъ и Погодинъ обвиняли Грановскаго въ пристрастіи къ западному развитію, къ извѣстному порядку опасныхъ идей. Грановскій поднялъ ихъ перчатку и смѣлымъ, благороднымъ возраженіемъ заставилъ ихъ покраснѣть. Онъ публично съ кафедръ спросилъ своихъ обвинителей, почему онъ долженъ ненавидѣть Западъ, и зачѣмъ, ненавидя его развитіе, сталъ бы онъ читать исторію.

„Меня обвиняютъ,—сказалъ Грановскій,—въ томъ, что исторія служитъ мнѣ только для высказыванія моего воззрѣнія. Это отчасти справедливо, я имѣю убѣжденія и привожу ихъ въ моихъ чтеніяхъ; если-бы я не имѣлъ ихъ, я не вышелъ-бы публично передъ вами для того, чтобы рассказывать въ большей или меньшей степени занимательно рядъ событій“.

Отвѣты Грановскаго были такъ просты и мужественны, его лекціи такъ увлекательны, что славянскіе доктринеры притихли, а молодежь имъ рукоплескала. Послѣ курса былъ даже сдѣланъ опытъ примиренія. Западники давали обѣдъ послѣ его заключительной лекціи. Славянофилы захотѣли участвовать. Пиръ былъ удаченъ; въ концѣ его, послѣ многихъ тостовъ, противники обнялись и поцѣловались. Но виноваты въ этомъ были лишь выпитые тосты.

Оказалось прежде всего невозможнымъ умиротворить Бѣлинскаго. Онъ слалъ своимъ друзьямъ грозныя письма изъ Петербурга, отлучалъ ихъ, предавалъ анаемѣ и писалъ все злое и злое въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Наконецъ онъ торжественно указалъ пальцемъ противъ „проказы“ славянофильства и съ упрекомъ повторилъ: „вотъ вамъ она!“—онъ былъ правъ. Дѣло заключалось въ томъ, что нѣкогда любимый поэтъ (Нызовъ) сдѣлавшійся святошей отъ болѣзни и славянофиломъ по родству, хотѣлъ стегнуть противниковъ умирающей рукою; по несчастію онъ избралъ для этого опять-таки полицейскую нагайку. Въ пьесѣ подъ заглавіемъ „Не наши“ онъ называлъ Чаадаева отступникомъ отъ православія, Грановскаго—лжеучителемъ, растлѣвающимъ юношество. Г.—слугою, носящимъ блестящую ливрею западной науки, и всѣхъ трехъ—измѣнниками отечеству.

Обстоятельство это, разумѣется, прибавило много горечи въ отношенія обѣихъ враждующихъ партій. Нашлись люди, которые съ восторгомъ носились съ доносомъ въ стихахъ и читали его, гдѣ только было возможно. Имя поэта, имя чтеца, кругъ, въ которомъ онъ жилъ, кругъ, который имъ восхищался,—все это раздражало умы. Славяне и западники стали другъ противъ друга съ

обнаженными мечами, враждующіе, непримиримые, и это уже навсегда—вплоть до нашихъ дней.

Видимую побѣду на первыхъ порахъ одержали западники.

«На этотъ разъ,—говорить современникъ,—побѣдителями вышли не славяне. Общественное мнѣніе громко рѣшило въ нашу (западническую) пользу. Въ глухую ночь, когда «Москвитянинъ» тонулъ и «Маякъ» (другой славянофильскій органъ) не свѣтилъ ему больше изъ Петербурга, Бѣлинскій, вскормивши своей кровью «Отечеств. Зал.», поставилъ на ноги ихъ побочнаго сына («Современникъ» Н. Некрасова) и далъ имъ обоимъ такой толчекъ, что они могли нѣсколько лѣтъ продолжать свой путь съ одними корректорами и багырщиками, литературными мытарями и книжными грѣшниками. Бѣлинскаго имени было достаточно, чтобы обогатить два журнальныхъ прилавка и сосредоточить все лучшее въ русской литературѣ въ тѣхъ редакціяхъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе—въ то время, какъ таланты Кирѣевскаго и Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину».

Побѣда западниковъ была, однако, какъ мы скоро увидимъ, скорѣе мнимая, чѣмъ дѣйствительная. Славянофильство было только дискредитировано, но не уничтожено, и дискредитировано столько же статьями Бѣлинскаго, сколько собственной своей безтактностью. Основная его черта—полное отсутствіе политическаго смысла, полная неопредѣленность гражданскихъ вождѣлнй проявилась въ немъ на первыхъ же порахъ.

Мыслящая часть общества стала на сторону западниковъ. Эти послѣдніе все же звали впередъ, а не назадъ; эти послѣдніе все же знали, что имъ дѣлать, и, несмотря на тягость окружающаго, видѣли, чего хотѣть, чего искать. Въ славянофилахъ же былъ силенъ элементъ отчаянія, заставлявшій ихъ хвататься за соломинку и пытаться иллюзіями, чтобы спасти себя отъ полнаго маразма и унынія. Посмотрите, какъ разсуждали ихъ главари.

Хомяковъ твердилъ постоянно, что такъ какъ разумъ не можетъ дать никакого отвѣта на вопросы о Богѣ, безсмертіи души и т. д., то нужна вѣра. Въ сущности говоря, между недостаточностью разума и необходимостью вѣры никакой логической связи нѣтъ. Вѣра спасительна лишь въ томъ случаѣ, если она *есть*, никакая аргументація въ защиту ея необходимости не заставитъ меня проникнуться ею. Хомяковъ побѣждалъ своихъ противниковъ лишь потому, что тѣ были робкіе люди, готовые постоянно прятать голову въ песокъ. Но однажды маленькій разговоръ съ поразительной ясностью открылъ всю несостоятельность его проповѣди.

«Присутствуя нѣсколько разъ при его спорахъ,—разсказываетъ Герценъ,—я замѣтилъ, что Хомяковъ пугаетъ своихъ робкихъ противниковъ, и въ первый разъ, когда мнѣ самому пришлось помириться съ нимъ, самъ завлекъ его къ «страшнымъ» выводамъ. Хомяковъ щурилъ свой косою глазомъ, потряхивалъ черными, какъ смоль, кудрями и (увѣренный въ побѣдѣ) улыбался.

— Знаете ли что,—сказалъ онъ вдругъ, какъ бы удивляясь новой мысли,—не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разумаго духа, разви-

вающагося въ природѣ, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, какъ простое непрерывное броженіе, не имѣющее цѣли, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ родомъ человѣческимъ, съ планетой.

— Я вамъ и не говорилъ, — отвѣтилъ я ему. — что я берусь это доказывать, — я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ? — сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный. — вы можете принимать эти страшные результаты свирѣпѣйшей имманенціи и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ, или нѣтъ.

— Ну, вы *по крайней мѣрѣ* *) *последовательны*; однако, какъ чело-вѣку надо *схватить себя душу*, чтобы примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ!

— Докажите мнѣ, что *не наука* ваша истина, и я праму ея выводы также откровенно и безбоязненно.

— Для этого надобно вѣру.

— Но, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: «на нѣтъ и суда нѣтъ».

Хомяковъ утверждалъ недостаточность разума. Но что другое, какъ тотъ же недостаточный разумъ показалъ ему необходимость вѣры? Получилось безысходное противорѣчіе. Но надо было схватиться за соломинку, чтобы не принимать результатовъ «свирѣпѣйшей имманенціи», надо было за отсутствіемъ истинной вѣры изобрѣсть ея суррогатъ — недостаточность разума.

Такимъ же суррогатомъ питался и И. Кирѣевскій. По поводу обще-извѣстнаго его разсказа объ иконѣ, Влад. Соловьевъ дѣлаетъ немало остроумныхъ замѣчаній, говоря между прочимъ:

«По Кирѣевскому выходитъ, что предметъ народной вѣры всецѣло со-здается самой этой вѣрой: икона перестаетъ быть простой доской съ изображеніемъ и становится священнымъ и даже чудотворнымъ предметомъ лишь по-средствомъ многолѣтняго накопленія молитвъ и возношеній: она, такъ сказать, намагничивается обращенной на нее душевной силой вѣрующаго народа. Но съ чего же этотъ народъ сталъ вдругъ въ нее вѣрить? По обыкновеннымъ религиознымъ понятіямъ истинная вѣра обусловлена извѣстными священными предметами, которые имѣютъ дѣйствительное значеніе сами по себѣ; икона не потому свята, что ей молятся, а, наоборотъ, ей молятся потому, что она свята. Если же допустить съ Кирѣевскимъ, что святость и чудесная сила сообщаются иконѣ только накопленіемъ людскихъ молитвъ и слезъ, — то, спрашивается, къ чему же первоначально обращались эти молитвы, передъ чѣмъ проливались эти слезы? Дѣтская вѣра простого народа обратила къ православію родоначальника славянофильства; но сама эта народная вѣра, по его же взгляду, могла быть

*) Хорошо это: «по крайней мѣрѣ»!

первоначально лишь какимъ-то случайнымъ самообольщеніемъ или бессмысленнымъ фетишизмомъ. Такъ, даже при самыхъ лучшихъ чувствахъ, не удается искусственное, преднамѣренное, субъективными мотивами вызываемое, сближеніе съ народомъ. Даже искренно вѣрующій славянофилъ все-таки остается внутренне чуждъ и непричастенъ народной вѣрѣ. Онъ вѣритъ въ народъ и въ его вѣру, но вѣдь народъ вѣритъ не въ самого себя и не въ свою вѣру, а въ независимые отъ него и отъ его вѣры религиозные предметы».

Сколько искусственного, дѣланнаго въ такой вѣрѣ и сколько душевнаго отчаянія въ этихъ попыткахъ. На совершенно справедливую мысль, что Россія велика и могуча, что у ней есть будущее, несмотря *ни на что*, славянофилы нагромоздили настроенное зданіе—храмъ безъ Бога и украсили его иконами, къ вѣрѣ въ которыя возбуждали сами себя! Совершенно вѣрно замѣчено про нихъ:

«Въ первую минуту, когда Хомяковъ почувствовалъ пустоту душевную, онъ поѣхалъ гулять по Европѣ во время соннаго и скучнаго царствованія Карла X-го, докончивъ въ Парижѣ свою забытую трагедію «Ермакъ» и потолковавши со всякими далматами и чехами на обратномъ пути,—онъ воротился. Все скучно! По счастью открылась турецкая война, онъ пошелъ въ полкъ *безъ нужды, безъ цѣли* и отправился въ Турцію. Война кончилась и кончилась другая забытая трагедія «Дмитрій Самозванецъ». Опять скука!»

Въ этой скукѣ, въ этой тоскѣ, при этой странной и страшной обстановкѣ, мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмѣяна; *тѣмъ яростнѣе* бросился на отстаиваніе ея Хомяковъ, тѣмъ глубже она вошла въ плоть и кровь Кирѣевского. Сѣмя было брошено. На посѣвъ и защиту всходовъ пошла сила первыхъ славянофиловъ. Надо было людей новаго поколѣнія, не свихнутыхъ, не подломленныхъ, которыми мысль ихъ была бы принята не страданіемъ, не болѣзнью, какъ до нея дошли учителя, а передачей, наслѣдіемъ. Молодые люди откликнулись на ихъ призывъ, люди Станкевича кружка примыкали къ нимъ, и въ ихъ числѣ такія сильныя личности, какъ К. Аксаковъ и Юрій Самаринъ.

Въ новомъ фазисѣ своихъ убѣжденій—теперь уже неуклонно рѣзкихъ и опредѣленныхъ,—Бѣлинскій не могъ иначе, какъ совершенно отрицательно отнестись къ славянофильству. Оно выводило его изъ себя; въ немъ онъ видѣлъ главнаго врага своего. То обстоятельство, что не только среди, но и во главѣ славянофиловъ были его прежніе друзья и товарищи,—нисколько не смущало его. Что значать личныя связи, разъ дѣло касается истины? Онъ теперь—убѣжденный защитникъ началъ Запада. Онъ завидуетъ его образованію, его богатому историческому прошлому, а главное тому активному участию, которое принимаетъ тамъ человѣкъ въ общественныхъ дѣлахъ. Это для него самое цѣнное. Онъ вѣритъ, что такъ можетъ быть вездѣ, такъ должно быть. Вѣдь мы видѣли, что наконецъ-то онъ понялъ себя и далъ просторъ кореннымъ тре-

бованіямъ своей натуры, самой ея сущности. Всѣ важнѣйшіе вопросы жизни свелись въ его глазахъ къ одному: *какъ обезпечить активное проявленіе личнаго начала въ общественной жизни?* И надо согласиться, что далеко не безъ серьезнаго основанія въ рѣчахъ славянофиловъ онъ слышалъ проповѣдь пассивности, смиреномудрія и застоя. Я скажу прямо: не только принципиально, но и органически Бѣлинскій не могъ не враждовать съ славянофилами.

Славянофильство было несомнѣнно классовою теоріей. Лучшіе изъ славянофиловъ были благороднѣйшими представителями стараго родовитаго дворянства; выйдя изъ его среды, они всѣмъ сердцемъ прониклись его идеаломъ—патріархальнымъ строемъ жизни, они распространили этотъ идеалъ на всю совокупность общественныхъ отношеній; страстные, фанатически убѣжденные, почерпавшіе свой аргументъ изъ воспоминаній дѣтства, изъ преданій цѣлаго поколѣнія семей,—они не хотѣли знать, что идеалъ, строй жизни—историческая категорія, что патріархальность отношеній немыслима во второй половинѣ XIX-го вѣка.

Когда я говорю, что славянофильство „классовая теорія“, я нисколько не хочу обидѣть благородной памяти Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ, Хомякова, Самарина. Они, были невольными представителями своей среды. Впитавши съ молокомъ матери извѣстныя традиціи, они, конечно, расширили ихъ путемъ серьезнаго образованія, но осталось нѣчто неподдающееся разложенію—это закваска стараго барства. Искренне, отъ всей души ненавидя крѣпостное право, возставая противъ него, они въ то-же время смутно сознавали, что подрубаютъ тотъ сукъ, на которомъ сами сидятъ. И въ сущности въ крѣпостномъ правѣ они ненавидѣли не столько самый институтъ, сколько помѣщичьи безобразія и увлеченія своими крестьянами. «Если мы вспомнимъ,—говоритъ С. А. Веселовъ,—съ какимъ добродушіемъ относился Сергѣй Тимофеевичъ къ крѣпостному праву, то намъ станетъ вполне понятнымъ, что и въ сынѣ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болѣе озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергѣевича на возможно рѣзкій протестъ противъ темныхъ сторонъ крѣпостнаго права, для него были несимпатичны уже въ источникѣ своемъ, потому что помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о враждѣ и фронтдерствѣ, столь нелюбимыхъ имъ. Общее-же его міросозерцаніе и складъ восточно-русской натуры гнули въ сторону усматриванія положительныхъ сторонъ. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергѣевича къ крѣпостному праву, въ ненависти къ коему онъ едва ли уступалъ кому-бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя,—получалось очень странное впечатлѣніе, получался тотъ совершенно неумѣстный мажорный тонъ, то идиллическое изображеніе крѣпостнаго быта, по поводу коего каждый крѣпостникъ могъ сказать: «зачѣмъ отмѣнять крѣпостное право, когда при немъ такъ хорошо живетъ народу?»

Константинъ Аксаковъ рисовалъ въ своихъ произведеніяхъ крѣпостни-

чекія идилліи—это несомнѣнно, но онъ сдѣлалъ нѣчто еще большее—онъ далъ намъ настоящую утопію беззаконнаго существованія. Знаменитые стихи:

По причинамъ органическимъ
Мы совсѣмъ не снабжены
Смысломъ здравымъ *юридическимъ*,
Симъ исчадемъ сатаны.
Широки натуры русскія;
Нашей правды идеаль
Не влѣзаетъ въ формы узкія
Юридическихъ началъ.

Законъ всегда съ юныхъ лѣтъ и до смерти представлялся ему чѣмъ-то холоднымъ, мертвымъ, формальнымъ. Онъ презиралъ его также, какъ и его представителей—чиновниковъ. Идеаль крѣпостнаго права—любтивное, заботливое отношеніе старшихъ къ младшимъ, не юридическую, а нравственную связь между людьми онъ распространялъ на всю общественную жизнь. Что законъ? Законъ можно нарушить, обойти, неправильно истолковать; нравственная связь и нравственный долгъ—крѣпче. Если кому нибудь нужны доказательства этого послѣдняго обстоятельства—пусть онъ посмотритъ на жизнь крестьянскаго міра «ученаго лишь по церковнымъ книгамъ, да по преданіямъ старины». Отсюда знаменитыя положенія:

«1) Народъ не нуждается ни въ какихъ указаніяхъ, въ особенности со стороны нашихъ нахватавшихся верховъ европейской цивилизаціи «культурныхъ людей.

«2) У народа есть свое стройное и устойчивое міросозерпаніе, не только вполне пригодное для ежедневной, сѣрой крестьянской жизни, но способное выдержать натискъ міросозерпанія людей, безконечно превосходящихъ мужика образованіемъ и соціальнымъ положеніемъ.

3) Въ частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не самобытная, то все-таки окрашенная самостоятельнымъ пониманіемъ религіозность, на совокупности которыхъ и строятся соціальныя отношенія крестьянской общины.

4) Народная нравственность основана на чувствѣ справедливости. Это чувство народъ никогда не понимаетъ въ формальномъ математическомъ смыслѣ. Вотъ почему, строго блюдя интересы *всей* общины, онъ все-таки смотритъ затѣмъ, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдѣльных личностей не страдали бы отъ соблюденія мірскихъ выгодъ *).

«5) Религіозность народа, какъ и нравственность его, не виѣшняя и не показная. Она есть удовлетвореніе внутренняго призыва къ добру.

«6) Источникъ нравственности и религіозности народа кроется въ испо-

*) Легко видѣть, что современные народники—ничто иное, какъ духовныя дѣти славянофиловъ.

вѣдуемой имъ православною вѣрѣ. Когда староста Антонъ, пунктъ за пунктомъ, разрушилъ всю «свицизаціонную» программу своего барина, между «сбитымъ совершенно съ толку» Луповицкимъ и его собесѣдникомъ произошелъ такой разговоръ.

«*Луп.* Антонъ, ты гдѣ учился? *Стар.* Нигдѣ, батюшка. *Луп.* Грамотѣ умѣешь? *Стар.* Умѣю, батюшка. *Луп.* Что ты читалъ? *Стар.* Церковныя книги, батюшка».

«7) Совокупность всего вышесказаннаго создала глубоко-своеобразный правовой, экономическій и нравственный институтъ, — крестьянскій «миръ», который есть хранитель истинно-народныхъ традицій и панацея противъ тѣхъ золь, которыя при иномъ строѣ повели бы къ цѣлому ряду социальныхъ и индивидуальныхъ несправедливостей».

Въ сущности говоря, всѣ эти семь членовъ аксаковского символа вѣры являются прямымъ и косвеннымъ укоромъ западно-европейской жизни. Нечего даже и говорить, чѣмъ больше всего дорожитъ Константинъ Аксаковъ. Онъ очевидно дорожитъ *живою нравственною связью* между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При нихъ нѣтъ формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при нихъ есть полная свобода для проявленія внутреннихъ позывовъ къ добру, есть мѣсто для непрестанно дѣйствующей религіозности.

Такъ смотрѣть на вещи могъ только умный, старый баричъ. И его слова подкупали многихъ. Но нельзя было подкупить ими Бѣлинскаго, этого разночинца-интеллигента, для котораго, какъ личности, нужна была опора въ жизни. И онъ видѣлъ эту опору въ образованіи, въ правахъ, въ лучшемъ экономическомъ устройствѣ. Онъ рвался впередъ, это «впередъ» обѣщало ему полное признаніе его какъ человѣка, признаніе его правъ на личное счастье, на активную роль въ общественной жизни. Признаніе славянофильскаго «назадъ», «домой», къ укладамъ допетровской жизни, было бы для него — разночинца и интеллигента чистымъ самоубійствомъ.

Борьба Бѣлинскаго съ славянофильствомъ началась тотчасъ-же, какъ послѣднее нашло себѣ свой первый постоянный органъ въ «Москвитянинѣ». Къ половинѣ сороковыхъ годовъ эта борьба сдѣлалась для Бѣлинскаго едва ли не главнымъ практическимъ вопросомъ литературы. Къ ней сводились и общіе философскіе принципы и историческія соображенія и думы о настоящемъ. Вдохновляемый своими редакторами, Погодинымъ и Шевыревымъ, «Москвитянинъ» проповѣдывалъ пошлую официальную народность, тотъ квасной патриотизмъ, который на сценѣ того времени находилъ себѣ пѣвцовъ и бардовъ вроде Кукольника и Н. Полевого, одинаково, вдохновенно изображавшихъ спасеніе отечества рукой Всевышняго и побѣду Оеклы надъ 40.000 китайцами. Но что случилось съ московскими друзьями Бѣлинскаго? Точно утеревши всю свою проницательность, точно съ глазами, застланными какимъ-то туманомъ,

они примкнули къ Москвитянину и имѣла еще наивность оправдываться въ этомъ передъ самимъ Бѣлинскимъ. Онъ сердился, негодовалъ, пока не научился, наконецъ, пожимать плечами. Въ этомъ фактѣ какъ нельзя лучше выразилась, истинная «закваска и основаніе» кружка Станкевича. Члены его, отяжелѣвши отъ праздности, все больше и больше склонялись къ незлобію, добродушію и всепримиренію. Примирить западниковъ и славянофиловъ имъ очень хотѣлось, хотя Бѣлинскій и предупреждалъ ихъ, какая это смѣшная, бесполезная задача. Къ этому времени относится одинъ эпизодъ, очень характерный, рассказъ о которомъ сразу выяснитъ намъ отношеніе обѣихъ партій.

Въ концѣ ноября 1843, Грановскій открылъ публичный курсъ объ исторіи среднихъ вѣковъ (окончившійся въ апрѣлѣ слѣдующаго года). Лекціи имѣли необычайный успѣхъ. Чаадаевъ назвалъ эти лекціи «событіемъ», и справедливо, потому что это было первымъ подобнаго рода испытаніемъ умственныхъ интересовъ публики: находили, что въ Москвѣ никогда ничего подобнаго не было. Успѣхъ былъ таковъ, что сами славянофилы его признали, какъ ни мало сочувствовали они характеру и содержанію лекцій. Талантъ Грановскаго, искреннее убѣжденіе, которое слышалось въ каждомъ его словѣ, побѣдило всѣ препятствія. «Лекціи Грановскаго, — сказала Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторіи, биткомъ набитой дамами и всѣмъ московскимъ свѣтскимъ и интеллигентнымъ обществомъ, — имѣютъ историческое общество». Грановскій сдѣлалъ изъ аудиторіи гостиную, мѣсто свиданія, встрѣчу всего beau mond'a. Но для этого отъ не прикрасилъ исторіи, не наложилъ на нее ни румянъ ни бѣлилъ, не опрыскалъ духами—совсѣмъ напротивъ—его рѣчь была строга, чрезвычайно серіозна, исполнена силы, смѣлости и поэзіи, которыя мощью потрясали слушателей, будили ихъ. Смѣлось его сходила ему съ рукъ (онъ читалъ о средневѣковой исторіи Франціи и Англіи) не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая была ему такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій во вкусѣ французскихъ авторовъ, ставящихъ огромныя точки на крошечныя *i*. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ имъ, такъ что мысль, не высказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ болѣе извѣстной слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

Заключеніе перваго курса, — рассказываетъ Герценъ, — было для него (Грановскаго) настоящей оваціей, вещью, неслыханной въ Московскомъ университетѣ. Когда онъ, заканчивая, глубоко-тронутый благодарилъ публику, — все вскочило въ какомъ то ошьяненіи: дамы махали платками, другія бросились къ каедрѣ, жали ему руки, требовали его портрета. Я самъ видѣлъ молодыхъ людей съ раскраснѣвшимися щеками, кричавшихъ сквозь слезы: «браво!» «браво!». Выйти не было возможности. Грановскій, блѣдный какъ полотно, сложа руки, стоялъ, слегка склоняя голову: ему хотѣлось сказать еще нѣсколько словъ, но онъ не могъ. Трескъ, вопль, неистовство одобренія удвоились; студенты построились на лѣстницѣ, — въ аудиторіи они предоставили, шумѣть гостямъ. Грановскій пробрался измученный въ совѣтъ; черезъ

Нѣсколько минутъ его увидѣли снова выходящаго изъ совѣта, и снова безколѣнное рукоплесканіе; онъ воротился, прося рукой пощады и изнемогая отъ молненія... Я увидѣлъ его, бросился ему на шею и мы заплакали».

«Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно притѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ, ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ; онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ,—но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества—далека была отъ его наукообразнаго взгляда; онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое сильное участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человѣческое, не отказать отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни зстали, видѣть сквозь туманныя испаренія временнаго просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли—великое дѣло для историка».

Отсутствіе ненависти къ Западу и національнаго самохвальства, вмѣстѣ съ искренней, горячей любовью въ наукѣ, знанію, мысли—вотъ что одушевляло и самого профессора и его блестящую аудиторію. Грановскаго обвиняли въ пристрастіи къ Западу; онъ отвѣчалъ на это: «я явился читать часть его исторіи и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, *кѣтъ права не любить ея*».

Между тѣмъ продолженіе лекцій Грановскаго, имѣвшее въ публикѣ прежній успѣхъ, начало производить въ противномъ лагерѣ совсѣмъ иное дѣйствіе, которое наконецъ могло стать неблагополучнымъ. «Славяне», какъ называли тогда «Москвитянинъ» и славянофиловъ, быть можетъ *раздраженные и новыми нападеніями изъ западнаго лагеря, подняли говоръ о лекціяхъ Грановскаго,—негодовали, что* (читая о среднихъ вѣкахъ въ Европѣ) *онъ не говоритъ о Руси, о православіи, слѣдуетъ западной наукѣ, мало говоритъ о христіанствѣ*. Возраженія и обвиненія были нелѣпы, но имѣли свое дѣйствіе. Второй отчетъ Г-на о лекціяхъ уже не былъ разрѣшенъ; университетское начальство стало думать о мѣрахъ противъ распространенія нѣмецкой философіи; митрополитъ московскій поручалъ обличеніе Гегеля извѣстному профессору московской академіи Голубинскому...

При такомъ положеніи дѣлъ невольно возникалъ вопросъ,—въ чью-же руку играютъ московскіе друзья и пріятели, мѣшаясь съ славянофилами и «Москвитяниномъ»? Бѣлинскій прекрасно понималъ, сердился и больше всего боялся, какъ бы и Герцена не засосало это московское болото. Въ маѣ (44 г.) онъ написалъ въ Москву цѣлое длинное посланіе. «Я жидъ по натурѣ,—говорилось

тамъ между прочимъ,—и съ филистимлянами за однимъ столомъ есть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ «Москвитянинѣ». Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія».

Предположенія Бѣлинскаго о непрочности мира съ славянофилами оправдались уже скоро. Къ осени 44 г. отношенія московскихъ его друзей къ славянофильскому кружку, который они такъ защищали отъ Бѣлинскаго, стали портиться; друзья приходили къ заключенію, что не можетъ быть мира съ людьми, которые такъ расходятся съ нимъ въ понятіяхъ; открылась наконецъ явная война. Грановскій, въ то время наиболѣе видное лицо «западной» партіи въ Москвѣ,—сдѣлался предметомъ самыхъ непріязненныхъ нападеній съ «славянской» стороны въ университетѣ, въ печати и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ходившихъ по рукамъ. Въ ноябрѣ 1844, въ университетѣ хотѣли не принять представленной имъ магистерской диссертациі («Волинь, Іомсбургъ и Винета», напечат. потомъ въ Валуевскомъ сборникѣ, 1845), и съ позоромъ возвратить ему ее какъ неудовлетворительную; это не удалось врагамъ Грановскаго, но раздражить его они, конечно, успѣли. Грановскій теперь самъ отказался отъ участія въ «Москвитянинѣ». Славянофильскій кружокъ обнаруживалъ тотъ мрачный фанатизмъ, который друзья имѣли и прежде случаи видѣть. Хомяковъ (нѣсколько позднѣе, напалъ на Грановскаго въ печати. Языковъ, извѣстный поэтъ, «славянофилъ по родству», истощивши свою музу на мниморазгульной поэзіи, напалъ на «западную» партію въ стихотвореніяхъ, которая можно было бы назвать памфлетами, еслибъ современники не считали ихъ за «юридическія бумаги», какъ тогда говорилось. Онъ началъ (это было въ декабрѣ 1844), кажется, стихотвореніемъ *Къ не-нашимъ*, направленнымъ противъ Грановскаго, Г-на и Чаадаева, которыхъ онъ обвинялъ не меньше, какъ въ измѣнѣ отечеству; затѣмъ послѣдовали еще два такихъ же: изъ нихъ одно было посвящено специально обличенію Чаадаева, другое было посланіе къ К. Аксакову, гдѣ за изъявленіями дружбы и славянофильскаго союза слѣдовали упреки Аксакову за то, что онъ подаетъ руку людямъ, которые «нашу Русь ненавидятъ всей душой и передались лукавой нѣметчинѣ», и наконецъ поощреніе на борьбу съ этими врагами отечества.

Раздоръ продолжался.

Въ февралѣ 45 г. Грановскій защищалъ свою диссертацию; факультетъ, въ которомъ были непримиримые враги его изъ славянъ, наконецъ долженъ былъ принять ее. Диспутъ снова раздражилъ партіи. Грановскому сдѣлана была овація, его противникамъ шикали. Въ новомъ «Москвитянинѣ» дѣло не ладилось между самими «славянами». Бѣлинскій смѣялся или сердился на воображаемыя примиренія, на торжественныя обѣды и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ друзьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Московскіе друзья разошлись наконецъ съ тѣми людьми «славянскаго» кружка, которые внушали имъ наиболѣе сочувствія по характеру и таланту. Г-нъ разстался съ К. Аксаковымъ и Самаринымъ. Имъ пришлось нѣсколько разоча-

роваться и въ публикѣ, которая повидимому съ такимъ сознательнымъ сочувствіемъ принимала Грановскаго на его лекціяхъ. Успѣхъ Грановскаго колоть глаза его противникамъ, и въ началѣ 1845 года объявленъ былъ публичный курсъ Шевырева о древней русской словесности. Оказалось, что лекціи Шевырева—изложенныя въ извѣстномъ духѣ и напечатанныя потомъ въ его книгѣ—имѣли въ своемъ кругѣ успѣхъ и опять сопровождались оваціями...

Объ этихъ лекціяхъ Шевырева Бѣлинскій писалъ:

«Вѣсти... о лекціяхъ Ш., о фурорѣ, который онѣ произвели въ *зернистой* московской публикѣ, о рукоплесканіяхъ, которыми прерывается каждое слово сего московскаго скверноуста — все это меня не удивило нисколько: я увидѣлъ въ этомъ повтореніе исторіи лекціями Грановскаго. Наша публика—мѣщанинъ во дворянствѣ: ее лишь бы пригласили въ парадно-освѣщенную залу, а ужъ она, изъ благодарности, что ее, холопа, пустили въ барскія хоромы, непременно останется всѣмъ довольною. Для нея хорошъ и Грановскій, да не дурень и Шевыревъ; интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ она всегда считаетъ того, кто читалъ послѣдній. Иначе и быть не можетъ, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но вѣдь къ ея услугамъ и тысячи журналовъ, которые имѣютъ право не только хвалить но и ругать; сама она имѣетъ право не только хлопать, но и свистать. Сдѣлай такъ, чтобы во Франціи публичность замѣнилась авторитетомъ полиціи, и публика, въ театрѣ и на публичныхъ чтеніяхъ, имѣла бы право только хлопать, не имѣла бы права шикать и свистать: она скоро сдѣлалась бы такъ же глупа, какъ и русская публика. Если бы Г-нъ имѣлъ право, между первою и второю лекціею Ш., тиснуть статейку, — вторая лекція, навѣрное, была бы принята съ меньшимъ восторгомъ. По моему мнѣнію, стыдно хвалить то, чего не имѣешь права ругать: вотъ отъ чего мнѣ не понравились статьи (Г-на) о лекціяхъ Грановскаго. Но довольно объ этомъ. Москва сдѣлала наконецъ рѣшительное прононціаменто; хорошій городъ! Питеръ тоже не дурень. Да и все хорошо. Спасибо тебѣ за стихи Яз. Жаль, что ты не выполнѣ ихъ прислалъ»...

И закончу эту главу, собравши вмѣстѣ нѣкоторые отзывы Бѣлинскаго о славянофилахъ изъ его писемъ и статей.

Когда русскій бываетъ за границей, его слушаютъ, имъ интересуются не тогда, какъ онъ истинно-европейски рассуждаетъ о европейскихъ вопросахъ, но когда онъ судить о нихъ, какъ русскій, хотя бы по этой причинѣ сужденія его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И потому онъ чувствуетъ тамъ необходимость придать себѣ характеръ своей національности и, за неимѣніемъ лучшаго, становится славянофиломъ, хотя на время и притомъ неискренно, чтобы только чѣмъ-нибудь казаться въ глазахъ иностранцевъ. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сомнѣнія и изслѣдованія, мы не можемъ не видѣть, какъ во мно-

гихъ отношеніяхъ смѣшно и жалко успокоилъ насъ нашъ русскій европеизмъ на счетъ нашихъ русскихъ недостатковъ, забѣливъ и зарумянивъ, но вовсе не изгладивъ ихъ. И въ этомъ отношеніи поѣздки за границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рѣшительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная къмъ, и потому самому съ искреннимъ желаніемъ сдѣлаться русскими. Что же все это означаетъ?— Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великаго только лишила насъ народности и сдѣлала междуумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ общественному устройству и нравамъ временъ не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексѣя Михайловича (на счетъ этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..

Нѣтъ, это означаетъ совсѣмъ другое, а именно то, что Россія вполнѣ исчерпала, изжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое дѣло, сдѣлала для нея все, что могла и должна была сдѣлать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ: неужели это значить развиваться самобытно? Смѣшно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и переимѣнить порядокъ годовыхъ временъ, заставивъ за весной слѣдовать зиму, а за осенью—лѣто. Это значило бы еще признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія событія въ Россіи (можетъ быть до самаго 1812 года,—эпохи, съ которой началась новая жизнь для Россіи), признать ихъ случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ, который тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человекъ открываетъ глаза. Но такъ думать сродно господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобъ быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Вмѣсто того чтобъ думать о невозможномъ и смѣшнить всеѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго. дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями. Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего вѣдома и что смѣется надъ нашей волей, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшей насъ волей. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать казаться и начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшности принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно *человѣческое*, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ нѣтъ челоуѣческаго, отвергать съ такой же энергіей, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ челоуѣческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе нравы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ

Европѣ, чтобъ сознать наши потребности: и на основаніи того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно.

Повторяемъ, славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе ихъ роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ и предлагаютъ огромный дѣсь, разросшійся на необозримо пространство, пересадить на другое мѣсто и приложить къ нему другого рода уходъ. По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россія такъ же молода, какъ Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чѣмъ въ прошедшемъ. Они забыли, что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ явленія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впослѣдствіи должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношеніи Россію нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія шла діаметрально противоположно нашей, и давно уже дала и цвѣтъ и плодъ. Безъ всякаго сомнѣнія, русскому легче усвоить себѣ взглядъ француза, англичанина или нѣмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомить его и наука, и современная дѣйствительность; тогда какъ онъ въ отношеніи къ самому себѣ еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдѣ все зародыши, зачатки и ничего опредѣленнаго, развивавшагося, сформировавшагося. Разумѣется, въ этомъ есть нѣчто грустное, но зато какъ много и утѣшительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ растетъ медленно, зато живетъ вѣка. Человѣку сродно желать скорого свершенія своихъ желаній, но скороспѣлость ненадежна: намъ болѣе, чѣмъ кому другому, должно убѣдиться въ этой истинѣ. Известно, что французы, англичане, нѣмцы такъ національны каждый по своему, что не въ состояніи понимать другъ друга, — тогда какъ русскому равно доступны и социальность француза, и практическая дѣятельность англичанина, и туманная философія нѣмца. Одни видятъ въ этомъ наше превосходство передъ всѣми другими народами; другіе выводятъ изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую воспитала въ насъ реформа Петра, ибо, говорятъ они, у кого нѣтъ своей жизни, тому легко понимать чужіе; но поддѣлываться подъ чужую, у кого нѣтъ своихъ интересовъ, тому легко понимать чужіе; но поддѣлываться подъ чужую жизнь — не значитъ жить; понять чужіе интересы — не значитъ усвоить ихъ себѣ. Въ послѣднемъ мнѣніи много правды, но не совсѣмъ лишено истины и первое мнѣніе, какъ ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажемъ, что рѣшительно не вѣримъ въ возможность крѣпкаго политическаго и государственнаго существованія народовъ, лишенныхъ національности, слѣдовательно, живущихъ чисто виѣшней жизнью. Въ Европѣ есть одно такое искусственное государство, склеенное

изъ многихъ національностей; но кому же не извѣстно, что его крѣпость и сила—до поры и времени?... Намъ, русскимъ, нечего сомнѣваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только мы сложились въ крѣпкое и могучее государство, и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одинъ суровый экзаменъ судьбы, не разъ были на краю гибели, и всегда успѣвали спастись отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силѣ и крѣпости. Въ народѣ, чуждомъ внутренняго развитія, не можетъ быть этой крѣпости, этой силы. Да, въ насъ есть національная жизнь, мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль,—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими... Такъ какъ русская литература есть главный предметъ нашей статьи, то въ настоящемъ случаѣ будетъ очень естественно сослаться на ея свидѣтельство. Она существуетъ всего какихъ-нибудь сто семь лѣтъ, а между тѣмъ въ ней уже есть нѣсколько произведеній, которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ не похожими на произведенія ихъ литературъ, слѣдовательно оригинальными, самобытными, т. е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность,—этого пока еще нельзя опредѣлить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинаютъ пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвѣтность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго.

Что же касается до многосторонности, съ какой русскій человѣкъ понимаетъ чуждыя ему національности—въ этомъ заключается равно и его слабая, и его сильная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности дѣйствительно много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовѣрностью, что эта независимость только *помогаетъ* этой многосторонности; а едва-ли можно сказать съ какой-нибудь достовѣрностью, чтобы она *производила* ее. По крайней мѣрѣ намъ кажется, что было-бы слишкомъ смѣло приписывать положенію то, что всего болѣе должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ, имѣющихъ только субъективное значеніе выводовъ, мы не утверждаемъ за непреложное что русскому народу предназначено выразить въ своей національности наиболѣе богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себѣ все чуждое ему; но смѣемъ думать, что подобная мысль, какъ предположеніе, высказываемая безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія» (1846 г.).

«Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, — продолжаетъ Бѣлинскій.—то *народность* въ отношеніи къ идеѣ *человѣчества*. Другими словами: *народности суть личности человѣчества*. Безъ національностей человѣчество было-бы мертвымъ и логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу, я скорѣе готовъ пе-

рейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ какъ такое-то изданіе какой-то логики... Но къ счастью я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому...

Человѣческое присуще человѣку потому, что онъ — человѣкъ, но оно проявляется въ немъ не иначе, какъ, во-первыхъ, на основаніи его собственной личности и въ той мѣрѣ, въ какой она можетъ его вмѣстить въ себѣ, а во-вторыхъ—на основаніи его національности. Личность человѣка есть исключеніе другихъ личностей и по тому самому есть ограниченіе человѣческой сущности; ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпаетъ самимъ собою не только всѣхъ сферъ жизни, но даже и одной какой-нибудь ея стороны. Ни одинъ человѣкъ не только не можетъ замѣнить самимъ собою всѣхъ людей (т. е. сдѣлать ихъ существованіе не нужнымъ), но даже и ни одного человѣка, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ нравственномъ или умственномъ отношеніи, но всѣ и каждый необходимы всѣмъ и каждому. На этомъ и основано единство и братство человѣческаго рода. Человѣкъ силенъ и обезпеченъ только въ обществѣ, но, чтобы и общество въ свою очередь было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь—национальность. Она есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведеніе: ни одинъ народъ не создалъ своей національности, какъ не создалъ самого себя. Это указываетъ на кровное, родовое происхожденіе всѣхъ національностей. Чѣмъ ближе человѣкъ или народъ къ своему началу, тѣмъ ближе онъ къ природѣ, тѣмъ болѣе онъ ея рабъ; тогда онъ не человѣкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ или другомъ человѣческое развивается по мѣрѣ ихъ освобожденія отъ естественной непосредственности. Этому освобожденію часто способствуютъ разныя внѣшнія причины; но человѣческое тѣмъ не менѣе приходитъ къ народу не извнѣ, а изъ него же самого, и всегда проявляется въ немъ національно.

Собственно говоря, борьба человѣческаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура; но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается черезъ заимствованіе у другого, онъ тѣмъ не менѣе совершается національно. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имѣя въ себѣ силы перерабатывать ихъ самодѣятельностью собственной національности, въ собственную же сущность,—тогда онъ гибнетъ политически. На свѣтѣ много людей, извѣстныхъ подъ именемъ «пустыхъ»: они умны чужимъ умомъ, ни о чемъ не имѣютъ своего мнѣнія, а между тѣмъ и учатся, и слѣдятъ за всѣмъ на свѣтѣ. Пустота ихъ въ томъ и состоитъ, что они заимствуютъ цѣликомъ, и ихъ мозгъ не перевариваетъ чужой мысли, а передаетъ ее черезъ языкъ въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ принялъ ее. Это люди безличныя, потому что чѣмъ человѣкъ личнѣе, тѣмъ способнѣе обращать чужое въ свое, т. е.

налагать на него отпечатокъ своей личности. Что человѣкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тѣмъ, что всѣ націи, игравшія и играющія первыя роли въ исторіи человѣчества, отличались и отличаются наиболѣе рѣзкой національностью. Вспомните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, нѣмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно. Французъ уже не питаетъ ненависти къ англичанину за то, что онъ—англичанинъ, и наоборотъ. Напротивъ, со дня на день болѣе и болѣе обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утѣшительное, гуманное явленіе есть результатъ просвѣщенія. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы просвѣщеніе сглаживало народности и дѣлало всѣ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по преимуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочетъ быть французомъ и требуетъ отъ нѣмца, чтобы тотъ былъ нѣмцемъ, и только на этомъ основаніи и интересуется имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А между тѣмъ они нещадно заимствуютъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говоритъ, что подобныя опасенія могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно-безсильныхъ и ничтожныхъ. Древняя Эллада была наслѣдницей всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составъ вошли элементы египетскіе и финикійскіе, кромѣ основного пелазгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не отъ внѣшнихъ заимствованій, а отъ того, что были послѣдними представителями исчерпавшаго всю жизнь свою древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила ихъ заимствованиями, — и все таки оставалась національно-французской. Все отрицательное движеніе французской литературы XVIII вѣка вышло изъ Англіи; но французы до того умѣли усвоить его себѣ, изложивъ на него печать своей національности, что никто и не думаетъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Нѣмецкая философія пошла отъ француза Декарта, нисколько не сдѣлавшись отъ этого французской.

Раздѣленіе народа на противоположныя, враждебныя будто бы другъ другу, большинство и меньшинство можетъ быть и справедливо со стороны логики, но рѣшительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаетъ собой большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслѣ. Еще страннѣе приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству одни хорошія. Хороша была-бы французская нація, еслибы о ней стали судить по развратному дворянству временъ Людовика XV-го! Этотъ примѣръ указываетъ, что меньшинство скорѣе можетъ выразить собою болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что оно живетъ искусственной жизнью, когда противопоставляетъ себя большинству, какъ что-то отдѣльное отъ него и чуждое ему. Это видимъ мы и въ современной намъ

Франціи въ лицѣ *bourgeoisie*,—господствующаго теперъ въ ней сословія. Что же касается до великихъ людей, они по преимуществу—дѣти своей страны. Великій человѣкъ всегда націоналенъ, какъ его народъ, ибо онъ потому и великъ, что представляетъ собою свой народъ. Борьба гевія съ народомъ не есть борьба человѣческаго съ національнымъ, а просто на просто—новаго со старымъ, идеи съ эмпиризмомъ, разума съ предрасудками. Масса всегда живетъ привычкой и разумнымъ, истиннымъ и полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остервененіемъ то *старое*, противъ котораго вѣкомъ или менѣе назадъ съ остервененіемъ же боролась она, какъ противъ *новаго*. Противодѣйствіе массы гевію необходимо: это съ ея стороны экзаменъ гевію; если онъ возьметъ свое, ни на что несмотря, значить, онъ точно гевій, т. е. въ самомъ себѣ носить свое право дѣйствовать на судьбы своего отечества. Иначе всякій резонеръ, всякій мечтатель, всякій философъ, всякій маленкій великій человѣкъ сталъ бы обходиться съ народомъ, какъ съ лошадыю, направляя его по волѣ своихъ прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону...

Нѣтъ никакой необходимости раздѣляться народу на самого себя, чтобы доставить себѣ источникъ новыхъ идей. Источникъ всего новаго есть старое; по-крайней мѣрѣ старымъ готовится новое. Въ гевіи не столько поражаетъ находчивость новаго, сколько смѣлость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведеній въ Россіи чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящимъ положеніемъ государства; но произвести реформу могъ только Петръ. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебныхъ отношеніяхъ къ своему народу, но, напротивъ, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство съ нимъ. Что въ народѣ безсознательно живетъ какъ возможность, то въ гевіи является какъ осуществленіе, какъ дѣйствительность. Народъ относится къ своимъ великимъ людямъ, какъ почва къ растеніямъ, которыя производитъ она. Тутъ единство, а не раздѣленіе, не двойственность. И, вопреки силлогистамъ (новое слово!), для великаго поэта нѣтъ большей чести, какъ быть въ высшей степени національнымъ, потому-что иначе онъ и не можетъ быть великимъ. То, что называютъ резонеры *человѣческимъ*, противопоставляя его *національному*, есть въ сущности *новое*, непосредственно и логически слѣдующее изъ *старого*, хотя-бы оно и было чистымъ его отрицаніемъ. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелѣпости, изъ нея одинъ естественный путь—переходъ въ противоположную крайность. Это въ натурѣ и человѣка, и народовъ. *Слѣдовательно, источникъ всякаго прогресса, всякаго движенія впередъ заключается не въ двойственности народовъ, а въ челоѣческой натурѣ, такъ какъ въ ней заключается и источникъ уклоненій отъ истины, коснѣнія и неподвижности.*

Гораздо рѣзче, чѣмъ въ своихъ статьяхъ, Бѣлинскій выражался въ письмахъ, но т. к. онъ самъ скоро отказался отъ своей рѣзкости, то ограничусь однимъ остроумнымъ образчикомъ:

«...Вѣхавши въ Крымскія степи, мы увидѣли три новыя для насъ нации: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разныя колѣна одного племени: такъ много общаго въ ихъ физіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотреть рѣшительно славянофилами. Но—увы!—въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патриархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большею частію носятъ на головѣ длинныя волосы, а бороду брѣютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Кошихина—своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы, и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно, и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣе ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнуть ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблѣять что-нибудь поинтереснѣе того, что блѣдетъ Шевыревъ и вся почтенная славянофильская братія.

Мнѣ, конечно, нечего, указывать читателю на огромное значеніе борьбы Бѣлинскаго съ славянофилами. Онъ сразу угадалъ ихъ слабый пунктъ и сразу понялъ, какъ было-бы опасно дать ему укорениться въ общественномъ самосознаніи. Этотъ слабый пунктъ или лучше—эти слабые пункты прекрасно сформулированы въ слѣдующихъ словахъ Герцена—словахъ, какъ всегда блестящихъ, рѣзкихъ и полныхъ опредѣленнаго глубокаго смысла:

«Возвращеніе къ народу—славяне поняли также грубо, въ томъ-же родѣ, какъ большая часть западныхъ демократовъ, принимая его совсѣмъ готовымъ. Они полагали, что дѣлать предрасудки народа—значить быть съ нимъ въ единствѣ, что жертвовать своимъ разумомъ, вмѣсто того, чтобы развивать разумъ въ народѣ—великій актъ смиренія. Отсюда натянутая набожность, исполненіе обрядовъ, которые при наивной вѣрѣ трогательны, и оскорбительны, когда въ нихъ видна преднамѣренность. Лучшее доказательство, что возвращеніе славянъ къ народу не было дѣйствительнымъ, состоитъ въ томъ, что они не возбудили въ немъ никакого сочувствія».

Я уже упоминалъ выше, что надъ К. Аксаковымъ, несмотря на его мурмолку, смѣялись на улицахъ, а мальчишки бѣгали за нимъ толпой. Мужичка не такъ-то легко соблазнить и привлечь на свою сторону, барствуя въ его роли. Онъ вѣдь скептикъ и себѣ на умѣ. Даже Л. Толстой, одѣтый къ его тулупу, его армяку и его рубаху, заслуживаетъ въ большинствѣ случаевъ отъ народа совсѣмъ равнодушное: «дѣло барское».

«Ошибка славянъ,—продолжаетъ Герцень,—состояла въ томъ, что имъ кажется, будто Россія имѣла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и наконецъ петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и не могла имѣть. То, что приходитъ теперь къ сознанию у насъ; то, что начинается въ мысли, въ предчувствіи; то, что существовало безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ,— то теперь только всходитъ на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потокомъ двадцати поколѣній»...

«Это основы нашего быта — не воспоминанія, это живыя стихіи, существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ, но онѣ только уцѣлѣли подъ труднымъ историческимъ выработываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже сомнѣваюсь, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, безъ періода европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ вѣка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздѣлѣ полей; однако индійцы съ ней не далеко ушли. *Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патриархальномъ быту славянскомъ.* Артель и сельская община, ростъ прибытка и раздѣлъ полей, мірская сходка и соединеніе сель въ волости, управляющіяся сами собой,— все это краеугольные камни, на которыхъ созиждется хранина нашего будущаго свободно общиннаго быта. Но эти краеугольные камни — все же камни... и безъ западной мысли должны остаться при одномъ фундаментѣ... Такова судьба всего истинно социальнаго, оно невольно влечетъ къ круговой поруки народовъ... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при дикомъ общинномъ бытѣ, другіе при отвлеченной мысли коммунизма».

Бѣлинскій несомнѣнно подписался бы подъ этими словами. Больше всего его, разумѣется, возмущала мысль, что мы, русскіе люди—народъ совершенно особенный, для котораго Провидѣніе начертало особенные законы жизни и общественнаго развитія. Онъ ясно сознавалъ весь вредъ этой мысли, хотя, разумѣется, не предчувствовалъ, до какихъ грандіозныхъ размѣровъ, до какихъ исполинскихъ глупостей разростется она и что окажется недостаточнымъ полувѣковой работы разума, чтобы разрушить ее и разстаться съ ней. Она живуча какъ низшій организмъ. Когда первоначальное славянофильство пало совершенно истощенное—она переселилась полностью въ народническую доктрину, такъ какъ и народники на *особенностяхъ* строя крестьянской жизни—общинъ, артели и «мужицкой добродѣтели» строили и строятъ свои идеалы. По ихъ мнѣнію выходитъ, что наше экономическое развитіе пойдетъ инымъ путемъ, чѣмъ развитіе запада, что мы благополучно минуемъ стадіи капитализма и сразу при посредствѣ мужицкихъ добродѣтелей перешагнемъ въ царство братства любви, милосердія и всеобщей солидарности. И такая утопія все еще имѣетъ своихъ сторонниковъ въ концѣ XIX вѣка.

Съ 1846 года здоровье Бѣлинскаго стало особенно беспокоить его и его друзей. Разыгрывалась чахотка, давало себя знать журнальное переутомленіе. Поѣздка на югъ Россіи не принесла существенной пользы, а тутъ еще пошли нелады и неприятности съ Краевскимъ. Тому—«умному человѣку»—показалось, что онъ высосалъ изъ Бѣлинскаго все, что могъ, а вѣдь разъ изъ человѣка высосано все, съ нимъ нечего и дѣлать больше, какъ выбросить его за дверь. Впослѣдствіи и Благосвѣтловъ одинаково поступилъ съ Писаревымъ. Бѣлинскій сознавалъ неприятность своего положенія, это еще больше раздражало его. На рукахъ была жена и ребенокъ — дочь. Господствующей его мечтой стала мечта о томъ, какъ было высвободиться изъ журнальной кабалы. Къ сожалѣнію не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы осуществить это. Практичности и расчетливости въ немъ не было и слѣда. Такъ больше въ видахъ самоуслажденія носится онъ съ идеей своего альманаха, гдѣ разсчитываетъ собрать всѣ лучшія силы. Перспективы рисуются ему самыя блестящія но такъ и остаются перспективами. Журнальный рабъ; рабомъ и умираетъ.

«Я теперь рѣшился оставить «Отечественныя Записки»,—говоритъ онъ въ письмѣ 46-го года.—Это желаніе давно уже было моею idée fixe; но я все надѣялся выполнить его чудеснымъ способомъ, благодаря моей фантазіи, которая у меня услужлива не менѣе фантазіи г. Манилова, и надеждамъ на богатыхъ земли. Теперь я увидѣлъ ясно, что это все вздоръ, и что надо прибѣгнуть къ средствамъ, болѣе обыкновеннымъ, болѣе труднымъ, но за то и болѣе дѣйствительнымъ. Но прежде о причинахъ, а потомъ уже о средствахъ... Журнальная срочная работа высасываетъ изъ меня жизненныя силы, какъ вампиръ кровь. Обыкновенно, я недѣли двѣ въ мѣсяцъ работаю съ страшнымъ лихорадочнымъ напряженіемъ, до того, что пальцы деревенѣютъ и отказываются держать перо; другія двѣ недѣли я, словно съ похмѣлья послѣ двухнедѣльной оргіи, праздно шатаюсь и считаю за трудъ прочесть даже романъ. Способности мои тупѣютъ, особенно память, страшно заваленная грязью и соромъ россійской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но трудъ мнѣ не опротивѣлъ. Я больной писалъ большую статью о жизни и сочиненіяхъ Кольцова, и работалъ съ наслажденіемъ; въ другое время, я въ три недѣли чуть не изготовилъ къ печати цѣлой книги, и эта работа была мнѣ сладка, сдѣлала меня веселымъ, довольнымъ и бодрымъ духомъ. Стало быть, мнѣ невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупитъ мою голову, разрушаетъ здоровье, искажаетъ характеръ, и безъ того брюзгливый и мелочно-раздражительный, но трудъ не ех offіціо былъ-бы мнѣ отраденъ и полезенъ. Вотъ первая и главная причина.

Надо только удивляться, какъ работалъ онъ это время. Самъ онъ объясняетъ это исключительно привычкой, тѣмъ, что работа стала для него второй натурой. И онъ не просто работалъ, а работалъ прекрасно, нисколько не хуже, чѣмъ прежде.

Въ томъ-же 46 году онъ окончательно порвалъ съ Краевскимъ, затаивши въ душѣ глубокое раздраженіе противъ этого предприимчиваго и удачливаго издателя. Положеніе его было опять критическое. Къ счастью съ января 47 г. сталъ выходить знаменитый впослѣдствіи «Современникъ» подъ редакцію Панаева и Некрасова. Какимъ путемъ Некрасовъ попалъ въ редакторы—этого никто не понималъ. Спрашивали себя, почему-же не Бѣлинскій?—и не знали, что отвѣчать. Но самъ Бѣлинскій былъ доволенъ, хотя онъ и обижался на своихъ московскихъ друзей (Боткина и Грановскаго) за то, что тѣ продолжали оказывать поддержку «Отечественнымъ Запискамъ». Онъ писалъ Боткину:

«Библиотека для Чтенія» всегда шла своей дорогой, потому что нашла свой духъ, свое направленіе. «От. Зап.» года въ два, въ три стали на одну ногу съ ней, потому что со дня моего въ нихъ участія они приобрѣли свой духъ, свое направленіе; оба эти журнала могли не уступать другъ другу въ успѣхѣ, не мѣшая одинъ другому, и если теперь «Библиотека для Чтенія» падаетъ, то не по причинѣ успѣха «Отечественныхъ Записокъ и Современника», а потому, что Сенковский вовсе ею не занимается. Совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ находится „Современникъ“ къ „Отечественнымъ Запискамъ“. Его успѣхъ могъ быть основанъ только на перевѣсѣ надъ ними. Духъ и направленіе его одинаковы съ ними, стало быть, ему для успѣха необходимо было доказать чѣмъ-нибудь свое право на существованіе при „Отечественныхъ Запискахъ“. Тутъ, стало быть, прямое соперничество, и успѣхъ одного журнала необходимо обусловливается паденіемъ другого. Въ чемъ же долженъ состоять перевѣсъ „Современника“ надъ „Отечественными Записками?“ Въ переходѣ изъ въ него главныхъ сотрудниковъ и участниковъ, дававшихъ имъ духъ и направленіе. Объ этомъ переходѣ и было возвѣщено публикѣ, и это возвѣщеніе было *единственною* причиной необыкновеннаго успѣха „Современника“, приобрѣтшаго въ первый же годъ болѣе двухъ тысячъ подписчиковъ, не смотря на то, что его объявленіе вышло только въ ноябрѣ. И это понятно: публика въ правѣ была думать, что настоящее направленіе „Отечественныхъ Записокъ“ перейдетъ въ „Современникъ“, а въ „Отечественныхъ Запискахъ“ останется только тѣнь, призракъ этого направленія. Но за Краевскаго судьба и честные люди—два союзника, вѣчно обезпечивающіе успѣхъ такихъ людей. Я помогъ „Современнику“ только моимъ именемъ, а дѣйствительнаго моего участія въ немъ мало замѣтно было.

Умирая мудроно писать хорошо, и даже какъ я писалъ умирая, только я могъ писать, по моей привычкѣ къ дѣлу, обратившейся у меня въ «натуру».

Обращаясь же къ своимъ московскимъ друзьямъ, Бѣлинскій писалъ: «Когда Герценъ не рѣшался отдать мнѣ „*Кто виноватъ*“ для альманаха по ложной деликатности, я писалъ къ нему: «Мѣдлолобые потому и успѣваютъ въ своихъ дѣлахъ, что поступаютъ съ честными людьми, какъ съ подлецами, а честные люди поступаютъ съ мѣдлолобыми, какъ съ честными людьми». Это простая и вѣрная мысль привела Герцена въ восторгъ, а повѣсть-то онъ все-таки не далъ мнѣ, а *отдалъ Краевскому*. Слушай же далѣе. Когда еще

Краевскій далеко не обозначился вполне, и на „Отечественныя Записки“ мои московскіе друзья смотрѣли болѣе какъ на мои, нежели какъ на Краевского журналъ,—Грановскій не далъ въ нихъ ни строки, отговариваясь недосугомъ со стороны его профессорскихъ обязанностей. Ну, коли недосугъ мѣшаетъ доброй волѣ—жаль, а дѣлать нечего! Но что же? Вдругъ въ *Москвитянинахъ* является большая статья недосужаго Тимоѣя Николаевича! Почему же явилась она въ журналѣ... противнаго и ненавистнаго ему направления? Потому только, что Погодинъ, встрѣтивъ его, обругалъ его за лѣность и присталъ къ нему—дай статью! Вотъ она подобострастная-то, запуганная словенская природа! Презирайте же, послѣ этого, русскаго мужика, который часто несговорчивъ и грубъ съ тѣмъ, кто обращается съ нимъ человѣчески, и внутренно благоговѣетъ передъ тѣмъ, любить даже того, кто начинаетъ съ нимъ обращеніе съ грубѣйшей брани и съ треуха по салазкамъ! Глупы словянофилы, думающіе, что европеизмъ насъ выродилъ, и что между русскимъ мужикомъ и русскимъ профессоромъ легла бездна. Но далѣе. Судьбѣ угодно было, чтобъ Грановскій, наконецъ, далъ статью въ „Отечественныя Записки“; но когда это случилось? Когда Краевскій обнаружился вполне, а я отошелъ отъ „Отечественныхъ Записокъ“. Но тутъ еще былъ смыслъ. Хомяковъ обругалъ статью Кавелина, напечатанную въ „Отечественныхъ Запискахъ“; въ чемъ есть смыслъ, легче вынести». Затѣмъ, обращаясь лично къ Боткину, Бѣлинскій замѣчаетъ: Ты еще имѣлъ какія-нибудь причины ввязаться съ Краевскимъ и снабжать его своими трудами. Ты давно помѣщаешь свои статьи въ „Отечественныхъ Запискахъ“, давно лично знакомъ съ Краевскимъ; въ послѣднее время онъ тебѣ даже оказалъ услугу».

О своихъ личныхъ отношеніяхъ къ „Современнику“ Бѣлинскій говоритъ: „Я былъ спасенъ „Современникомъ“. Мой альманахъ, имѣи онъ даже большой успѣхъ, помогъ-бы мнѣ только временно. Безъ журнала я не могъ существовать. Я почти ничего не слѣлалъ этотъ годъ для „Современника“, а мой 8 тысячь уже забралъ. Поѣздка за-границу разорила меня.

Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій дѣлаетъ весьма любопытныя замѣчанія о роли ученыхъ статей въ журналѣ: „Для журнала статьи ученаго содержанія тогда только важны и дороги, когда онѣ по близости интереса и по изложенію имѣютъ всю заманчивость и легкость беллетристической статьи. Такова, напримеръ, статья Заблоцкаго: *О колебаніи цѣны на хлѣбъ*; ее прочли многіе и изъ тѣхъ, которые, кромѣ повѣстей, стиховъ и рецензій, ничего не читаютъ и о сельскомъ хозяйствѣ и торговлѣ понятія не имѣютъ. Такова же статья Кавелина: *О юридическомъ бытѣ Древней Россіи*. И вотъ почему статьи Кавелина для насъ въ тысячу разъ важнѣе и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы намъ доказали, какъ дважды два—четыре, что для науки статья послѣдняго въ тысячу разъ важнѣе статей перваго. Я никогда не забуду, какъ Герценъ въ Парижѣ, прочтя объ *Отношеніяхъ князей Рюрикова дома*, сказалъ мнѣ: „Очень хорошо, только страшно скучно и читать мука“, а вѣдь Герценъ—не публика! Но каеэдра иное дѣло! Жур-

налъ другое дѣло. Онъ занимается наукой не для науки. Его цѣль не просвѣщеніе, а образованіе, его задача поставить не занимающагося наукой человѣка въ возможность обратить для себя вопросы науки въ вопросы жизни“.

Далѣе, обращаясь опять къ „Отечественнымъ Запискамъ“ и Краевскому, Бѣлинскій писалъ: „Тягаться „Современнику“ съ „Отечественными Записками“ трудно! Краевскій въ сорочкѣ родился. Сколько подарили ему статей Боткинъ и Герценъ!“

Мнѣ кажется, что эти письма, какъ нельзя лучше подтверждаютъ высказанное мною раньше мнѣніе о томъ, что дѣйствительно искреннее отношеніе къ себѣ Бѣлинскій видѣлъ лишь отъ очень немногихъ изъ своихъ друзей.

Лѣтомъ 1847 г., Бѣлинскій съ Тургеневымъ отправились за границу. Все еще была надежда, что здоровье его поправится,—но развѣ подорванныя усталыя силы могутъ справиться съ такимъ врагомъ какъ чахотка? За-граница не понравилась ему:

«Странное дѣло!—разсказываетъ г. Тургеневъ, почти все время выдавшій Бѣлинскаго въ его заграничную поѣздку.—Онъ изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію... Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласія, и тотчасъ спросилъ меня: «Не правда ли? Вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?»—И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: «Ну, и отлично; такъ ужъ я и буду знать,—и въ сторону, и баста!» и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина, и что тутъ отрубили голову Людовику XVI: онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а!—и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ «Тарасѣ Бульбѣ». Историческія свѣдѣнія Бѣлинскаго были слишкомъ слабы: онъ не могъ особенно интересоваться мѣстами, гдѣ происходили великія событія европейской жизни; онъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не могъ изучать тамошнихъ людей; а праздное любопытство, глазѣніе, *badauderie*, было не въ его характерѣ»...

И за границей не могъ онъ забыть о дорогой и милой его сердцу «русской литературѣ». Онъ уѣхалъ въ Петербургъ подъ живымъ впечатлѣніемъ знаменитой Переписки Гоголя. Эта переписка возмущала его до глубины души. Довольно рѣзко отозвался онъ объ ней въ «Современникѣ»: болѣе рѣзкости не допустила бы цензура. Но Гоголь обидѣлся и на это и написалъ Бѣлинскому колкое письмо. Бѣлинскій,—разсказываетъ г. Пыпинъ,—отвѣчалъ, изъ Зальцбрунна, длиннымъ посланіемъ, въ которомъ высказалъ всю силу негодованія, возбужденнаго въ немъ книгой Гоголя. Письмо его, написанное съ энергіей чувства и выраженія, какихъ мы напрасно стали бы искать въ его печатныхъ сочиненіяхъ, между прочимъ чрезвычайно любопытно какъ его свободная рѣчь, какъ образчикъ того, чѣмъ могъ быть его талантъ въ другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Письмо вскорѣ потомъ разошлось

быстро въ рукописяхъ. Не имѣя возможности представить его вполнѣ, приводимъ нѣсколько извлеченій, которыя даютъ понятіе о сущности его содержанія.

«Вы только отчасти правы,—писалъ Бѣлинскій,—увидѣвъ въ моей статьѣ разсерженнаго человѣка; этотъ эпитетъ слишкомъ слабъ и нѣженъ для выраженія того состоянія, въ которое привело меня чтеніе вашей книги. Но вы совсѣмъ не правы, приписавъ это вашимъ дѣйствительно не совсѣмъ лестнымъ отзывамъ о читателяхъ вашего таланта. Тутъ была причина болѣе важная. Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести, и у меня достало бы ума умолчать объ этомъ предметѣ, если бы все дѣло заключалось въ немъ; но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истины, человѣческаго достоинства. Нельзя промолчать, когда проповѣдываютъ ложь и безнравственность, какъ истину и добродѣтель. Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею странкою, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса. И вы имѣли основательную причину хотя на минуту выйти изъ спокойнаго состоянія вашего духа, готелаявъ правоса такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считалъ любовь свою наградю великаго таланта, а потому что въ этомъ отношеніи представляю не одно, а множество лицъ, изъ которыхъ ни вы, ни я не видѣли самаго большого числа, и которыя, въ свою очередь, тоже никогда не видѣли васъ! Я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ.»

«Я думаю,—продолжаетъ Бѣлинскій,—что вы глубоко знаете Россію только какъ художникъ, а не какъ мыслящій человѣкъ, роль котораго вы такъ неудачно приняли на себя въ своей фантастической книгѣ, но это не потому, чтобы вы не были мыслящимъ человѣкомъ, а потому, что вы столько уже лѣтъ смотрѣли на Россію изъ вашего прекраснаго далека. А вѣдь извѣстно, что нѣтъ ничего легче, какъ изъ далека видѣть предметы такими, какъ намъ хочется ихъ видѣть, потому что въ прекрасномъ далека вы живете совершенно чужды духомъ, въ самомъ себѣ, внутри себя, или въ однообразіи кружка, одинаково съ вами настроеннаго и безсильнаго противиться вашему на него вліянію. Поэтому вы не замѣтили, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ пѣтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности, въ пробужденіи въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ потеряннаго въ грязи и навозѣ. Ей нужны права и законы, сообразные съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, выполненіе ихъ. А вмѣсто того она представляетъ собою ужасное зрѣлище, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на то и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждающіе, что негръ не человѣкъ. Это страна, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками, Вавьками, Степками, Палашками; страна, гдѣ нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка; а есть только огромная корпорація различныхъ служебныхъ воровъ и грабителей. Самые живые совре-

менные національные вопросы Россіи теперь уничтоженіе крѣпостнаго права и отиѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія тѣхъ законовъ, которые уже есть. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Россія въ своемъ апатическомъ полуснѣ. И въ это-то время великій писатель, который дивно-художественными и глубокомысленными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на себя самое какъ будто въ зеркалѣ, явился съ книгою, которою учить варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ побольше денегъ, ругая ихъ «неумытыми рылами». Да если бы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти позорныя строки. Нѣтъ, если бы вы дѣйствительно прониклись Христова ученія, совсѣмъ не то писали бы вы къ вашему адепту изъ помѣщиковъ; вы бы писали ему, что такъ какъ его крестьяне—его братья по Христу, и какъ братъ его не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ долженъ дать имъ свободу, или по крайней мѣрѣ пользоваться ихъ трудами какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ глубинѣ своей совѣсти въ ложномъ къ нимъ положеніи. А выраженіе: «Ахъ ты, неумытое рыло!»... да у какого Ноздрева, или у какого Сабакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе русскихъ мужиковъ, которые и безъ того потому не умываются, что повѣрили своимъ барамъ, сами себя не считали за людей. А ваше понятіе о національномъ русскомъ судѣ—расправѣ, идеалъ котораго вы нашли въ словахъ глупой бабы, въ повѣсти Пушкина, и по разуму котораго должно пороть и праваго и виноватаго! Да это и такъ у насъ дѣлается, даже въ частую, хотя чаще всего порятъ праваго, если ему нечѣмъ откупиться отъ преступленія быть безъ вины виноватымъ. И такая-то книга можетъ быть результатомъ труднаго внутренняго прогресса, высокаго духовнаго просвѣщенія?—Не можетъ быть! Проповѣдникъ кнута, апостоль невѣжества, поборникъ обскурантизма и иракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, чтѣ вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!.. Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете, какъ великую и неоспоримую истину, будто простому человѣку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Чтѣ сказать вамъ на это? Да простить вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагѣ, вы вѣдали, что творили... Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человѣка? Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, и, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной літературѣ есть жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почтенно, почему у насъ такъ легокъ вѣрный успѣхъ, даже при маленькомъ талантѣ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнѣніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурнаго направленія,

а отъ рѣзкости истинъ, будто бы высказанныхъ нами всѣмъ и каждому. Положимъ, что вы могли это думать о пишущей братин, но публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ» вы менѣе рѣзки, съ меньшей истиной и талантомъ, и менѣе горькой правды высказали? И она дѣйствительно разсердилась на васъ до бѣшенства, но «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» не пали отъ этого, тогда какъ ваша послѣдняя книга провалилась сквозь землю. И публика тутъ права; это показываетъ, сколько лежатъ въ нашемъ обществѣ, хотя и въ зародышѣ, свѣжаго, здраваго чувства, и это показываетъ, что у нея есть будущность. Если вы любите Россію, порадауйтесь вмѣстѣ со мною паденію вашей книги.

«Ваше обращеніе, пожалуй, можетъ быть искренно, но мысль довести о немъ до свѣдѣнія публики—самая печальная... Смирненіе, проповѣдываемое вами, во-первыхъ, не ново, во-вторыхъ, отзывается съ одной стороны страшною гордостью, а съ другой—самымъ позорнымъ униженіемъ своего человѣческаго достоинства. Мысль сдѣлаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше всѣхъ смиреніемъ, можетъ быть плодомъ только гордости, или слабоумія, и ведетъ въ обихъ случаяхъ къ лицемерію, ханженству, атеизму. И при этомъ вы позволяли себѣ цинически грязно выражаться не только о другихъ (это было бы только невѣжество), но и о самомъ себѣ (это уже гадко), потому что человѣкъ, бьющій своего ближняго по щекамъ, возбуждаетъ презрѣніе. Нѣтъ вы омрачены, а не просвѣтлены. И что за языкъ, что за фразы? «Дрянъ и тряпка сталъ теперь всякъ человѣкъ». Неужели вы думаете, что сказать «всякъ» вмѣсто «всякій»—значитъ выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человѣкъ отдается жи, его оставляетъ умъ и талантъ. Не будь на вашей книгѣ выставлено вашего имени, и будь изъ нея исключены тѣ мѣста, гдѣ вы говорите о самомъ себѣ, какъ о писателѣ, кто бы подумалъ, что эта надутая и неопрятная шумиха словъ и фразъ—произведеніе автора «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»? Что же касается до меня лично, повторяю вамъ: вы ошибаетесь, сочтя статью мою выраженіемъ досады за вашъ отзывъ обо мнѣ, какъ объ одномъ изъ вашихъ критиковъ. Если бы только это разсердило меня, я только объ этомъ отозвался бы съ досадою, а объ остальномъ отозвался бы спокойно и безпристрастно. А это правда, что вашъ отзывъ о вашихъ почитателяхъ вдвойнѣ не хорошъ. Я понимаю необходимость иногда шелкнуть глупца, который своими похвалами, своими восторгамъ ко мнѣ только дѣлаетъ меня смѣшнымъ; но и эта необходимость тяжела, потому что какъ-то не человѣчески за ложную любовь платить враждою. Но вы имѣете въ виду людей, если не съ отличнымъ умомъ, то все же и не глупцовъ. Эти люди въ своемъ удивленіи къ вашимъ твореніямъ надѣлали, можетъ быть, гораздо болѣе восклицаній, нежели сколько высказали о нихъ дѣла, но все же ихъ энтузіазмъ къ вамъ выходитъ изъ такого чистаго, благороднаго источника, что вамъ вовсе не слѣдовало бы выдавать ихъ головою—ихъ и вашимъ врагамъ, да еще въ добавокъ обвинять ихъ въ намѣреніи дать какой-то предосудительный толкъ вашимъ сочиненіямъ. Вы, конечно, сдѣлали это по увлеченію

главную мысль вашей книги и по неосмотрительности. Все это не хорошо. А что вы ожидали времени, когда вамъ можно будетъ отдать справедливость и почитателямъ вашего таланта (отдавши ее съ гордымъ смиреніемъ вашимъ врагамъ)—этого я не зналъ, не могъ, да признаться, не хотѣлъ бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намѣренія. Я читалъ и перечитывалъ ее сто разъ, и все-таки не нашелъ въ ней ничего, кромѣ того, что въ ней есть; а то, что въ ней есть, глубоко возмутило и оскорбило душу.

«Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо это скоро превратилось бы въ толстую тетрадь. Я никогда не думалъ писать къ вамъ объ этомъ предметѣ, хотя я и мучительно желалъ этого, и хотя вы всѣмъ и каждому печатно дали право писать къ намъ безъ церемоніи, имѣя въ виду одну только правду. Неожиданное полученіе вашего письма дало мнѣ возможность высказать вамъ все, что лежало у меня на душѣ противу васъ, по поводу вашей книги. Я не умѣю говорить въ половину, не умѣю хитрить—это не въ моей натурѣ. Пусть мы или само время докажетъ мнѣ, что я ошибался въ моихъ о васъ понятіяхъ, я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь въ томъ, что что высказалъ о васъ. Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, а о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ. Тутъ дѣло идетъ объ истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи. И вотъ мое послѣднее, заключительное слово: если вы имѣли несчастье съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вы должны съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней вашей книги и тяжелый грѣхъ ея изданія искупить новыми твореніями, которыя напомнили бы ваши прежнія».

По силѣ и благородству, это письмо истинное украшеніе русской литературы и напоминаетъ собою «Lettre de la Montagne» Руссо.

Одного имени Бѣлинскаго было достаточно, чтобы поставить «Современникъ» на ноги. И говоря такъ, я нисколько не преувеличиваю дѣла. Между прочимъ это мнѣніе Герцена. Но Бѣлинскій сдѣлалъ для юнаго журнала гораздо больше. Во первыхъ онъ передалъ редакціи весь матеріалъ, собранный имъ для своего альманаха «Левіафанъ», а затѣмъ написалъ нѣсколько превосходныхъ статей, лучшія между которыми: обзорнія литературы за 1846 и 47 года и о «Перепискѣ съ друзьями» Гоголя. Въ «Обзорніи Литературы 46 г.» Бѣлинскій защищаетъ западничество и борется съ славянофильствомъ. Его взглядъ на это намъ извѣстенъ. Въ обзорніи за 47-ой годъ, онъ полно и рѣзко выставляетъ заслуги натуральной школы. Съ этими его обзорніями намъ надо подробно ознакомиться сейчасъ же. Прежде всего онъ указываетъ на несомнѣнное *торжество* натуральной школы.

«Натуральная школа,—говоритъ онъ,—стоитъ теперь на первомъ планѣ русской литературы. Съ одной стороны, нисколько не преувеличивая дѣла по какимъ-нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика,

т. е. большинство читателей, за нее: это—фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ; а какіе журналы пользуются большей извѣстностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и большее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикой съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которые принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикой романы и повѣсти, не принадлежащіе къ натуральной школѣ? Какая критика пользуется большимъ вліяніемъ на мнѣніе публики или, лучше сказать, какая критика болѣе сообразна съ мнѣніемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стоитъ за натуральную школу противъ риторической? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорятъ, спорятъ, на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу? Парти, ничего не имѣющія между собою общаго, въ нападкахъ на натуральную школу дѣйствуютъ согласно, единодушно, приписываютъ ей мнѣнія, которыхъ она чуждается, намѣренія, которыхъ у ней никогда не было, ложно перетолковываютъ каждое ея слово, каждый ея шагъ, то бранятъ ее съ запальчивостью, забывая иногда приличіе, то жалуются на нее чуть не со слезами! Чтѣ общаго между заклятыми врагами Гоголя, представителями побѣжденнаго риторическаго направленія, и между такъ-называемыми славянофилами?—Ничего! и однако-жъ послѣдніе, признавая Гоголя основателемъ натуральной школы, согласно съ первыми нападаютъ въ томъ-же тонѣ, тѣми-же словами, съ такими-же доказательствами на натуральную школу, и почли за нужное отличиться отъ своихъ новыхъ союзниковъ только логической непоследовательностью, вслѣдствіе которой они поставили Гоголю въ заслугу то самое, за что преслѣдуютъ его школу, на томъ основаніи, что онъ писалъ по какой-то «потребности внутренняго очищенія». Къ этому должно прибавить, что школы, непріязненныя натуральной, не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго произведенія, которое доказало-бы дѣломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами противоположными тѣмъ, которыхъ держится натуральная школа. Всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ послужили къ торжеству натурализма и паденію риторизма.

Натурализмъ т. е. стремленіе къ постиженію и изображенію дѣйствительности, нашелъ уже мѣсто у Кантемира, въ его сатирахъ. Его слѣды можно видѣть въ произведеніяхъ Державина, Озерова, Жуковскаго, Батюшкова, все менѣе и менѣе отвлеченнымъ и риторическимъ, все больше и больше сближающимся съ дѣйствительностію или по крайней мѣрѣ стремившимся къ этому сближенію. Въ произведеніяхъ этихъ писателей, особенно двухъ послѣднихъ, языкомъ поэзіи заговорили уже не одни официальные восторги, но и такія страсти, чувства и стремленія, источникомъ которыхъ были не отвлеченные идеалы, но человѣческое сердце, человѣческая душа. Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій

потокъ оба, до того текшіе раздѣльно, ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чисто русскіе звуки. Несмотря на преимущественно идеальныи и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной, что доказывается смѣлостью, въ то время удивившей всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ, итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ, не съ кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телѣгъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ, былъ тоже неслыханной дотогѣ сценой для кроваваго трагическаго событія. Но въ «Евгеніи Онѣгинѣ» идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности, или по крайней мѣрѣ то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по справедливости считаться произведеніемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности, со всѣмъ ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дрязгами; около двухъ или трехъ лицъ, опозтизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣшище, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

«Самъ Пушкинъ,—продолжаетъ Бѣлинскій,—съ одной стороны былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе слѣды ихъ вліянія, а съ другой стороны его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всѣхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона—авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теоріи, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ былъ противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть ихъ изъ головы, забыть о ихъ существованіи,—а это для многихъ значило-бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснѣе сдѣлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ находится Гоголь къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно и въ тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляютъ чуждыя русскому міру картины, безъ всякаго сомнѣнія есть элементы русскіе, но кто укажетъ ихъ? Какъ доказать, что на примѣръ поэмы: «Моцартъ и Сальери», «Каменный Гость», «Скупой Рыцарь», «Галубъ» могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ-бы написать поэтъ другой націи? То-же можно сказать и о Лермонтовѣ. Всѣ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не украшаетъ, вслѣдствіе любви къ идеаламъ, или какихъ-нибудь заранѣе принятыхъ идей, или привычныхъ пристрастій, какъ на примѣръ Пушкинъ въ «Онѣгинѣ» идеализировалъ помѣщичій бытъ. Конечно, преобладающій характеръ его сочиненій—отрица-

ніе; всякое отрицаніе, чтобъ быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала, — и этотъ идеалъ у Гоголя такъ-же не свой, т. е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературѣ этотъ идеалъ. Но нельзя-же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ невозможно предложить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ-бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такой поразительной вѣрностью и истиной, разумѣется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

Литература наша была плодомъ сознательной мысли, явилась какъ нововведеніе, началась подражательностью. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдѣлаться естественной, натуральной. Это стремленіе, ознаменованное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы, не обвиняясь, скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и носить на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди стараго образованія и вмѣняють ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ cadaго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкой, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства — *какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ*. Тутъ все дѣло въ типахъ, а идеалъ тутъ понимается не какъ украшеніе (слѣдовательно ложь), а какъ отношеніе, въ которыя авторъ ставитъ другъ къ другу созданные имъ типы, сообразно съ мыслью, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому-же пути, оставивши свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ея думали унижить названіемъ натуральной. Послѣ «Мертвыхъ Душъ» Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дѣлаются выходки противъ него, то по поводу этой школы.

Одна изъ главныхъ заслугъ натуральной школы заключается между прочимъ въ томъ, что она *ввела въ литературу мужика...*

Есть,—рѣзко говорить Бѣлинскій,—особенный родъ читателей, который по чувству аристократизма не любитъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно не знающими приличія и хорошаго тона, не любить грязи и нищеты, по ихъ противоположности съ роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школѣ не иначе, какъ съ высокоомѣрнымъ презрѣніемъ, иронической улыбкой... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся «подлой чернью», которая въ ихъ глазахъ ниже хорошей лошади? Не спѣшите справляться о нихъ въ герольдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ: вы не найдете ихъ гербовъ, они не ѣздятъ ко двору, и если видали большой свѣтъ, то не иначе, какъ съ улицы, сквозь ярко освѣщенные окна, насколько позволяли сторы и занавѣски... Предками они не могутъ похвалиться: они обыкновенно—или чиновники, или изъ новаго дворянства, богатаго только библейскими преданіями о дѣдушкѣ управляющемъ, о дядюшкѣ откупщикѣ, а иногда и о бабушкѣ просвириѣ и тетушкѣ торговкѣ. Авторъ этой статьи считаетъ при этомъ обязанностью донести до свѣдѣнія своихъ читателей, что упрекать ближняго незнатостью происхожденія вовсе не въ его привычкахъ и положительно противно всѣмъ его убѣжденіямъ, и что онъ самъ отнюдь не стыдится признаться въ этомъ. Но онъ думаетъ—и вѣроятно читатели его согласятся съ нимъ—что ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ оборвать съ вороны павлинья перья и доказать ей, что она принадлежитъ къ той породѣ, которую вздумала презирать. Человѣкъ простого званія еще не ворона, потому что онъ простого званія; вороной дѣлаетъ не званіе, а природа, и вороны такъ-же бываютъ во всѣхъ званіяхъ, какъ во всѣхъ-же званіяхъ бываютъ и орлы; но конечно только воронѣ свойственно рядиться въ павлинья перья и величаться ими. Такъ почему-же не сказать воронѣ, что она—ворона? Презрѣніе къ низшимъ сословіямъ въ наше время отнюдь не есть порокъ высшихъ сословій; напротивъ, это болѣзнь выскочекъ, порожденіе невѣжества, грубости чувствъ и понятій. Умный и образованный человѣкъ, еслибъ онъ былъ одержимъ этой болѣзью, никогда не обнаружитъ ея, потому что она не въ духѣ времени, потому что показать ее—значитъ каркнуть о себѣ во все воронье горло. Намъ кажется, что какъ ни гадко лицемѣріе, но въ этомъ случаѣ оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидѣтельствуетъ объ умѣ. Павлинь, горделиво распускающій пышный хвостъ свой передъ другими птицами, слыветъ животнымъ красивымъ, но не умнымъ. Что-же сказать о воронѣ, спѣсиво выказывающей заимствованный нарядъ? Подобная спѣсь всегда чужда ума и есть порокъ по преимуществу плебейскій. Гдѣ больше лomanья и притязаній, какъ не въ тѣхъ слояхъ общества, которые начинаются тотчасъ послѣ самыхъ низшихъ? А это потому, что тутъ всего больше невѣжества. Посмотрите, какъ глубоко презираетъ лакей мужика, который во всѣхъ отношеніяхъ лучше, благороднѣй, человѣчнѣй его! Откуда эта гордость въ лакеѣ?—Онъ перенялъ пороки своего барина и оттого считаетъ себя далеко образованнѣе мужика. Виѣшній лоскъ грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?»—восклицают аристократы известнаго разряда. Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому какъ что закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ибо искусство имѣетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой — мрачные, если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣшиваютъ его съ ремесломъ. Природа—вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ — человѣкъ. А развѣ мужикъ не человѣкъ?—Но что-же можетъ быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ?—Какъ что?—его душа, умъ, сердце, страсти, склонности,—словомъ, все то-же, что и въ образованномъ человѣкѣ. Положимъ, послѣдній выше перваго; но развѣ ботанистъ интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатомика и физиолога организмъ дикаго австралійца не такъ-же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ-же основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ различаться отъ науки? А потомъ—вы говорите, что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это нисколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его, напримѣръ, со стороны ума, чувства, характера. Образованіе только развиваетъ нравственныя силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоцѣннѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совсѣмъ не потому, что природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ. «Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся съ кругу горемыка?» говорятъ еще эти аристократы средней руки.—Какъ чему? разумѣется, не свѣтскому обращенію и не хорошему тону, а знанію человѣка въ известномъ положеніи. Одинъ спивается отъ лѣности, отъ дурнаго воспитанія, отъ слабости характера; другой—отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ можетъ быть нисколько не виноватъ.

И дальше! Посмотрите, какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участью низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатая

вѣрными средствами общества для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбежнаго слѣдствія — безнравственности и разврата. Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ поряцателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности. Они говорятъ, что тутъ дѣйствуютъ мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человѣколюбіе. Пусть такъ, да когда-же и гдѣ-же въ лучшихъ человѣческихъ дѣйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ-же сказать, что только такія побужденія могутъ быть причиной такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ примѣромъ толпу, не одушевлены болѣе благородными и высокими побужденіями? Разумѣется, нечего удивляться добродѣтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это добродѣтель въ отношеніи къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дѣятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру. Это-ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности?

Могло-ли отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, — въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва-ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна-ли и благородна-ли такая роль; но за нее то и нападаетъ на литературу безгербовная аристократія. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего они стоятъ...

Сущность-же своихъ воззрѣній на современную ему литературу — значеніе натуральной школы — Бѣлинскій резюмируетъ въ такихъ строкахъ:

Въ наше время искусство и литература больше, чѣмъ когда-либо прежде, сдѣлались *выраженіемъ общественныхъ вопросовъ*, потому что въ наше время эти вопросы стали общіе, доступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ. Это, разумѣется, не могло не измѣнить общаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ, самые гениальные поэты, увлекаясь рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соотвѣтствуетъ ихъ таланту или по крайней мѣрѣ обнаруживается только въ частностяхъ, а цѣлое произведеніе слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржъ-Занда: «Le Meunier d'Angibault», «Le Péché de Monsieur Antoine», «Isidore». Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а отъ того, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопіей, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его изображеніи. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ характерами воз-

можными, съ лицами всѣмъ знакомыми, онъ вывелъ характеры фантастическіе, лица небывалыя, и романъ у него смѣшался со сказкой, натуральное заслонилось неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ риторикой. Но изъ этого еще нѣтъ причины вопить о паденіи искусства; тотъ-же Жоржъ-Зандъ послѣ «Le Meunier d'Angibault» написалъ «Теверино», а послѣ «Изидоры» и «Le Pêché de Monsieur Antoine» — «Лукрецію Флоріани». Порча искусства вслѣдствіе вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ могла-бы скорѣе обнаружиться на талантахъ низшей степени, но и тутъ она обнаруживается только въ неумѣннн отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго, и еще болѣе—въ страсти къ мелодрамѣ, къ натянутымъ эффектамъ. Чтò особенно хорошо въ романахъ Евгенія Сю?—вѣрныя картины современнаго общества, въ которыхъ больше всего видно вліяніе современныхъ вопросовъ. А что составляетъ ихъ слабую сторону, портитъ ихъ до того, что отбиваетъ всякую охоту читать ихъ? — Преувеличенія, мелодрама, эффекты, небывалые характеры вродѣ принца Родольфа,—словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное,—а все это выходитъ отнюдь не изъ вліянія современныхъ вопросовъ а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности и никогда на цѣлое произведеніе. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко проникнуты задушевными симпатіями нашего времени, и которымъ это нисколько не мѣшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

Эта защита натуральной школы и ея принциповъ быть можетъ не покажется особенно важной и особенно значительной для современнаго читателя. Съ одной стороны — мы привыкли къ натуральной школѣ, — съ другой, увидя всѣ ея крайности, отчасти даже разочаровались въ ней. Но перенеситесь въ обстановку 40-ыхъ годовъ за пятьдесятъ лѣтъ до нашего времени и для васъ станетъ какъ нельзя болѣе ясной необходимостью настойчивой проповѣди Бѣлинскаго. Онъ прекрасно зналъ, что дѣлалъ. Если и теперь такъ называемая русская интеллигенція на три-четверти, а пожалуй что и на девять-десятыхъ состоитъ изъ людей полу-образованныхъ и полу-грамотныхъ, то что-же было тогда? Если и теперь не рѣдкость люди читающіе журналы и въ то же время готовые восторгаться самымъ площаднымъ барабаннымъ боемъ во славу своего отечества, то легко сообразить, сколько было такихъ людей при Бѣлинскомъ. Любимыми писателями являлись не Пушкинъ, Лермонтовъ или Гоголь,—а Кукольникъ и Булгаринъ. Одинаково, въ театрѣ публика съ гораздо большимъ удовольствіемъ смотрѣла патріотическія драмы того-же Кукольника или Николая Полевого, чѣмъ «Ревизора» и «Женитьбу». Въ критикѣ серьезно и даже съ ожесточеніемъ доказывалось, что Гоголь только смѣшной писатель и т. д. Винить за это, разумѣется, нельзя никого: русская цивилизація не считывала за собой и полутора-вѣковаго существованія, а именно вниманіемъ къ

окружающей дѣйствительности, стремленіемъ постигнуть ея законы, ея смыслъ цивилизованный человѣкъ и отличается отъ варвара и дикаря. Гораздо проще и несомнѣнно пріятнѣе утѣпать себя всевозможными иллюзіями вродѣ того, что мы—народъ особенный, что мы всѣхъ «нѣмцевъ» шапками закидаемъ, что у насъ слава Богу крѣпостное право, которое обезпечиваетъ крестьянъ отъ нищеты и разоренья и въ то-же время даетъ дворянамъ—помѣщикамъ постоянный способъ упражнять свои административныя способности и другія равноцѣнные имъ таланты.

Своей настойчивой горячей проповѣдью принциповъ натурализма, своей борьбой съ риторикой и неискренностью съ постояннымъ чисто хамскимъ желаніемъ прикрашивать жизнь—Бѣлинскій сыгралъ въ отношеніи русской литературы ту-же роль, какую до него Лессингъ въ отношеніи литературы германской. Много общаго въ геніи этихъ обоихъ литературныхъ великановъ, въ приемахъ ихъ доказательствъ, въ страстности и глубинѣ ихъ одушевленія, въ предметахъ ихъ любви и ненависти. Все равно какъ послѣ Лессинга стала невозможной на сценѣ ложно-классическая драма, и глупая пастораль, такъ одинаково невозможна ходульная барабанная литература послѣ Бѣлинскаго. Слѣдъ, оставленный имъ на нашихъ вкусахъ, на приемахъ нашей критики—не изгладимъ. Къ его статьямъ какъ нельзя болѣе приложима русская пословица—не вырубить топоромъ того, что написано перомъ—тѣмъ болѣе этимъ геніальнымъ, нервнымъ перомъ.

Я уже сказалъ выше, что одной изъ заслугъ натуральной школы Бѣлинскій считалъ то, что она ввела мужика въ литературу. На самомъ дѣлѣ на его глазахъ совершилось первое появленіе лапотника на страницахъ нашихъ журналовъ. Конечно лапотниковъ выводили и раньше, но или прикрашенныхъ въ видѣ „народа“ Карамзина или въ видѣ какихъ-то—прости Господи—шалыныхъ, способныхъ только орать во все горло: «идемъ и бѣжимъ». Такимъ именно оказывался народъ на нашей патріотической сценѣ—въ драмахъ Кукольника, въ романахъ Загоскина, въ повѣстяхъ К. Аксакова. Не того мужика показала русской публикѣ натуральная школа и не тому мужику обрадовался Бѣлинскій. Появился настоящій мужикъ сѣрый, грязный, униженный и несчастный, безъ бѣлилъ и румянъ «поэтического творчества».

Въ 1847—48 годахъ появились первыя произведенія, положившія основаніе нашей; народнической, я говорю объ «Антонѣ Горемыкѣ» Григоровича и нѣкоторыхъ очеркахъ «Записокъ Охотника» Тургенева. «Антонъ Горемыка» произвелъ на Бѣлинскаго страшное впечатлѣніе.

«Вѣроятно,—пишетъ онъ Боткину,—ты уже получилъ XI № «Современника». Тамъ повѣсть Григоровича, которая измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты... Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передѣланъ—выкинута сцена разбоя, въ ко-

торой онъ участвуетъ. Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ мурмолкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ—безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней»...

Когда Боткинъ отвѣтилъ, что «Антонъ» ему не понравился—Бѣлинскій далъ ему сердитую отвѣдь.

«Для меня,—говоритъ онъ,—иностранныя повѣсти должны быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначалѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которую-бы я не могъ осилить (доказательство—я прочелъ съ начала до конца *Втеру* въ «От. З.»—да и задамъ-же я ей при обзорѣ!), а будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное—сколько-нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты—сибаритъ, сластенъ...—тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества—тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызвала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Я съ удовольствіемъ прочелъ, напр., повѣсть не повѣсть, даже разсказъ не разсказъ, и разсужденіе не разсужденіе—*Записки челоуэтка*, Г—ва (въ 12 № «Отеч. Зап.»), да еще съ какимъ удовольствіемъ! Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, — тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ шегольствѣ. Будь повѣсть хоть разхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, — то я къ ней совершенно равнодушень... Я знаю, что сяжу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣе о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ *Антонѣ* я не замѣтилъ длиннотъ, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки!.. Но перечитывать *Антонъ* я не буду, хотя всегда перечитываю по-нѣсколько разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину—законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ»...

Глава XV.

«Зима 1841—1848 года тянулась для Бѣлинскаго мучительно,—разсказываетъ Панаевъ, часто его издавшій.—Съ физическими силами падали и силы его духа. Онъ выходилъ изъ дому рѣдко; дома, когда у него собирались

пріятели, онъ мало одушевлялся и часто повторялъ, что ему уже не долго остается жить. Говорятъ, что больные чахоткой обыкновенно не сознають опасности своего положенія... У Бѣлинскаго не было этой иллюзіи; онъ не разсчитывалъ на жизнь и не утѣшалъ себя никакими надеждами»...

Письма, приведенныя въ началѣ этой главы, и указанныя статьи въ «Современникѣ» 1848 года были послѣдними порывами его къ дѣятельности.

«Болѣзненные страданія Бѣлинскаго,—продолжаетъ Панаевъ,—развились страшно въ послѣднее время отъ петербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, неприятностей и отъ тяжелыхъ и смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали носиться какіе-то неблагоприятныя для него слухи, все какъ-то душнѣе и мрачнѣе становилось кругомъ его, статьи его разсматривались все строже и строже. Онъ получилъ два весьма неприятныя письма, написанныя, впрочемъ, съ большою деликатностію, отъ одного изъ своихъ прежнихъ наставниковъ (Попова), котораго онъ очень любилъ и уважалъ. Ему надобно было, по поводу ихъ, ѣхать объясняться, но онъ уже въ это время не выходилъ изъ дому»...

«Нѣкоторые господа, мнѣніемъ которыхъ Бѣлинскій дорожилъ нѣкогда, начинали поговаривать, что онъ исписался, что онъ повторяетъ зады, что его статьи длинны, вялы и скучны... Это доходило и до него и глубоко огорчало его».

Да, пришлось пить чашу до дна. Впрочемъ, немного уже оставалось въ ней яду, большая часть давно была проглочена и давно уже разрушила организмъ.

«Придя однажды къ Бѣлинскому,—продолжаетъ Панаевъ,—я засталъ его въ страшномъ волненіи и безпокойствѣ. Дѣло въ томъ, что къ нему явился жандармъ съ повѣсткою (это и было, вѣроятно, второе письмо Попова)... По тогдашнимъ обстоятельствамъ можно понять, какое впечатлѣніе должно было произвести неожиданное и загадочное появленіе этого посланнаго... въ квартирѣ Бѣлинскаго.

«Бѣлинскій, не встававшій уже съ кресла, задыхающимся отъ волненія и отъ слабости голосомъ, просилъ меня... отыскать бывшаго его учителя Попова... и узнать, для чего его требуютъ. Приѣхавъ къ Попову, я объяснилъ ему о тяжелой болѣзни Бѣлинскаго, приковавшей его къ креслу, и спросилъ, чего отъ него желаютъ. Поповъ вспомнилъ съ нѣжностью о дѣтскихъ годахъ Бѣлинскаго, выразилъ участіе къ его болѣзненному состоянію, просилъ меня успокоить больного и объяснить ему, что онъ вызывался не по какому-либо частному дѣлу или обвиненію, но какъ одинъ изъ замѣчательныхъ дѣятелей на поприщѣ русской литературы, «единственно для того, чтобы лично познакомиться съ начальникомъ вѣдомства (гдѣ служилъ Поповъ), *хозяйномъ* русской литературы»...

Въ мартѣ Бѣлинскій еще работалъ; но затѣмъ оставалось ему только тяжкое страданіе болѣзни, въ которой не выпало на его долю и нравственнаго

утѣшенія,—сама литература, для которой онъ жилъ, выносила тогда тяжелый кризисъ.

«Къ веснѣ,—болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изрѣдка только, горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впадала, онъ еле передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно. Даже присутствіе друзей уже было ему въ тягость.

«Я разъ зашелъ къ нему утромъ (въ маѣ)... На дворъ подъ деревья вынесли диванъ — и Бѣлинскаго вывели подышать чистымъ воздухомъ. Я засталъ его уже на дворѣ. Онъ сидѣлъ на диванѣ, опустил голову и тяжело дыша. Увидѣвъ меня, онъ грустно покачалъ головою и протянулъ мнѣ руку. Черезъ минуту онъ приподнялъ голову, взглянулъ на меня и сказалъ:

— Плохо мнѣ, плохо, Панаевъ!

«Я началъ—было нѣсколько словъ въ утѣшеніе, но онъ перебилъ меня.

— Полноте говорить вздоръ.

«И снова молча и тяжело дыша опустилъ голову. Я не могу высказать, какъ мнѣ было тяжело въ эту минуту... Я начиналъ заговаривать съ нимъ о разныхъ вещахъ, но все какъ-то неловко, да и Бѣлинскаго, кажется, уже ничего не интересовало... «Все кончено!»—думалъ я.

«Бѣлинскій умеръ черезъ нѣсколько дней послѣ этого»...

Присутствовавшіе при его смерти рассказывали, что Бѣлинскій, за нѣсколько минутъ до кончины, лежавшій уже въ постели безъ сознанія, вдругъ быстро поднялся, съ сверкавшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, проговорилъ невнятные, прерывающимися словами, но съ энергіей, какія-то слова, обращенныя къ русскому народу, говорившія о любви къ нему... Его поддержали, уложили въ постель, и черезъ нѣсколько минутъ онъ умеръ. Это было 26 мая, въ 6-мъ часу утра.

Немногіе петербургскіе друзья проводили его тѣло до Волкова кладбища. Къ нимъ присоединились три или четыре *неизвѣстныхъ*, вдругъ откуда-то взявшіеся. Они остались на кладбищѣ до самаго конца погребенія и слѣдили за всѣмъ съ величайшимъ любопытствомъ, хотя слѣдить было совершенно нечего. Бѣлинскаго отпѣли и опустили въ могилу, какъ и всякаго другого.

Бѣлинскій въ потомствѣ.

26-го мая 1898 года въ шесть часовъ утра исполнится ровно пятьдесятъ лѣтъ со дня смерти Бѣлинскаго. Не видно ни особенныхъ приготовленій, ни особенныхъ заботъ по этому поводу, — обстоятельство, которое едва-ли можно объяснить въ особенно лестную для насъ сторону. Насъ русскихъ очень часто обвиняютъ въ равнодушіи къ своимъ великимъ людямъ. Мы, дѣйствительно, очень скоро забываемъ ихъ, какъ бы держась мудраго правила, пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ. И далеко не всѣ одинаково не довольны этимъ. Напротивъ

того, эта забывчивость, подь часъ прямо легкомысленная, служить для многихъ новымъ аргументомъ въ защиту той мысли, что мы еще совѣмъ молодой народъ, все будущее котораго впереди. Что-же ему въ такомъ случаѣ особенно заботиться о покойникахъ, хотя-бы и славныхъ, но все-же игравшихъ для него лишь роль няньки, учившей держаться на ногахъ, ходить, лепетать? Я не стану спорить противъ этого. Я согласенъ, что народъ — младенецъ имѣть свои привилегіи и преимущества, свои достоинства и недостатки, но все-же мнѣ, какъ и многимъ другимъ, вѣроятно, было-бы грустно, если-бы пятидесятилѣтіе смерти Бѣлинскаго прошло незамѣченнымъ и дало-бы лишь возможность нажитья кое-какимъ издателямъ. Надо надѣяться, что такъ не будетъ, пока же глухо, почти ничего не слышно.

Конечно, пушкинскаго празднества ни въ какомъ случаѣ не выйдетъ и не можетъ выйти уже потому, что нѣтъ тѣхъ лицъ, которыя тогда были на лицо, нѣтъ Достоевскаго, Тургенева, Ив. Аксакова, но, быть можетъ, встряхнутся и литературные эпигоны и забудутъ свои мелкіе раздоры, ссоры и пререканія—въ которыхъ, разумѣется, главную роль играетъ обиженное самолюбіе — стоя передъ великой могилой, такъ настойчиво напоминающей о себѣ въ данную минуту.

Бѣлинскій умеръ 26 мая 1848 г. въ шестомъ часу утра. Это фактъ. Но онъ умеръ, какъ и Пушкинъ, не весь, и «часть его большая» перешла въ потомство и живетъ въ немъ вплоть до настоящей минуты. Эта большая часть— не только его статьи, часто недодѣланныя, недодуманныя и взаимно другъ друга исключаютія, а и его чудныя письма, въ которыхъ яснѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, изображена исторія правдивой души, жестоко оскорбленной нашей жизнью. Эти письма, далеко еще не понятыя и недостаточно оцѣненные, по своей чудной искренности и художественной полнотѣ займутъ когда нибудь одно изъ первыхъ мѣстъ въ нашей литературѣ, наряду съ «Былое и думы».

Я лично не знаю, что могло-бы быть интереснѣе темы, какъ «Бѣлинскій въ потомствѣ» и, на самомъ дѣлѣ удивительно, что она не только не разработана, но почти и не затронута. А между тѣмъ, кто знаетъ, сколько «интеллигентныхъ» недоразумѣній разрѣшилось-бы, отнесись мы къ ней внимательнѣе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только спросить себя, какое понятіе стоитъ въ центрѣ всѣхъ философскихъ, критическихъ и нравственныхъ убѣжденій Бѣлинскаго? Это — *понятіе личности*. Я прошу читателя не торопиться, не говорить, что это слишкомъ отвлеченное понятіе. Для Бѣлинскаго оно было облечено въ плоть и кровь, и, какъ скоро увидимъ, онъ заработалъ его цѣною огромныхъ страданій, онъ искалъ его долго, постоянно переходя отъ надежды къ отчаянью.

Само по себѣ слово—личность, конечно, ничего не обозначаетъ. Это простой терминъ, которымъ мы пользуемся въ нашихъ философскихъ разсужденіяхъ, такъ какъ съ полнымъ основаніемъ можно оспаривать существованіе не только личностей, но и вообще чего-нибудь личнаго въ природѣ. Значитъ прежде всего надо опредѣлить, какую именно личность имѣлъ Бѣлинскій? Я начну съ самаго простаго, если хотите элементарнаго.

Изъ біографіи Бѣлинскаго можно видѣть, что свою *личную самостоятельность*, понимая ее какъ право поступать по своему внутреннему убѣжденію, онъ цѣнилъ выше всего. Эта черта характера проходить красною нитью черезъ всю его жизнь. Онъ не измѣнялъ ей никогда и защищалъ свое право быть собою съ такою ревнивою даже осторожностью, съ какой защищаетъ бѣднякъ единственное свое сокровище. Мы знаемъ, что вырвавшись изъ-подъ ферулы родительскаго дома, онъ поступилъ въ пензенскую гимназію. Прочувшись прилежно нѣсколько лѣтъ, онъ какъ-то вдругъ залѣнился, пересталъ ходить въ классы и все свободное время отдавалъ «своему» дѣлу—чтенію или писанію стиховъ. Никакія внушенія не могли подѣйствовать на него въ смыслѣ развитія благонравія. Онъ почувствовалъ, что гимназія стѣсняетъ и давитъ его, и этого было совершенно достаточно, чтобы махнуть на нее рукой. Тоже самое случилось съ нимъ въ университетѣ, куда онъ опредѣлился съ величайшимъ трудомъ. Сначала онъ былъ въ восторгѣ отъ него — и отъ стѣнъ и отъ науки и даже казенно-коштнаго содержанія. Но какъ только ферула *almae matris* дала знать о себѣ и притомъ въ довольно таки грубой формѣ — онъ немедленно рѣшилъ, что всѣ эти чистыя свѣтлыя комнаты и всѣ эти умныя лекціи не стоятъ минуты свободы. И онъ ушелъ изъ университета *), не имѣя ни гроша денегъ и даже «необходимаго носильнаго платья». Мы знаемъ, какъ ему досталось за это постоянное «неокончаніе» курса. «Недоучившійся студентъ» — вотъ кличка, которой презрительно клеймили его не только лиллипуты-противники, но даже Гоголь. Увѣряли, что онъ бросилъ гимназію, потомъ университетъ прямо по неспособности. Это, конечно, пустяки. Для полученія аттестатовъ достаточно самыхъ мизерныхъ умственныхъ способностей, отрицать же ихъ въ Бѣлинскомъ, по меньшей мѣрѣ, рисковано. Дѣло совершенно въ другомъ. Бѣлинскій не признавалъ официальныхъ путей — они были не для него. Характеръ несдержанный, страстный, натура правдивая, до фанатизма, нежеланіе поступаться даже мелочами—все это такія данныя, которыя кое какъ могутъ ужиться съ вольной профессіей, а не съ какой нибудь другой.—Въ литературной своей дѣятельности Бѣлинскій держался той-же политики. Онъ готовъ былъ работать какъ волъ, нисколько не жалѣя своихъ силъ, и по цѣлымъ недѣлямъ не отходилъ отъ своей конторки. Но первымъ и единственнымъ его условіемъ было работать, какъ онъ хочетъ. Пусть издатель наваливаетъ на него библіографію въ любомъ, а порою прямо подавляющемъ количествѣ—онъ не возражалъ и жаловался на тяготу только въ своихъ дружескихъ письмахъ, но ни разу, въ теченіе 17-ти лѣтъ работы, ему не пришлось покривить душой и пойти противъ себя. Какъ только издатель «Москвитянина» сталъ вмѣшиваться въ его редакторскія дѣла, онъ немедленно отказался отъ мѣста, что для него было равносильно отказу отъ куска хлѣба; по

*) Собственно онъ былъ удаленъ изъ университета, но, разбираясь въ этой запутанной исторіи, не трудно видѣть, что онъ остался-бы тамъ, прояви онъ больше благонравія. „Казенный коштъ“ сталъ для него въ концѣ концовъ абсолютно невыносимъ.

той-же причинѣ разошелся онъ съ Краевскимъ и «Отечественными Записками», которыя онъ создалъ. Надо думать, что не долго бы онъ ужился и съ Некрасовымъ. Его правиломъ было не допускать никакихъ компромиссовъ, раздѣло касалось убѣжденій.

Одинаково ревниво защищалъ онъ и свою умственную самостоятельность. Убѣдить его въ чемъ нибудь было довольно трудно. Онъ принималъ новую идею не сразу, не тогда, когда понималъ ее своимъ умомъ, а лишь послѣ того, какъ она вошла въ его плоть и кровь, стала близкой и дорогой его чувству, озарилась огнемъ страсти, словомъ «загорѣлась въ немъ», какъ онъ говорилъ про себя. Несомнѣнно, что онъ былъ-бы плохимъ ученымъ, потому что каждая идея интересовала его прежде всего въ отношеніе къ самому себѣ, къ содержанію его собственнаго внутренняго міра. Онъ никогда не смотрѣлъ на нее какъ на формулу, выведенную изъ такого-то и такого ряда фактовъ. Нѣтъ—гораздо больше этого. Онъ старался воплотить въ ней свое пониманіе правды жизни, своего земнаго назначенія. Оттого-то онъ такъ и «неистовствовалъ» всегда въ спорахъ, за что—между прочимъ—и получилъ названіе «неистоваго Виссаріона». Что для другихъ было простымъ логическимъ выводомъ, фигурой, тропомъ, то для него означало извѣстную *заповѣдь*, которой надо слѣдовать во всѣхъ своихъ поступкахъ. Поэтому-то и выходило постоянно, что посягательство на какую нибудь признанную имъ истину или теорію, означало для него посягательство на собственную его личность. Тутъ онъ не хотѣлъ скоро сдаваться, онъ не могъ сдаться скоро и отстаивалъ свою позицію шагъ за шагомъ. Ссылки на авторитеты значили для него очень мало, въ большинствѣ случаевъ, ровно ничего не значили, ему надо было до всего дойти самому. Настойчивость, давленіе, сознаніе собственной непогрѣшимости, провозглашеніе истинъ тономъ Пиеіи, не допускающемъ возраженій—вызывали въ немъ пожалуй даже физическое раздраженіе; онъ готовъ былъ лучше удариться въ крайность—въ чемъ самъ же потомъ раскаивался съ мучительными упреками въ душѣ—чѣмъ слѣпо идти за другимъ. Мнѣ кажется, что этимъ можно объяснить его постоянныя ссоры съ Бакунинымъ—умомъ прямолинейнымъ и деспотическимъ, стремившимся задушить всякую самостоятельность мысли въ своихъ слушателяхъ—словомъ—умомъ чисто революціоннымъ.

Но скажутъ: «самъ Бѣлинскій часто мѣнялъ свои убѣжденія, и какое-же разумное основаніе имѣть его фанатически-нетерпимое отношеніе къ убѣжденіямъ другихъ? Плохо-же научилъ его миролюбію его собственный примѣръ». Но, во-первыхъ, откуда взялось это *часто*? Не знаю, кто пустил его въ ходъ, но не сомнѣваюсь, что авторъ «часто» очень рѣдко перечитывалъ статьи Бѣлинскаго и очень мало вдумывался въ нихъ. Если мы оставимъ въ сторонѣ его дѣтскія и юношескія настроенія, то увидимъ, что вообще въ его мирозерцаніи постоянно боролись только *два* господствующія идеи. Первая глаголющая: смыслъ и значеніе жизни сосредоточиваются *въ* человѣческой личности—въ Богѣ, природѣ, абсолютной идеѣ, государствѣ и т. д.; — *вторая*: смыслъ и значеніе жизни сосредоточиваются *исключительно* въ человѣческой личности.

Между этими двумя философскими полюсами долгіе годы колебался Бѣлинскій пока не пришелъ, какъ скоро увидимъ къ ихъ гармоническому соединенію. Полная противоположность и противорѣчивость, взаимно одна другую исключаящая, обихъ господствующихъ идей очевидна и съ перваго же взгляда бросается въ глаза. Первая идея смотритъ на личность какъ на *средство* для осуществленія извѣстныхъ мировыхъ или государственныхъ цѣлей; она требуетъ отъ личности лишь рабской покорности, лишь восторженнаго сознанія собственнаго ничтожества. Она съ ненавистью относится ко всякому ея живому чувству, презираетъ ея протестъ и ежеминутно говоритъ ей: «Молчи, тварь дрожащая. Что ты передъ вѣчной идеей, чье дыханіе составляетъ жизнь, молчи и радуйся какъ частица, какъ атомъ великаго и чуднаго мирового процесса». Подъ ея влияніемъ Бѣлинскій написалъ свою знаменитую статью о Бородинской годовщинѣ. Другая идея, напротивъ того, все сводя къ личности, къ ея внутренней жизни, провозглашаетъ ее единственнымъ судьей окружающаго и мірозданія и разсматриваетъ всякое явленіе съ точки зрѣнія ея счастья, ея благополучія и полноты ея существованія.

Если это такъ, если только *дѣтъ* основныхъ идей, постоянно чередуясь и борясь, опредѣляютъ взгляды Бѣлинскаго, то согласитесь,—утверждать, что онъ *часто* мѣнялъ свои убѣжденія,—по меньшей мѣрѣ странно.

Нечего и говорить. какая изъ двухъ господствующихъ идей наиболѣе соотвѣтствуетъ натурѣ Бѣлинскаго, его темпераменту и складу его характера. Борецъ по природѣ, всегда критически и недовѣрчиво настроенный противъ всякаго авторитета, онъ, конечно, долженъ былъ признавать личность верховнымъ судьей всего и законодателемъ жизни. Но въ то же время одинаково недовѣрчивый къ себѣ, вынесшій всѣ муки нищеты и голода, всѣ униженія человѣка, не имѣющаго даже необходимаго носильнаго платья, подавленный презрѣніемъ, неудачами любви, болѣзнью, долгой невозможностью пристроиться къ какому нибудь дѣлу—онъ часто забывалъ свою гордыню, часто прямо изъ чувства самосохраненія падалъ ницъ передъ чѣмъ-то незнакомымъ и великимъ, и готовъ былъ признать себя червемъ, такъ какъ червь все-же легче погибать, чѣмъ человѣку, такъ какъ червь не можетъ съ такой жгучей болью чувствовать обиды и поношенія жизни. По страстности своего темперамента, по прямолинейности своей мысли онъ часто доходилъ до во-истину буддійскихъ крайностей въ этомъ послѣднемъ отношеніи, рвалъ и металъ, когда кто нибудь осмѣливался хоть на минуту усомниться въ премудрости существующаго. Но—повторяю, читайте не только его сочиненія, а и его письма, и вы увидите, что противоположная идея о великомъ значеніи личности ни на минуту не замираетъ въ немъ: онъ только боится, только не смѣетъ высказать ее.

Если кто нибудь на основаніи предыдущихъ страницъ заключить, что для опредѣленія личности, какъ центральнаго понятія въ философіи, Бѣлинскаго достаточно эпитетовъ „критически-мыслящая“—то онъ будетъ не правъ. Бѣлинскій смотрѣлъ на дѣло гораздо глубже. Нельзя на самомъ дѣлѣ не согласиться, что само по себѣ критическое мышленіе значитъ немного—далеко

не все, по крайней мѣрѣ. Критически-мыслящая личность можетъ быть личностью совершенно пустопорожней. Чтобы стать чѣмъ нибудь, ей нужно какое-нибудь положительное содержаніе, какой нибудь догматъ, отъ широты котораго зависитъ и значеніе личности. Когда этотъ догматъ малъ, узокъ—критическое мышленіе исполняетъ почти исключительно разрушительную, т. е. одностороннюю роль. Возьмите, напр., Писарева. Онъ остановился на томъ, на чемъ началъ Бѣлинскій. Его критическій аппаратъ былъ изъ первоклассныхъ; сила анализа—поразительная, пронизательность огромная, хотя зачастую направленная даже съ его собственной точки зрѣнія совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ. Но вся догматическая сторона его ученія исчерпывается элементарнымъ понятіемъ самостоятельности личности, причѣмъ даже эту самостоятельность Писаревъ былъ склоненъ ограничивать преимущественно умственной стороной жизни, которая для него опредѣляла и нравственную. Объ экономической самостоятельности онъ заботился очень мало, и въ этомъ отношеніи очень характерны брошенные имъ мимоходомъ въ концѣ статьи „Экономическіе этюды“ слова: „много рекомендовано средствъ для борьбы съ нищетой, но какое изъ нихъ истинное—я не знаю“. Онъ смѣло могъ-бы прибавить: и пока нисколько не интересуюсь знать. Оттого-то вся критическая работа Писарева сводится лишь къ разрѣшенію эстетики и пропаганды базаровскаго типа и это,—несмотря на поразительный талантъ. Оттого-то люди съ положительными стремленіями, напр. Чернышевскій, имѣли значительное основаніе называть его „талантливымъ мальчикомъ“.

Критическая мысль была для Бѣлинскаго только ступенью, а ея работа только подготовительной для образованія нормальной личности. Мышленіе *an sich für sich* никогда для него не существовало даже въ самыя страстныя минуты гегелианскаго неистовства. И такъ какъ каждый идеаль выросаетъ прежде всего на почвѣ личнаго существованія и данныхъ собственной натуры—то и теперь для выясненія понятія „нормальной личности“ обратимся къ нимъ.

Бѣлинскій называлъ самъ себя художественнымъ доноскомъ, т. е. человѣкомъ, у котораго есть стремленіе къ творчеству и нѣтъ способности творить. Терминъ „художественный доносокъ“ представляется мнѣ слишкомъ скромнымъ. Брандесъ, какъ нельзя болѣе правъ, называя критику десятой музой, и вотъ служителемъ этой десятой музы и былъ Бѣлинскій. На самомъ дѣлѣ на него иначе и невозможно смотрѣть какъ на критика-поэта, критика художника, создающаго типы и образы, пользуясь для этого литературнымъ матеріаломъ. Припомните, напр., его статья о Полевомъ, Кольцовѣ, Пушкинѣ, Гоголѣ и вы сейчасъ-же убѣдитесь въ этомъ. Въ упомянутыхъ статьяхъ передъ вами — живые портреты съ плотью и кровью. Вы слышите, какъ они говорятъ, что думаютъ и критическій разборъ незамѣтно превращается въ созданіе типа. Но способность художественнаго творчества, какъ высшая способность человѣка, требуетъ одного непрѣмьнаго условія—того именно, чтобы самъ „творецъ“ могъ доходить до полнаго единства своей личности, до извѣст-

наго гармоническаго состоянія,—когда внутри его нѣтъ (на болѣе или менѣе продолжительный промежутокъ времени) никакихъ противорѣчій, когда „сердце не споритъ съ умомъ“, когда воля работаетъ въ томъ-же направленіи, какъ чувство, а критическое мышленіе освѣщается страстью. Это не есть непременно состояніе экстаза или творческаго гипноза, оно конечно, можетъ перейти въ то и въ другое, но на низшихъ своихъ ступеняхъ не требуетъ такой повышенной температуры. Для меня несомнѣнно, что только такое состояніе гармоническаго единства и художественной цѣльности и цѣнилъ Бѣлинскій, только въ немъ и видѣлъ онъ истинно человѣческое существованіе. Всякое противорѣчіе внутри себя мучительно терзало его, и всѣ его письма отъ начала до конца наполнены жалобами на невозможность достигнуть „нормы“. Сначала онъ жалуется на чувственность, тщеславіе, раздражительность, которыя „точно бревна лежатъ у него на дорогѣ къ совершенству“, затѣмъ на излишнюю требовательность натуры, на малую свою снисходительность къ людямъ и т. д. Идеалъ всегда одинъ и тотъ-же—жить *вполнѣ*, безъ непримиренныхъ противорѣчій. Онъ часто увлекается въ этомъ отношеніи, готовъ отказаться отъ все критикующей мысли, лишь-бы жить, завидуешь глупцамъ и дуракамъ и страстно хватается за все, что обѣщаетъ ему собственное внутреннее объединеніе. Безъ этого онъ чувствовалъ, какъ духъ его меркнетъ и падаетъ, какъ тягота жизни становится невыносимой.

Три огромныхъ увлеченія зналъ онъ въ жизни, это увлеченія: 1) абстрактнымъ героизмомъ, 2) гегелианствомъ и 3) социализмомъ.

Абстрактный героизмъ — вещь довольно тонкая, которая не поддается безусловно опредѣленной характеристикѣ, но вотъ въ общихъ чертахъ къ чему онъ сводится. Есть два рода жизни — низшій и высшій. Низшій это тотъ, которымъ живетъ масса, большинство человѣчества. Его отличительная особенность—служеніе плоти и малая забота о духѣ. Его философія преисполнена общихъ мѣстъ, бессознательнаго цинизма и сознательнаго скотства. Испытывая его, духъ человѣка ищетъ опоры исключительно *въ* себя — въ одобреніи ближнихъ, въ богатствѣ, въ чинахъ и орденахъ, въ чувственныхъ наслажденіяхъ. Но для немногихъ избранниковъ открыто нѣчто большее. Это прежде всего сфера художественнаго творчества, эстетическихъ безкорыстныхъ восторговъ. Какъ художникъ, творецъ является высшимъ изяществомъ и идеаломъ человѣка, такъ искусство—высшимъ проявленіемъ творческаго духа. Но чтобы понимать его, чтобы умѣть наслаждаться имъ необходимо быть безусловно нравственно чистымъ, отрѣшиться отъ мелкихъ заботъ существованія, надо подходить къ художественному созданію со страхомъ и трепетомъ. И сколько мукъ, тревогъ, разочарованій принесло Бѣлинскому это стремленіе къ безусловной нравственной чистотѣ, дѣлающей человѣка достойнымъ наслажденія искусствомъ! Онъ въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ инквизиторски подозрительно относится къ себѣ, онъ постоянно ловитъ себя на дурныхъ мысляхъ и мучается, онъ чувствуетъ голодь или голось чувственности и готовъ проклясть себя. Но все равно онъ борется, онъ идетъ этой тернистой дорогой, думая,

что наконец эстетическіе восторги и замкнутая въ себѣ жизнь духа дасть ему внутреннюю гармонию, не нарушенную ни тѣломъ, ни матеріальной обстановкой, ни общественными условіями. Въ служеніи искусству онъ старался найти ту единую заповѣдь жизни, больше которой нѣтъ и не можетъ быть.

Гегелианство Бѣлинскаго находится, по моему мнѣнію, въ прямой и непосредственной связи съ его увлеченіемъ абстрактно героическими идеалами безусловной чистоты. Надо только имѣть зѣ виду, что гегелевская философія какъ философія, какъ извѣстное въ высшей степени своеобразное міропониманіе, облеченное въ строгія логическія формулы, для него никогда не существовало. Гегелианство, какъ раньше проповѣди Станкевича, было для него прежде всего заповѣдью, верховной посылкой для поведения человѣка здѣсь на землѣ. Только съ этой стороны онъ и понялъ Гегеля, понялъ какъ поэтъ, пришедшій въ восторгъ отъ величія абсолютной идеи, безконечное развитие которой и составляетъ жизнь. Гегелианство досталось ему не дешево, и не сразу пошелъ онъ въ тиски нѣмецкаго идеализма. До этого ему пришлось выстрадать очень много. На самомъ дѣлѣ, чѣмъ до той поры была его жизнь? Рядомъ неудачъ, лишеній, постоянной борьбой съ голодомъ, холодомъ и невѣдѣніемъ носильнаго платья. Цѣлыми мѣсяцами оставался онъ безъ работы, принужденный надѣвать чужіе сапоги, чтобы выйти на улицу. Письма его переполнены стонами, и это стоны голоднаго обездоленнаго человѣка. Онъ не вѣрилъ въ себя, неудачи привели его къ мысли, что, строго говоря, ему нѣтъ мѣста здѣсь на землѣ. Просто удивляешься, какъ въ такія минуты ему ни разу не приходила совершенно естественная мысль о самоубійствѣ. Однако не видно, чтобы онъ надѣялся на что нибудь лучше! Напротивъ того, горячее воображеніе рисовало ему его будущее самыми мрачными красками. И онъ съ радостью, съ восторгомъ узналъ, что существуетъ великая доктрина, которая объясняетъ даже и его страданія, какъ нѣчто разумное, которая и его незамѣтному унылому существованію находить и смыслъ и мѣсто. Не говоря уже о многомъ другомъ, какъ было не увлечься хотя-бы только этимъ. Надо было только поставить всю свою психологію верхъ дномъ. Надо было окончательно утвердиться на мысли о собственномъ ничтожествѣ. Надо было признать разумность и необходимость этого ничтожества. И не думайте, чтобы это было такъ трудно для пылкой и экзальтированной натуры Бѣлинскаго. Къ этому вело простое чувство самосохраненія. Развѣ кто нибудь не знаетъ, что бываютъ минуты, когда человѣкъ инстинктивно нарочно преувеличиваетъ скверность и затруднительность своего положенія и, потерявши многое, начинаетъ увѣрять себя, что утеряно все? Онъ въ этой мысли объ окончательной гибели находить какое-то своеобразное утѣшеніе. А въ экстазѣ, въ томъ, что человѣкъ распространяется ницъ передъ какимъ нибудь кумиромъ—несомнѣнно источникъ огромнаго блаженства. И это огромное блаженство дало Бѣлинскому гегелианство. Жизнь прекрасна, твердилъ онъ въ своемъ поэтическомъ увлеченіи—прекрасна, несмотря ни на что. Мои страданія такъ-же необходимы, какъ и мои радости. Все это нужно не для меня лично, нужно для другой великой

цѣли. Эта великая цѣль—жизнь единой абсолютной идеи. Идея развивается, стремясь къ самопознанію, ей нужно проявить себя въ самыхъ разнообразныхъ видахъ и въ холодномъ комкѣ льду и въ прекрасномъ растеніи, и въ улыбка ребенка, и въ моихъ страданіяхъ — страданіяхъ Бѣлинскаго. Эта идея — разумъ и всякое его проявленіе разумно. Надо только отказаться отъ ложной человѣческой гордости, которая говоритъ мнѣ, что я могу быть недовольнымъ своимъ положеніемъ, что я имѣю право претендовать на большее. Это право—призракъ. Передъ величіемъ идеи — равны всѣ положенія и всѣ положенія одинаково разумны, потому что они входятъ какъ необходимое звено въ жизнь единой разумной идеи. Такъ понялъ Бѣлинскій гегелианство и въ идеѣ ничтожества личности, поглощенія ея жизни жизнью высшаго начала онъ старался найти и временно дѣйствительно находилъ *полноту* своего духовнаго противорѣчія.

3) И абстрактный героизмъ и гегелианство были одинаково такими увлеченіями Бѣлинскаго, которыя въ значительной степени объясняются подавленностью его душевнаго настроенія. Въ одномъ случаѣ онъ приносилъ свою личную жизнь въ жертву эстетическимъ восторгамъ, въ другомъ—абсолютной идеѣ. И восторги и идеи оба въ его жизни явились Молохами, поглощавшими его индивидуальность. Но что-же было ему дѣлать? Жажда личнаго счастья, любви, успѣха, дѣятельности просто долго не находила себя никакого выхода. Все это должно было таяться глубоко въ сердцѣ, преобразаясь тамъ въ постоянную неудовлетворительность, постоянное томленіе. А вдругъ и дальше будетъ то-же самое? Вдругъ вся жизнь пройдетъ исключительно въ этой безтолковой суетѣ, въ этой погонѣ за кускомъ хлѣба, вдругъ не будетъ ни одной минуты отдыха и придется признать, что въ моемъ земномъ существованіи не было и тѣни, смысла и тѣни значенія. Что тогда? Нѣтъ ужъ лучше головой прямо въ воду и сразу отказаться отъ всѣхъ надеждъ и мечтаній, сказать себѣ «я нуль, я ничтожество», чтобы потомъ уже не объ чемъ было болѣе жалѣть. Но абстрактный героизмъ (приблизительно 32—36 г.) былъ еще сравнительно живымъ началомъ, такъ или иначе соответствовалъ ригористическимъ требованіямъ нравственнаго характера Бѣлинскаго, заставляя его подозрительно подсматривать за собою и высккивать въ себѣ прегрѣшенія вольныя и невольныя. Въ періодъ-же неистоваго гегелианства онъ только учился съ благодарностью принимать удары щедрой на этотъ счетъ судьбы. Но странно, духъ его находилъ желанное спокойствіе и внутреннюю гармонию лишь въ нѣкоторыя, немногія минуты—обыкновенно во время работы; въ обыденномъ-же существованіи онъ чувствовалъ себя неудовлетвореннымъ и несчастнымъ. Онъ долго не могъ догадаться, въ чемъ заключается причина этого и почему ему приходится стыдиться даже собственныхъ статей. Причина однако одна—Бѣлинскій шелъ весь этотъ долгій промежутокъ времени (до 42 г.) противъ себя самого.

Съ переѣздомъ въ Петербургъ онъ оказался въ гораздо лучшихъ условіяхъ жизни, уже просто потому, что у него опредѣленная и сравнительно

вѣрная работа, отсутствіе которой такъ тяжело давало себя знать въ Москвѣ. вмѣстѣ съ этимъ, онъ избавился и отъ прямого вліянія членовъ кружка Станкевича. Самое-же главное то, что сила его мышленія достигаетъ къ этому времени полнаго своего развитія, и статья, гдѣ онъ распрощался съ своей бурной юностью, но гдѣ эта бурная юность чувствуется еще на каждой страницѣ—это знаменитая «Бородинская годовщина».

Значеніе переѣзда въ Петербургъ многіе видятъ въ томъ, что онъ будто-бы вернулъ Бѣлинскаго къ дѣйствительности. Это конечно пустыя слова. Прежде всего въ Петербургѣ Бѣлинскій нѣсколько озлобился и не противъ литературныхъ враговъ своихъ, а прежде всего противъ сомого себя. Изъ его писемъ за это время видно, что онъ рѣшился серьезно схватиться съ жизнью, дать ей послѣднюю битву и, смотря по обстоятельствамъ, выиграть ее, или проиграть. Надо было кончить какъ нибудь съ этимъ постояннымъ томленіемъ духа, съ этимъ страннымъ существованіемъ, которое точно стыдится и совѣстится самого себя, надо выйти къ какой нибудь пристани. Бѣлинскій на самомъ дѣлѣ совершилъ очень трудную для него вещь: онъ призналъ себя человѣкомъ, и тѣмъ самымъ призналъ свое право на личное счастье. Со стороны, это выходитъ даже немного смѣхотворно, но только со стороны. То что другимъ достается сразу, что они впитываютъ въ себя какъ непреложную истину вмѣстѣ съ молокомъ матери — то досталось Бѣлинскому лишь послѣ великихъ умственныхъ усилій и нравственныхъ страданій. Раньше онъ не осмѣливался сдѣлать ничего подобнаго, раньше онъ съ озлобленнымъ наслажденіемъ готовъ былъ твердить, что онъ глупъ, ничтоженъ, что счастье не для него. Теперь, наоборотъ, онъ сталъ требовать этого личного счастья гордо и властно для себя и всѣхъ на землѣ живущихъ. Вы станете, пожалуй, подыскивать умственные вліянія для такого переворота. Не знаю, нужно-ли дѣлать это, здѣсь—голосъ самой природы, котораго все-же никогда Бѣлинскій не могъ заглушить въ себѣ совершенно. Безъ риска ошибиться можно сказать, что не малую роль въ этомъ случаѣ должна была сыграть и его любовь. *Теперь* онъ уже не имѣлъ права махать на себя рукой и ставить надъ собою крестъ: онъ былъ уже не одинъ здѣсь въ мірѣ.

Подчиняюсь, какъ всегда, господствующему въ его натурѣ духу противорѣчія,—онъ, раскланявшись съ «философскимъ колпакомъ» Георга Федоровича Гегеля, ударился въ крайность полнаго индивидуализма. Долго сдерживаемая жажда личного счастья могучей струей вырвалась наружу, и какъ не похожи на прежняго Бѣлинскаго его (удивительныя по красотѣ, силѣ и глубинѣ) письма къ невѣстѣ. Когда онъ пишетъ напр.: «жизнь коротка и обманчива, ловите ее или послѣ не расказывайтесь» и посвящаетъ этой темѣ цѣлыя блестящія страницы, вы не узнаете прежняго смиренника и недавняго гегелианца. Не узнаете вы его и когда онъ проповѣдуетъ необходимость личного счастья и въ этомъ личномъ счастьи видитъ единственный смыслъ жизни здѣсь на землѣ. Робкій застѣнчивый Бѣлинскій, который и по улицѣ-то всегда ходилъ, стараясь держаться какъ можно ближе къ стѣнкѣ, — который такъ

глубоко чувствовалъ удрученіе нищеты, что виновато извинялся за позволенную имъ себѣ однажды роскошь по части украшенія своей квартиры свѣжими цвѣтами—гордо поднялъ голову и осмѣлился заявить, что онъ тоже хочетъ жить, а не отдавать свою жизнь на пожираніе всевозможнымъ Молохамъ искусства, философіи, государственности. Теперь онъ уже зналъ, что дѣлать. Въ словѣ «личность, но личность свободная, живущая всей той суммой радости и стремленій», которыя доступны человѣку здѣсь на землѣ, явились для него разгадка тайнъ человѣческаго существованія. Съ нимъ повторилась исторія Эдипа, а благодаря его огромному таланту не одинъ, а десятки сфинксовъ должны были броситься въ море.

Эта личная исторія Бѣлинскаго, изложенная имъ въ своихъ письмахъ, является въ то-же время и исторіей того пути, по которому пошла русская интеллигентная мысль. И она одинаково долгое время не хотѣла сознать своихъ правъ и она сидѣла по всевозможнымъ закоулкамъ, задумчивая и пригнетенная, питаясь лишь эстетическими восторгами и философскимъ смиренумдріемъ. Бѣлинскій закрѣпилъ ея право на самосознаніе и показалъ ей, въ чемъ ея горе. Пусть въ отраженной, приспособленной для печатанія въ журналѣ формѣ, но онъ рассказалъ въ своихъ статьяхъ исторію собственнаго духа. Вѣдь онъ тоже началъ ни съ чѣмъ или, лучше сказать, съ своимъ чисто инстинктивнымъ признаніемъ за собою права смѣть свое сужденіе имѣть. Затѣмъ онъ уклонился въ сторону, какъ-бы испуганный огромностью жизни и собственнымъ своимъ ничтожествомъ. Это были долгіе ученическіе годы, пока онъ не вернулся наконецъ къ самому себѣ. За это время расширился и выросъ его идеаль.

Да, свою личную самостоятельность онъ цѣнилъ выше всего, это право самостоятельности онъ распространилъ на всѣхъ людей, онъ искалъ для нея опоры въ дѣйствительности и находилъ ее въ образованіи, наукѣ, матеріальной обезпеченности. Въ словѣ человѣкъ, личность, для него заключалась разгадка жизни и звучало что-то святое. Онъ какъ-бы впиталъ въ себя знаменитый афоризмъ Новалиса: «помни, что когда ты дотрогиваешься до руки человѣка, то дотрогиваешься до колоннъ храма, въ которомъ обитаетъ божество». И когда онъ видѣлъ этотъ храмъ, это человѣческое сердце загрязненнымъ и униженнымъ, эту жизнь его, сведенную къ прихода-расходной книгѣ, къ мелкимъ и пошлымъ заботамъ, обставленную такой массой жи, лицемѣрія и всевозможныхъ условностей, когда онъ видѣлъ наконецъ ту-же самую личность въ крѣпостномъ состояніи—онъ скорбѣлъ то сильно и гнѣвно, то какъ бы подавленный тяжелымъ раздумьемъ.

Мнѣ нечего говорить, какое значеніе имѣла эта проповѣдь личнаго начала въ николаевскую суровую эпоху, когда крѣпостное право стояло какъ скала и всѣ должны были думать, какъ одинъ человѣкъ. Это общеизвѣстно и элементарно просто. Достоевскій былъ какъ нельзя болѣе правъ, говоря, что

Бѣлинскаго не пропустила цензура, но онъ непостижимымъ образомъ проскочилъ сквозь ее. Герценъ высказываетъ то-же самое.

Гораздо менѣе общеизвѣстно, какимъ образомъ основной философскій принципъ Бѣлинскаго и его идеаль самостоятельной и гармонически цѣльной личности, творящей въ жизнь перешелъ въ потомство. Я скажу пока, что здѣсь онъ нашелъ себѣ самый радушный приѣмъ. Бѣлинскій не только глава русской критики, онъ нѣчто большее—онъ глава всей «субъективной школы въ социологии», которая до самого послѣдняго времени господствовала у насъ и на самомъ дѣлѣ оказала не малыя услуги нашему самосознанію и личности, какъ верховный судья жизни превратилась даже въ законодателя для науки.

Заключеніе.

Подведемъ итоги.

Я не стану повторять общественныхъ и элементарныхъ похвалъ по адресу Бѣлинскаго вродѣ тѣхъ напр., что его эстетическіе приговоры тому или другому художественному произведенію были, въ большинствѣ случаевъ, рѣшающими и окончательными и не утерали своей цѣны и теперь,—что онъ отличался огромной чуткостью по части разгадыванія новыхъ дарованій,—что подъ прикрытіемъ его могучей критики выступили на литературное поприще Тургеневъ, Некрасовъ, Гончаровъ, Достоевскій,—что онъ первый разъяснилъ значеніе Лермонтова и Гоголя,—первый растолковалъ Пушкина и т. д. Все это конечно очень много, но для Бѣлинскаго этого мало. Даже то обстоятельство, что Бѣлинскій въ сущности былъ первымъ историкомъ нашей литературы не исчерпываетъ его значенія. Вопросъ о первенствѣ—часто является вопросомъ чисто академическимъ. Не все ли равно,—кто раньше изобрѣлъ дифференціальное исчисленіе—Ньютонъ или Лейбницъ? Права того и другого можно защищать и оспаривать, какъ можно защищать и оспаривать права Гуттенберга, Колумба, монаха Шварца и т. д. Иногда во время вспомнить старое гораздо лучше и плодотворнѣе, чѣмъ выдумать и изобрѣсти что-нибудь новое. Нужно угадать историческій моментъ и высказать самое подходящее для него. Это Бѣлинскій сдѣлалъ. Онъ понялъ, что время красивой изящной и аристократической литературы прошло невозвратно; что обществу давно пришла пора заявить о своемъ существованіи и имѣть свой собственный органъ, что дальнѣйшее поглощеніе жизни народа жизнью государства—невозможно, ненормально, противоестественно, что литература прежде всего есть выраженное въ письменномъ словѣ самосознаніе общества, а не пріятное развлеченіе, не нравоучительная проповѣдь. Если-же это такъ,—великое значеніе литературы литераторовъ самоочевидно. Въ защитѣ ихъ самостоятельности, лучше сказать, въ завоеваніи и отстаиваніи ея отъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ,—прошла дѣятельность Бѣлинскаго.

Мы видѣли, что „Литературныя Мечтанія“ произвели большое впечатлѣніе—не въ публикѣ, разумѣется, которая почти не читала „Молвы“, а упивалась преимущественно „Сѣверной Пчелой“ и другими издѣліями Греча съ Комп.,—а въ кружкахъ такъ или иначе прикосновенныхъ къ литературѣ. „Одобряли прекрасный языкъ, удивлялись горячности, съ какой написана статья, ея неподдѣльному увлеченію и въ то-же время большинство негодовало“. Негодовали за то, что Ломоносовъ былъ объявленъ *не-поэтомъ*, Бенедиктовъ простымъ риторомъ—словомъ прежде всего за смѣлость, съ какою неизвѣстный авторъ нападаетъ на общепризнанные авторитеты. Дѣло дошло даже до того, что Шевыревъ—тогда извѣстный профессоръ, прочтя относящіяся къ нему страницы „Мечтаній“, затопалъ ногами и закричалъ: „какъ *смѣлъ* этотъ *писака* такъ судить обо мнѣ?“ Особенно дерзкой казалась основная мысль статьи. Авторъ рѣшительно и безъ обиняковъ заявилъ, что у насъ, на Руси нѣтъ никакой литературы и цитатой къ первой главѣ выбралъ извѣстный афоризмъ барона Брамбеуса: „есть ли у насъ хорошія книги?—Нѣтъ, у насъ есть великіе писатели.—Такъ, по крайней мѣрѣ,—у насъ есть „Словесность?“ Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля“. Правда, въ заключительныхъ строкахъ авторъ старался смягчить свой суровый приговоръ: «У насъ нѣтъ литературы—писалъ онъ—я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, *ибо въ сей истиннѣ вижу залогъ нашихъ будущиыхъ успѣховъ*»—но самое отсутствіе логики въ двухъ частяхъ этой фразы, связанныхъ между собою произвольнымъ «*ибо*» было очень подозрительно.

Когда узнали, что авторомъ «Мечтаній» былъ Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій—имя это ровно ничего никому не указало. Ну будь авторомъ Надеждинъ,—какъ сначала думали,—это еще понятно, но какъ переварить дерзость какого-то Бѣлинскаго, недоучившагося и изгнаннаго за свои продерзости изъ университета, студента? Смѣлость сужденій, непризнание авторитетовъ смущали и сердили. Смущалъ и сердилъ самый способъ выступленія на литературное поприще, способъ въ то время далеко необычный.

«Литературные нравы,—писалъ впоследствии самъ Бѣлинскій, вспоминая объ эпохѣ, когда онъ впервые взялся за перо,—вполнѣ соотвѣтствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найти себѣ мецената или между знаменитыми писателями или между знаменитыми покровителями литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться лестной чести—попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій искусь: прежде всего онъ обязанъ былъ «не смѣть свое сужденіе имѣть»; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже приобрѣтя лестную репутацію грибоѣдовскаго Молчалина, могъ онъ дерзнуть просить позволенія—прочестъ свое первопроизведеніе. Прочтя его онъ выслушивалъ критику и совѣтъ, обязанъ былъ перемѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кѣмъ либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатаковъ словесности. Сто разъ переправленное

и передѣланное его дѣтище поступало, наконецъ, въ печать. Еще лѣтъ десятокъ, и литература русская обогащалась въ лицѣ этого новиціанта или писателемъ съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писакою. Во всякомъ случаѣ онъ поступалъ тогда съ благословія своихъ меценатовъ въ число опытныхъ и знаменитыхъ писателей, — и всѣ вѣрили, что онъ—большой писатель потому, что за него ручались не его сочиненія, а такіе знаменитые авторитеты. Затѣмъ онъ самъ попадалъ въ авторитеты и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую-же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которые вывели его въ люди! Теперь это невѣроятно, а тогда было такъ! «Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ! Всякое независимое самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все что не отзывалось рутиною, преданіемъ, авторитетомъ, общимъ мѣстомъ, ходячею фразою, все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ». (Соч. Б—аго ч. XII, стр. 166).

Устройство литературы было слово чисто *аристократическое*. Наверху—бароны поэзіи и князья творчества, внизу—всякіе мелкіе литературные людшки, подлый народецъ, на который цыкали и которому грозили пальцемъ, чтобы не забывался. Слава и литературные чины, вплоть до генія и корифея, раздавались, разумѣется, сверху: оставалось только кланяться и благодарить. Надо, впрочемъ, замѣтить, что ко времени Бѣлинскаго журналистика въ лицѣ Мерзлякова, Надеждина, а главнымъ образомъ Н. А. Полевого, успѣла уже въ значительной степени подкопаться подъ этотъ патриархальный бытъ, защищая право каждаго—даже невѣдомаго и непризнаннаго думать и говорить, какъ онъ хочетъ и можетъ—но старая традиція была еще сильна и засѣла въ умахъ настолько крѣпко, что Бѣлинскій не уставалъ нападать на нее въ теченіе своей четырнадцатилѣтней литературной дѣятельности. Этими нападами онъ, между прочимъ, защищалъ и свое собственное дѣло.

Еще разъ, и въ самыхъ общихъ чертахъ, присмотримся поближе къ той обстановкѣ, среди которой пришлось выступить Бѣлинскому. Въ области поэзіи господствовала пушкинская школа. Самъ Пушкинъ былъ еще живъ, возлѣ него группировались—Баратынскій, Бенедиктовъ, Языковъ, Козловъ и масса начинавшихъ талантовъ, которымъ, увы! не суждено было разцвѣсть напр. Ключникову (—о—), Красову и т. д. Въ прозѣ первенствовала Гоголь, но его популярность далеко не равнялась его значенію. Масса публики предпочитала «Миргороду» — повѣсти Павлова, романы Булгарина и лубочныя произведенія такихъ совершенно теперь забытыхъ писателей, какъ Л. Орловъ. Историческая биллетристика, особенно благодаря «Юрію Милославскому» Загоскина, пользовалась громаднымъ успѣхомъ, и всякіе литературныхъ дѣлъ мастера, какъ Булгаринъ или Кукольникъ, пробовали и готовились испробовать въ ней свои силы. Журналистика въ 1834 г. находилась въ временномъ застоѣ, и какъ-бы собиралась съ силами. «Телескопъ» Надеждина читался мало, благодаря, главнымъ образомъ, тому, что самъ Надеждинъ (Надоумко), несмотря на значительныя знанія и даже талантъ, писалъ слишкомъ трудно, не по плечу обыкновенному

читателю; «Московский Телеграфъ» Полевого только что закончилъ свое блестящее поприще. Это была поучительная исторія. Послѣ того какъ Кукольникъ поставилъ въ Петербургѣ свою пьесу—«Рука Всевышняго отечество спасла»,—удостоявшуюся официального одобренія,—Полевой въ дерзости своей осмѣлился написать на нее невинную по существу, но все-же не восторженную рецензію съ указаніемъ недостатковъ «Руки» съ упреками за ея трескучіе эффекты. Этого оказалось достаточнымъ; „Московский Телеграфъ“ былъ закрытъ, жизнь Полевого разбита, а публика утѣшалась эпиграммой:

«Рука Всевышняго три дѣла совершила:
Отечество спасла,
Поэту чинъ дала
И Полевого погубила!...»

«Вѣстникъ Европы» Каченовскаго влачилъ жалкое существованіе, доживая очевидно послѣдніе дни въ старческомъ безсиліи, «Отечественныя Записки», несмотря на всю ловкость ихъ издателя Краевскаго шли плохо, «Современникъ», «Сынъ Отечества», «Московский Наблюдатель»—еще хуже. О прочихъ нечего и упоминать. Съ сущности говоря, успѣхомъ полнымъ и безусловнымъ пользовалась лишь «Сѣверная Пчела», издаваемая Гречемъ и Булгаринимъ, но для этого успѣха были свои specialныя причины.

Затишье въ журналистикѣ и литературѣ было очевидно. Сенковский только что выступалъ съ своей «Библіотекой для Чтенія», твердо, впрочемъ, убѣжденный, что ему придется сдѣлаться властителемъ думъ,—Бѣлинскому пришлось еще цѣлыхъ три года мытарствоваться по разнымъ „Прибавленіямъ“, „Наблюдателямъ“, прежде чѣмъ утвердиться въ „Отечественныхъ Запискахъ“, и это-то затишье и объясняетъ, между прочимъ, громкій успѣхъ „Мечтаній“: въ нихъ слышали смѣлое, оригинальное слово.

Было-ли что-нибудь общее въ этой журнальной и литературной пестротѣ? Да, было, особенно послѣ гибели единственнаго относительно независимаго органа „Московского Телеграфа“. „Основной причиной времени,—говоритъ г. Пыпинъ,—было отсутствіе публичности, слѣдовательно незнаніе того, что дѣлается въ странѣ или знаніе изъ одного официально бюрократическаго источника; отсюда сильно распространенное безучастіе къ событіямъ и интересамъ, въ которыхъ само общество не имѣло никакой активной роли“. Поэтому: „литература того періода, взятая въ цѣломъ, не говоритъ о самыхъ капитальныхъ насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорили во времена Императора Александра, не только общественное мнѣніе образованнѣйшихъ круговъ, но отчасти даже и печати, какъ ни была она тогда непривычна къ подобнымъ предметамъ. Такъ, литература ни словомъ не заикалась о политическихъ предметахъ, о внутреннихъ дѣлахъ, о необходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о крестьянскомъ вопросѣ, однимъ словомъ обо всемъ, что касалось государства и управленія. Литература какъ будто не подозреваетъ этихъ вопросовъ, не можетъ заявить, что

желала бы ими заниматься. Въ своихъ лучшихъ представителяхъ она жила въ чистую художественность, стремилась къ отвлеченной философіи, ставила общіе нравственные вопросы. Публицистика можно сказать совершенно не существовала; даже въ той скромной формѣ, въ какой мы имѣемъ ее теперь, она показала-бы неслыханной дерзостью, преступленіемъ. Предметы политическіе были до такой степени удаляемы отъ общественнаго мнѣнія, какъ вещь опасная, что новѣйшая политическая исторія изгонялась изъ преподаванія и литературы политическая экономія считалась наукою разрушительной, а анатомію преподавали по полотенцу, чтобы не разрушать религіозныхъ основъ въ сердцахъ юношей.

Господствовала теорія, которую г. Пыпинъ какъ нельзя удачнѣе называетъ «официальной народностью». Признавалось и вѣрилось, что «Россія есть совершенно особое государство и особая національность, не похожая на государства и національности Европы! Европа имѣетъ свои основы быта—католицизмъ, протестантство, конституціонныя и республиканскія учрежденія, свободу слова печати и свободу общественную. Всѣмъ этимъ она гордится какъ прогрессивными и культурными явленіями, но такая гордость есть заблужденіе и результатъ французскаго вольнодумства. Россія, къ счастью осталась свободной отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, почему ей, какъ особой части, свѣта, и предстоитъ особенная будущность. Въ цѣлости и неприкосновенности сохранила она преданія вѣковъ, которымъ и должна пребывать неизмѣнно вѣрной. Сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы—Россія не можетъ, какъ не можетъ она поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи Россія страна православная и даже наиболѣе православная. «Ея исповѣданіе заимствовано изъ древняго византійскаго источника, вѣрно хранившаго преданія церкви и она осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ посѣлили распри въ ея собственной средѣ и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами». Правда, и у насъ есть раскольники, но «правительство и церковь употребляютъ всѣ усилія, убѣжденія и мѣры строгости къ возвращенію заблудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій». Раскольники, по ихъ невѣжеству, заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія, но вообще терпимы быть не могутъ.

И во внутреннемъ своемъ бытѣ Россія не похожа на европейскіе народы, продолжая оставаться особой, чистой частью свѣта. «Съ оригинальными учрежденіями, съ древней вѣрой она сохранила патріархальныя добродѣтели, мало извѣстныя народамъ западнымъ». Добродѣтели эти слѣдующія: 1) народное благочестіе, 2) полное довѣріе подданныхъ къ предержавшимъ властямъ, 3) беспрекословное повиновеніе ихъ и 4) простота нравовъ и потребностей. Нашъ бытъ удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія, но онъ отвѣчаетъ нашимъ нравамъ и свидѣтельствуетъ о неспорченности народа: такъ крѣпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшеніи и преобразо-

вані, сохраняетъ въ себѣ много патріархальнаго, и хорошій помѣщикъ лучше охраняетъ интересы крестьянъ, чѣмъ могли бы сдѣлать они сами». «Управленіе государствомъ учреждается на всеобщемъ, всестороннемъ и исключительномъ попеченіи власти о благѣ народа». Само по себѣ управленіе совершенно, а если въ практическомъ теченіи дѣлъ замѣчаются недостатки, то повинны въ нихъ людскіе пороки. «Люди должны исправиться усиленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинѣ, устраненіемъ вредныхъ книгъ, строгой цензурой и т. п.

Если мы и отстали отъ Европы въ цивилизаціи и наукѣ, то обстоятельство это служить на нашу же пользу, такъ какъ наука получается у насъ въ томъ видѣ, когда всё сѣмена ея тщательно отдѣлены отъ плевелъ. «Высшія учрежденія блюдутъ за тѣмъ, чтобы наука приносила намъ только полезное и запрещаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ».

Такова въ общихъ чертахъ была система «официальной народности», съ достаточной полнотой разработанная во всѣхъ своихъ частяхъ и имѣвшая на все готовые отвѣты. Основная ея мысль — уваженіе къ преданію, отождествленіе терминовъ «патріархальный» и «добродѣтельный», «древній и истинный», взглядъ на правительство какъ на исключительно сдерживающую, консервативную силу. Россія отказывалась имѣть что-нибудь общее съ либеральными стремленіями, провозглашала себя опорой и спутницей существующаго и съ негодованіемъ смотрѣла на тѣ правительства, которыя относились къ новшествамъ съ снисхожденіемъ. Послѣднимъ словомъ политической мудрости, единственнымъ залогомъ народнаго счастья и благосостоянія провозгласила она полную административную власть надъ гражданами, и въ этомъ отношеніи не желала дѣлать никакихъ уступокъ.

По словамъ А. Пыпина «масса общества дѣйствительно вѣрила въ эту систему, и тѣ историческія качества, которыя приписывались ей теоріей». Тоже приходится сказать и о литературѣ. Жуковский съ самаго начала своей дѣятельности былъ склоненъ къ официальной восторженности и честно консервативному міросозерцанію. Его поэзія, наполненная заоблачными стремленіями никакимъ путемъ не могла и не хотѣла сталкиваться съ земною дѣйствительностью; она не заключала въ себѣ ничего историческаго съ точки зрѣнія общественнаго развитія, удовлетворяла своими звуками, а не мыслями, своими образами, а не стремленіями. «Пѣвецъ Леноры и Свѣтланы» — сначала, «переводчикъ Одиссеи — потомъ, Жуковский, какъ писатель, служилъ «украшеніемъ своему времени, но жизнь этого времени, его тайныя думы, его порывы и стремленія не находили въ мечтательныхъ и грустно-красивыхъ созданіяхъ поэта. Жуковский и его муза — иноземныя растенія и что въ немъ вообще русскаго — я, право, затрудняюсь сказать, если не считать нѣсколькихъ официально-патріотическихъ стихотвореній. Пушкинъ началъ съ либерализма, но онъ былъ слишкомъ аристократичевъ, чтобы удержаться на этой точкѣ зрѣнія. Другъ многихъ декабристовъ, онъ, однако, не интересовался политикой и не любилъ ея. Мы знаемъ, что когда въ обществѣ «Арзамасъ» сначала исключи-

тельно литературномъ, появился расколъ, и нѣкоторые члены захотѣли ввести въ свои бесѣды общественное содержаніе,—Пушкинъ былъ противъ этого желанія, хотя 14-е декабря, Бенкендорфъ и Дуббельтъ были еще впереди. Гоголь былъ литературнымъ крестникомъ Пушкина и Жуковскаго, и въ дѣлѣ консерватизма пошелъ еще дальше ихъ. Онъ въ концѣ концовъ отказался отъ истиннаго смысла своей сатиры, поставилъ себѣ въ «неискупимую вину» отрицательное отношеніе къ дѣйствительности и героямъ современности, а въ своей знаменитой «Перепиискѣ» далъ образчикъ затхлои проповѣди на почвѣ безжизненнаго смиренномудрія.

«Такого рода дѣйствіе оказывала даже на первостепенные таланты та среда, то огромное общественное большинство, на понятіяхъ котораго утверждалась система официальной народности. Вліяніе авторитета, поддерживавшаго эту систему, отражалось на всемъ характерѣ жизни: наблюдателю могло казаться, что таковъ и дѣйствительно самый характеръ народа, вся его исторія и все его будущее; даже сильныя умы и таланты, вращаясь въ этой жизни, подвергаясь многоразличнымъ ея впечатлѣніямъ, сживались съ нею и усваивали ея теорію. Настоящее казалось имъ разрѣшеніемъ исторической задачи; «народность» (т. е. смыслъ и задачи народной жизни) считалась отысканною, а съ нею указывался и предѣлъ стремленій: оставалось отдыхать на лаврахъ» (А. Пыпинъ).

Оставимъ, однако, верхи, спустимся пониже, къ тѣмъ сферамъ, гдѣ дѣйствовали Загоскины, Кукольниковы, Н. Полевой (какъ драматуръ) и откуда такъ недалеко до той литературной ямы, которая въ тѣ времена имѣла свой органъ въ образѣ «Сѣверной» Пчелы и своихъ командировъ въ лицѣ п. Греча, Булгарина и т. п. Официально патриотическій жанръ особенно процвѣталъ въ исторической беллетристикѣ и драмѣ. Загоскинъ, прославившійся «Юріемъ Милославскимъ», былъ человекъ несомнѣнно талантливый, но въ его талантѣ не было жизни, не было ничего, что довало бы ему развитіе и движеніе. Загоскинъ успокоился на первомъ усилии и затѣмъ повторилъ подъ разными именами своего «Юрія», постоянно толчась на одномъ мѣстѣ, постоянно срисовывая тотъ-же московско-патриотическій трафоретъ. Кукольникъ былъ если и не талантливѣе, то во всякомъ случаѣ живѣе и разнообразнѣе Загоскина. Онъ испробовалъ себя во всехъ жарнахъ, и въ романѣ и въ повѣсти и въ драмѣ, при чемъ наибольшій успѣхъ выпалъ на долю послѣдней. Возьмите хоть-бы его прославленную «Руку», совершившую, какъ мы видѣли, столько подвиговъ. Не бездарность, а полное отсутствіе искренности, неподдѣльнаго одушевленія, отталкиваетъ васъ. Все надуто, напыщено, все расхаживаетъ на ходуляхъ, говоритъ зычнымъ «каратыгинскимъ» голосомъ, «біетъ» себя въ грудь и черезъ каждыя три строчки заявляетъ о полной своей готовности умереть во славу отечества. Гдѣ и когда русская исторія видѣла что-нибудь подобное? Въ дѣйствительности она сѣрвата, а если героизмъ не чуждъ ей, то воплощался онъ никакъ не въ отдѣльныхъ личностяхъ. Личное начало, всегда слабо развитое, всегда подавленное, почти не давало себя чувствовать, проявлялось рѣдко, скромно,

опасливо, извѣстно скорѣе по былинамъ, чѣмъ по лѣтописямъ, а между тѣмъ на немъ зиждилась патріотическая драма! Официально можно признавать героями, напр., Минина и Пожарскаго, но были ли они такими въ дѣйствительности и чѣмъ вообще были они? Впослѣдствіи В. Бѣлинскій, кажется первый замѣтилъ, что русскаго историческаго романа и русской исторической драмы нельзя строить ни на любви, ни на героизмѣ и подвигахъ отдѣльныхъ лицъ ибо ни тѣ ни другіе не играли никогда важной, существенной роли... А драмы Полевого? Достаточно сказать, что сильный когда-то литературный боецъ и честный литературный работникъ, послѣ всѣхъ этихъ «Елена Глинская», «Смерть и честь», «Параша Сибирячка» и пр. дошелъ до удивительной «драмы», вырывающей бурные восторги подъ именемъ «Война Ѳедосьи Сидоровны съ китайцами»...

Еще ниже, читатель; теперь недалеко и до дна. Единственная газета съ политическимъ отдѣломъ была знаменитая «Сѣверная Пчела». «Она помѣщала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно проповѣдывала такую точку зрѣнія: Россія и Европа, особенно Европа конституціонная, представляли рѣзкую противоположность—порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволия—съ другой; Россія нечего было завидовать западу, потому что мнимая цивилизація приводитъ западъ только къ безбожію и революціямъ; намъ, напротивъ, слѣдуетъ всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза». „Сѣверная Пчела“ не находила словъ, чтобы выразить свое отвращеніе къ конституціямъ и насмѣется надъ ними: парламентскіе ораторы Франціи и Англіи были крикуны, вольнодумцы, которыхъ слѣдовало просто усмирить полицейскими внушеніями... Правда, „Сѣверная Пчела“, уже съ первыхъ поръ своего существованія, стала пріобрѣтать очень и очень некрасивую репутацію, но эта репутація, дѣлавшая ее предметомъ презрѣнія въ кругу образованнаго меньшинства, не мѣшала ей представлять особое мнѣніе цѣлаго огромнаго слоя русскаго общества изъ средняго грамотнаго класса—чиновничества, дворянства, гостиннодворской публики, военнаго сословія... Гречъ, который говоря о своихъ связяхъ съ Булгаринимъ, самъ, какъ рассказываютъ, съ изумительной откровенностью сравнивалъ себя съ „каторжникомъ, таскающимъ за собою свое ядро“—Гречъ, и его соподвижникъ, имѣли своего рода популярность въ тѣ времена очень обширную. И какъ эта популярность, Богъ вѣсть какъ пріобрѣтенная и еще худшими способами поддерживаемая, популярность Сенковскаго, Греча, Булгарина должна была стоять поперекъ пути такихъ людей, какъ Бѣлинскій, раздражая и обижая ихъ... Бѣлинскій въ одномъ изъ своихъ писемъ спрашиваетъ:

„Чѣмъ взялъ Сенковскій?—Основною мыслью своей дѣятельности, что учиться не надо и что на все въ мірѣ надо смотрѣть шутя. Русскій челоѣкъ любить жить на шеромыгу. Потомъ, кого любить наша публика?—Греча, Булгарина. — Да они, особенно первый въ Питерѣ, даже при жизни Пушкина были важнѣе его, и доселѣ сохраняютъ свой авторитетъ... Вотъ наша публика: давайте-жь, о невинныя московскія души, скорѣе давайте ей Шекспира — она жаждетъ его. Нѣтъ, переведите-ка лучше всего В. Гюго съ бра-

тию, да всего Поль-де-Кока, да издайте великолѣпно съ романами Булгарина и Греча, съ повѣстями Брамбеуса и драмами Полевого: тутъ успѣхъ несомнительнъ, а бѣднаго Шекспира—печатайте въ журалахъ — только въ нихъ и прочтутъ его“ (В. Е., стр. 511, дек. 1874 г.).

Почетнаго въ званіи литераторъ было такъ мало, а подозрительнаго такъ много, что его избѣгали. Очевидно, что причиной этого было внушеніе сверху. Тамъ только терпѣли литературу, допускали и существованіи, но не видѣли въ ней ничего нужнаго. Писателей, даже самого Пушкина, называли сочинителемъ, презрительно подчеркивая это слово. Къ Жуковскому относились почтительно, какъ къ человѣку, бывшему своимъ въ дворцѣ, а не за его литературныя заслуги. Поэтому-то въ тѣ времена возможно было распускать слухъ, что Пушкина высѣкли и этому слуху вѣрили. Однажды, когда Булгаринъ явился къ Дуббельту, тотъ за какія-то провинности поставилъ его на четверть часа въ уголь. Конечно,—то былъ Булгаринъ, но вѣдь въ углу-то онъ стоялъ за то, что литераторствовалъ...

«Мы живемъ въ страшное время,— писалъ однажды Бѣлинскій,—судьба налагаетъ на насъ схику; мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книгу «Отечественныхъ записокъ». *Я литераторъ*—говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. *Литературъ рассейской моя жизнь и моя кровь*... (В. Е. 1874 дек. стр. 517).

Нужно было больше мужества, чтобы изъясниться въ любви къ литературѣ рассейской, а называть себя литераторомъ!—когда, прямо говоря, не было ничего болѣе презрѣннаго и неопредѣленнаго... «Литераторъ»—«стриуцкій»—«стрекулисть»—развѣ это не синонимы прежнихъ дней?

Намъ трудно вѣрить этому, потому что мы пережили эпоху шестидесятихъ годовъ, но что дѣло обстояло именно такъ, можно видѣть и изъ фактовъ и изъ общихъ соображеній. Ничто безцѣльное, ничто ненужное никогда не пользуется уваженіемъ. Это общеизвѣстный законъ жизни, вполне примѣнимый и къ интересующему насъ случаю. Существовала русская литература. Существовала она *потому*, что такова была воля начальства, но *затѣмъ*, къ чему, во имя какихъ надобностей? Отвѣтить на этотъ вопросъ было крайне затруднительно. По старой памяти временъ очаковскихъ и покоренья Крыма говорили: «для украшенія». Хорошо, но украшать могли Державинъ, Херасковъ, Петровъ и т. д., а что украшающаго въ дѣятельности Н. Полеваго, Надеждина, Бѣлинскаго и т. д. Очевидно,—ничего. Такъ зачѣмъ-же?.. Пушкинъ, Гоголь и т. д. писали потому, что у нихъ была органическая потребность творчества (т. е. достиженія высшей, возможной на землѣ искренности и самораскрытія) и вопросъ о цѣли, литературѣ былъ для нихъ празднымъ. Но этотъ вопросъ не могъ не появиться вмѣстѣ съ журналистикой. Ко времени Бѣлинскаго было уже смѣшно ограничивать цѣли писанія,—желаніемъ доставить ближнимъ своимъ пріятное развлеченіе (о чемъ такъ заботился Карамзинъ). Требовалось чтонибудь болѣе практическое, цѣнное, жизненное. Поэтому остановились на «по-

учени». Литература—полезна, такъ какъ она просвѣщаетъ... Подъ этимъ знаменемъ работалъ Полевой, работалъ потомъ и Бѣлинскій.

Но публика, масса публики только съ трудомъ переходила на такую точку зрѣнія. Поучаться она не желала, просвѣщаться также, она просто читала, когда написанное казалось ей забавнымъ. «Теперь,—пишетъ Бѣлинскій,—стараюсь поглубѣть, чтобы расейская публика лучше понимала меня». И дѣйствительно было полезно поглубѣть и хотя нѣмного приблизиться къ этому варвару читателю, восторгавшемуся «Выжигинымъ» и побѣдой Фодоси надъ китайцами!..

Литература не находила себѣ опоры ни въ администраціи, ни въ обществѣ. Она только начинала дѣлаться потребностью (хотя-бы какъ пріятное развлеченіе), слѣдовательно, едва-едва держалась. Проектъ Загорѣцкаго «взять книги всѣ и сжечь»—въ сущности не представлялъ ничего исключительнаго. Истративъ самого себя на непосильную огромную работу, Бѣлинскій не только завоевалъ уваженіе къ печатному слову, но и утвердилъ это значеніе надолго, быть можетъ навсегда. Въ его статьяхъ общественная, идущая впереди мысль, нашла свое первое яркое и неподкупное выраженіе и противопоставила себя всепоглащающему и обезличивающему государственному налогу. Свободное проявленіе этой мысли было его идеаломъ, осуществленія котораго онъ конечно не дождался, какъ не дождались и мы. Да, онъ смотрѣлъ далеко, далеко впередъ.

Умирая, онъ скорбѣлъ объ одномъ, что не умѣлъ сдѣлать ничего систематическаго, написать напр. исторію литературы по главамъ и по параграфамъ. Эта скорбь—необходимый, хотя и горькій, осадокъ въ душѣ всякаго жунальнаго и газетнаго работника, который видитъ позади себя долгіе года упорной работы и груду отрывочныхъ статей. Кто станетъ разбираться въ этой грудѣ? Не забудется ли онъ въ минуту моей смерти? Не пожалтвуютъ ли „кровью сердца“ написанныя страницы на пыльных полкахъ библіотекъ? не прошла ли безслѣдно моя жизнь, и не умру ли я, не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовиной, ни геніемъ начатаго труда?.. Странные, мучительные вопросы—не для Бѣлинскаго однако, и надо только еще разъ удивиться его милой дѣтской наивности, его застѣнчивой, краснѣющей скромности. Онъ - то ничего не сдѣлалъ! Но кто-же сдѣлалъ, кто могъ сдѣлать больше?..

Не мало, и даже въ самое послѣднее время, было попытокъ сорвать вѣнецъ съ его усталой, но побѣдной головы,—превезности Надеждина на его счетъ и поставить ему въ упрекъ незнакомство съ нѣмецкимъ діалектомъ (!).. Все это одна пошлость. Бѣлинскій былъ, есть и будетъ духовнымъ отцомъ нашей литературы,—вѣчнымъ упрекомъ малосильнымъ людямъ съ большими претензіями,—писателемъ, сдѣлавшимъ больше, чѣмъ всякій другой для созданія общества. Пусть его имя выростетъ въ легендарное: мы имѣемъ право видѣть въ Бѣлинскомъ только хорошее. Да и какъ жать иначе, если не будетъ ничего святого ни впереди ни позади насъ?..



